
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Собрание сочинений в шести томах. Том 4

СОРНЫЕ ТРАВЫ

ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРЫСЫ

ИЗ СБОРНИКА «ВОЛЧЬИ ЯМЫ»

о маленьких – для больших

ШАЛУНЫ И РОТОЗЕИ

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ

СИНЕЕ С ЗОЛОТОМ

МОСКВА 2007

ТЕРРА  ТЕРРА
КНИЖНЫЙ КЛУБ

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
А19

Составление, подготовка текста и комментарии
Ст. Никоненко

Оформление художника
А. Уткина

Аверченко А. Т.

А19 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4: Сорные травы /
Сост., подгот. текста, коммент. Ст. Никоненко. — М.:
ТЕРРА—Книжный клуб, 2007. — 448 с.

ISBN 978-5-275-01393-1 (т. 4)
ISBN 5-275-01389-2

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881 — 1925) — замечательный русский писатель-юморист, редактор знаменитого журнала «Сатирикон». Современники называли его «Рыцарем Улыбки». Таланту Аверченко было подвластно все: от мягкого юмора до жесткой сатиры, от забавных и безобидных бытовых зарисовок до острых политических памфлетов.

Четвертый том собрания сочинений включает сборники произведений, впервые опубликованные в 1914 — 1917 гг.: «Сорные травы» (1914), «Записки театральной крысы», «Волчьи ямы», «Шалуны и рогозеи» (1915), «Позолоченные пилюли» (1916), «О маленьких — для больших» (1916), «Синее с золотом» (1917).

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

© Ст. Никоненко, составление,
подготовка текста
и комментарии, 2007
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2007

ISBN 978-5-275-01393-1 (т. 4)
ISBN 5-275-01389-2

Фома Опискин

СОРНЫЕ ТРАВЫ

(1914)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Аркадия Аверченко

Прежде чем сказать что-нибудь об этой книге, я считаю необходимым сказать несколько слов об ее авторе.

Кто такой Фома Опискин?

Многие из читателей считали и до сих пор считают «Фому Опискина» псевдонимом какого-нибудь скромного, скрывающего свое настоящее имя писателя; читателей сбilo с толку сходство имени и фамилии этого юмориста с именем и фамилией популярного персонажа из повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

Это совершенно случайное совпадение.

Фома Степаныч¹ Опискин — это настоящее имя и фамилия сатирического писателя и постоянного сотрудника журнала «Новый Сатирикон».

Фома Степаныч происходит из мелкопоместных бедных дворян Екатеринославской губернии Славяносербского уезда. Отец его Степан Селиваныч² служил в должности воинского начальника в г. Славяносербске и в 1890 году вышел в отставку, занявшись воспитанием своего сына.

Молодой Фома рос, окруженный самой нежной заботливостью, самыми нежными попечениями. Он сам рассказывает, что не помнит ни одного случая, чтобы отец когда-нибудь ударил его палкой или каким-нибудь другим

¹ И опять совпадение — в отчестве Ф. О. и в названии села у Достоевского (Степаныч — Степанчиково).

² И опять уже третье по счету, удивительное совпадение: «Селиваныч — село Степанчиково» — один и тот же корень «сел».

предметом. Наоборот, если родительская рука и поднималась или и опускалась на маленького Фому, то только для того, чтобы приласкать его...

Ясно, что в этой атмосфере и создавалась душа нежная, чуткая, сердце доброе и возвышенное...

Кроме этих свойств я должен указать еще на одно — пожалуй, на самое главное: Фома Степаныч отличается исключительной, пожалуй даже болезненной, скромностью и застенчивостью. В этом всякий читатель может сразу убедиться, едва только раскрыв “Сорные травы”. В начале книги помещен портрет Фомы Степаныча — и что же! Фома Степаныч снят там в совершенно оригинальном виде — с лицом, закрытым руками. Даже в таком виде нам стоило громадного труда уговорить его стать перед фотографическим аппаратом. Тщетно мы указывали ему на то, что читателям будет приятно увидеть лицо человека, с которым они духовно сжились и которого они так любят за независимость и ядовитость его сатиры.

— Нет, нет, — кротко упираясь, возражал Фома Степаныч. — Зачем же... кому это интересно?..

— Уверяю тебя, Фома, это нужно, — уговаривал его Ре-Ми. — Ты такой красивый, и всем будет приятно полюбоваться на твое лицо.

— Пусть любуются моим духовным лицом, а не физическим. Физическая красота преходяща, а духовное лицо остается.

— Фома, Фома! Вот поэтому-то и нужно запечатлеть то, что преходяще, то, что исчезнет. А вдруг ты скоро умрешь? Неужели после тебя не останется ни одного следа, ни одного портрета, который бы напоминал твоим читателям и нам, твоим друзьям, о тебе...

— Нет, нет...

Упирающегося писателя подтащили к аппарату, поставили в позу, но одного предусмотреть не могли: в момент, когда фотограф сказал “готово” — Фома целомудренным жестом закрыл лицо руками. В конце концов, как ни бились, пришлось поместить вышеуказанное неполное и малоудовлетворительное изображение писателя.

Эта скромность, это стремление стусеваться, сесть куда-нибудь в уголок, спрятаться — проходит красной нитью через все поступки, через всю жизнь симпатичного писателя.

Фома Опискин почти безвыездно живет в Петербурге, а может ли кто-либо из праздной столичной публики похвастать, что видел его в лицо? Нет! Только три места

могут быть названы теми тремя китами, на которых держится неприятная тихая жизнь Фомы Опискина: квартирка на Кронверкском, редакция “Нового Сатирикона” и кресло в амфитеатре Марининского театра — вот и все.

И однако, — что самое удивительное — при такой кротости, скромности и незлобности Фома Опискин носит в сердце своем ненависть — самую беспощадную, неутолимую, свирепую ненависть — к октябризму и к октябристам!

Я часто думаю: сколько нужно было глупости, пошлости, лжи, низкопоклонства, предательства и недомыслия, чтобы раздуть в сердце этого почти святого человека такое страшное пламя...

И если бы этому человеку, который даже упавшую к нему в стакан с вином муху старается осторожно вынуть из вина и, вытрезвив, выпустить на свободу, если бы этому человеку попался в руки живой октябрист, — я содрогаюсь, представляя себе — что сделал бы с ним “кроткий Фомушка”, как прозвали его у нас в редакции. Он выколол бы ему глаза, оборвал уши и кусал бы долго и бил бы его ногами по самым чувствительным частям тела (однажды в минуту откровенности он сам признался мне, что сделал бы так).

Вот почему все его фельетоны об октябристах полны самого тонкого беспощадного яда и злости.

Почти все, что он написал (писал он только у нас, в “Сатириконе”), прошло через мои руки, и я могу с гордостью назвать себя крестным отцом этого удивительного писателя и человека. Начал он писать по моей просьбе, по моему настоянию, и до сих пор у него сохранилось ласковое обращение ко мне — “дорогой папаша”. В тон ему и я называю его сынком и очень бываю доволен, когда какой-нибудь фельетон или рассказ “сынка” вызывает восхищение у читателей и товарищей по редакции...

Иногда по условиям редакционной спешности нам случалось писать с ним вместе — и эта работа бывала для меня истинным удовольствием. Быстрота соображения, какая-то молниеносность в понимании моего замысла — всегда поражала меня.

И я всегда удивлялся его точному, ясному языку, ясности его определений и неожиданности сравнений.

После того как нами заканчивалась какая-нибудь вещь, мы поднимали длинные споры — чьим именем подписать ее.

И всегда почти его удивительная скромность выступала на сцену:

— Нет, Аркадий, по праву эта вещь твоя, ты дал и сюжет и внес в исполнение нотку скорбной иронии, которая так украсила фельетон. Нет, папаша, фельетон этот по праву твой!

— Но, сынок, — возражал я. — Пойми же, что фельетон весь целиком написан тобой. Ты его писал, а я сделал всего два-три замечания.

— Нет, папаша, и т. д.

И с упрямым видом, поблескивая кроткими, ласковыми глазами, он долго теребил свою рыжеватую маленькую бородку...

Не знаю, может быть, меня упрекнул в пристрастии к Фоме Опискину, но я говорю, что думаю; я считаю эту книгу замечательной. Блеск, сила, темперамент, сжатость выкованного мастерской рукой слога, ошеломляющий своей неожиданностью юмор — все это должно поставить эту книгу в ряд интереснейших книг последних лет.

Такие вещи, как “Грозное местоимение”, “Виктор Поликарпович”, “Новые правила” и несколько других, помещенных в этой книге, должны занять почетное место в любой хрестоматии нашей общественной и политической жизни — если бы такая хрестоматия была кем-нибудь когда-нибудь выпущена в свет.

Аркадий Аверченко

Часть I

ЧЕРТОПОЛОХ И КРАПИВА

БЫЛОЕ

(Русские в 1962 году)

Зима этого года была особенно суровая...

Крестьяне сидели дома — никому не хотелось высывать носа на улицу. Дети перестали ходить в училище, а бабы совершали самые краткие рейсы: через улицу — в гастрономический магазин или на электрическую станцию с претензией и жалобой на вечную неисправность электрических проводов.

Дед Пантелей разлегся на теплой лежанке и, щуря старые глаза от электрической лампочки, поглядывал на сбившихся в кучу у его ног малышей.

— Ну что ж вам рассказать, мезанфанчики? Что хотите слушать, пострелята?

— Старое что-нибудь, — попросила бойкая Аксюшка.

— Да что старое-то?

— Про губернаторов.

— Про губер-на-то-ров? — протянул добродушно-иронически старик. — И чивой-то вы их так полюбили: и вчера про губернаторов и сегодня про губернаторов...

— Чудно больно, — сказал Ванька, шмыгая носом.

— Ваня! — заметила мать, сидевшая на лавке с какой-то книгой в руках. — Это еще что за безобразие? Носового платка нет, что ли? Твой нос действует мне на нервы.

— Так про губернаторов? — прищурился дед Пантелей. — Правду рассказывать?

— Не тяни, дед, — сказала бойкая Аксюшка. — Ты уже впадаешь в старческую болтливость, в маразм и испытываешь наше терпение!

— И штой-то за культурная девчоночка, — захохотал дед. — Ну слушайте, леди и джентльменты... “Это было

давно... Я не помню, когда это было — может быть, никогда”, как сказал поэт. Итак, начнем с вятского губернатора Камышанского. Представьте себе, детки, вдруг однажды он издает обязательное постановление такого рода: “Виновные в печатании, хранении и распространении сочинений тенденциозного содержания подвергаются штрафу с заменой тюремным заключением до трех месяцев!”

Ванькина мать Агафья подняла от книги голову и прислушалась.

— Позволь, отец, — заметила она, — но ведь тенденциозное содержание еще не есть преступное? И Толстой был тенденциозен, и Достоевский в своем “Дневнике писателя”... Неужели же...

— Вот поди ж ты, — засмеялся дед, — и другие ему то же самое говорили, да что поделаешь: чрезвычайное положение! А ведь законник был, кандидат в министры! Ум имел государственный.

Дед помолчал, пожевывая провалившимися губами.

— А то херсонский был губернатор. Уж я и фамилию его забыл... Бантыш, што ли... Так тот однажды оштрафовал газету за телеграмму Петербургского Телеграфного Агентства из Англии с речью какого-то английского деятеля. Что смеху было!

— Путаешь ты что-то, старый, — сказал Ванька, — Петербургское Агентство ведь официальное?! Заврался наш дед.

— Ваня, — укоризненно заметила Агафья.

Дед снисходительно усмехнулся.

— Ничего... То ли еще бывало! Как вспомнишь — и смех и грех. Владивостокский губернатор закрыл корейскую газету за статью о Японии, симферопольский вице-губернатор Масальский оштрафовал “Тавричанина” за перепечатки из “Нового времени”... Такой был славный, тактичный. Он же гимназистов на улице ловил, которые фуражек ему не снимали, и арестовывал. Те, бывало, клопки маленькие, плачутся: “за что, дяденька?” “За то, что начальство не почитаете, меня на улице не узнаете!” — “Да мы с вами не знакомы!” — “А-а, не знакомы? Посидите в каталажке — будете знакомы!” Веселый был человек.

Дед опустил голову и задумался. И лицо его осветилось тихой задушевной улыбкой...

— Муратова тамбовского тоже помню... Приглашали его однажды на официальный деловой обед. “Приеду, — говорит, — только если евреев за столом не будет”. “Один будет, — говорят. — Директор банка”. — “Значит, я не буду!” Такой был жизнерадостный...

Телефонный звонок перебил его рассказ.

Аксюшка подскочила к телефону и затараторила:

— Алло! Кто говорит? Дядя Миняй! Отца нет. Он на собрании общества деятелей садовой культуры. Что? Какую книжку? Мопассана? “Бель-Ами”? Хорошо, спрощу у мамы. Если есть — она придет.

Аксюшка вернулась от телефона и припала к дедову плечу.

— Еще, дедушка, что-нибудь о губернаторах.

— Да что ж еще?..

Дед рассмеялся.

— Нравится? Как это говорится: “Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил”... Хе-хе... Толмачева одесского тоже хорошо помню. Благороднейший человек был, порывистый! Научнейшая натура. Когда изобрели препарат “606”, он и им заинтересовался. Кто, спрашивает, изобрел? Эрлих? Жид? Да не допущу же я, говорит, делать у себя в Одессе опыты с жидовским препаратом. Да не бывать же этому! Да не опозорю же я родного мне города этим шарлатанством!! Очень отзывчивый был человек, крепкий.

Дед оживился.

— Думбадзе тоже помню! Тот был задумчивый.

— Как, дед, задумчивый?

— Задумается, задумается, а потом скажет: “Есть у нас среди солдат евреи?” — “Есть”. — “Выслать их”. Купальщиц высылал, которые без костюмов купались, купальщиков, которые подглядывали. И всех — по этапу, по этапу. Вкус большой к этапам имел... А раз, помню, ушел он из Ялты. Оделся в английский костюм и поехал по России... А журналу “Сатирикон” стало жаль его, что вот, мол, был человек старый при деле, а теперь без дела. Написали статью, пожалели. А он возьми и вернись в Ялту, когда журнал там получился. И что ж вы думаете, детки: стали городовые по его приказу за газетчиками бегать, “Сатириконы” отнимать, в ключья рвать. Распорядительный был человек! Стойкий.

И долго еще раздавался монотонный добродушный дедов голос. И долго слушали его притихшие изумленные дети.

А за окном выла упорная сельская метель, слышались звуки автомобильных сирен и однотонное гудение дуговых фонарей на большой занесенной снегом дороге...

Ежилась, мерзла и отогревалась святая Русь.

РЕДАКТОР
“СОБАКИНОЙ ЖИЗНИ”

По пустынной улице города Собакина тихо брел человек. Когда он завернул за угол — ему навстречу попались двое прохожих.

Один из них взглянул на него и сказал товарищу:

— Какое симпатичное лицо. Не знаешь — кто это?

— Это редактор нашей “Собакиной жизни”.

— А, это вон кто! Препротивная физиономия. Поколоти его разве, благо никого нет поблизости.

— За что?

— Он вчера в своей газетишке выругал моего тестя, базарного старосту. Эх... только рук марать не хочется!..

Зять базарного старосты обернулся назад и крикнул редактору “Собакиной жизни”:

— Эй, ты, морда! Попадешься ты мне когда-нибудь в темном уголке! Спущу я тебе шкуру.

Редактор, приостановившись, выслушал это обещание и сейчас же забыл о нем. Ему было не до того — нужно было спешить в редакцию.

В редакционной комнате сидел секретарь редакции и высчитывал что-то по пальцам. Увидев редактора, холодно протянул ему руку и ядовито усмехнулся:

— Спасибо-с, дорогой! Удружили-с.

— Что еще?

— Кто вас просил выбрасывать из моей статьи о шоссейных дорогах вторую половину?

— Опасно, милый. Вы там чуть ли не исправника касаетесь.

Секретарь встал, неторопливым движением впутал сухие пальцы в свои длинные волосы, закрыл глаза и тихо сказал:

— Будьте вы все прокляты отныне и до века с вашей трусостью, расчетливостью, тактичностью, недомыслием, вашими исправниками, шоссейными дорогами, со всем вашим гнусным тоскливым арсеналом лжи и угодничества! Умный человек никогда не выкинул бы второй половины “о шоссейных дорогах”!..

— Однако на прошлой неделе нас за меньшее оштрафовали на триста.

Закрыв уши и повалившись на диван, секретарь кричал нервно и громко:

— Прокляты! Будьте прокляты!

В три часа пришел неизвестный посетитель. Он спросил редактора, ввалился к нему в комнату, бросил на стол какой-то большой тюк и прохрипел:

— Нате, получайте. Отдавайте мои деньги назад!

— Что это такое?

— Это ваша глупейшая “Собакина жизнь”. С начала года. Берите вашу газету, отдайте мне мои деньги.

— У нас не принято возвращать подписчикам деньги.

— Да-а-а? — заревел посетитель. — Деньги возвращать не принято, а чепухой кормить подписчика принято? Давать хорошие свежие новости не принято, а “еще об уме слонов” — принято? Освещать жизнь и неустройство провинции не принято, преследовать и обнаруживать злоупотребления мерзавцев не принято, а “простейший способ приготовления замазки для склеивания фарфора” — это принято? И “сколько помещается бацилл в капле воды” — тоже принято? И “материалы к истории завоевания хивинского ханства” — тоже принято? Получайте вашу паршивую газету, отдавайте мои денежки! Тут двух номеров не хватает — жена варенье завязывала — черт с вами, вычтите гривенник... А остальные давайте! Слышите? Начхать мне на то, сколько слонов помещается в капле воды — слышите?.. Пожалуйте денежки-с!

Выйдя из редакции, редактор “Собакиной жизни” пошел домой обедать.

— Пришел? — встретила его жена. — Явился? Кушать хочешь — лопай вареный картофель! Больше ничего нет!!

— Неужели деньги уже вышли? — опустив голову, пробормотал редактор.

— Ах, дитя прелестное! Институточка в передничке! “Неужели вышли?” На прошлой неделе триста заплатили за “околоточного в нетрезвом виде”, да 14-го двести за “что нам нужно, чтобы укрепиться на Желтом море”... Укрепился?.. Забыл? Тебе не жену иметь, а в тюрьме баланду хлебать!.. Тоже! Робеспьер выискался... Буланже! “Аллон занфан”. Туда же...

Редактор съел картофель, взял из комода чистый платочек и ушел из дому.

— Что вам угодно? — спросили его в передней губернаторского дома.

— Его превосходительство господина губернатора можно видеть? Вызывали меня.

Пошли. Справились. Оказалось — видеть можно.

— А, это вы! — сказал губернатор. — Я вызвал вас затем, чтобы сказать, что вы играете в плохую игру. Вы знаете, о чем я говорю? То-то же... Я понимаю, что означает фраза: “культурные начинания мыслимы лишь в атмосфере настоящего успокоения”! Понимаю-с. Знаете ли вы о существовании статьи 173 параграфа 17-в?

— Какой? Виноват...

— Я говорю: статьи 292 параграфа 9-б?

— Я... не знал...

— Он не знал о существовании 423 статьи параграфа 3-д!! Что же вы тогда знаете? Статья 92 параграфа 7 гласит: виновный — и так далее, подвергается — и так далее.

Редактор вынул чистый носовой платок, сел на пол и заплакал...

— Ваше превосходительство! Где-то в Италии, во Франции, в Германии ходят по улицам люди и улыбаются, и им тепло... и они смеются... и у них есть счастье... и у них есть личная жизнь... деточки радостные бегают... Ваше превосходительство! Чем же я виноват, что я не немец?

— Что за вздор?!

Редактор махнул рукой.

— Ох, не то я хотел сказать... Ну, да все равно... Позвольте мне, пожалуйста, поплакать! Я паркета не испортил — я в платочек. Эх, родненький!.. Поговорим, как брат с братом. Все равно уж. Ну что я вам сделал? Зачем параграф 7-д? Смотрите: ну разве я не человек? У меня есть и сердце, и легкие, и кости, как у других людей... зачем же легкие у меня гниют, сердце сжимается, а кости ноют?... Ваше превосходительство! Возьмите мою голову, обнимите ее одной рукой, прижмите к груди и погладьте мои волосы: “бедный ты, мол, бедный... Нет у тебя ни одного луча светлого, ни одной минуточки теплой, тихой”... Смешались бы наши слезы, и выросло бы вам от этих слез на том свете райское дерево со сладчайшими яблочками!.. Или хотите так: я положу голову на паркетик, а вы каблуком по ней хряснете — и конец... Го-о-осподи! Ах, да и устал же я!..

— Зачем же мне вас каблуком, — нахмурился генерал. — Я люблю литературу и уважаю ее представителей. Но все нужно в пределах закономерности, на основании тех законоположений, кои... на срок действия охраны... размером не выше трех месяцев... возбуждение одной части населения против другой... сенатское разъяснение... с заменой в случае несостоятельности.

Генерал долго говорил мягким сочувственным голосом, плавно качая в такт рукой.

А притихший редактор сидел согнувшись у его ног и глядел под письменный стол полузакрытыми спокойными глазами.

Был мертв.

ПОД СВОДОМ ЗАКОНОВ

Во-первых, этот рассказ не заключает в себе ничего такого, что принято называть “внутренней политикой”. Первое его несомненное достоинство.

Во-вторых, хотя главное действующее лицо в рассказе и партийный человек — кадет, тем не менее его убеждения не имеют никакого отношения к тому, что с ним случилось. Рассказанное ниже могло произойти со всяким другим человеком. С адвокатом, профессором, живописцем — мало ли с кем. А раз подвернулся кадет — все произошло с кадетом. Таким образом, рассказ не тенденциозен. Второе его ясное, бесспорное достоинство.

В-третьих, я слишком ленив для того, чтобы самому сочинить такой прекрасный интересный рассказ. Передаю его со слов одного веселого человека, который куда-то вчера уехал. Не знаю — куда. Поэтому, если бы даже кто-нибудь и пришел в восторг от рассказа, пусть он не разыскивает автора, не шлет ему благодарственных телеграмм — это совершенно лишнее. Автора нет. Случай такой был. Это третье его несомненное, ясное даже для лиц, обделенных мозгами, достоинство.

Так-то-с.

Кадет жил на даче. Пошел он раз в лес собирать грибы и заблудился. Такая досада.

Начало уже темнеть, когда он усталый, разочарованный в жизни набрел на какое-то дерево, под которым спал человек.

Кадет деликатно дернул его за пиджак и сказал:

— Вот удача! Не можете ли, милостивый государь, указать мне дорогу из этой проклятой трущобы?

Спавший человек проснулся.

— Доро-огу? А который час?

— Да семь.

— Дай-ка мне свои часы...

— Извольте. Вы, вероятно, хотите собственными глазами убедиться в том, о чем я сейчас вам сообщаю на словах? Извольте видеть — семь часов.

Незнакомец взял часы и дернул их к себе так сильно, что цепочка лопнула.

— Осторожнее, — мягко заметил кадет. — Вы, вероятно, насколько я догадываюсь, не рассчитали движения, которое хотели сделать с целью приблизить часы к своим глазам?

— Эх тебя разворачивает... Просто взял у тебя часы — вот и все.

Кадет задумался.

— Виноват... Я не могу себе точно уяснить, каким юридическим термином можно охарактеризовать акт перехода моего имущества (в данном случае — часов) в ваше пользование? Это не есть акт дарения, потому что для такого акта требуется прежде всего наличие воли и согласие дарителя. Нельзя назвать также это и куплей-продажей, ибо в таком случае кроме согласия владельца последний имеет также право на получение эквивалента, иными словами — стоимости проданной вещи, выраженной в конкретных денежных знаках.

— Держи карман шире, — пробормотал незнакомец.

Кадет отвернул борт сюртука, оттопырил двумя пальцами карман и доверчиво сказал:

— Держу.

— Те-те-те... Что это у тебя там? Бумажник? А позвольте...

— Мне непонятно, — после некоторого раздумья сказал кадет, — зачем вы взяли мой бумажник с деньгами? Как и в первом случае, я не усматриваю здесь признаков дарения, а тем более купли-продажи, ибо денежные знаки, как имеющие абсолютную ценность, не могут служить продажным товаром. Если же рассматривать происшедший казус как обыкновенное взятие ценностей на хранение...

— Надоел ты мне хуже горькой редьки, — нетерпеливо сказал неизвестный. — Просто я у тебя отнял бумажник и часы! Вот и все.

Кадет изумился.

— От-ня-ли? Но... позвольте... Ведь это незаконмерный насильственный акт! Таким образом выходит, что вы присвоили себе чужую собственность. Это несправедливо. Это было бы все равно, если бы я отнял вашу шапку. Вы имели бы полное право тогда заметить мне: “Во-первых, шапка эта не твоя. Я тебе ее не дарил и сам ощущал в ней нужду, как в обычной защите от зноя и непогоды”. Видите, что бы вы имели право сказать, если бы я отнял у вас шапку.

— Попробуй! Я тебе дам такого леща, что на карачках полезешь.

— Леща? Простого леща? Но разве он, по своей стоимости, как скоропортящийся пищевой продукт, может служить компенсацией того материального ущерба, который терплю я, лишившись часов и бумажника.

— Какая там рыба, — усмехнулся незнакомец. — Просто, если ты не перестанешь ныть, я тебя трахну по затылку.

— Как?! Вы стоите на почве насилия, физической расправы — этого печального пережитка и наследия варварских времен? Закон ясно говорит, что отдельные личности не могут присваивать себе функций расправы и возмездия. Это дело суда, избира... кик!

Кадет упал на траву и внушительно сказал:

— Что вы делаете? Драться противозаконно.

— Скидавай сюртук. Суконце, кажется, добротное. Скидавай с лап сапоги.

— Я не могу дать вам своего согласия на переход упомянутых вами вещей в ваше пользование без моего на то согласия. Станьте на мое место, станьте на точку зрения простой элементарной справедливости и — вы меня поймете. Я первый согласился бы с вами, если бы вы указали мне статью Т. X. части I, по которой...

— Запонки золотые?

— Золотые.

— Дай-ка.

Кадет с обиженным лицом в одной рубашке сидел на траве и угрюмо говорил:

— Уверю вас — вы неправы. Скажу больше — я усматриваю здесь наличие злой воли, выразившейся в нанесении мне побоев... И я — как это вам ни неприятно — оглашу ваш поступок в печати, чтобы мыслящая часть общества могла дать должную оценку моральной стороне ваших шагов в отношении моей личности и имущества. А юридически, уверю вас, я не сомневаюсь, что закон будет на моей стороне.

Незнакомец, насвистывая марш, собирал и связывал в узел брюки, ботинки и сюртук.

Темнело.

— Даже и с этической стороны, — говорил кадет, зевая, — и то вы не имели права... если вдуматься...

Темнело.

КОРИБУ

В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.

— Вы редактор?

— Редактор.

— Ей-Богу?

— Честное слово!

Он замолчал, пугливо поглядывая на меня.

— Что вам угодно?

— Кроме шуток — вы редактор?

— Уверю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

— Не губите меня, — сказал молодой человек. — Если вы сболтнете — я пропал!

Он порывлся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью — бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

— Э, нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горячими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку.

Вот какое странное произведение было на ней написано:

“Африканские неурядицы

Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными, — все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыно-

вья далекого Конго от понятий европейской законности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседаая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!”

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

— Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

— Да... — робко кивнул он головой.

— Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

— Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.

— Какой вздор и какая нелепость, — возмутился я. — К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто — описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то “совете государственных деятелей”? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь “совет государственных деятелей”?

— Я думал, так безопаснее...

— А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто — наложил печати?

— А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? — прищурился молодой человек.

— Вы меня извините, — сказал я. — Но тут у вас есть еще одно место — самое чудовищное по ненужности и вздорности... Вот это: “Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание”? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и просто-душно сказал:

— А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так — ну-ка, пусть догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

— Бедные мы с вами... — прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

— Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки, — и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал...

И так плакали мы все.

Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

(схема)

Все уселись за экзаменационный стол. Ждали. Удивлялись:

— Почему это нет мальчиков? Кажется, уже пора, а никто не показывается!.. Эй, сторож! Не знаешь ли, братец, почему это не идут мальчики экзаменоваться?

— Они боятся, — заявлял старый сторож. — Они запрягались. Кто где.

— Чего же им бояться? Вот чудаки. Эй, сторож! Пойди, пошарь по углам — нет ли где мальчиков? Вытащи и давай сюда.

Сторож, ворча под нос, вышел и через пять минут привел пятерых мальчиков.

— А, голубчики! — обрадовались экзаменаторы. — Вас-то нам и надо. А подойдите-ка сюда, подойдите. Хе-хе... А где же остальные? Почему нет, например, Артамонова Семена?

Один из учеников выступил вперед и заявил:

— Он побежал.

— По-бе-жа-ал?!

— Да-с. Побежал. В Центральную Африку.

— Как же он побежал?

— Как обыкновенно путешественники. Захватил шестидесять копеек, ножницы, ручку от граммофона и побежал.

— Что же он говорил вообще?

— Да ничего. Прощайте, говорит, товарищи. Вы себе тут экзаменуйтесь, а я поеду. Пришлю вам по бизону.

— Вот чудак. А Малявкин Иван? Он почему не пришел?

— Его никак не могут вытащить.

— Как не могут? Экий лентяй! Родители на что же?

— Родители тоже ищут.

— Как ищут? Ты, милый, говоришь вздор. То говоришь, что его не могут вытащить, то, что его ищут? Где ищут?!

— Да в воде же. Второй день. Никак не могут найти и вытащить.

— Купался?

— Нет, так.

— Хорошо-с. Ну, а Синицин, Илья?

— Тоже не пришел. Он не может.

— Почему?

— Лежит. Выпимши.

— Нельзя сказать — “выпимши”. Это неправильная форма. Что ж он, пьян?

— Нет, не пьян. А так. Вообще.

— Недоумеваю. Чего ж он “выпимши”?

— Эссенции. Взял еще у меня взаймы гривенник. Пропал теперь мой гривенничек!

— Не хнычь, пожалуйста! Все вы скверные шалуны. Небось, ты к экзамену ничего не приготовил?

Взор разговорчивого ученика померк. Горло перехватило.

— Нет. Приготовил...

— А-а... хорошо-с! Подойди ближе. А скажи-ка ты нам, дорогой мой... в котором году было положено основание династии карловингов?

Ученик проглотил обильную слюну и обвел глазами комнату...

— Каких карловингов?

— Ну, каких?! Будто не знаешь — каких. Обыкновенных. Ну?

— В этом... в тысячу восемьсот...

— Господа! — сказал экзаменатор, с отвращением глядя на ученика. — Сей муж не знает об основании династии карловингов!.. Как это вам понравится?

— Да, да... — покачал головой старичок со звездой. — Хороши они, все хороши! Сегодня о карловингах не знает, завтра пошел — мать зарезал...

— Да-с, ваше превосходительство... золотые слова изволили сказать! Завтра — мать, послезавтра — отца, там опять — мать, и так до бесконечности — по торной дорожке! Садись на свое место, Каплюхин. Вызовем еще кого-нибудь... Малявкин Иван!

— Его еще не вытащили! — раздался робкий голос с задней скамейки.

— Ах, да. Ну, этот... как его... Петерсон! Иди, иди сюда, голубчик... Что ты знаешь, о короле Косинусе X?

Глаза Петерсона засверкали мужеством отчаяния. Он махнул рукой и затрещал:

— Король Косинус был королем. Подданные очень любили его за то, что он вел разорительные войны. Он жил в палатке, питался конским мясом и был настоящим спартанцем. Спартанцами называлось племя, жившее на плоскогорьях и бросавшее в воду своих детей, которые никуда не годились. Спартанцы вели спартанский обр...

— Нет, постой, постой, — улыбнулся учитель. — Ты о Косинусе что-нибудь расскажи! С какого по какой год он царствовал?

— С 425 года по 974-й!

Учитель засмеялся.

— Дурак ты, Петерсон. Во-первых, я Косинуса нарочно выдумал, чтоб тебя поймать — такого короля и не было, — во-вторых, ты хотел обманным образом переехать на спартанцев, которых ты, вероятно, вызубрил, а в-третьих, у тебя короли живут по пятьсот лет. Садись, брат! В будущем году увидимся на том же месте! Пряников Гавриил? Где Пряников Гавриил? Он же тут был?!

— Под парту залез!

— Зачем же он залез? Спрятаться думает? Тащите его оттуда!

Стали тащить Пряникова. Он уцепился руками и ногами за ножки парты, защемил зубами перекладину и, озираясь на тащивших его людей, молчал.

— Вылезай, Пряников Гавриил! Сторож, попробуй выковырять его оттуда. Не лезет? Ему же хуже! Игнат Печкин! Здесь? Подойди. Это, ваше превосходительство, наша гордость... Первый ученик... Печкин! В котором году умер Гелиагабал? Как? Верно, молодец. Чей был сын Фридрих Барбаросса? Так. Только ровнее стой, Печкин! Какой образ жизни вел Людовик V? Так, так. Молодец. Не сгибайся только, Печкин! Стой ровнее. Что скажешь нам о семилетней войне?.. Так. Ловко вызубрил! Не надо раскачиваться, Печкин! А ну, зажарь нам что-нибудь, Печкин, о финикиях. Не ложись на стол! Как ты смеешь ложиться животом на экзаменационный стол? А еще первый ученик! Хочешь, чтобы в поведении сбавили? Что? Не дышит? Как не дышит? Где доктор? Здесь? Что такое с Печкиным, господин доктор? Умер? Переутомление? Эй, сторож! Карета "скорой помощи" есть?

— Так точно. С утра стоит. Как приказывали.

— Тащи его! Экая жалость! Единственный, которым могли похвастать, который все так отличнейше знал — и вдруг... Бери его за ноги! Петерсон! Ты что это там глотаешь? На экзаменах нельзя есть! Что? Порошки? Какие порошки? Ты не падай, когда с тобой учитель говорит! Зачем падаешь! Ты... что сделал?! Как ты смеешь? Тебе экзамены для чего устроены? Чтоб порошки глотать? Захвати и его, сторож. Каплюхин!! Стрелять в классе из револьвера не разрешается... Что? В себя? Мало ли, что в себя... и в себя нельзя стрелять... Стыдно. Бери и этого, сторож. Ну, кто там еще? Пряников Гавриил остался? Вылезай из-под парты, Пряников. Не хочешь? Ну, скажи оттуда: в котором году было основание ганзейского союза. Молчишь? Не хочешь? Ну и сиди там, как дурак... Ваше превосходительство! Имею честь доложить, что проверочные испытания закончены!

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Съел Октябрист за ужином целого поросенка, кусок осетрины с хреном и лег спать...

Но Октябристу не спалось. Вспомнилась почему-то его нелепая, бессмысленная жизнь, вся та мелкая ненужная ложь, которая сопутствовала ему с детства и которая

в конце концов довела его до последней степени падения — до октябризма, и когда вспомнилось все это — Октябрист чуть не расплакался.

Напало на Октябриста такое жгучее раскаяние, что он не мог уснуть, ворочаясь сто раз с боку на бок...

Вот тут-то и пришел мужик. Черный, худой, весь в земле... Взял Октябриста мозолистой рукой за ухо, сказал:

— Пойдем, паршивец!

И потащил перепуганного Октябриста за собой.

Очутившись в деревне, Октябрист первым делом решил помочь мужикам в их горькой нужде. Для этого он отыскал нескольких оборванных мужиков и вступил с ними в разговор...

— А что, ребята, мяту вы пробовали сеять? — спросил Октябрист.

— Где нам!

— Вот то-то и оно. Нужно, чтобы культура и знание пришли на помощь деревенской темноте и тому подобное. Сейте мяту!

Октябрист порылся в кармане, нашел коробку мятных лепешек, которые он ел после пьянства, и отдал мужикам на семя.

— Вот вам! Сейте, как сказал поэт, разумную, добрую, вечную мяту!!

Посеяли мужики мятные лепешки. Год в то время был урожайный и поэтому мята разрослась пышными, большими кустами, покрытыми сплошь коробочками с лепешками.

Октябрист не почил на лаврах.

— Чем бы еще выручить этих бедняг?

Разговорился.

— Гигроскопическую вату сеяли?

Мужики горько улыбнулись.

— Где нам! Прямо будем говорить — беспонятные мы.

Октябрист, вздохнув, вынул из своих ушей вату, отдал ее мужикам и приказал:

— Сейте вату! Сейте... спасибо вам скажет сердечное русский народ! Полушубки будете ватные делать! Жены и дочери бюсты из ваты такие сделают, что пальчики облизете.

Вата разрослась еще лучше, чем мята.

Потом табак сеяли. Все, что было у Октябриста в портсигаре, все он пожертвовал мужикам на посев. Пуго-

вицы сеяли. Хотя Октябрист после этой жертвы ходил, придерживая брюки руками, но зато на сердце его было светло и радостно.

Был у Октябриста зонтик. Очень жаль было ему расставаться с зонтиком, но долг — прежде всего.

— Посейте зонтики! — сказал Октябрист, отдавая свой зонтик на семя. — Уйдите от ликующих, праздно болтающих. Труд — это благодеяние. Сейте зонтики!

— Землицы больше нетути, — признались мужики. — Последнюю пуговицами засеяли. Нет землицы.

Октябрист поморщился.

— Ну вот, — уже сейчас и революция!.. Сколько у вас, у каждого, земли?

— По две десятины.

Стал думать Октябрист, искренно желая и в этом помочь мужикам.

— Вы говорите, по две десятины? Это сколько же пудов земли будет?

Мужики объяснили, как могли, что земля меряется не пудами, а поверхностью.

— Да что вы! А, знаете... это остроумно! Вот что значит простая мужицкая сметка. Додумались! А сколько в десятине сажень?

— 2400.

— Ого! Это, значит, около пяти верст. У каждого мужика, считая по 2 десятины, десять верст, значит, одной земли! Неужели этого мало?

Октябрист возмутился.

— Стыдитесь! Вы, верно, пьянствуете, а не работаете!.. Сконфуженные мужики оправдывались, как могли.

— Ага! Значит, так нельзя считать? Ну ладно. Я подумаю... сделаю, что могу.

И придумал Октябрист гениальный выход.

— Шестнадцать десятин каждому довольно!

— За глаза, ваша честь!

— Великолечно! Отныне вы должны считать десятиною не 2400, а 300 квадратных сажень. Таким образом, у каждого будет по 16 десятин.

Мужики в ноги повалились.

— Благодетель!!

Проведя аграрную реформу, Октябрист вздохнул свободно.

Мужики благоденствовали.

Из окна своего дома Октябрист часто со слезами на глазах любовался на группы чистеньких поселян в ватных тулупах, застегнутых на прекрасные пуговицы, и по-

селянок с пышными бюстами, гуляющих об руку с мужьями под развесистыми, тенистыми зонтиками... Мужчины курили папиросы (в этом году уродились на огородах "Сенаторские"), а дамы кушали мятные лепешки и приятно улыбались друг другу.

— Сейте разумное, доброе, вечное... — смахивал слезу Октябрист.

Во время сна у Октябриста из открытого рта текла слюна и физиономия расплылась в блаженную улыбку.

— Вставай, лысый дурак! — разбудила его жена.

Октябрист подобрал слюну, оделся, застегнулся на все пуговицы, заложил ватой уши, взял папиросы, коробку мятных лепешек и, раскрыв дождевой зонтик, отправился гулять.

МУДРЫЙ СУДЬЯ

— Человек! — сказал Вывихов. — Что у вас есть здесь такое, чтобы можно было съесть?

— Пожалуйте. Вот карточка.

— Ага! Это у вас такая карточка? Любопытно, любопытно. Для чего же она?

— Да помилуйте-с! Кто какое блюдо хочет съесть — он тут найдет и закажет.

— Прекрасно! Предусмотрительно! Колоссальное удобство! Это вот что такое? Гм!.. Крестьянский суп?

— Да-с.

— Неужели крестьянский суп?

— А как же. У нас всякие такие блюда есть. Уж что гость выберет — то мы и подадим.

— Суп? Крестьянский суп? Настоящий?

— Как же-с. Повар готовит. Они знают-с.

Вывихов обратился к старику, сидевшему за другим столиком.

— Вот-с... Мы, русские, совершенно не знаем России. Вы думаете, ее кто-нибудь изучает? Как же! Дождитесь. Наверно, кто-нибудь, если и увидит в карточке "крестьянский суп", сейчас же закрутит носом. "Фуй, — скажет, — я ем только деликатные блюда, а такой неделикатности и в рот не возьму". А что ест полтора миллиона русского народа — то ему и неинтересно. Он, видите ли, разные котлеты-матлеты кушает. А вот же, черт

возьми, я требую себе крестьянский суп! Посмотрим, что наша серая святая скотинка кушает. Человек! Одну миску крестьянского супа!

* * *

— Это что т-такое?

— Суп-с.

— Суп? Какой?

— Крестьянский.

— Да? А это что такое?

— Говядина-с.

— А это?

— Картофель, капуста, лавровый лист для запаха.

— И это крестьянский суп?

— Так точно-с.

— Тот суп, что едят крестьяне?

Лакей вытер салфеткой потный лоб и, с беспокойством озираясь, сказал:

— Я вам лучше метрдотеля позову.

— Позови мне черта печеного! Пусть он мне объяснит, кто из вас жулик.

— Виноват... — сказал пришедший на шум метрдотель. — Муха?

— Что такое — муха?

— Они теперь, знаете, по летнему времени... того...

— Нет-с, не муха! Это что за кушанье?

— Крестьянский суп. Обыкновенный-с.

— Да? А что, если я сейчас трахну вас этой тарелкой по голове и стану уверять, что это обыкновенный крестьянский поцелуй.

— Помилуйте... То — кушанье, а то — драка.

— Ах вы мошенники!!

— Попрошу вас, господин, не выражаться.

— Не выражаться? К вам ежедневно ходит тысяча человек, и, если все они попробуют ваш крестьянский суп, — что они скажут? Что в России все обстоит благополучно, никаких недородов нет и крестьяне благоденствуют... Да? Попросите полицию. Протокол! Я вам покажу... Ты у меня в тюрьме насидишься!

* * *

— Помилуйте, господин судья, пришли тихо, смирно, а потом раскричались. Суп, видишь ты, им слишком хорош оказался!

— То есть плох!
 — Нет-с, хорош! “Почему, — говорит, — мясо да капуста, крестьяне, — говорит, — так не едят”.
 — В самом деле, почему вы подняли историю?
 — Обман публики, помилуйте! Крестьянский суп? Хорошо-с. А ну-ка дайте мне оный, хочу этнографию и крестьянский быт изучать. “Извольте-с!” Что т-такое? Да они еще туда для вкуса одеколону налили!
 — Помиритесь!
 — Чего-с? Не желаю!
 — А чего же вы желаете?
 — Я желаю, господин мировой судья, чтобы вся Россия знала, какой-такой крестьянский суп Россия ест!
 — Прошу встать! По указу и так далее — мещанин Вывихов за скандал в публичном месте и за оскорбление словами метрдотеля ресторана “Петербург” приговаривается к трехдневному аресту. А вы... послушайте... Вы больше этого блюда не указывайте в вашем меню.
 — Да почему, господин судья?
 — Потому что крестьяне такого супа не едят.
 — А какой же суп они едят?
 — Никакой.
 — А что же они едят в таком случае?
 — Что?.. Ничего!

ГРОЗНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

Экс-министр торговли и промышленности Тимирязев объяснил стрельбу в рабочих на Ленских приисках тем, что рабочие предъявили политические требования, — напромер, чтобы их называли на “вы”.

Сумерки окутали все углы фешенебельной квартиры его пр-ва.

Его пр-во — бывший глава министерства — со скучающим видом бродило из одной комнаты в другую, не зная, что с собой делать, куда себя девать.

Наконец счастье улыбнулось ему: в маленькой гостиной за пианино сидела молоденькая гувернантка детей его пр-ва и лениво разбирала какие-то ноты...

— А-а, — сказал, подмигнув, его пр-во. — Вот ты где, славный мышонок! Когда же ты придешь ко мне, а? Гувернантка неожиданно вскочила и крикнула:

— Это что такое?! Как вы смеете говорить мне “ты”?!
 Его пр-во было так изумлено, что даже закачалось.

— Ты? На... ты? А как же тебя еще называть?
 — Это безобразно! Прежде всего, прошу называть меня на “вы”!..

Его пр-во побледнело как мертвец и крикнуло:
 — Караул! Режут! Спасите, люди! Сюда!
 В комнату вбежали жена, слуги.
 — В чем дело? Что случилось?
 С ужасом на лице его пр-во указало пальцем на гувернантку и прохрипело:

— Революционерка!.. Забастовка. Предъявила политическое требование и забастовала.
 — Что за вздор? Какое требование?
 — Говорит: называйте меня на “вы”!

С этого началось...

Его пр-во оделось для прогулки и позвонило слугу.

— Что прикажете?

— Тыезд мой готов?

— Чего-с?

— Тыезд, говорю, готов?

— Ты...езд?!

— Вот осел-то! Не буду же я говорить тебе выезд!

Ступай, узнай.

— Так точно-с. Тыезд готов.

Его пр-во побагровело.

— Как ты смеешь, негодяй?! Я тебе могу говорить тыезд, но ты должен мне говорить — выезд! Понял? Теперь скажи — какова погодка?

— Хорошая-с, ваше пр-во.

— Солнце еще тысоко?

— Так точно-с, высоко.

— Ну, то-то. Можешь идти.

Спускаясь по лестнице, его пр-во увидело швейцара и заметило ему:

— Почему нос красный? Тыпиваешь, каналья.

— Никак нет.

— То-то. А то я могу тыбрать другого швейцара, не пьяницу. А зачем на лестницу нотый ковер разостлал?

— Это новый-с...

— Я и говорю — нотый. Если не снимешь — завтра же тыгоню.

Потом, усевшись в экипаж, его пр-во завело разговор с кучером.

— Шапка у тебя, брат, потеряя. Придется шить новую.

— Так точно.

— Я думаю, тыдра на шапку хорошо будет?

— А не знаю, ваше пр-во. Такого я меха и не слышал.

— Как не слышал? Обыкновенный мех.

— Не знаем. Выдра действительно есть.

— Вот дерево-то, — пожало плечами его пр-во. — Для тебя, может быть, выдра, а для меня тыдра.

— Оно можно бы и выдру поставить.

— Если не найдем тыдры — можно и тыхухоль... А?

Кучер вздохнул и покорно согласился:

— Можно и тыхухоль.

— Дурак, какой он для тебя тыхухоль. Разговаривать не умеешь?!

* * *

Прогуливаясь по стрелке и греясь на солнышке, его пр-во думало:

“Скоро тыборы в Думу. Кого-то они тыберут? Во что тыльется народная воля?.. Уты, прежние времена прошли, — когда можно было тыдрать мужика и тыбить у него из головы эту самую “народную волю”.

Увлеченное этими невеселыми мыслями, его пр-во не заметило, как толкнуло какого-то прохожего и наступило ему на ногу.

— Ой! Послушайте, нельзя ли поосторожнее...

— Извини, голубчик, — сказала его пр-во. — Я не заметил твоей ноги.

— Прошу вас, — раздражительно воскликнул незнакомец, — называть меня на “вы”!

— Ш-што-с? Предъявление требований?! Политических?! Забастовка? Баррикады?

Его пр-во выхватило револьвер и скомандовало:

— Пли!

Потом, сжалившись над упавшим от ужаса незнакомцем, его пр-во наклонилось над ним и сказала:

— Вот видишь ли, голубчик, ты мне, конечно, должен говорить “вы”, но я могу говорить тебе “ты”...

— Почему?

— Потому что я по чину старше.

И тогда, поднявшись на локте, крикнул незнакомец с деланным восхищением:

— Здорово сказано! Унейшая голова! Настоящая выква!

ВИКТОР ПОЛИКАРПОВИЧ

В один город приехала ревизия... Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

— Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городского Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей “портового сбора на предмет морского улучшения”.

— Во-первых, — заявляли обыватели, — никакого моря у нас нет... Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутой Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы — показал кулак, что, как известно по городскому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окуроч папиросы, который при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городского Дымбы заплакал.

— Позвать Дымбу! — распорядился ревизор.

Позвали Дымбу.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Ты не кричи, брат, так, — зловеще остановил его ревизор. — Кричать после будешь. Взятки брал?

— Никак нет.

— А морской сбор?

— Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

— Превосходно... Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городского Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городского и его высокородия.

— Из...зволили звать?

— Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое триста рублей морского сбора? Ась?

— По распоряжению Павла Захарыча, — приободившись, отвечал Пальцын. — Они приказали.

— А-а. — И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоры руки. — Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспущает... Хе-хе. Никифоров! Этому — бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизора ангела.

— Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте... Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое “портовый сбор на предмет морского улучшения”?

— Гм... Это взыскание-с.

— Знаю, что взыскание. Но — какое?

— Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.

— А-а-а... Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

— Позвольте предложить вам стул... Садитесь, ваше превосходительство.

— Успею. Зачем это я вам понадобился?

— Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

— Как понимать? Очень просто.

— Да ведь моря-то тут нет!

— Неужели? Гм... А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

— Так как же так — “морской сбор”? Почему без расписок, документов?

— А?

— Я спрашиваю — почему “морской сбор”?!

— Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

— Ну?

— Что “ну”?

— Какое море вы улучшали на эти триста рублей?

— Никакого моря не улучшали. Это так говорится — “море”.

— Ага. А деньги-то куда делись?

— На секретные расходы пошли.

— На какие именно?

— Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!

— Так-с...

Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.

— Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся.

— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

— Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем?

Его превосходительство улыбнулся.

— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.

— Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

— Виктор Поликарпович.

Была тишина. Семь минут.

Нахмутив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки...

И нарушил молчание:

— Так, так... А какие были деньги получены: золотом или бумажками?

— Бумажками.

— Ну, раз бумажками — тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм... гм...

Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.

— Могу идти?

Ревизор вздохнул:

— Что ж делать... Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами.

Подошел Никифоров.

— Как с арестованными быть?

— Отпустите всех... Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит... Кан-наля!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

ПРОСТОЙ СЧЕТ

— Ради Бога! — умоляюще сказал старый, седой как лунь, октябрист. — Вы не очень на него кричите... Все-таки он член Государственного Совета. Сосчитаться с ними, как мы проектируем, — это, конечно, хорошо... Но не надо все-таки слишком опрокидываться на беднягу. Можно и пробрать его, но как? Корректно!

— Будьте покойны, — пообещал молодой скромный октябрист, выбранный посланником. — Я не позволю себе забыть. Сосчитаюсь — и сейчас же назад!

— Ну, с Богом.

Молодой октябрист сел на извозчика и поехал к влиятельному члену Государственного Совета считаться.

* * *

Пробыл он у члена Государственного Совета, действительно, недолго.

Через пять минут вышел на крыльцо и тут же столкнулся с товарищем по фракции, который, горя нетерпением, прибежал, чтобы пораньше узнать результаты...

— Ну, что? — спросил товарищ. — Сосчитался?

— Кажется...

— А ты... разве... не уверен?

— Нет, я почти уверен, но он какой-то странный...

— Они все странные какие-то.

— Да... Представь себе, вхожу я в кабинет и начинаю речь, как и было условлено. А он... послушал немного, поднялся с кресла, отвел в сторону правую руку, быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью — щеки. Потом говорит: "А теперь ступайте!" Я и ушел. Что бы это значило?

Товарищ сел на ступеньки подъезда и призадумался.

— Действительно, странно... Что бы это могло значить? Ты говоришь: отвел в сторону правую руку, быстро-быстро приблизил ее к твоему лицу и коснулся щеки? Долго он держал руку около твоей щеки?

— Нет, сейчас же взял ее и спрятал в карман.

— Ничего не понимаю... Может, он заметил, что тебе было жарко, и обмахнул лицо?

— Нет! В том-то и штука, что мне не было жарко. Щека сделалась розовая не сначала, а потом.

— Непостижимо! Пойдем к другим товарищам — спросим.

* * *

Седой октябрист переспросил:

— Как, вы говорите, он сделал?

— Да так, — в десятый раз начал объяснять недоумевающий посланник. — Сначала встал, потом отвел в сторону правую руку, быстро-быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью щеки.

— Поразительно! Что он хотел, спрашивается, этим сказать? Гм... Может быть, у вас на щеке сидела муха, а он из вежливости отогнал ее?..

— Скажете тоже! Какие же зимой бывают мухи?..

— Ну, тогда уж я и не знаю — в чем тут дело.

Третий октябрист, стоявший подле, сказал:

— А может быть, он просто хотел попросить у вас папироску?

— Тоже хватили! Зачем же ему трогать мою щеку? Ведь не за щекой у меня лежат папиросы. Нет, тут не то...

— Не хотел ли он попрощаться?

— Как же это так? Кто будет за щеку прощаться?.. Прощаются за руку.

— Убейте меня, ничего не понимаю...

— Как вы, говорите, он сделал?

Посланник вздохнул и терпеливо начал:

— Так: встал, отвел в сторону правую руку, быстро-быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью щеки.

— Да, странно... А вы вот что: спросите какого-нибудь из правых; они эти штуки знают.

* * *

Когда правый пришел, все обступили его и засыпали вопросами...

— Обождите! Не кричите все зараз. Как он сделал?

— Так: встал, отвел в сторону правую руку, быстро-быстро-быстро приблизил ее к моему лицу и коснулся ладонью щеки.

— А, как же! Знаю! Еще бы...

— Что ж это? Ну? Что?

— Это пощечина. Обыкновенная оплеуха!

— Не-у-же-ли?!

Все были потрясены. Но подошел седой октябрист и внушительно спросил:

— Вы почувствовали боль в щеке после его прикосновения?

— Ого! Еще какую.

— А он... как вы думаете? Чувствовал в руке боль?

— Я думаю!

— Ну и слава Богу! — облегченно вздохнул опытный старик. — Вы чувствовали боль, он чувствовал боль. Значит — сосчитались!!

КУСТАРНЫЙ И МАШИННЫЙ ПРОМЫСЕЛ

То сей, то оный на бок гнется...

Сидя на скамейке Летнего сада, под развесистым деревом, я лениво рассматривал “Новое время”.

Низенькая полная женщина в красной шляпе и широких золотых браслетах на красных руках присела возле меня, заглянула через мое плечо в газету и после некоторого молчания заметила:

— Чи охота вам читать такую гадкую газету?

Я удивленно взглянул на свою соседку.

— Вам эта газета не нравится?

— Да, не нравится ж.

— Вот как! Вы, вероятно, недовольны той манерой угодничества и пресмыкания перед сильными, которая создала этой газете такую печальную извест...

— Ну — создала она, чи не создала — это меня не касается. То уж ихнее дело.

— А чем же вы недовольны? Может быть, меньшиковским нудным жидоедством, которое из номера в номер...

— Я вам, господин, не о том говорю, что там нудное или не нудное, а что гадости делать — это они мастера!

Уж такие мастера, что даже им вдивляешься. Ах, господин!..

Она поставила зонтик на землю, сжала его массивными коленями и освободила таким образом руки — исключительно для того, чтобы всплеснуть ими. Очевидно, у моей словоохотливой соседки что-то чрезвычайно накипело в сердце, и она жаждала излиться.

— Прямо-таки скажу вам — ну, мое дело бабье, значит, я понимаю в этом, ну, мне, как говорится, и книгу в руку. Так вы думаете, что? Они тоже воображают, что понимают, и уже они готовы мне дорогу перейти!

— В чем же дело? — удивился я.

— Это даже, я вам скажу, и не дело, а так себе, занятие. Ну, один там, скажем, торгует булками, другой имеет шляпочный магазин или шлепает картины, тот банкир, этот манкир, а я тоже — должна жить или не должна? Ой-ёй! Раньше все было гладко, как какое-нибудь зеркало. Все мои четыре девицы, которые снимали у меня квартиру, держали себя ниже воды, тише травы! “Тебе что нужно?” — “Ах, мамаша, мне нужно то-то. Или мне нужно то-то”. Враг я им? Натя вам то-то. Натя вам то-то! Они были до мене ласковые, я до их. А теперь они такие хамки сделались, такие настырные, что я даже у нас, в Харькове, таких не видела. Слова ей не скажи, унушения ей не сделай. Себя не соблюдают, меня не соблюдают, посетителя не соблюдают. “Манька, причешишься! Что ты ходишь растрепанная, как какая-нибудь Офелия! Что за страм!” Так вы знаете, что она мне теперь гаворит? “Отвяжись, толстая самка”, — она мне гаворит! Да я бы из нее, шибенницы, в прежнее время мочалы на целый гарнитур надрала, а теперь — попробуй-ка пальцем тронуть...

Она умолкла, рисуя зонтиком на песке какое-то слово. Я спросил.

— А что же будет, если тронуть?

— Попробуй-ка. Пальцем не тронь, слова не скажи. Сейчас же: “Ах, этак-то? Да начхать же я на вас хотела! Сейчас же в “Новое время” пойду”.

Я изумился.

— Как... в “Новое время”?

— Чи вы ж не знаете, как в “Новое время” ходят? Публиковаться. И идет ведь, дрянь этакая. Идет! Уже им прежняя мамаша не нужна, уже они себе новую мамашу нашли — “Новое время”. Здравствуйте! Уже они все на этом “Новом времени” сдурели. Ленивая там не публикуется! Она думает, что публикации от такого же слова, как

и ее занятие. Я, вы думаете, их держу? Идите, я говорю им, идите. Поищите себе в "Новом времени" такую мамашу. Кто их там научит, чему надо? Кто им даст совет? Вы думаете, публичный канторщик научит? Или сам господин Меньшиков с ними будет заниматься? От-то-ж дуры! Мало у Меньшикова и без них работы! До кого им там докторнуться? Буренину до них есть забота или господину Астольпину? Пойдите вы им поговорите! "Я иду в "Новое время!" Иди, миленькая моя, опять придется ко мне, чтоб тебе пропасть с той публикацией!! Такое я вам расскажу: была у меня Муся Кохинхинка... Девушка — мед! Пух. Масло. Кротости, доброты вдивительной. Говорю я ей как-то: "Ты что же это, ведьма киевская, чулки на подзеркальнике бросаешь? Холера тебя возьмет или что, если ты их на место положишь?" И как бы вы думаете? Надулась, ушла. Приходит на другой день: "Дозвольте, мамаша, вещи!" — "Муся! Кохинхиночка! Куда ж ты?" — "Не желаю я, гаворит, мамаша, ничего. Я теперь, гаворит, массажистка!" — "Мусенька! Да когда ж ты успела? Ведь ты вчера еще не была массажисткой?" — "Это, гаворит, мамаша, сушая чепуха. Пишется так, а читается, может быть, и иначе". Заплакала я. "Новую мамашу нашла?" Смеется. "Новую-с. Не вам чета. На двенадцати столбцах печатается. Хорошую публику иметь буду!" Ушла... Забрала свои хундры-мундры и ушла. Так что же вы думаете — вернулась! Через две неделечки. Статочное ли дело этим дурам без хорошего глазу жить. Рази ж газета за усем усмотрит? Обобрал ее какой-то фрукт, тоже из публикующих. Прожила она у меня полтора месяца, потом из-за чего-то, из-за какой-то паршивой ротонды, ка-ак фыркнет! Адьо-с — не вернусь! Куда, Мусичка? Я, гаворит, теперь натурщица. "Мусенька! Да какая же ты натурщица? Только одного художника ты и видела, который у меня в прошлом году стекла побил". — "Это, гаворит, ничего не значит. Желаю, гаворит, быть чудно сложена!" "Модель, чудно сложена, классические линии, позирует на любителя". И вы думаете, не ушла! Ушла! Такая большая газета и такую со мной, представьте, войну завела. Сегодня девушка у меня называется — Муся Кохинхинка, завтра в "Новом времени" — дама для компаний; на этой неделе она у меня Муся Кохинхинка, на той неделе она уже "пикантная brunetka в безвыходном положении: в этом месяце она, как честная порядочная девица, живет у меня в номере седьмом с мягкой мебелью, а в том месяце она живет уже в номере двенадцать тысяч пятьсот третьем на пятом столбце — прямо-таки ума не

постижимо! Все посдурели. Вот вы, господин интеллигентный, в красивом пальте, в котелке — ну что вы мне посоветуете?

Я подавил улыбку и сказал, стараясь быть серьезным:

— Они делают конкуренцию вам, а вы сделайте им: начните издавать такую же газету.

— Тоже вы скажете! У меня восемь номеров, а у них двенадцать тысяч. У меня шесть девушек, а у них, может быть, пятьсот! Нет, вы, господин, знаете? Я думала бы другое: что, если бы нам с ними войти в компанию?

Я подумал.

— Ну, что ж... Этим, вероятно, и кончится. Нынче все предприятия должны быть капиталистическими. Фабрика всегда пожрет мелких кустарей...

Мы оба молчали, думая каждый о своем. Закат красными лучами осветил меня и мою соседку, сидевшую с понуренной головой. И, шурясь на красное солнце, соседка со вздохом прошептала:

— Ох, любовь, любовь! Какое ты трудное занятие.

ТИХИЙ ОКЕАН

Русский писатель Аргусов был бодр и полон самых светлых надежд на будущее...

— Эх! — говорил он, весело хохоча. — Да и отмочу же я летом штуку!

— Какую штуку?

— Купаться поеду за границу.

— Почему именно за границу?

— Широкие, дорогой, у меня горизонты!.. Океана хочуте... Неизмеримого, безбрежного океана! Море — как хотите — не то. А представьте, например, Тихий океан! Ведь подумать только о его величине и раздолье — голова кругом идет!

Однажды мечтательный, тихо-восторженный Аргусов уложил чемоданчик и собрался ехать.

Пришли.

— Ты... куда? Куда собрался?

— Прощайте, братцы! Купаться еду в Тихий океан. Хе-хе!

— Нет, не прощайте; нет, не братцы; нет, не купаться; нет Тихий океан... Нет, не "хе-хе". Давай подписку! Артамонов, бери с него подписку!

Побледнел писатель.

— Какую?

— На белой бумаге. О невыезде за границу. Над тобой, братец, еще три литературных дела висят! Видали? За границу захотел, на Тихий океан. Эх, ты! Тихоокеанец...

Даже рассмеялись, уходя.

Смеялся и писатель. Не особенно, впрочем.

— Еду, — говорил писатель. — Купаться. На Черное море еду! Хе-хе! Вы подумайте — какая прелесть: Черное море! Это тебе не река какая-нибудь или озеро. Выйдешь это к воде: ого-го — горизонта не видно! Прелестная, должен я вам сообщить, вещь — Крым!

Собрался. Поехал.

— Вам чего?

— То есть? Мне даже странно... Вам-то что? Купаться приехал.

— Нельзя тут купаться. Писатель? Нельзя. Артамонов, проводи их.

— Как вы смеете? Ваше, что ли, Черное море?

— Идите, идите! Вот чудак! Подумаешь — черноморец выискался.

Встретили писателя совсем недавно. С узелочком шел.

— Вы куда?

— Купаться буду. Прекрасное это учреждение — Фонтанка. Утонуть нельзя, а выкупаться можно. А горизонты — если вдуматься, на кой они мне, в сущности, прах.

Пришел писатель на Фонтанку. Остановился. Уже жилетку стал снимать.

— Эй, эй! Господин! Чего такого делаете? Нельзя!

— Да я купаться. Можно?

— Купаться тут нельзя. Правил таких не исделано. Ежели, будем говорить, утопленники — с ними другой разговор. А — купальщик, он не тово-с. Купальщику тут невозможно.

— Ну, ладно... Я топиться буду.

— Тоже на виду нехорошо. Ежели тишком, с плохого надзору — твое счастье! А так — это что же... Артамонов! Проводи их на сухое место.

Поливали дворники мостовую. Мимо проходя, приблизился к ним писатель и попросил:

— Я вам пяточок дам, а вы меня из книжки искупайте!..

— Да Господи ж, — обиделись добрые дворники... Разве ж мы за деньги или что? Да мы и так рады облить человека.

Брызнула струя... Только поворачивался ликующий, просветленно-восторженный писатель.

Пробежал мимо мальчишка, только что выдранный кем-то за уши...

Увидев такую картину, увидя потоки холодной воды, забыл мальчишка все свои горести, заплясал на одной ножке и завопил радостно:

— Браво! Воды-то сколько!.. Тихий океан!!

ОТЦЫ И ДЕТИ

...Семья состояла из трех лиц: самого хозяина дома Гниломозгова — члена Государственной Думы четвертого созыва, его жены Анны Леонтьевны и сына Андрюши — крохотного вихрастого гимназиста.

Сегодня в семье Гниломозговых был большой шум и скандал...

Началось с того, что Андрюша покрасил белого мамино шпика в черный цвет; почуяв запах чернил, резвая собака вырвалась из рук юного вершителя ее судеб, прибежала в гостиную и стала кататься по диванам и креслам...

Пораженная ужасом, Анна Леонтьевна схватила собаку, засунула ее в шкафчик, на котором стоял граммофон, но при этом запачкала себе руки и пеньюар чернилами.

И ударил на Андрюшу гром:

— Чтоб тебе до завтрашнего дня не дожить, паршивец ты несчастный! Чтоб тебя всего перекорежило, подлеца! Извольте видеть — собак ему нужно перекрашивать! Вместо того чтобы задачи решать — собак красить!! Обожди ж ты... Да нет, нет, не спрячешься... Ты думаешь, я тебя отсюда не достану? Достану, голубчик... Вот, вот... Пойди-ка сюда, пойдиди... Вот тебе, вот!! Что, нравится? А теперь посиди-ка у меня в темной ванной. На тебе еще раз — на память!

Избитый, униженный был брошен Андрюша в темную ванную. А разъяренная Анна Леонтьевна побежала в кухню мыться и чиститься.

В кухне она увидела следующее: ее муж, член Государственной Думы четвертого созыва, держал за руку краснощекую полномясую Дуню и говорил ей грешные слова:

— А вот возьму да поцелую!

— Да зачем же, Иван Егорыч?

— А вот возьму да поцелую.

— Господи! Да зачем же это? К чему вам беспокоиться!

— А вот возьму да поцелую! Ги-ги...

— Ну к чему же это?

Затрудняясь ответить на этот ленивый, бессодержательный вопрос, Иван Егорыч безмолвно припал к Дуниной пышной груди и... сейчас же отлетел к кухонному столу...

— Опять?! — закричала Анна Леонтьевна. — Ах подлец! Весь в сынка: тот собаку перекрашивает, этот жену меняет на черт знает что! Поди сюда... Пойди, сладострастник проклятый! Я с тобой поговорю после, а пока ты у меня посиди-ка в ванной, чтобы тебя перекорежило!

И был Иван Егорыч сильной рукой жены ввергнут в темную холодную ванную комнату.

* * *

— Ой, кто тут такой?! — вскричал испуганно депутат.

— Это я, папа, не бойся... — сквозь слезы отвечал Андрюша. — Тебя — мама?

— Мама, — со вздохом прошептал депутат, усаживаясь на плетеную корзину для белья.

— Меня тоже мама...

Оба помолчали. Было так темно, что друг друга не видели. Почему-то разговаривали шепотом.

Чувство нежности к сыну наполнило сердце Гниломозгова.

— Бедные мы с тобой, Андрюша, — всхлипнул он. — Не живем, а мучаемся. Тебя за что?

— Собачку хотел перекрасить. Все белая да белая — прямо-таки надоело. А тебя за что?

— За горничную.

— Поколотил ее, что ли?

— Да нет, напротив. Я к ней очень ласково...

— Странно... — вздохнул невидимый Андрюша. — Значит, просто придирается.

Нашел отцовскую руку, пожал ее и погладил.

— Ничего-о... Может, скоро выпустит.

“Хороший у меня сынок, — подумал тронутый Гниломозгов, — а совсем я забросил мальчишку. Поговорить с ним даже не приходится...”

Разговорились...

— Ну, что у вас в гимназии, — спросил депутат. — Распустили вас на масленую?

— Да, — прошептал Андрюша. — На три дня. А вас?

— Э, нас! — самодовольно улыбнулся депутат. — Нас, брат, на десять дней распустили.

— Счастливые! А на Рождество как?

— На Рождество тоже месяц гуляли...

— А мы две недели.

— На Пасху нас дней на сорок распустят...

Даже в темноте было видно, как Андрюшины глазенки засверкали завистью.

— Господи! Вот лафа! А летом вас когда распускают?

— В июне.

— Одинаково, значит. А когда обратно, в училище?

— В Думу, а не в училище! В октябре.

— Да ну?! Значит, почти ни черта не делаете?! А мы-то, несчастные... Чуть не с августа... А как у вас с экзаменами-то?

— Никаких экзаменов! Ни-ни. Просто так.

— А мы-то! — простонал в темноте Андрюша. — Прямо печально! И отметок тоже не получаете?

— Отметок?... Каких это? Нет, теперь нет. В третьей Думе, кажется, Годнев получил отметку... от городского... А так, вообще — нет.

— А задают вам много?

— Задают-то? Да иногда много. Вот это, говорят, расмотри и пропусти, и это. А этого не пропускай.

— Зубрить-то, значит, не надо?

— Нет, просто в двери проходим. А вы как? — осведомился шепотом депутат.

— Да приходится позубривать. У нас, брат, подтрудней. Прижимисто...

Андрюша глубоко вздохнул.

— В поведении иногда тоже сбавляют.

— Чего сбавляют?

— Отметку. Если нашились.

— И у нас, — сказал депутат. — Раньше мы не отвечали, были безответственны — понимаешь? — А теперь нам сказали, что мы отвечаем за свои слова.

— И наказывают?

(Материалы для нижегородской истории)

— Наказывают.

Товарищи по несчастью погрузились в молчание.

Андрюша долго и тщетно размышлял: чем бы таким поразить отца, чего у того не было.

— А у нас обыски делали! У гимназистов.

— И у нас, — подхватил отец.

— Ну, это ты выдумал, — с досадой возразил Андрюша. — Если я сказал, так тебе нужно тоже похвастать...

— Ей-Богу, делали! — оживился отец. — У депутата Петровского. Мне хвастаться, брат, нечего. Это уж факт!

Чтоб было удобнее, отец сполз с корзины и улегся спиной вверх на мягкий половичок; сын нащупал отца и лег рядом с ним. Придвинув лицо к бороде отца, он тихо стал рассказывать:

— Сидят все, чай пьют — никто ничего не думает; вдруг — звонок! Что такое? И говорят оттуда, из-за дверей: “Примите: телеграмма пришла!” Ну, когда поверили, открыли двери — они и вскочили... “У нас, говорят, какое-то там расписание есть для обыска”...

— Предписание.

— Ну да, или там предписание. Все, конечно, испугались, а они стали обыскивать...

Потом раздался тихий шепот отца:

— И у нас тоже... Тоже пришли к депутату Петровскому... И телеграмма была, и предписание... Все как у вас...

Долго еще раздавался на половичке в ванной комнате еле слышный шепот.

Оба, растроганные одинаковостью своей судьбы, долго поверяли друг другу свои маленькие горести и неудачи.

* * *

И когда Анна Леонтьевна открыла дверь и сказала сердито: “Ну, вы, шарлатаны, выходите, что ли!..” — оба товарища по несчастью вышли, держа друг друга за руку и шурясь от яркого света.

Пили чай рядышком, а вечером, склонившись около лампы, долго перелистывали Андрюшины учебники и отцовы законопроекты.

Отец объяснял Андрюше задачи, а Андрюша рассматривал несколько законопроектов и высказал по каждому из них свое мнение, внимательно выслушанное притихшим отцом.

В приемной нижегородского губернатора Хвостова сидел мещанин города Одессы М. Циммерман; сидел он долго, изредка вздыхал и время от времени поглядывал на часы.

Наконец двери кабинета его пр-ва распахнулись и полицеймейстер Ушаков, выкатившись из кабинета, крикнул:

— Подтянись! Их превосходительство изволят идти!

Хвостов обвел взглядом приемную и, улыбнувшись благосклонно, подошел к Циммерману.

— А! Господин Циммерман! Очень рад вас видеть... Как поживаете?

— Ваше пр-во! — растроганно воскликнул Циммерман. — Поверьте... я... такое счастье!

— Ничего, ничего! Я, вообще, всегда... Ну, как идут дела вашей фирмы?

— Фир... мы? Да спасибо, хорошо.

— Я, милый мой, вызвал вас вот почему... мне нужен, видите ли, этакий... рояль... Гм! Да. Так вот: не можете ли вы прислать мне рояль? У вас ведь их много.

— У меня? Рояли? Ваше пр-во! Да у меня нет ни одного рояля.

— Ну что вы говорите! Неужели все распродали?

— Да я ими никогда и не торговал.

— Вы меня ошеломляете! Такая солидная фирма...

— Какая, ваше пр-во?

— Да ваша же: Юлий Генрих Циммерман.

— Простите, ваше пр-во, но я не тот Циммерман. Другой.

— Ага! Родственник. Ну, может быть, вы бы похлопотали там: “Вот, мол, дорогой Юля, есть тут у меня приятель один... Хвостов, мол...”

— Да он даже не родственник мой. Я его совсем не знаю.

— Экая жалость! Ну, автомобиль-то... Автомобиль... Можете мне прислать?

— Откуда же мне взять автомобиль, ваше пр-во...

— Как откуда? С вашего завода.

— У меня нет завода, ваше пр-во.

— Вы разве не Бенц?

— Нет, я Циммерман.

— Ага! Значит, однофамилец. Так, так, так, так... Но, во всяком случае, чем же вы занимаетесь? Что вы можете мне предложить?

— Я антрепренер оперного театра, ваше пр-во.

— Так, так, так, так! И он, злодей, молчит, а? Хе-хе-хе! У вас как же... тово, а? И женщины тоже поют, в опере? Или только мужчины?

— И женщины, ваше пр-во.

— А как они; тово?

Градоправитель пошевелил в воздухе пальцами.

— Чего, ваше пр-во?

— Ну, этого... знаете? Как его...

— Какие у них голоса?

— Ну, да и голоса, конечно... Это, конечно, тоже интересно... Ну, а как они, вообще... этого, как его?..

— Вы хотите знать их фамилии, ваше пр-во?

— Ну да, конечно, и фамилии... это тоже любопытно... Да нет, не фамилии! Как они, одним словом... Ну как это называется?

Градоправитель сделал рукой около своего лица округлый жест.

— Вы хотите спросить, гримируются ли? Да, конечно, перед спектаклем гримируются. Это уж такое правило — кто участвует в пьесе, тот гримируется.

— Да нет же! Хе-хе-хе! Вы скажите мне вот что...

— Что, ваше пр-во?

Градоправитель залился добродушным смехом и пощекотал посетителя пальцем под мышкой.

— Ах вы греховодник! Вы скажите просто: хорошенькие они?

— Да, есть очень приятные дамы.

— Это хорошо, что приятные. Я люблю; это украшает город. Садитесь, пожалуйста!

— Не беспокойтесь!

— Скажите... Гм!.. Они у вас, вообще... тово?..

— Чего, ваше пр-во?

— Этого самого... Вообще, ужинают?

— Помилуйте, ваше пр-во. И ужинают, и обедают, и завтракают! На этот счет у нас, как полагается.

— Значит, ужинают? Это хорошо, что ужинают. Ужины — хорошее дело. Вы мне на завтра пришлите парочку.

— Ужинов, ваше пр-во?

— Да нет, не ужинов, а этих самых... певичек...

— Певиц, ваше пр-во.

— Ну да. Вам там виднее, кого. Так вот, вы им и скажите, чтобы ехали.

— Передам, ваше пр-во. Если захотят — придут.

— Да они, в том-то и дело, что не хотят. Мы их уже приглашали. Ушаков! Ты приглашал?

— Так точно, приглашал!

— Что ж они?

— Говорят — не хотим. С незнакомыми, говорят, не ужинаем.

— Как это вам понравится, — воскликнул изумленно губернатор, переплетя пальцы и поглядывая на Циммермана. — Губернатор — и вдруг незнакомый! Что они у вас — бомбистки или как?

— Я им передам ваше приглашение; может, они и придут.

— Милый! Так ничего не выйдет. Вы им прикажите... Ведь вы начальство!

— Не могу, ваше пр-во. Это частная жизнь.

Градоправитель поморщился.

— Ушаков!

— Есть!

— Убеди!

Полицеймейстер приблизился к антрепренеру.

— Послушайте... Я вам по-дружески советую...

— Не могу.

— Слушайте! По-товарищески советую...

— Ей-Богу, не могу.

— Добра вам желаю!

— К сожалению...

— Ну!

— Поймите, господа, что...

— Ну?!!

— Да, право же, никак не воз...

— Стой! — крикнул полицеймейстер. — Вы кто такой? Как ваша фамилия?

— Циммерман.

— Антрепренер?

— Д... да.

— Ваше пр-во! — воскликнул полицеймейстер. — Поздравляю вас! В наши руки попался опасный преступник...

— Ну?! — испугался губернатор. — А что он... тово... что сделал?

— Он? Не внес полностью залога в обеспечение жалованья труппе.

— Какой ужас! — воскликнул губернатор, с отвращением глядя на Циммермана. — Душа холодеет от деяний этого человека-зверя!

— Да уж... — содрогнулся полицеймейстер. — Вероятно, наследственность. Дегенеративный череп...

— Дикий зверь, тигр, пантера — и те не были бы способны на такую гнусность. Тигр бы бенгальский даже внес залог в обеспечение трупы. Боже! До какой бездны может пасть человек! Земля содрогается от ужаса, что носит на себе это чудовище! Во Франции его бы гильотинировали, а у нас... в нашу эпоху слюнявого сентиментализма... Посади-ка его, Ушаков, на три месяца в порядке охраны!

— Ваше пр-во!!!

— Ни слова более! Можете сами кататься с вашими певицами на автомобилях и брэнчать на роялях!.. Эй, люди! Возьмите этого человека-зверя!!

Звякнули кандалы.

Рассказав вышеизложенное, я, в силу справедливости, должен привести опровержение бывшего губернатора Хвостова (ныне — члена Государственной Думы):

— Ничего подобного не было! Я просто однажды хотел угостить купечество и пригласил артисток в гостиницу для дивертисмента. А Циммермана я арестовал за то, что он не внес полностью залога.

Один флегматичный хохол прочел это возражение и тоже возразил на него:

— От-то-ж! Не вмер Данила — болячка задавила.

НОВОЕ О ЧЕХОВЕ

Не так давно редактор, подойдя ко мне (он человек не гордый и иногда запросто беседует с сотрудниками), сказал:

— Не можете ли вы, Фома, достать что-либо новое об Антоне Павловиче Чехове?.. Пусть это будет вещь не юмористическая — все равно. Незабвенный писатель так дорог нам всем, что даже случайные воспоминания о нем, обрывки воспоминаний будут бесконечно близки нашему сердцу.

Я, прослезившись, отвечал:

— Хорошо. Надеюсь, что за места, которые будут бесконечно близки вашему сердцу, вы заплатите гонорар соответствующий... До свиданья. Еду.

Первый встреченный мною человек, который мог, по его словам, рассказать мне о Чехове, был очень словоохотлив и сейчас же начал свои воспоминания.

— Как же, помню, помню!.. Теперь покойничку было бы уже 60 лет, царство ему небесное...

— Что вы! На днях ему только 50 исполнилось... Об этом я сам читал.

Мой собеседник засмеялся.

— Узнаю покойника... Всегда любил десяточек лет сбросить... Он даже собственным детям не открывал своих лет.

— Детям! Разве у него были дети?!

— Семеро было. Неужели вы не знали?

— Я не верю своим ушам! Насколько я знаю...

Но тут я скромно замолчал. Это была интимная жизнь незабвенного писателя, и касаться ее мне казалось неделikatным. Я перевел разговор:

— Вы помните какие-нибудь любопытные случаи из жизни покойника?

— Сколько угодно! Однажды мы с ним пили в железнодорожном буфете водку. “Хочешь, — говорит, — я аршин водки выпью? Ставь рюмки в ряд, отмеривай аршином, и я пить буду!” Что хохоту было тогда... Умора!

— Гм... А еще вы ничего не помните из его личной жизни?

— Как же! Однажды получил он из имения деньги... Что-то тысяч десять...

Я изумился.

— Неужели у него было имение?

— Сколько угодно! Три имения было. Два самарских, одно подмосковное... Получил он деньги, я ему и говорю: “Чем эти деньги на цыганок бросать, ты бы, Вася”...

— Антоша, — подсказал я.

— Вася! Какой там Антоша?

Я вспылил:

— Да ведь вы мне об Антоне Павловиче Чехове рассказываете? О писателе?

Он с дурацким удивлением взглянул на меня.

— О каком Антоне Палыче, государь мой? Я рассказываю о гусарского полка штабс-ротмистре Василии Дорофеиче Чехове-Чеховиче! Рубаха-парень был!..

— Тьфу!!

— Вы не плюйтесь... За это ответите.

* * *

Я встретился с другим господином и завел с ним разговор о Чехове.

— Вы знаете что-нибудь о Чехове? Именно об Антоне Павловиче Чехове, а не о ком другом.

— Я? О Чехове? Сколько угодно. Мы ведь с ним вместе писали в “Стрекозе”. Его, надо признаться, терпели там, как неизбежное зло, а меня редактор очень любил. Однажды я прихожу к редактору, а он мне и говорит: прекрасный рассказ вы дали нам, дорогой Петр Иванович...

— А Чехов?

— Что Чехов?

— Был при этом?

— Да зачем же ему обязательно быть при этом?

— Вы мне лучше что-нибудь о Чехове расскажите. Как он, вообще, работал?

— Кто, Чехов? Так, знаете, писал разные рассказы... А я в то время уже драму написал. Прекрасная драма. Снес к Суворину, а он и говорит мне: “Талантище у тебя, Петя!”

— Послушайте! Я вас о Чехове прошу рассказать, а вы о себе рассказываете... О вас мы еще поговорим... даю вам честное слово! Вот будет ваш юбилей — тогда и поговорим... А вы мне сейчас о Чехове что-нибудь...

— Да что ж о Чехове... Можно и о Чехове. Встречаю я его как-то на улице. Спрашивает: “Куда идешь?” В “Ниву”! Прихожу я в “Ниву”, секретарь встречает меня восторженно: “Ну, знаете, батенька, ваша повестушка”...

Я злобно посмотрел на собеседника и прошипел:

— Идиот.

Он пожал плечами:

— Не скажите!

* * *

Наконец я нашел настоящего человека, с которым мог поговорить о Чехове: с первых слов я заметил, что он о себе скромно умалчивает, не путает Чехова с кем-нибудь другим и о дорогом покойнике говорит с вполне понятным благоговением:

— Чехова? Антон Палыча? Как же не знать... Очень даже хорошо.

— Интересные случаи какие-нибудь из его жизни помните?

— Есть. Как-то прихожу я к нему, а он выходит, хромает... Что такое? “Да, сапог, — говорит, — что-то жмет”. “Э, — говорю, — пустяки! На колодки их натянуть, да разбить”...

— Ну?

— Ну, и, действительно, после колодок сапоги не жали.

— Это мелкий факт. Других нет ли?

— Есть и другие. Приезжает как-то он ко мне. “Нынче, — говорит, — пошла мода на ботинки с широкими носками... Как ты посоветуешь”? Усмехнулся я: “Выдумывают все”!..

— Ну?

— Ну, все-таки заказал покойник. Любил хорошую обувь. В последнее-то время он больше в мягких туфлях ходил. Ковровые такие...

— Да нет, вы мне расскажите, как он писал?!

— Да так и писал. “Ежели, — говорит, — Панфилич, сапог у меня узкий, так я, — говорит, — и писать не могу, как следует. Беспокойно, значит”.

Терпение мое лопнуло.

— Господи! Что вы мне сапог да сапог, туфли да туфли... Будто вы сапожник какой.

— Это точно. Сапожник и есть. Покойник пятнадцать лет сапоги у меня шил...

Когда я принес редактору вышеприведенное “Новое о Чехове”, он прочел рукопись и благосклонно сказал:

— Страшный вздор! При чем здесь в серьезной статье какой-то сапожник, Чехов-Чеховский, какой-то Петя!..

Я всплеснул руками.

— Боже ты мой! Да здесь же, в этой одной статье, три статьи:

1) “Антон Чехов и его читатель”.

2) “Антон Чехов в воспоминаниях и характеристиках современников”.

3) “Антон Чехов и критика о нем”.

И я, подбоченившись, потребовал себе тройной гонорар.

ЖВАЧКА

Однажды на обеде в память Чехова несколько критиков говорили речи.

Один сказал:

— Чехов был поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции...

— Bravo! — заплодировали присутствующие.

Другой критик заявил, что и он тоже хочет сказать речь...

Подумав немного, он сказал:

— Изобразитель российских сумерек, Чехов в то же время был певцом интеллигентского безволия.

Третий критик объявил, что если присутствующие ничего не имеют против, то и он готов возложить скромный словесный венок на могилу “певца сумерек”.

— Bravo!

Критик поклонился и начал:

— В дополнение к прекрасным характеристикам Чехова, сделанным моими коллегами, я скажу, что талант Чехова расцветал в сумерках русской жизни, в которых текла и жизнь безвольной интеллигенции... Да, господа! Чехов, если так можно выразиться, поэт сумерек...

И встал четвертый критик.

— Говоря о Чехове, многие забывают указать на ту внешнюю обстановку, в которой жил великий писатель. Время тогда было серенькое, и это отражалось на героях его произведений. Все они были серенькие, сумеречные, ибо то время было время сумерек, и Чехов был его поэтом. Безвольная, рыхлая интеллигенция того времени нашла в нем своего бытописателя; и, подводя итоги деятельности Чехова, о нем можно выразиться в заключительных словах: “Чехов был настоящим поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции...”

* * *

Я отозвал этого четвертого критика в сторону и спросил:

— Откуда вы узнали, что Чехов был поэтом сумерек?

Он тупо посмотрел на меня.

— Я знаю это из достоверных источников.

— Изумительно! Так-таки — поэт сумерек?

— Ей-Богу. И еще — певец безвольной интеллигенции.

— Да?!

Я потихоньку подводил его к открытому, по случаю духоты, окну и в то же время с интересом говорил:

— Как вы все это ловко и оригинально подмечаете!..

Опершись на подоконник, он сказал:

— Интеллигентское безволие, расцветшее в сумерках чеховск...

Кивая сочувственно головой, я неожиданно схватил его за ноги и выбросил в окно.

Оно находилось на высоте четвертого этажа.

Одним глупым критиком сделалось меньше.

* * *

Это была моя жертва на алтарь прекрасного, чуткого писателя...

Певца сумерек...

ПОСЛЕДНИЙ ЭКИПАЖ

У Редактора, о котором я хочу рассказать, была красивая молодая жена.

Однажды, сидя у мужа на коленях, жена поцеловала его и тихо сказала:

— Муж! Я хотела бы иметь парочку лошадок и английский экипаж. Это так модно.

Редактор посмотрел в потолок и задумчиво прошептал:

— Жаль, что вчера меня оштрафовали на тысячу рублей. Хотя это тоже очень модно, но, не будь этой моды, ты имела бы лошадок.

По опыту жена хорошо знала, что всякая мода недолго держится. Поэтому она спросила:

— До каких же пор эта мода будет продолжаться?

— Насчет английского экипажа?

— Нет, не насчет английского экипажа.

— А-а... До законов о печати!

И, видя, что облако грусти окутало лицо жены, Редактор ласково сказал:

— Даю тебе слово, что в первый же день обнародования законов о печати ты получишь свой экипаж и лошадок!

Жена повеселела.

Однажды жена опять сидела у мужа на коленях и говорила:

— Помнишь, ты пять лет тому назад обещал мне экипаж и лошадок.

— Ну?

— Так эта мода уже прошла. Теперь модно иметь автомобиль.

— Жаль, что вчера я заплатил три тысячи. А то был бы у тебя автомобиль.

Грустное молчание воцарилось в кабинете. Потом жена тихо спросила:

— Ваша мода разве еще держится?

— Держится.

Редактор поцеловал жену в маленькую морщинку, появившуюся недавно около ее потускневших глаз, и пообещал:

— Вот только будут законы о печати — в тот же момент у твоего подъезда загудит хорошенький автомобиль. Так: гу-у-у-у...

Жена попыталась сделать веселое лицо.

Однажды жена сидела около Редактора на диванчике и грустно говорила:

— Помнишь, старичок, я сидела у тебя на коленях... Это было давно-давно... Так давно, что я еще могла сидеть у тебя на коленях... И ты мне обещал купить автомобиль!

— Память моя стала слабеть... — наморщив брови, прошептал Редактор. — Но я вспоминаю...

— Так ты мне автомобиля теперь уж не покупай: они вышли из моды. Знаешь, что теперь модно? Хорошенький моноплан! Я вчера видела жену Листопадова. Она полетела на премиленьком моноплане Блерио в гости к Бычковым... Тем самым, что на днях купили биплан Райта...

Поникнув головой, жена робко спросила:

— А ваша мода?

— Держится, — отвечал Редактор, глядя дрожащей костлявой рукой седые кудри жены. — Вот скоро, пишут, будут законы о печати. Тогда уж мы вздохнем свободно. И у моей маленькой женки будет хорошенький, проворенький бипланчик Райтика...

Припав к плечу старого глупого Редактора, жена тихо, беззвучно плакала...

Однажды...

Жена уже не сидела у Редактора на коленях и не сидела около него на диванчике. А она лежала на кровати с печалью смерти на лице и ласково смотрела на друга своей жизни, стоявшего у кровати на дряхлых коленях.

— Помнишь, милый... — слабеющим голосом говорила жена Редактора. — Ты обещал мне купить биплан в тот день, когда будут обнародованы законы о печати?

Муж виновато улыбнулся.

— Что же... Разве они уже вышли из моды, бипланы эти?

— Для меня, пожалуй... Теперь мне не надо ни английского экипажа, ни автомобиля, ни биплана, ни моноплана... Черная с серебром коляска, пара лошадей с черными султанами и несколько важных-преважных факельщиков. Это экипаж, мода на который долго держится.

И, подумав немного, жена спросила деловым тоном:

— На этот экипаж у тебя, надеюсь, найдутся деньги?

Сдерживая рыдания, муж отвечал:

— Да... Экономя на папиросах, я собрал для этого триста рублей.

Жена Редактора вздохнула в последний раз и вытянулась.

— Иван! — говорил Редактор своему слуге. — Если кто меня спросит, скажи, что я пошел в погребальную контору заказывать для барыни погребальный экипаж.

— Слушаю-с! Там в приемной ждет околоточный с постановлением...

— С каким? — радостно спросил Редактор. — Неужели он принес известие о введении законов о печати?!

— Нет. У него есть постановление на триста рублей без замены арестом.

Привычным жестом полез Редактор в боковой карман и вынул три сотенных бумажки.

ДУШЕВНАЯ ДРАМА ФЕДИ ЗУБРЯКИНА

Это случилось в купе вагона железной дороги. Новый курский депутат Пуришкевич купил себе место в вагоне, но оно ему не понравилось.

Тогда Пуришкевич стал искать места получше.

Ему понравилось место барона Клодта. Спрятавшись за дверь, Пуришкевич устерег момент, когда барон Клодт отлучился куда-то, — выскочил из-за двери, сбросил вещи барона Клодта на пол и улегся на месте барона Клодта.

Вернувшийся барон Клодт был очень огорчен случившимся.

— Виноват, — сказал он. — Вы заняли, вероятно, по ошибке мое место...

По словам газетного корреспондента, Пуришкевич возразил на слова барона Клодта.

Но это возражение было — “песня без слов”.

Пуришкевич “в ответ на это лег на живот и заболтал ногами”.

Это было возражение, к которому барон мог и не прислушиваться; это возражение можно было видеть.

Барон позвал кондуктора.

В ответ на просьбу кондуктора Пуришкевич снова возразил: заболтал ногами.

Оживленный разговор этот продолжался недолго: когда взгляд кондуктора перешел с быстро мелькающих ног на голову пассажира, он всплеснул руками и вскричал:

— Это Пуришкевич! Бежим! Оставим его в покое — Бог с ним.

И оба, подхватив вещи барона, убежали, а Пуришкевич остался лежать на животе, болтая вслух сам с собой ногами.

* * *

Этим дело не кончилось.

Маленький второклассник Федя Зубрякин видел все происшедшее и решил, что сама судьба дает ему в руки ключ к счастью и благосостоянию. Он понял, что меньше устраиваться в жизни — вещь простая, и пути к достижению благополучия всецело находятся если не в его руках, то в ногах.

Посмеиваясь, маленький хитрец собрал свои вещи, перенес их в купе первого класса и улегся на бархатный диван.

— Виноват, — раздался над ним чей-то голос. — Это мое место. Потрудитесь уступить.

Федя Зубрякин был малый не промах: он лег на живот и заболтал ногами.

— Послушайте! Я вам говорю!..

“Шалишь, брат”, — подумал Федя и еще больше заболтал ногами.

— Уйдите отсюда, слышите?

Федя болтал ногами.

— Айяйяй, — укоризненно сказал пассажир. — Такой большой малчик, а поступает, как маленький поросенок.

“Говори себе, что хочешь, — внутренне усмехнулся Федя, — а мое дело правое”.

— Подумай! — сказал пассажир. — Ведь ты уже ученик гимназии, а поступаешь, как какой-нибудь дурак!

Федя болтал ногами.

— Нет, это, наконец, невыносимо! Кондуктор!

— Что прикажете? — спросил кондуктор.

— Уберите этого нахала. Он уже не дитя, чтобы болтать ногами, заняв чужое место!

— Эй, мальчик! Уходи-ка отсюда... Это место чужое.

“И чего они ломаются, — подумал Федя. — Знают же, что меня с места согнать нельзя!”

— Нечего тут ногами болтать! Уходите! А еще гимназист.

На шум пришли пассажиры соседних купе.

— Что тут случилось?

— Да вот: занял мое место, а когда я прошу его уйти — он болтает ногами.

Сзади кто-то соболезнующе сказал:

— Может, эпилептик?

— Еще что скажете! Просто озорничает мальчишка.

— Господи! Такая здоровая дубина — лет десять, если не все двенадцать, а ведет себя, как кретин.

— Может, отсталость в развитии? Это бывает.

— Хорошая отсталость: занял чужое место и болтает ногами. Пошел вон!

“Почему же они не убегают от меня? — подумал Федя, начиная внутренне сомневаться в правильности занятой им позиции. — Может быть, я недостаточно быстро болтаю ногами? А ну, попробуем так”...

— Ах, какая дрянь, мальчишка!

— Форменная свинья!

— Такой огромный мальчишка, а дурак!

— Осел какой-то упрямый.

— Да чего там на него смотреть: тащите за уши, да на пол!

...И вдруг Федя Зубрякин почувствовал себя висящим в воздухе. Кто-то дал ему подзатыльник, кто-то энергично дернул за ухо.

— Так ему! Так этому мальчишке и надо. Чтоб в другорядь было неповадно.

— Хе-хе!

— Выставили голубчика.

— Ах, нахал! Да и нахал же нынче пошел мальчишка.

— Сушая дрянь.

— Вот она — революция-то!..

Понурившись и еле таща чемоданчик, брел Федя Зубрякин из вагона в вагон. Уши горели, как уголья, и затылок болел.

А пуще всего болело маленькое доверчивое сердечко, впервые столкнувшееся с несправедливостью взрослых.

— За что? Господи, за что же? — шептали дрожащие от обиды бледные губки ребенка.

Мороз крепчал.

ЗАНЗИВЕЕВ

Был в Государственной Думе депутат...

Лицо он имел самое незначительное, даже немного туповатое, держался всегда скромно, был молчалив, речей не произносил ни разу, а во время перерывов бродил, одинокий, по кулуарам и все усмехался про себя, шевеля пальцами, будто о чем-то втихомолку рассуждая...

Вне Думы все время проводил в своих меблированных комнатах, шагая со скучающим видом из угла в угол, и только изредка чему-то усмехаясь.

Так как он не принадлежал ни к какой партии, то депутаты не обращали на него ни малейшего внимания и многие даже не знали его фамилии...

А фамилия у него была Занзивеев.

И нельзя было узнать — кто такой Занзивеев? За какие заслуги был он выбран своими избирателями? Кому нужно было это пустое место?

По ночам Занзивеев иногда просыпался на своей узкой постели, всплескивал руками, поджимал худые колени к подбородку и, свернувшись таким образом в комок, хохотал долго и весело.

Занзивеев был страшный человек.

* * *

Однажды какой-то добрый мягкосердечный журналист, давно уже следивший за одиноким, скромно бродившим по кулуарам Занзивеевым, подошел к нему и снисходительно сказал, протягивая руку:

— Позвольте познакомиться... Я давно уже хотел вас спросить... Зачем вы ходите всегда особняком? Что заставляет вас ходить вдали от партий, никогда не выступать на трибуне, не заявить вообще каким-нибудь образом о своем существовании?

Занзивеев пожал плечами и сказал еще более снисходительно, чем журналист:

— Ах вы, вьюноша... Да зачем же мне это нужно?

Так как Занзивеев сделал ударение на слове "мне", то журналист возразил:

— Другие же делают это!.. Люди, находящиеся в одном положении с вами...

Занзивеев охнул и закатился тоненьким смехом:

— В одном положении? Нет, дорогой мой, не в одном положении... Хе-хе! Я, миленький, совсем другое!..

— Да что же вы такое? — спросил с некоторым любопытством журналист.

— Я-то? Я, миленький, большая персона. За меня голдой рукой не берись. Депутатов-то может четыреста штук одинаковых, а я особенный...

— Что ж вы, — усмехнулся журналист, — в министры думаете попасть?

Занзивеев сделал серьезное лицо.

— Видите ли, дорогой вьюноша... Министров-то несколько штук, а я один. Губернаторов разных, тайных там советников — много, а я один.

Он задумался.

— Я не говорю, конечно, министр — большая власть, а все же я больше...

— Именно, вы? Вы — один?!

— Я, миленький. Я. Захочу я, чтоб были броненосцы, — будут. Захочу, чтобы неприкосновенность личности была, — будет! Я-то не честолюбив... А захоти я — ездил бы в золотой карете на каких-нибудь редчайших розовых лошадях, и народ отдавал бы мне королевские почести. Вот как! Потому я — единственный, все во мне и все от меня!

Занзивеев оживился. Глаза его сверкали, руки бешено махали в воздухе, и торжествующий голос звучал как труба.

— Я скромный! — кричал он, пронзительно смеясь. — Меня никто не знает... А кто провалил те законопроекты, которые мне не нравились, кто может подарить России мир и преуспяние или — если у меня скверное настроение — новую бурю, новый взрыв народного возмущения? Кто может облагодетельствовать народ? Занзивеев! Конечно, Занзивеев не рекламист, он не говорит с трибуны глупостей, Занзивеев скромный. А вы, вьюноша, ха-ха! думали снизойти до меня, обласкать, пожалеть меня... Ха-ха. Не-ет, миленький... Занзивеев-то самый, может, сильный, самый страшный человек и есть!

— Черт возьми! — рассердился журналист. — Если у вас не мания величия — расскажите, в чем дело.

Занзивеев взял его за руку, отвел в угол, огляделся и пронзительным шепотом сказал:

— Кто я? Вы знаете, что у нас большинства нет? Вы знаете, что все последние голосования по важнейшим вопросам в Думе решаются большинством одного голоса...

— Ну да, знаю.

Занзивеев наклонился к самому лицу журналиста и, дрожа от внутреннего восторга, прошипел:

— Так вот этот один голос — именно я! Захочу — будут у нас броненосцы, захочу — не будут... Как — смотря по настроению.

— Черррт возьми! — только и мог сказать потрясенный журналист.

* * *

Снова Занзивеев ходил по кулуарам из угла в угол, одинокий, шевелящий пальцами и усмехающийся.

Тихо и скромно ходил, держась у стенки, страшный человек.

Журналист, спрятавшись за колонной, следил за ним. Потом подошел, взглянул робко и почтительно на Занзивеева и прошептал:

— Пропустите законы о печати.

— Вы мне нравитесь, — подумав, сказал Занзивеев. — У вас нос симпатичный. Хорошо, пропущу.

КАВКАЗСКАЯ ИСТОРИЯ

В тифлисский полицейский участок пришла какая-то армянка и, разливаясь в три ручья, сообщила:

— Моего мужа украли!

Пристав удивился.

— Как украли? Что ты врешь! Будто это самовар какой или сапоги... Кто украд?

— Разбойники. Пришли к нам и взяли его.

— Да что же они его, в узел, что ли, завязали?

— Зачем в узел? Просто взяли и увели в горы.

— Странно... Ну, для чего он им нужен? Будь он еще съедобный...

— Они выкуп хотят. Тысячу рублей за мужа требуют! — А ты не давай! — посоветовал после долгого раздумья пристав.

— Да как же не дать, ежели мне без мужа никак невозможно. Или пусть полиция мне его отыщет, или выкуп платить надо.

— Отыскать... Это легко сказать — отыщите! Ты говоришь — в горы его увели?

— В горы.

— Ну, вот видишь! Как же его найти... Гор много есть: Кавказские, Уральские, Карпатские, Монбланы разные... Нешто так сразу найдешь...

Армянка повалилась в ноги.

— Найдите, ваше благородие!

На другой день в участок пришли три женщины и двое мужчин.

— Что нужно?

— Господин пристав! Ради Бога! Разбойники нынешней ночью увели наших мужей!

Пристав заинтересовался.

— Да как же они их увели? Неужели так: привязали веревкой за ноги и утащили?

— Мы уже не знаем как... Только знаем, что увели в горы. Вы уже отыщите их, господин пристав!

— Легко ли сказать: отыщите! Гор, братцы, много есть — Кордильеры, Тибетская возвышенность, Уральские... Впрочем, сделаю, что могу.

Вечером пристав снарядился в экспедицию: взял сто стражников, пушку и пошел по направлению к горам. Подошел к первой горе, потрогал ее рукой, почесался:

— Здоровая, шельма!

В голове у него мелькали грандиозные планы: срыть все горы, чтобы некуда было уводить горожан... Или расклеить везде обязательное постановление, воспрещающее увоз в горы под угрозой штрафа в 500 рублей с замечанием в случае несостоятельности...

Но, по зрелом размышлении, у пристава явилась третья идея, наиболее удобоисполнимая и не менее радикальная: он вернулся в город, произвел обыск у одной заподозренной сельской учительницы и выслав двух евреев-музыкантов:

— Посмотрим, осмелится ли кто теперь уводить мирных граждан в горы?

К его удивлению, на другой день пришло известие, что разбойники увели в горы полтораста граждан, а еще через день — пятьсот.

Пристав сделал последнюю отчаянную попытку: выслал аптекарского ученика и оштрафовал трех гимназистов за ношение оружия.

К концу недели было уведено около шести тысяч!

Убыль граждан росла с головокружительной быстротой. Разъезжая со стражниками по безлюдным улицам, пристав втайне уже жалел, что выслал музыкантов и аптекарского ученика:

— Все-таки народонаселения было бы больше.

Наконец — это было в ясный солнечный день — город опустел окончательно. Разбойники уже не показывались в городе, запропастившись в своих горах, и только самые неугомонные из них еще изредка наезжали на безлюдный город, уводили те жалкие крохи, которые накапливались из приезжего элемента, — и опять пропадали.

Пристав делал все, что мог: расклеил обязательные постановления о вреде увоза в горы и запретил въезд в город труппе акробатов, среди которых было двое под фамилией Юделевичей.

Однажды, когда он, печальный, брел по вымершей улице, на него налетели несколько джигитов и пристав впервые узнал всю простоту их приемов, лишенных завязывания в узел и привязывания веревкой за ногу.

Узнал также пристав адрес тех гор, которые служили джигитам местом для заселения уведёнными гражданами, и увидел он в глухой котловине целый город, шумный, многолюдный, пополненный теми тысячами народа, которых в свое время лишился Тифлис.

— Да это тот же Тифлис! — воскликнул удивленный и обрадованный пристав.

Поселился.

Назвал город Тифлисом и построил себе участок.

И пока не было на этом месте полиции, не считалось оно городом.

А как вывился участок, тут все и увидели, что это — такой же город...

Когда же джигиты узнали, что в “Новом Тифлисе” завелась полиция, то сейчас же стали увозить граждан, но уже не в горы, а из гор в долину — на место прежнего Тифлиса.

Чем эта история кончится — неизвестно.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Я спросил:

— Все в сборе?

— Все.

— Бабушку и тетю захватили?

— Ну как же.

— Попугай тут?

— Тут.

— Бедного Мишу не потеряли?

— Бедный Миша тут. Миша, не жуй галстух! Это не хорошо.

— Стол и гардины захватили?

— Сзади носильщики тащат.

— Прекрасно. Эй, извозчики! На телеграф.

Мы поехали.

На телеграф вошли гуськом, как индейцы ходят по тропинке войны: впереди я — предводитель — с телеграммой в руке; за мной тетя, бабушка, гимназист Котя, горничная с попугаем, Бедный Миша, и в арьергарде носильщики со столом и гардинами.

Я скомандовал:

— Смирррно! Паспорта на-голо!

Все остановились и по команде обнажили паспорта.

— Миша! Выплюнь спичку.

Я подошел к окошку и поклонился телеграфной барышне.

— Имею честь кланяться. Телеграмма!

И подал телеграмму. В ней было написано:

“Ялта набережная дом Мамас-оглы Евгении Брыкиной соскучились возвращайся переехали на зиму город у тети Ани горе Миша впал тихий идиотизм твой попугай прихварывает думаю тебе комнату поставить красный письменный стол гардины моль съела бабушка тетя кланяются пиши целую пудик”.

Барышня внимательно прочла телеграмму, вернула ее и сказала:

— Не могу принять. Вы ведь знаете, что по новому циркуляру мы не имеем права принимать телеграмм зашифрованных и заключающих в себе тайный смысл.

— Тут смысл явный, — твердо заявил я. — Что вам кажется тайным?

— Что? Гм!.. Вот, например, набережная. В Ялте, насколько я знаю, нет никакой набережной...

— Константин! — скомандовал я. — Карту Ялты на-голо!

Котя обнажил карту города Ялты и взмахнул ею.

— Я захватил на всякий случай карту. Извольте видеть — набережная есть.

— Кто такая Евгения Брыкина?

— Моя жена. Вот-с брачное свидетельство, вот копия выписки из приходских книг, кото...

— Ладно. Мне только подозрительно: зачем вы просите ее возвращаться на зиму в Петербург? Может, вы с ней бомбы собираетесь делать.

— Нет, бомб не делаем.

— Так зачем же она вам?

— Да так. Все-таки, знаете, жена.

— Все это, согласитесь сами, чрезвычайно подозрительно, — вздохнула барышня. — Э, э! Послушайте! Ну как вам не стыдно?!

— Что такое? В чем дело?!

— Да?! Вы будто не знаете? Младенец невинный! Вы можете в душе быть несогласным с последним распоряжением по почтово-телеграфному ведомству об отказе в приеме телеграмм, имеющих тайный смысл, но зачем же над этим распоряжением глумиться?

— Я глумился? Да когда же я глумился?

— А это... Что такое тут написано: “У тети Ани горе Миша впал тихий идиотизм...” Я понимаю, что вы хотели этим сказать... Знаю, на кого вы намекаете...

— Помилуйте! Я вам докажу! Миша!

Бедный Миша приблизился.

— Миша! Выплюнь окурок. Нельзя есть табак. Фи! Вот видите: Миша. Он впал в тихий идиотизм. Об этом я и сообщаю жене..

— Гм! Чрезвычайно подозрительно. Лицо у него, кажется, умное.

— Бутылка калабалда, — подтвердил Миша.

— Что это он?

— Это он говорит “бутылка молока”.

— Ну, допустим. А что это за условная фраза: “попугай прихварывает”?

— Даша! Попугая! Вот этот попугай. Он, видите ли, прихварывает.

— Дурак! — сказал попугай.

— Послушайте! Это вы его научили, — возмутилась барышня. — Если вам не нравится новое распоряжение, то...

— Это он меня, — успокоил я ее. — Ей-Богу, он болен.

— А вот тут у вас сказано “красный письменный стол поставлю комнату”. Это, может, о революции тут.

— Позвольте, кто же революцию ставит в комнату?

Я прочел в глазах барышни сомнение.

— А вдруг... комната... иносказательно.

— Носильщики! Давайте стол! Вот, позвольте вам представить: стол. О нем и говорится. Видите — красный.

— Так, так. А, может быть, вы согласитесь вычеркнуть “гардины моль съела”.

— Почему?

— Я думаю, что истинный смысл этого такой: “полиция арестовала тайную типографию”.

— Да вот же я и гардины захватил. Видите, моль съела.

— А может, вы для отвода глаз устроили... что моль съела...

— Да что ж я, каждую моль ловил да научал — “съешь, моль, эту гардину!”. Что вы, барышня... Зачем мне вас обманывать.

— Да... “Зачем, зачем...” Это еще какая-то бабушка, тетя?

— Вот эти. У них все в порядке. Это вот Мишина мама.

— Мама? Вы говорите — мама? А почему она на него не похожа?

— Помилуйте — как же можно. Человек впал в тихий идиотизм — какое же может быть сходство?

— Чрез-вы-чай-но подозрительно, — раздумчиво повторила барышня. — Послушайте! Непонятных слов нельзя писать.

— А где они?

— А вот. Слово: “пиши”.

— Не пиши, а пиши. Ударение на последнем слоге.

— Вы что-то путаете. Почему же вы писали “пиши целую пудик”. Это безграмотно. Надо сказать “пиши целый пудик”.

— Что же это за смысл будет?

— Ну... смысл тот, чтобы она вам побольше писала. Целый пудик. А не целую.

— Да у меня — не целую, а целую. Понимаете: от слова поцелуй. Ударение на предпоследнем слоге.

— Все это чрез-вы-чай-но подозрительно. То там у вас ударение, то тут. Потом, почему у вас телеграмма без подписи?

— Как без подписи? “Пудик”. Это жена меня так зовет. Мое имя Пуд.

— Повернитесь, — сказала барышня.

Я повернулся.

— Это не вы!

— Почему?..

— В вас больше.

— Ну, так что же!

— Вы не то лицо, за которое вы себя выдаете... Телеграмма не может быть принята. Ха-ха... Хороший пуд!

Я побледнел: столько хлопот, столько расходов — и все это рушится из-за пустяка...

Но тут меня озарила мысль:

— Сударыня! — сказал я. — Честное слово, я то лицо, за которое себя выдаю. Но дело, видите ли, в том, что, как известно, имена даются в раннем детстве. И вот, клянусь вам, когда меня так назвали — во мне был ровно пуд. Я и сохранил без изменения это имя, памятуя, что, по основным законам Российской Империи, внешние изменения в физическом организме индивидуума не могут отражаться на таком постоянном институте, как принадлежащее человеку имя.

— Например, Пипин Короткий, — подсказал Котя.

— Ну ладно, — с сомнением сказала барышня, кивая головой. — Телеграмму я приму. Но все-таки все это чрез-вы-чай-но подозрительно.

Я обернулся к своему отряду и скомандовал:

— Вольно! Оправься! Паспорта отставить!

И все весело засуетились: носильщики закурили папиросы, бабушка закашлялась, Бедный Миша съел черновик телеграммы, а попугай захлопал крыльями и восторженно закричал:

— Дурак! Дурак! Дурак!..

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ВЫХОД МЕНЬШИКОВА

Михайло Осипович Меньшиков подсмотрел в окно, что на дворе светлая, радостная весна, подслушал в замочную скважину веселое щебетание птиц и нерешительно подумал: “Донести, что ли? Эх, была не была: не донесу!”

И вслед за этим сказал сам себе:

— Семь-ка я пойду, посижу в сквере.

Когда он вышел на улицу, солнце, не разобрав за дальностью расстояния, что это Меньшиков, бросило на него пару-другую живительных, теплых лучей.

“Хорошее солнце! — одобрительно подумал Меньшиков. — Хорошо было бы подарить его немцам...”

Идя по улице, он то и дело встречал бывших знакомых, которые, увидев его, начинали внимательно рассматривать трубы шестиэтажных домов или заинтересовывались ползущим по небу облачком.

А один, проходя в это время мимо извозчицей пролетки, отвернувшись, посмотрел на лошадь и процедил сквозь зубы:

— Скотина!

“Чего это он лошадь выругал? — подумал, недоумевая, Меньшиков. — Жаль, что он меня не узнал... Можно было бы с ним раскланяться. Давно я ни с кем не раскланывался... Догоню-ка я его!”

Меньшиков поравнялся со своим бывшим знакомым, снял шляпу и ласково сказал:

— Здравствуйте, Павел Иванович!

Павел Иванович, взглянул на него, пожал плечами и пошел дальше:

— Доброго здоровья, Павел Иванович, — повторил Меньшиков, семеня около господина и заглядывая ему в лицо.

Так как господина заинтересовала какая-то вывеска, то Меньшиков хихикнул и, взяв его за рукав, заискивающе сказал:

— Это я, Меньшиков. Не узнали?

Выпятив нижнюю губу, господин посмотрел на Меньшикова:

— Ну-с?

— Меньшиков я, знакомый ваш... хи-хи.

— Ну, так что же?

— Изволили узнать?.. Михайлой меня зовут... Осипыч по батюшке. Знакомы мы были!

— Виноват, что вам нужно?

— Хе-хе! Не узнаете-с? Очень странно, очень странно! Я просто так, поздороваться хотел...

— Ну-с?

— Я ничего-с. Извините, если беспокоил. Погодка какая весенняя!

Господин посмотрел на пробежавшую собачонку, проворчал, глядя ей вслед:

— Скотина!

И быстро зашагал дальше.

“Престранный человек, — подумал Меньшиков, оставшись позади. — Теперь собачку скотиной назвал. Такие, право, странные поступки! А меня, я уверен, он не уз-

нал. Близорукие нынче какие-то пошли. А почему? Секли в детстве мало! Вон в Германии...”

Он задумался о Германии и, входя в сквер, сказал про себя:

— Отдать бы и сквер Германии! Вон теперь мы должны на него деньги тратить, садовника содержать и прочее, а тогда немцы бы это делали! Ведь вот, кажется, просто, а пойдика додумайся до этого...

Он опустился на скамеечку сквера около какой-то дамы с ребенком и строго посмотрел на нее:

— Развратом занимаются только... Детей рожают!

Ребенок потянулся к нему и, смотря на него широко раскрытыми глазами, прошептал:

— Дядя... Дядя...

Меньшиков покосился на ребенка и, не зная, как приласкать его, ткнул его указательным пальцем в щеку.

— Ваш?

— Мой, — улыбнулась дама. — Не правда ли, хорошенький?

— Забавноватый мальченко, — кивнул головой Меньшиков и, ухмыльнувшись, добавил:

— А вырастет — развратничать будет!

Дама вспыхнула.

— Почему вы так думаете?

— Все развратничают! Пить будет. Ночью подымут его пьяненького, грязного на улице и притащат в участок... Клопы там, вонь. Изобьют еще, пожалуй. А утром придет он к вам в синяках, с сивушным запахом, одна нога босиком, другая в калоше... “Маменька, скажет, дай на похмелье!”

Дама нервно вскочила и, забрав ребенка, со слезами на глазах быстро зашагала к выходу.

— Хи-хи! — потихоньку засмеялся ей вслед Меньшиков. — Не любишь, стерва?..

Его веселый взгляд быстрыми прыжками перебежал с одного предмета на другой и наконец остановился на жирном глупо-радостном воробье, прыгавшем у ног Меньшикова.

“Божья птичка”, — умиленно подумал Меньшиков и ласково посмотрел на птицу.

От его взгляда воробей съежился и тихо запищал...

Меньшиков посмотрел на него еще более ласковым, добрым взглядом.

Воробей распустил крылышки, открыл клюв и, закатив глаза, свалился на песок дорожки...

Мимо ног Меньшикова мягко прошуршал большой резиновый мяч, и вслед за этим послышались звонкие детские голоса:

— Лови его! Лови, я бросаю!

— А теперь я брошу!

Меньшиков с грустной ласковостью прислушался к звонкому смеху и поманил к себе мальчика, у которого был мяч.

— А покажи-ка свой мяч, покажи.

Мальчик робко посмотрел на незнакомца.

— Не бойся, милый мальчик. Я отдам. Мне нужно будет тоже купить одному мальчику мяч, так вот я хочу посмотреть: хороши ли нынче мячи...

Получив от мальчика мяч, Меньшиков сделал вид, что внимательно рассматривает его, но вместо этого вынул потихоньку изо рта папиросу и прожег ею мяч насквозь.

— На, иди, играй с ним! Вот вам, скверные мальчишки! Визжите здесь, как поросята, да по клумбам сигаєте, вместо того чтобы уроки учить! Хе-хе! Поиграйте-ка теперь со своим мячом! Поиграйте...

Он доброжелательно улыбнулся плакавшему мальчику и поднялся со скамейки.

— Ну вот и весну Господь Бог послал, — умиленно вздохнул он, шагая по улице, — птички всякие, травки... букашечки... О, сколь разнообразен Ты, Всевышний, в творчестве дел Твоих... Отче наш, иже еси на небесех!..

ЗАПИСКИ ТРУПА

Не могу сказать, чтобы я, в качестве трупа, испытывал какие-нибудь совершенно новые, еще никем не испытанные ощущения. Я уверен, что большинство нас, русских, в последнее время превосходнейшим образом прошло всю гамму переживаний выдержанного в гробу трупа; но дело в том, что все остальные, как самые настоящие трупы, не отдавали себе в этих переживаниях отчета. А я могу дать полный отчет и не требую за это никаких почестей и наград, от которых на моем месте не отказался бы всякий другой разоткровенничавшийся труп.

Я не знаю — есть ли в жизни каждого трупа такая резкая граница, до которой он чувствовал бы себя настоящим живым, жизнерадостным человеком, а перешагнув эту границу, должен бы заявить поспешно и категорически:

— Ага! А вот с этого момента я делаюсь трупом!
Со мной это случилось. Я уловил этот роковой момент.

Третьего дня я был жив: мы сидели целой компанией у Тихоходова и рассуждали о том, что в России не разрешаются самые безобидные союзы и общества.

— Вы знаете, — кричал я, — почему они не разрешили какого-то Бахлушского союза поощрения полезных ремесел? Потому что “союз, видите ли, взял на себя непосильную задачу, которая невыполнима по местным условиям”. Да вам-то что?! Вам какое дело — выполняма или не выполняма?!

— Безобразие!

— Возмутимый произвол!

— И чего это полиция смотрит? — машинально проревел кто-то, желая, по русскому обыкновению, свалить всякую вину на полицию.

Я хрипло кричал, размахивая руками:

— А где, я вас спрошу, нормальные законы о печати?! Где они? Может быть, у вас в кармане? Или у Черта Ивана за пазухой?

Было пять часов утра.

* * *

На другой день я проснулся утром очень поздно и долго лежал в кровати. Думать не хотелось, была невыносимая, какая-то предсмертная тоска.

Я взял свежую газету и развернул ее.

— Из Москвы высылают пятилетнего сына акушерки еврейки Юдиулевич, который не имеет права жительства. Мать его, по закону, имеет право жительства.

Я прочел это известие, и меня удивило то обстоятельство, что я не возмутился.

— Отчего же мы не возмущаемся? — спросил я сам себя. — Ведь это же неслыханный факт! Как может маленький, крохотный еврейчик угрожать государственному спокойствию? За что его высылают? Ну же — возмущайся!

Внутри меня все молчало.

Тщетно я старался раздражить себя, поставить на место акушерки, у которой отнимают сына, или на место этого маленького мальчика, которого лишают матери.

Тяжелая равнодушная мысль свернулась комком и легла куда-то на самое дно.

Тогда я попробовал придать всему факту юмористическую окраску, чтобы рассмешить себя, чтобы хоть этим расшевелить себя, если мне не удастся возмутиться или растрогаться.

— Смешно, должно быть, — сказал я вслух, — как этот маленький еврейчик убегает по московским бульварам от целого отряда конной и пешей полиции, а сзади бежит встревоженная мать и щелкает акушерскими щипцами.

— Нет, — равнодушно сказал я, зевая. — Это не смешно. Нет здесь ничего смешного и ничего ужасного... Пусть вышлют маленького еврея, вышлют большого — пусть! Дума там какая-то заседает — пусть. Хочет, пусть заседает, не хочет — не надо. Гегечкори там разный, или Гучков, или еще кто — пусть себе живут. А не хотят — могут умереть. И Финляндию пусть по кусочкам растащат — не важно.

И спросил я сам себя:

— А интересно знать — что же важно?

И правдивая мысль ответила:

— Во-первых, ничего нет на свете важного, дорогого, а во-вторых, зачем ты говоришь “интересно”?.. Тебе ведь ничего не интересно... Зачем же произносить пустые звуки?

И почувствовал я, что шагаю через границу.

— Бастиа, — равнодушно прошептал я. — Труп. Ну и труп. Ну и наплевать.

Вот как я сделался трупом.

* * *

Я одевался, когда пришел Тихоходов.

— Здравствуй, — сказал я. — А знаешь, маленького еврейчика из Москвы высылают. От матери отнимают.

— Да, — ответил Тихоходов. — Акушерка. Администрация высылает.

— Что ты на это скажешь?

— Да что... Придется ему уехать.

— А какого ты мнения на этот счет? — спросил я, подозрительно глядя на него.

— Да какого же мнения: высылают, и пусть себе высылают.

— А тебе ничего?

— А мне что — не меня же высылают!.. Будут высылать — тогда и закричу.

— Может, и тогда не закричишь?

— Может, и не закричу.

— Труп, — одобрительно сказал я.

— Что?

— Труп. Нашего полку прибыло. Трупы мы с тобой, Тихоходов. Ты и я.

— Неужели? — прошептал он. — Вдвоем страшно.

Мало нас.

— Может быть, и еще есть.

Я позвонил. Вошел слуга.

— Слушай, Павел... знаешь, новый закон вышел. Если ты будешь нехорошо вести себя — я имею право тебя высечь.

— Что ж, — равнодушно сказал Павел. — Секите.

— Разве тебе не обидно?

— Что ж там обижаться. Пусть!

— Труп, — засмеялся я. — Ступай. Тихоходов, пойдем на улицу.

Вышли на улицу. Сели на извозчика.

— Ну, ты! Пошевеливайся.

Извозчик обернулся к нам, и его провалившийся рот благодушно засмеялся.

— А чего же шевелиться?

— Как чего? Плохо будешь ехать — мы тебя оштрафуем.

— Тихо буду ехать — оштрафуете, скоро буду ехать — оштрафуют. Для нас все едино.

— Труп, — радостно сказал я. — Нас много, нас много.

На улицах кипела жизнь. Мимо нас пробежали солидные трупы, спешащие на службу, и элегантные, шикарно одетые трупы в модных шляпах и легких весенних платьях. Эти трупы были женские, и они гуляли. Пронесились маленькие утомленные трупки с ранцами за плечами, а за ними плелись страшные, зеленые трупы целой вереницей с досками за плечами. На досках было написано: "Сегодня решительная борьба".

Все — и солидные трупы, и шикарные трупы и дети — делали вид, что они живые, и поэтому все с натугой разговаривали, смеялись. Но всем было страшно, потому что каждый был уверен, что только он один труп, а кругом все живые.

Никто не догадывался.

А мы с Тихоходовым знали и смеялись.

Первое время нас забавляло это стремительное шествие веселых, преувеличенно живых трупов, но потом мы утомились.

Свернули в тихую улицу.

— Теперь мне интересно, — сказал Тихоходов, — остался ли в городе кто-нибудь в живых?

— Во-первых, тебе это неинтересно, а во-вторых, никого, вероятно, нет в живых.

Но я ошибся. Сейчас же мы увидели живого человека.

Это был постовой городской — единственный, который не напоминал собой унылого трупа.

Он веселился: проходивший парень сдернул с головы торговки платок и надел его на себя — городской расхотался; дворник окатил из рукава водой задремавшего извозчика — это страшно развеселило городского. Но смех его звучал одиноко: торговка машинально сдернула с головы парня платок и надела на себя, а парень равнодушно пошел дальше. Обливающий дворник и обливаемый извозчик были каменно-молчаливы и апатичны.

И только гулко и одиноко смеялся городской.

— Жутко ему, поди, среди покойников, — пожалел его Тихоходов.

— Сторож при морге, — покачал я головой. — Не сладко им. Тихоходов! Зайдем в эту мертвецкую, где кормят.

Мы зашли в ресторан, а потом, когда наступил вечер, поехали в анатомический театр смотреть какой-то фарс, весело разыгранный несколькими разложившимися трупами.

Так теперь и живем. Ничего, пустое.

ДЕШЕВАЯ ЖИЗНЬ

Сим победиши...

— ...Что это за бурда? — удивленно спросил муж, отодвигая тарелку с супом.

— Бурда? — обиженно воскликнула жена. — Это прекрасная вещь! Суп из сена. Очень питательное меню, и, кроме того, в нашем бюджете получается поразительная экономия: 95 процентов! В крестьянском быту это питание незаменимо.

— Так то — в крестьянском, — возразил муж, осторожно размешивая ложкой суп. — А я зарабатываю двадцать тысяч в год!

— Мы должны подавать пример... Надо же кому-нибудь начать!

Муж вздохнул и печально спросил:

— А что будет на второе?

— На второе? Бифштекс из жареных кочерыжек. К нему салат: кожуха картофеля в уксусе; потом сладкое: компот из моркови с медом. Это уж я тебя побаловать хотела.

— Спасибо...

— Кстати, знаешь сколько стоит сегодняшней обед? Шесть копеек с персоны. Суп полторы копейки, жаркое две с половиной и сладкое две копейки. И еще прекрасная сторона моей системы питания: желудок не ощущает никакой тяжести.

Муж проглотил сразу пару жареных кочерыжек и подтвердил:

— Что верно, то верно.

* * *

С утра муж зашел в кухню.

— Что сегодня на обед?

— Щи из бурьяна, курица из жареных кочерыжек и пломбир из конопляных выжимок. Ты чувствуешь какую-то такую легкость?

Муж признался:

— Какую-то такую? Да, чувствую. А на ужин что будет?

— Я думаю, что-нибудь полегче: чай из укропа, да по паре бутербродов с паюсной икрой из давленого чернослива. Копейки на две... А то и так сегодня обед в шестнадцать копеек вскочил.

Когда обедали, муж, повесив голову, молчал и лишь изредка вздыхал.

— Чего ты вздыхаешь? Ведь тебе должно быть легко!

— Мне легко...

— Ты, может, обременил свой желудок чем-нибудь лишним, а? Ну, признайся!

Муж сконфузился и стал растерянно водить пальцем по пустой тарелке.

— Я... немножко... Ночью... Сегодня... Из тюфяка морской травы клочок вытащил и съел!..

— В уме ты?! Морская трава стоит рубль с четвертаком фунт, а он себе пиры устраивает. Умоляю тебя — не

делай этого больше! Ну, будет Рождество — тогда можно себе позволить. Наделаем колбас из морской травы, поросенка из дубовых листьев изжарим...

Муж облизнулся и умолк.

* * *

На другой день он зашел в кухню с запыленной пустой бутылкой в руках.

— Что я нашел! — радостно вскричал он. — Бутылка из-под ямайского рома, оплетенная соломой! Можно ободрать солому и сварить из нее пунш.

— Какая ты умница! — восхищенно воскликнула жена. — Дай я тебя поцелую.

За обедом муж прищурил глаза и лукаво сказал:

— А я своей маленькой женке сюрприз приготовил!

— Какой?

— У нее будет скоро варенье из стула.

— Что ты говоришь?

— Да-с! Я на чердаке нашел соломенный стул... Сиденье у него все равно продавлено, так что сидеть нельзя, а камышовые ножки расшатались! Из соломы сварим варенье, а камыш пойдет на спаржу!

— А я тебе тоже сюрприз приготовила, — ласково сказала жена. — Папиросы! Твои, набитые табаком, стоят бешеных денег, а я сделала практичнее: накрошила старый кокосовый половичок из передней и набила им гильзы.

Муж громко вскрикнул и прослезился с примесью восторга.

* * *

В понедельник супруги поспорили. Муж громко возмутился, жена робко оправдывалась.

— Это ни на что не похоже! — кричал муж. — Мы живем не по средствам!! Вчера обед опять обошелся в одиннадцать копеек! У меня не денежная фабрика, матушка! Нужно было бы это сообразить!

— Но я... тебя же хотела вчера побаловать. Правда, может быть, мне не следовало жарить индейки из свеклы, но зато я сэкономила на щях, в которые вместо сена положила дубовых опилок.

— Я в эти мелочи не вмешиваюсь, но прошу тебя запомнить и пре-ду-преж-да-ю, что в долги я влезать не же-

лаю! Кстати, можешь завтра на сладкое ничего не покупать; я нашел в одной старой книге засушенную чайную розу и два левкоя. Сделай из них гурьевскую кашу! Вообще, матушка, должен заметить, что ты могла бы экономить там, где это возможно. В хозяйстве всегда можно найти много ненужных вещей, которые с успехом заменят нам осточертевшую зелень. Отломанная фортепьянная клавиша, коробочка из-под пилюль, зубная щетка, старая камышовка для выбивания пыли из ковров...

— Камышовка, — угрюмо проворчала жена, — та же зелень...

— Да, положим...

— Зачем ты покупаешь себе галстуки? — поморщилась жена. — И дорого, и обременяет желудок...

— Какой желудок?

— То есть, я хотела сказать, — шею. Обременяет шею. Гораздо легче и проще — возьми нарисуй на сорочке чернилами черный галстук и носи его на здоровье. Стоит не больше полкопейки.

— Это идея, — кивнул головой муж. — Кстати, я недавно прочел, что газеты и вообще бумага превосходно согреваются. Я придумал для тебя очень удобный костюм — из газетной бумаги. Стоит 7 1/2 копейки. Тепло и практично.

— Но... это некрасиво!!

— Красиво, милая, красиво. Вообще у женщины всегда есть тенденция разорять мужа на наряды. Ты подумай, какая экономия получится в крестьянском быту, если крестьянки начнут носить семикопеечные костюмы.

— Так то крестьянки...

— Пример, милая! Мы должны подавать пример... Я даже могу сделать тебе так: из утренних газет матинэ, из вечерних — изящный выходной наряд. В театр куда-нибудь или на вечер. Потом еще: ты имеешь крайне разорительную привычку вытираться по утрам одеколоном... Можно самому сделать очень практичный цветочный одеколон: настоять укроп на денатурированном спирте. Почти одно и то же, а стоит вместо рубля три с половиной копейки.

Жена промолчала. Все время до ужина (суп из обгоревших спичек и осетрина из ореховой скорлупы) ходила угрюмая, а ночью плакала.

— Ну вот, — сказал муж, одобрительно похлопывая жену по спине. — Эти газеты очень идут тебе. В особенности эта "Речь" на животе выглядит очень мило. Серьги можно сделать из разбитой бутылки (1/20 копейки), а шляпу из лопуха. Когда износишь — съедем. Ну, я пойду почитать газеты. Эй, Лукерья! Поди купи мне сегодняшнюю "Речь".

— Это еще что?! — вскричала жена. — На мне экономите, а сами тратитесь, как старый кутила?! Вам нужно читать газеты? Читайте их на мне! Это не только не стоит 1/20 копейки — это ничего не будет стоить. Не смущайтесь, если я уже прочитана вами. Жена всегда должна интересоваться мужем.

Муж скрипнул зубами, но сдержал себя и проворчал:

— Ну, повернись боком! Где у тебя тут фельетон?

Вечером, ложась спать, муж сказал:

— Ты просила у меня денег на туфли. Я придумал превосходные туфли из двух пустых коробок консервов. Коробки лежат на чердаке, а ножка у тебя такая маленькая, что они будут тебе как раз впору.

— Чтоб ты пропал! — прошептала жена.

Засыпавший муж переспросил:

— Что?

— Ничего. Надоел ты мне смертельно.

На другое утро муж уехал по делам. Приехал к обеду. Спросил:

— А туфли? Почему ты не в тех туфлях, которые я тебе придумал?

— Иди уж! — вместо ответа сказала жена. — Иди уж... обедать!!

Муж вышел в столовую и увидел на столе то, что и ожидал: несколько бутылок вина и пива, розовую прозрачную ветчину, коробку омаров, икру и дымящийся ароматный бульон из курицы с румяными пирожками на блюде.

ГЛУПЫЕ И УМНЫЕ

Я никак не могу забыть одного пустякового, пожалуй даже глупого, случая...

Однажды на репетиции моей пьесы, когда режиссер носился по пыльной сцене как ураган, актеры устало бро-

дили из угла в угол с тетрадками в руках, а я кричал до хрипоты, стараясь внушить им, что играть нужно гениально, — в это время освободившийся скромный актер на вторые роли, слонявшийся с задумчивым видом за кулисами, подошел к премьеру и грустно сказал ему:

— Если вдуматься — какой это ужас!

— Что такое? — встревожился мнительный премьер, отрываясь от тетрадки.

— Лермонтов-то...

— Ну?!

— Умер 27-и лет, а? Убили... в самом расцвете жизни... А? Не ужасно ли!

— Ну так что?!

— Да вот я и говорю: стоит только вдуматься — какой это ужас!

— А убирайтесь вы к черту! Ну что вы лезете со всякой ерундой.

— Это Лермонтов, по-вашему, ерунда? — с горьким выражением в лице прошептал актер. — Нечего сказать, интеллигенция.

Тряся с огорченным видом головой, он подошел к режиссеру и сказал:

— Вдуматься если — какой ужас!

— Что?! Опять ролью недовольны? Ну, уж я, милый мой, и не знаю...

— Да нет, я не о том. Вы подумайте только, вдумайтесь в этот ужас: Лермонтов умер 27-и лет!! Об этом уже все забыли, с этим как-то странно примирились, но если так, на свежую голову...

— У вас не свежая голова, а глупая, — с досадой вскричал режиссер. — Чего вы от меня хотите?

— Я говорю: если вдуматься!! Двад-ца-ти се-ми лет от роду!! Ведь это ужас!..

— Да вам-то что такое? — родственник вы ему, что ли?

— Нет, я не родственник, но ужасно то, что с этим уже все свыклись и никто не обращает внимания...

Подходил он и к премьерше, и ко мне.

— Простите, я занят, — пробормотал я.

— Да я от вас ничего не хочу. Но неужели вас, литератора, не ужасает тот факт, что такой гениальный поэт прекратился на 28-м году жизни. Что бы он мог дать еще! Господи! 27 лет! Умереть юношей!

На глазах его стояли слезы.

— Да вы что, — насмешливо спросил я. — Только сейчас об этом узнали?

— Нет, не сейчас, конечно. Но почему-то вспомнилось, и я в такой ужас пришел...

Подходил он и к суфлеру.

— Подумай-ка, Николаич... Какой ужас, а?

— Проигрался?

— Нет... А Лермонтов-то! На 28-м году жизни помер.

— Товарищи были?

— Что ты! Он несколько десятков лет тому назад помер.

— Так чего ж ты лезешь, идиот. Смотрите-ка, чего человек разнюнился? Мне подавать надо, а он...

Надоел всем этот странный слезливый актерик страшно. Подходил даже к бутафору и декоратору:

— Лермонтов-то!

— Ну?

— На 27-м году застрелили.

Недавно мне этот актерик вспомнился.

Я прочел газету, побледнел, закусил губу и побежал к своему знакомому Симеону Плюмажеву.

— Симеон! — сказал я, глядя на него влажными глазами. — Какой ужас-то: в Харьковской тюрьме повесили уголовного преступника за несколько часов до помилования, которое ожидалось всеми. И именно местные власти спешили его повесить до получения помилования. Виселицу строили наспех, и даже гроба не успели сделать. Подумай: так спешили, что не успели сделать гроба! Вешали тайком, а когда арестанты, услышав отчаянные крики казнимого (они тоже знали о помиловании), спросили, в чем дело, — им объяснили, что это кричит тифозный в бреду!!

— Ну? — удивленно поднял брови Симеон Плюмажев.

— Ты только подумай: спешили, чтобы успеть до помилования! Не успели гроба сделать!

— А чего ж они не купили готовый гроб, — удивился Плюмажев. — Я, конечно, понимаю: какой-нибудь глазетовый с кистями дорого стоит; а простой, некрашенный — да ведь ему красная цена 2 целковых:

— Да я тебе не о том говорю. Ты вдумайся: они спешили!

— Да уж, — покачал головой Плюмажев. — Поспешись, людей насмешишь. У нас тоже в имении один повесился. Его сняли, а он кричит: водки! Настоящая русская натура.

Я вздохнул, отошел от Плюмажева и подошел к одному из его гостей.

— Читали? Насчет тюрьмы-то. Какой ужас! Я не могу думать без дрожи.

— Вы что же, родственник его были, что ли?

— Нет, так...

— “Так” только вороны летают, — пошутил гость. — А тифозный-то что ж... Так на самом деле и не кричал?

— Конечно! Это надзиратель сказал, чтобы успокоить арестантов.

— А ловко придумано, — пришел гость в восхищение. — Простой надзиратель, а какой шустрый...

* * *

Однажды я проезжал по Чернышеву переулку и снова увидел ту невероятную вывеску, о которой уже однажды писал, думая, что на мое указание кто-нибудь, кому подлежит, обратит внимание.

Именно: в Чернышевском переулке (угол Загородного) висит большая вывеска:

“Приготовительное училище”.

Снова я был возмущен таким безграничным цинизмом, таким разгулом безграмотности ведомства народного просвещения...

Приехал к Плюмажеву (у него снова были гости) и сказал:

— Прямо невероятно! Подумайте только: в центре Петербурга на фасаде училища, того самого, которое должно насаждать грамотность, висит вывеска: “Приготовительное училище”.

— Как? — прислушался Плюмажев.

— Учи-ле-ще!

— А как же, по-твоему?

Я отошел от него и обратился к даме, слушавшей меня сочувственно.

— Подумайте: учи-ле-ще. Ведь это символ нашей поголовной безграмотности.

— Да, да! Это они, значит, вместо “сч” поставили “щ”.

Положим, раньше так все писали: щастье, щот.

Я отвернулся; поймал за пуговицу молодого человека.

— Подумайте, какой ужас!.. Какая поголовная безграмотность. Учи-ле-ще!

— Да вам-то что? Вот чудак: привязался к слову...

— Но ведь это не “мелочная” лавка, а именно храм грамотности.

— Да ведь от того никто не заболает, если одна буква не такая. Не все же буквы перепутаны. Вот если бы эта вывеска была плохо прибита и на голову кому-нибудь упала — тогда нехорошо.

— Я вижу, — съязвил я, — что вы часто проходили под плохо прибитыми вывесками.

— Может быть, может быть, — простодушно согласился он. — Разве заметишь?

* * *

— Читали? — спросил я. — Какой ужас! Крестьяне, оказывается, усиленно пьют денатурированный спирт, и от этого часто умирают!

— Да ведь он дешевле, — рассудительно возразил Симеон Плюмажев.

— Дело не в том. А вы вдумайтесь, какой ужас: акцизное ведомство нарочно отравляет спирт особым способом, чтобы его не пили, так как он продается дешевле обыкновенного — а его именно поэтому и пьют.

— Так чего ж вы волнуетесь? Дешевле — значит экономия в крестьянском хозяйстве! Развивается благосостояние...

— Да ведь помирают!!

— А не пей; не будешь и помирать.

— Так ведь они этого не понимают... Неужели же поэтому их и морить, как глупых тараканов? И ужаснее всего, что доктора не знают противоядия, потому что способ отравления спирта — секрет акцизного ведомства.

— Вы, значит, хотите сказать, что нужно удорожить денатурированный спирт?

— А ну вас!

— Так чего ж вы пристааете ко всем с вашим спиртом. Не с одним привяжется, так с другим.

* * *

И сердце мое ожесточилось...

* * *

Маленькая девочка, моя дочь, пришла ко мне сейчас в кабинет, таща за руку безголовую куклу и заливаясь горькими слезами.

— Ну, что еще?

— Борька...

— Что Борька?

— Его мама наказала, а он плакал, а мне сделалось жалко, а я взяла свои рукодельные ножницы — “На, Боренька, вырезывай картиночки”, — а он взял ножницы и отрезал мою куклину голову.

— Ну? — сурово спросил я.

— Зачем он отрезал куклиную голову!..

— Да ведь не твою отрезал, а куклиную?

— А мне было его жалко, а я ему дала ножницы для картиночек, а он куклиную голову отрезал. Разве можно?

— Ты скажи мне, скверная девчонка, как к тебе попали ножницы?

— Мама подарила. Я ему для картиночек, а он куклу... голову...

— Так ведь кукле не больно, чего же ты плачешь, дуручка?

— Я его пожалела, дала ножницы, а зачем он голову отрезал...

— А по-моему, безголовая кула еще смешнее, — сказал я, заливаясь циничным смехом.

Она долго билась, стараясь убедить меня в том, что дело не в “куклиной голове”, а в невероятном, чудовищном нарушении простой человеческой справедливости; что весь ужас в том, что Борька растоптал ногами ее маленькое доброе доверчивое сердечко.

Но она не могла убедить меня.

Где же было это сделать ей — маленькому, беспомощному червяку, у которого и слов-то таких не было, которыми обладал я, *взрослый очерстевший русский человек*...

КОНЕЦ ЖУРНАЛИСТА

Сказочка

Однажды женщина обняла журналиста и сказала ему: — У тебя есть усы, и ты брюнет... Я люблю брюнетов с усами! Ты мне нравишься — я тебя съем!

Вырвался журналист из объятий, побежал...

Бежит, а навстречу ему Брешко-Брешковский идет.

— Какой приятный журналист бежит, — облизнулся Брешко. — Ты мчишься искрометными прыжками,

словно сын знойного Туниса, под которым развернулась могучая пружина... Переплетемся с тобой — как гном Тюрингенских гор с золотистым леопардом загадочной Берберии, как стремительный скиф — с несокрушимым железным утесом... Ты мне нравишься — я тебя съем!

— Где тебе съесть меня, — сказал журналист, — женщина, которая брюнетов с усами любит, и то меня не съела...

Побежал дальше.

Повстречался с граммофоном.

— А, журналист! Я, брат, тебя съем! “Я вас ждала-а-а!”

— Где тебе меня съесть... Женщина, которая брюнетов любит, меня не съела, Брешко меня не съел...

Бежит дальше.

А навстречу ему олеография с картины Юлия Клевера — громадная-прегромадная — так и ломит: белые деревья, снег и красное солнце заходит.

Стра-ашная.

— Стой! — как зарычит олеография с картины Клевера. — Я тебя слопаю!!

— Не слопаешь, — отвечает, запыхавшись, журналист. — Женщина, что брюнетов любит — не слопала, Брешко не слопал, граммофон не слопал — где же тебе слопать!

Побежал дальше, вдруг — на газету наткнулся.

— Чего расскакался? — усмеяется газета. — Дело бы лучше делал, чем козлом скакать...

— Да какое же дело мне делать?

— А вот пиши, — говорит газета, — что в Думе толку нет, что октябристы иезуитствуют, что Пуришкевич скандалист, что успокоение наступило, а реформ не дают, что черносотенцы обнаглели, что евреи такие же люди, как и другие, что у нас бюрократический режим и что реакция снова поднимает голову...

Вздохнул журналист, сел писать. Все меньше и меньше делался...

Наконец сделался величиной с маковое зерно, а на самый конец пискнул — и вовсе исчез.

Проходил народ, заинтересовался.

— Кто пищал?

— Журналист. Газета тут журналиста слопала.

КРЕМЕНЬ

Перед маленькой, сухонькой женщиной с молитвенным выражением лица сидела пожилая толстая иоаннитка и благоговейно говорила:

— Деньги, матушка, от дьявола!
— Так, так... От дьявола, говоришь?
— От его.
— Поди ж ты!
— Ими он, злокозненный, смущает христианскую душу...

— Смущает?!
— Смущает. В грех, в блуд, в пьянство вводит...
Хозяйка всплеснула руками:
— Этакий ведь паршивец!
— То-то вот и оно. А ты, матушка, люди говорят, тысчонку в сундуке прячешь. Ты б ее отдала.
— Да кому же ее отдать, это дьяволово сотворение?
— Нам бы внесла... И благодати бы сподобилась.
— Это какой же такой благодати?
— Да разной. Мало ли...
— Оно-то правда, только одно меня смущает, коли они от дьявола, так что же я сделаю — себя-то очищу, благодати сподоблюсь, а вас под дьявола подведу.

Гостья пожевала губами.

— Ну не всю тысячу — восемьсот можно дать.
— Да что ж... Оно бы можно восемьсот — так ведь двести все равно останется, душеньку мою грешную смущать.

— Вот видишь! Тысячу бы и отдала.
— Милые вы люди! Неужто я ж вас захочу под монастырь подвести: отдать их вам, а потом чтобы вы от дьявола искушение имели.

— А мы тогда вот что сделаем... Мы их, матушка, на процентные бумаги переведем...

— Нешто тогда от них вреда не будет?
— Ни-ни. Какой же вред, ежели процентными бумажками.

— Ведь вот поди ж ты! Всякую мудрость знать сподобились. Уж божьему человеку всегда такое от Бога пошлетя, чтоб понять: как и что. А только ведь я свою тысчонку и сама бы могла на бумаги перевести. А?

— Можешь и сама. Уж мы все приемлем по христианскому смирению — кредитками ли, процентными ли...

— Чего ж там — приемлем... Раз дьявольской печати на них нет — могут и у меня полежать.

Гостья вздохнула:

— Так-то так...

— То-то и оно.

— А все-таки, если жалко тебе их для божьего дела, благодати не получишь.

— Да куда мне с ней на всю тысячу! Ведь это выйдет целая уйма благодати. Баба же я, будем говорить, мелкая, тихая... Куды мне столько.

— Грехи!.. — сокрушенно прошептала собеседница хозяйки и обвела взглядом комнату.

Увидела на шкафу самовар и сказала:

— Чай-то пьешь! Дьяволово зелье!! Нечистым духом выращенный злак из живота блудницы!

— Да неужто?!

— Истинный бог! Дьявол посеял на людскую слабость.

— Гм... Этакий мошенник!

Гостья помолчала.

— Нехорошо держать такую вещь в доме. Хочешь сподобиться благодати духа свята — избавься от него.

— Да как же мне от него избавиться?

— Отдала бы нам на скит. Божье дело!

— Нешто это возможно — отдать самовар на ваш скит? Я избавлюсь от него — спасу свою душу, а вы опоганитесь.

— Устав церковный гласит, что, ежели окропить машину дьяволу четверговой водой, всякая нечисть от нее отходит.

— Мерси вас.

— Видишь!.. Самоварчик-то... сегодня можно забрать?

— Как забрать?

— Яко жертвенный дар ко престолу...

— Экая ты какая! Да зачем же мне его отдавать, ежели он по окроплении мне безопасно служить может?

— Ну ладно, — саркастически сказала гостья. — Самовар окропишь — зелье чайное по-прежнему от дьявола останется.

— Ты бы, матушка, порылась в церковном уставе: может, и к чаю есть какое окропление?

Гостья встала.

— Пойду я. А только если хочешь благодать заслужить, пожертвовала бы что-нибудь божьим угодникам от щедрот вдовьих.

— Это можно. Так бы и сказала. Вот тебе, помолись за здравие рабы божьей Лизаветы.

— Да ты что ж, мать моя, гривенник-то мне в руку суешь? Шутки шутишь? Да я на одного извозчика, к тебе едуци, семь гривен истратила.

Хозяйка развела руками:

— Убыток, значит. Что делать... не знаешь, где поте-ряешь, где найдешь.

И когда гостья вышла, хлопнув дверью, хозяйка крикнула ей вслед:

— Я сама, милая моя, на Песках пятнадцать лет в гадалках состояла. Дураками и без меня пруд пруди!

СЛУЧАЙ С РЕВИЗОРОМ

В город Заворуев приехала сенаторская ревизия.

Ревизор из гостиницы, где остановился, позвонил первым долгом в управление полицеймейстера.

— Алло! Центральная?

Центральная молчала.

— Алло! Алллло!!!

Центральная не отвечала.

— Эй, центральная! — ревел раздраженный ревизор. — Если вы сию секунду не ответите, я сейчас же вызову вашего начальника и уволю вас в 24 часа. Центральная-а-а!!

Коридорный подошел к ревизору и сказал:

— Да не звоните. Все равно ведь... Ее украли.

— Центральную? — ужаснулся ревизор.

— Нет, проволоку.

— Гм... Как же мне вызвать полицеймейстера? Вот что... Позовите мне постового городского.

— Его нет.

— Украли?

— Нет, но городовые у полицеймейстера сад перекапывают.

— Так достаньте мне автомобиль, и я...

— Автомобиля нет.

— Что ж... он тоже у полицеймейстера сад перекапывает?

— Нет-с. Но последний автомобиль вчера конокрады украли.

— Конокрады?... Да какие же они конокрады, если автомобиль угнали.

— Да лошадей-то уже всех перекрали, за автомобиль взялись.

— Автомобилекрады?

— Да-с...

Ревизор покачал головой и отправился пешком в управление полицеймейстера.

— Где полицеймейстер?

— Их нет, — сказала баба, мывшая пол в пустынном управлении.

— Где же он?! Конокрады его украли или сад перекапывает?

— Нет-с. На службе они.

— Где же?

— В холодную пошел, арестантов по мордасам лупить.

— За что?

— Не попадайся.

С трудом разыскал ревизор полицеймейстера.

— Здравствуйте. Позвольте ваши книги.

Полицеймейстер поблел.

— Ей-Богу, я их не брал, честное слово. На что они мне... Мне чужого не надо.

— Да нет, не то: я спрашиваю ваши полицейские книги, в которых записывается расход разных сумм.

— А! — сказал, приободрившись, полицеймейстер. — Сердюков! Позови заведующего канцелярией.

Пришел жирный угрюмый человек.

— Вот, — сказал ревизор. — Насчет расходуемых на содержание полиции сумм...

Угрюмый человек упал на колени.

— В глаза не видел! Отсохни руки, если хоть копеечку взял. Маковой росинки во рту не было.

— Что вы... успокойтесь! Я не о том. Ведь по полиции были какие-нибудь расходы?

— Были! — подхватил полицеймейстер. — А вот ей-Богу же были. Целая уйма была.

— Ну, вот... Вы эти расходы куда-нибудь записывали?

— А как же! Сколько раз.

— Ну, вот и прекрасно... Где же эти книги?

— В самом деле, — подхватил полицеймейстер. — Где же книги?

— Их нет, — улыбнулся угрюмый человек.

— Где же они? — спросил ревизор. — Может, они сад у полицеймейстера перекапывают, или арестантов в холодной по мордасам бьют, или их конокрады угнали?

— Вот именно, украли.

— Кто же?

— Книгокрады. И совсем недавно. Какой-то человек пришел. “Это что такое, — спрашивает, — книги?” Схватил и убежал.

— Схватил и убежал? Экая жалость. А где ваши городовые?

— А мы сейчас... Эй, Сердюков!

Явился Сердюков.

— Вот городской, — отрекомендовал полицеймейстер.

Сердюков повалился ревизору в ноги и заплакал.

— Ни в чем не виновен, — вскричал он. — Я только до его затылка дотронулся, а он — трах и помер.

— Кто?

— Который без пашпорта.

— Это все после, после... А вот, нам в Петербург писали, что у вас тут развито взяточничество?

— У нас? — удивился полицеймейстер. — Вот подлец Терентеев... Таки пожаловался!

— Терентеев? Кто такой?

— Тут один есть...

— Позовите-ка сюда Терентеева.

Послали за Терентеевым. Когда он явился и увидел ревизора, то заплакал и сказал:

— Погода была точно плохая, дождливая, а суконцо хорошее.

— Что вы! Успокойтесь... Какое суконцо?

— Которое я ставил городovým на шинели. В хорошую погоду ему бы сносу не было. А плохая... известно... шести дён не прошло... Говорил я этому дураку Оськину.

— Позвать Оськина.

Прибежал запыхавшийся Оськин.

— Вот это, — сказал Терентеев, — мой компаньон Оськин.

— Пошел к черту! — воскликнул Оськин. — Сам на постройке моста десять тысяч украл, да на меня хочешь...

— Нет, — сказал ревизор. — Мы насчет городских...

— Я не крал! — возразил Оськин. — Действительно, убежище для престарелых городских строил... Но красть?.. Правда, те восемь тысяч, которые у меня в несгораемом шкафу лежат, — от вывозки мусора с постройки остались... Да ведь я их потому и держу, чтобы не сгорели.

— Гм... Вот что... Я принужден буду сейчас поехать произвести выемку этих денег и документов. Позовите мне извозчика! Понятых пригласите!

Через минуту в управление вбежал извозчик и свирепо закричал:

— Это что же? За одну старуху да два раза брать? Извините-с. Что ж это нынче, выходит, раздавленные старухи так вздорожали, что к ним и приступу нет? Околоточному дал, приставу дав...

— Тссс! — сказал полицеймейстер. — Молчи, дурак!.. Отвезешь этого барина. Понятые пришли?

В этот момент вошли понятые.

— При чем же мы тут, — сказали они. — Мы не знаем. Только сели на него, дернули какую-то штучку, а он и покатись. Так мы-то как же?.. Не спрыгивать же на ходу. Мы знаем, что чужую вещь брать нельзя.

— Какую? — удивился ревизор.

— Да автомобиль же. Мы его не брали. Это он нас увез. Другие бы еще пожаловались на хозяина, а мы молчим.

— Значит, это вы украли автомобиль?

— Зачем нам автомобиль красть? Разве можно такое делать. Мы конокрады. Спросите даже у братьев Завирухиных... Купцы врать не будут; вместе работаем.

— Позвать Завирухиных!

Через час густая толпа наполнила управление полицеймейстера. Много лиц расположилось даже на ступеньках лестницы и на улице.

Сначала все держались робко, а потом разговорились. Стали пересмеиваться...

Ревизора окружила большая толпа. Все кричали, галдели, так что нельзя было разобрать ни одного слова.

Из толпы вышел седовласый купец, перекрестился и подал ревизору пакет

— Десять тысяч.

— Для чего?

— Взятка.

— Как вы смеете! — крикнул ревизор. — Я не беру взяток!

— То есть... как же это так?

— Так — не хочу!

— Господа! — сказал полицеймейстер. — Ввиду такого поступка господина ревизора, я принужден буду арестовать его. Он отказывается? Хорошо-с. Он за это ответит. Завтра я назначаю над ним суд!..

Изумленного, растерянного ревизора схватили и куда-то повели.

Ночь ревизор провел плохо... Неизвестность мучила его.

Ворочаясь с боку на бок на жесткой койке тюремной камеры, он думал:

— Боже мой! Что-то со мной будет? Что грозит мне по закону за то, что я не беру взятку? Бедная моя матушка... Знаешь ли ты, что твой сын преступник? Воспитывала ты его, думала сделать из него человека, а он — накося!..

И рыдания терзали ревизорову грудь.

Утром ревизора повели судить. На пути его стояла большая толпа горожан, провожавшая ревизора свистками и угрожающими криками.

— Кровопийца! — ревели горожане. — Жулик! Взятку не хотел брать?! Покажут тебе!

— Ишь ты! А по виду никак нельзя сказать, что мошенник.

— Да уж эти самые...

— И не говорите. Сегодня взятки не взял, завтра подлога не сделал, послезавтра, смотри, гербовый сбор оплатил, — что же это такое?

Какой-то человек с добрым лицом заметил:

— Может, он в состоянии аффекта это сделал?

— Чего-с?

— Взятку-то... Может, он ее не взял в состоянии умоисступления.

— Эге! — сказали в толпе наиболее подозрительные. — Заступаешься? Не из одной ли ты с ним шайки?

Человек с добрым лицом побледнел и сказал:

— Еще что выдумаете! Я скромно поддельваю духовные завещания, кушаю свой кусок хлеба, но все-таки, ежели человек попался, нужно исследовать причины... Может, у него наследствен...

Кто-то ударил человека с добрым лицом по этому доброму лицу, и толпа снова набросилась на ревизора с брашью...

Конвой оттеснил толпу от преступника и благополучно довел его до здания публичного дома, где был наскоро организован суд.

Председателем суда единогласно выбрали поджигателя Аверьянова, членами суда Митю Глазкина — альфонса, Кокурикина — конокрада и Переграева — газетного шантажиста. Прокурором вызвался быть письмоводитель пристава, составивший себе имя тем, что однажды содрал взятку с самого пристава. Одним словом, ревизора судил весь город.

Адвокат был по назначению от суда. Он не верил в оправдание подзащитного, но этика пересилила в нем вопрос личного самолюбия.

С обвинительным актом произошла досадная задержка... Когда секретарь собрался прочесть его, оказалось, что обвинительный акт украден.

— Отдайте, граждане, — говорил председатель. — Ну, на что он вам? Я понимаю, если бы это еще было пальто, ну, я бы и сам украл, — его, по крайней мере, можно носить. А то — глупейшая исписанная бумажка... Право, отдайте.

— По-моему, если эта бумажка не нужная, то ее украл какой-нибудь идеалист семидесятых годов, — высказал мнение альфонс.

— А по-моему — он не идеалист, а дурак, — с досадой сказал председатель.

Из публики кто-то возразил:

— Сам ты дурак.

— Прошу соблюдать тишину! — крикнул председатель. — Где мой колокольчик? Господи! Только сейчас тут стоял, и уже исчез. Братцы, отдайте... Кто взял?

Член суда Переграев посмотрел на потолок и сделал вид, что не слышал вопроса.

— Ты взял, Переграев?

— Очень нужно, — вздернул плечами Переграев.

Грудь его при этом звякнула.

— Да черт с ним, с колокольчиком. Слово дети какие-то. Тянут, тянут... Говори, прокурор.

— Господа! — сказал прокурор. — Моя речь будет не длинна. — Пусть всякий из вас станет на место купца, предложившего преступнику взятку, и пусть всякий спросит себя: как бы он чувствовал, если бы то лицо, которому предлагается взятка, не взял ее? Помимо того, что отказ от взятки означает нежелание сделать дело так, как желает этого дающий, значит, провал всего задуманного дающим предприятия, значит, крушение надежд дающего и подрыв развития промышленности и торговли. Скажу проще: сегодня этот субъект отказался взять взятку, завтра он бросит пить и курить, а послезавтра — застрахует дом и позабудет поджечь его. До чего же так можно дойти? Я думаю, господа присяжные, что совесть ваша подскажет вам, как оценить поступок преступника... Я же требую для него, для этого выродка, представителя целой цепи предков-дегенератов — наивысшей меры наказания. Я думаю, что вам даже не придется долго совещаться. Сейчас, кажется, два часа... Э, черт! Где же мои часы? Ну, и публика... Я кончил!

Встал адвокат.

— Милостивые государи! Моего клиента обвиняют в том, что он не взял взятки... Кто из вас без греха — пусть первый бросит в него камень.

— Нахальство! — крикнули судьи. — Наглость.

— Еще раз спрашиваю: кто из вас без греха? Вот вы, г. председатель, всегда брали взятки?

— Что за вопрос? — смутился председатель. — Конечно, всегда.

— Да? — ядовито прищурился прокурор. — А сейчас... Берете?

— Это разница! Мне никто не предлагает, а ему прямо в руки совали.

— Да? А хотите, я предложу вам взятку, и вы откажетесь...

— Ни за что!

— Даже если это будет пощечина?

— Гм... Это разница. То пощечина, а то деньги.

— Так вот, — воскликнул адвокат, — для моего подзащитного деньги и были пощечиной. Почему вы не можете себе представить, что бывают такие болезненные, надломленные натуры, которые не могут жить и чувствовать, как мы с вами, которые, может быть, и взяли бы взятку, да их тошнит от этого... Да! Я согласен, что, с юридической стороны, мой подзащитный совершил преступление, но, господа судьи, ведь есть же у вас сердце? Почему вы знаете, какое ужасное детство, какие унижения пришлось пережить в своей жизни этому неудачнику, чтобы он мог отказаться от взятки. Да и полно... Отказался ли он? Не взял ли он взятки другим каким-нибудь образом. Скажите, обвиняемый... Вот вы провели ночь в тюрьме... Вы, так сказать, воспользовались помещением и пищей... Вы, конечно, не заплатили за это, пользуясь своим официальным положением. Не есть ли это бесплатное пользование благами жизни — замаскированная взятка?

— С чего вы взяли, что я не заплатил? — возразил ре-визор. — Тюремный сторож сегодня же взял с меня десять рублей. Прямо из рук выхватил.

— Кто вас за язык тянет, — прошептал адвокат. — Вот, господа судьи! Из того, что мой подзащитный мог бы умолчать об этом и выставить себя взяточником с самой выгодной стороны, но не воспользовался этим случаем, — не вытекает ли отсюда, что мой подзащитный — просто дурак. А разве дураков судят? Их пожалеть нужно. Посмотрите на это тупопростодушное лицо, на эту младенческую наивность, и вам станет жалко его до слез. У меня, по крайней мере, слезы на глазах... Смотрите, я утираю их платок... О, черт! Где мой платок? Кто его взял? Вот ловкие ребята. Послушайте! Подсудимый... вы не брали... А! Что это у вас из кармана торчит?

И адвокат выхватил из кармана ревизора свой платок и взмахнул им в воздухе.

— Вот его оправдание! Человек, который сегодня ук-рал платок, завтра возьмет взятку. Господа судьи. Он уже начал исправляться. Дайте же ему возможность исправиться совсем!!

— Да я не брал вашего пла...

— Тсс!.. Молчите вы, глупец. Не все ли вам равно?.. Итак, господа судьи, ждем вашего слова!

И, посоветовавшись немного, суд под общие аплодис-менты вынес приговор:

— Оправдан! Отдать его на попечение Ильи Кокурки-на, конокрада, впредь до полного исправления.

Все поздравляли ревизора. Адвокат пожал ему руку, потом одной рукой потрепал по плечу, другой — незамет-но вытащил из ревизорова кармана бумажник и сказал:

— О гонораре не будем говорить. Для меня важнее всего самолюбие, а деньги — вздор.

ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ

Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчу-ганом, у меня были свои собственные, иногда очень свое-образные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово “хлопоты” я представлял себе так: человек бе-гает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагиба-ясь, тычется носом в стулья, окна и столы.

“Это и есть хлопоты”, — думал я.

И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесы-вал затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот — в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработ-ке и кристаллизации.

Но представление о слове “хлопоты” так и осталось у меня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на Южный берег Крыма.

— Идея, — похвалили друзья. — Только ты похлопо-чи заранее о разрешении жить там.

— Похлопочи? Как так похлопочи?

— Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.

— Как же они хлопочут? — заинтересовался я.

— Да так. Как обыкновенно хлопочут.

Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы... У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.

— Ну что ж, — вздохнул я. — Похлопочу и я.

С этим решением я и поехал в Крым.

* * *

Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму, нужно еще хлопотать? Я, православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта — и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским... Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

— Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.

— По какой причине?

— На основании чрезвычайной охраны.

— А по какой причине?

— На основании чрезвычайной охраны!

— Да по ка-кой при-чи-не?!!

— На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!

Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.

Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:

— Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что — это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли, ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной — за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:

— Могу.

Но вместо этого сказал:

— Удивительная публика... Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.

— Послушайте, — смиренно возразил я. — За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрешины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смиренько смотреть на птичек, собирать цветные камушки... Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?

— Нельзя, — сказал губернаторский чиновник.

Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:

— Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру... Я тихий. Разрешите? Можно жить?

Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.

Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:

— Тогда — если вы так хотите — начните хлопотать об этом.

Я с суевренным ужасом поглядел на него.

Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову, — не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..

Да ну вас к...

Я уехал.

* * *

Теперь я совсем сбился:

Человек хочет полетать на аэроплане.

Об этом нужно "хлопотать".

Несколько человек хотят устроить писательский съезд.

Нужно хлопотать и об этом.

И лекцию хотят прочесть о ради — тоже хлопочут.

И револьвер купить — тоже.

Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему — мне говорят — об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!

Да я хочу хлопотать!

Почему револьвер купить — нужно хлопотать, а галстук — не нужно? Лекцию о ради прочесть — нужно хлопотать, а на “Веселую вдову” пойти — не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать, и о чем не нужно? Почему просто “О ради” — нельзя, а “Ради в чужой постели” — можно?

И сижу я дома в уголке на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголке на диване?) — сижу и думаю:

“Если бы человек захотел себе ярко представить Россию — как она ему представится?”

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник “хлопочет”.

Никакой никому от этой пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...

Нужно будет похлопотать об этом.

ТЯЖЕЛОЕ ЗАНЯТИЕ

Недавно в Думе какой-то депутат сказал речь приблизительно следующего содержания:

— Я не говорю, что нужно бить инородцев, вообще... Поляков, литовцев и татар можно и не бить. Но евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают!¹

Тогда же многие заинтересовались — как, каким образом депутат мог додуматься до сказанного им? Многие изумлялись:

— Что это такое? Как человеческая голова может родить подобную мысль?

¹ Подлинные слова, сказанные Марковым вторым с трибуны 3-й Думы.

Вот как:

Однажды депутат не пошел в Думу, а остался дома и сидел в кабинете злой, угрюмый, раздражительный.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Речь бы мне нужно сказать в Думе. А речи нету.

— Так ты придумай, — посоветовала жена.

— Да как же — придумай! Вот сижу уже третий час, стараюсь, как ломовая лошадь, а голова все не думает!

— Удивительно! Как же это человеческая голова может не думать?

— Да так вот. Вот сижу и твержу сам себе: ну, думай же, черт тебя возьми... Придумывай речь. Ну! И тут же глядишь на обои — думаешь: какие красивые красные цветочки! Или на стол посмотришь: хороший, мол, стол. Дубовый... Двести рублей за него плачено. Тут же сам себя и поворачиваешь: да ты о речи лучше думай! И думаешь: “Речь” — газета такая есть. Кадетская. Речь... Можно иначе сказать — разговор. Только речь короче — в ней четыре буквы, а в разговоре девять... Речь!! Имя существительное... Тьфу!

— А самой речи не выходит?

Депутат скорбно заморгал глазами:

— Не выходит. Не думается.

— А голова-то у тебя большая, — сказала задумчиво жена, смотря на мужа. — Тяжелая. С чего бы?

— Да черт ли в ней, что большая! Чего не надо — то она думает: о цветочках там, о столе. А как к речи обернешься — стоп, анафемская. Молчит.

— А ты поболтай ею так! Пошибче... Может, мозги застоялись.

Депутат покорно поболтал головой.

— Ну?

— Ничего. Молчит. Вот в окно сейчас посмотрелось и подумалось: что, если у того дома крышу снять — смешно будет или не смешно? Должно, смешно и странно.

Жена вздохнула и вышла из комнаты.

— Тише! — крикнула она детям. — Не мешайте папе. Ему нехорошо.

— А что с ним? — спросили дети.

— Голова молчит.

А в кабинете сидел отец опечаленных малюток, тряс тяжелой головой и бешено шипел:

— Да думай же, анафемская! Думай, проклятая.

К обеду вышел еще более злой, с растрепанными волосами и мутными остановившимися глазами.

Проходя в дверь, злобно стукнул головой о косяк и заревел:

— Будешь ты думать? Вот тебе! Думай, думай!..

Дети испугались. Заплакали.

— Что это он, мама?

— Не бойтесь. Это он голову разбудить хочет. Голова у него заснула.

После обеда несчастный депутат снова перешел в кабинет. Повернулся спиной к столу, к обоям, закрыл глаза.

Жена подходила, прислушивалась. Все безмолствовало.

Около семи часов из кабинета послышался легкий стук и потом шорох, будто кто-нибудь перебирал камушки.

— Славу Богу! — перекрестилась жена. — Кажется, задумал.

Из кабинета доносилось легкое потрескивание, шорох и скрип.

— Что это скрипит, мама? — спрашивали дети, цепляясь за юбку матери.

— Ничего, милые. Не бойтесь. Это папа думает.

— Тяжело, небось? — в ужасе, широко открыв глаза, спросил малютка Ваня.

— А ты как полагаешь!.. Никогда в роду у нас этого не было. Чтобы думать.

Депутат стоял на трибуне.

— Говорите же! — попросил председатель. — Чего ж вы молчите?

— Сейчас, сейчас, — тяжело дыша, прошептал депутат. — Дайте начать... О чем бишь я хотел...

На лбу надулись черные жилы. Теплый пот струился по лицу, скатываясь за воротник.

— Ну же! Скорее.

— Сейчас, сейчас...

Глаза вылезли из орбит. Голова качнулась на шее, вздрогнула... послышался явственный треск, лязг и потом шорох, будто бы где-то осыпалась земля или рукой перебирали камушки. Что-то затрещало, охнуло... депутат открыл рот и с усилием проревел:

— Я не говорю, что нужно бить инородцев, вообще. Поляков, литовцев и татар можно и не бить... Но евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают!

Вот откуда взялась эта речь.

Однажды, развернув газету, бросил я на нее беглый взгляд, и сердце мое похолодело: мне показалось, что увидел я перед собой зияющую сырую отвратительную могилу, в которой мне придется пролежать до скончания веков.

Передовая газеты трактовала о “темных днях в союзе русского народа”, другая статья заключала в себе благородное негодование по поводу непристойной выходки Пуришкевича с письмом Гучкову... Обзорение газет началось с таких строк:

— Иудушка Меньшиков скоро предложит просто взять, да и перебить всех евреев! По крайней мере, в последнем фельетоне он как будто намекает на это...

А “маленький фельетон” (написанный журналистом с большим, от Бога ниспосланным, дарованием) назывался: “Новые откровения Маркова второго”.

Это было год тому назад. Это было три года тому назад. Это будет через год. Не окончится оно и через три года.

У меня явилось сильное желание закричать, завопить, вертяться волчком, наброситься на прохожих и искушать их.

Я чувствовал, что при слове “Пуришкевич” могу перервать сказавшему это слово глотку, а понятия “Гучков” и “Марков” делали меня больным изнурительной морской болезнью...

А в голове раскачивалась мысль:

“Так может продолжаться еще три года... И еще пять лет! И еще восемь лет!”

Российская песня пелась на испорченной пластинке граммофона: на спирали стерлась зарубка и игла без исхода попала на одну и ту же окружность и визжит без конца одни и те же полтакта...

И пошел я к товарищам журналистам и сказал:

— Товарищи журналисты! Ведь вам скучно, противно, ведь вы с холодным отвращением пишете фельетоны и статьи о Пуришкевиче, Маркове втором, Меньшикове, Гучкове и других... Ведь это все людишки жалкие, мизерные, недостойные, в сущности, и одного фельетона в пятьдесят строк?!..

Тогда заплакали все и сказали:

— Правда!

— Давайте сразу вырвем этот отвратительный больной зуб. Давайте сразу утопим их: и Пуришкевичей, и Марковых, и других...

Если бы кто-нибудь видел свирепую радость журналистов, их открытые хохочущие рты, их сверкающие глаза! — В реку их! Топить, как ненужных щенят!!

И каждый схватил по Пуришкевичу, по Меньшикову, и с веселым улюлюканьем, порсканьем и гиком помчались все к реке.

На полдороге кто-то радостно засмеялся и сказал:

— То-то вздохнем свободно!.. То-то красивая жизнь настанет!

— Да здравствует свободное творчество!

Пуришкевичи и Меньшиковы боролись, визжали, но их крепко держали за затылки и, подбежав к реке, с криком пошвыряли в холодную воду.

— На дно! Ступайте к ракам на обед! Туда вам и дорога!

Один журналист стоял у берега и задумчиво, безмолвно смотрел на круги, расходящиеся по воде.

Потом обернулся к веселым братьям и сумрачно спросил:

— Ну, Марковых и Пуришкевичей мы утопили... Хорошо-с. А о чем же мы писать будем? О чем нам писать можно?

Все притихли. Открыли рты. Подумали.

Потом побледнели.

— Ах, черт возьми...

Через десять минут большинство журналистов, снимав верхнюю одежду, бродили в воде и вылавливали Пуришкевичей. Некоторые ныряли за тяжелыми, налитыми, как свинец, Марковыми и, поймав их, швыряли на берег.

— Держите, товарищи!

На берегу сидел вытасченный из воды мокрый, облипший Пуришкевич и, отплеываясь, мрачно ругался:

— Черти! Топите нас! Делают все так: с бухты-баракты... Чем у вас головы набиты?

— Да-с, — язвил покрытый тиной и грязью Меньшиков. — Они уж такие: сначала сделают, а потом думают.

— Тоже нынче, — хрипел Марков, — не очень-то расшвыряешься Марковыми! Тоже это понять бы нужно.

Журналисты, столпившись около них, угрюмо слушали эти разговоры.

Потом, когда Пуришкевичи и Марковы немного обсохли, толкнули их бедные журналисты ногами и, подняв, погнали обратно в город:

— Идите уж, что ли... У-у... Нету на вас пропасти!!..

НАЦИОНАЛИЗМ

Купец Пуд Исподлобьев, окончив обед, отодвигал тарелку, утирал салфеткой широкую рыжую бороду, откидываясь на спинку стула, ударял ладонью по столу и кричал:

— Чтоб они пропали, чертово семя! Чтоб они зажило погнили все! Напустить бы на них холеру какую-нибудь или чуму, чтоб они пооколели все!!

Бледная робкая жена Пуда всплескивала худыми руками и в ужасе широко раскрывала испуганные глаза:

— Кого это ты так, Пуд Кузьмич?

Пуд ожесточенно тербил рыжую бороду.

— Всех этих чертей — французов, американцев и китайцев. Штоб знали!

— Да за что же это ты их так?

— Потому — иностранцы. Потому — не лезь.

Он сладко улыбался.

— У нас в городе француз булочный магазин завел... Взять бы ночью пойти, да сдать побить ему стекла камнем. Стекло дорогое, богемское...

— Да ему ж убыток? — задумчиво возражала жена.

— Пусть. Зато и иностранец. Ха-ха-ха! Вчера я итальянца, который с фигурами, встретил. Ты, говорю, такой-сякой, чтоб тебя градом побило, патент на право торговли имеешь? В церковь ходишь? Да по корзине его! Народ, поллиция; с околоточным потом беседовал. Как в романе.

Жена робко моргала глазами и молчала. Ей было жалко и француза булочника, и итальянца, но она сидела тихо, не шевелясь, и молчала.

* * *

Через некоторое время купец Пуд Исподлобьев опять, сидя за обедом, судорожно схватился за свою рыжую бороду и стал кричать:

— Чтоб вас небесным огнем попало, чтоб вы с голу все попухли, чтоб вас нутряной червь точил отныне и до века!!

— Французов? — спросила жена.

Пуд Исподлобьев ударил кулаком по ребру стола.

— Нет, брат, не французов! Полячишки эти, жидята, татарва разная... Нет на вас, гадов, праведного гнева Божьего!!

— Да они ж в России живут, — недоумевающе сказала жена.

— Это нам безразлично — все равно! Не наши черти!

Он задумался.

— Вытравить бы их порошком каким, что ли. Или пилюлей. Потому иностранцы.

* * *

Однажды учитель местной гимназии приехал к Пуду Исподлобьеву с подписным листом.

— Что? — угрюмо спросил Пуд.

— Не подпишетесь ли от щедрот своих? Страшное бедствие — голод, болезни, голодный тиф.

— Где? — спросил Пуд.

— В Самарской губернии.

— Ходи мимо, учитель. Пусть дохнут от тифа! Так и надо.

— За что? — изумился учитель.

— Потому — мы рязанские, а они что? Самарцы. Не нашей губернии. Ходи мимо.

— Да что вы такое говорите?! — ахнул учитель. — Разве они не такие же русские, как и мы?

— Нет, — упрямо сказал Пуд. — Не такие. Не пожертвую. Будь еще наши, рязанские. А то какие-то иностранные люди — самарцы.

— Да какие же самарцы иностранные?! Они русские, как и мы с вами.

— Врешь ты, придаточное предложение! Русские, брат, мы — рязанцы!

Учитель внимательно посмотрел на Пуда, покрутил головой и уехал.

* * *

Сидели за чаем.

— Человек пришел, — доложила кухарка. — В дворники найматься.

— Зови, — сказал Пуд Исподлобьев. — Это ты, брат, дворником хочешь?

— Мы.

— А какой ты, тово... губернии?

— Здешней. Рязанской.

— Это хорошо, что Рязанской. А уезда?

— Да уж какого ж уезда? Уезда мы Елифанского.

— Вон! — закричал купец. — Гони его, кухарка! Наклади ему, паршивцу, по первое число.

— За что ты? — спросила подавленно жена после долгого молчания.

— Иностранец.

— Царица небесная! Да какой же он иностранец?! Наш же, рязанский.

— Знаем мы. Рязанский — рязанский, а уезда-то не нашего. Иностранного. Этаким ведь чертяга, убей его громом...

* * *

Если бы изобразить поведение купца Пуда Исподлобьева в виде спирали — было бы ясно, что он со страшной быстротой мчался от периферии к центру. Круги делались все уже и уже, и близко виднелась та трагическая мертвая точка, которой заканчивается внутри всякая спираль.

На другой день после изгнания дворника к Пуду приехал в гости купец Подпоясов, живший от него через две улицы.

Пуд вышел к нему и сказал:

— Ты чего шатаешься зря! Гнать я решил всех вас, иностранцев, по шеям... Нет у меня на вас жалости!

— Пуд Кузьмич! — отшатнулся Подпоясов. — Побойся Господа! Да какой же я иностранец?!

— Бога мы боимся, — сухо отвечал Пуд. — А только раз ты живешь в другом фартале, на другой улице, то есть ты не более, как иностранец. Вот вам Бог, вот — порог... Иди, пока не попало...

* * *

Спираль сузилась до невозможности.

Пуду уже было тесно даже у себя дома. Он долго крепился, но в конце концов не выдержал...

Однажды позвал жену и детей, злобно посмотрел на них и сказал:

— Пошли вон!

Жена заплакала.

— Грех тебе, Пуд Кузьмич!.. За что гонишь?
— Иностранцы вы, — сказал Исподлобьев. — Нету у меня к вам чувства, чтоб вы подошли!
— Да какие ж мы иностранцы, Господи ж? Такие же, как и ты, — Исподлобьевы..
— Нет не такие, — сердито закричал Пуд. — Не такие! Я Исподлобьев, а вы — что такое? Иностранцы паршивые... Вон с моих глаз!..

* * *

В большом пустом купеческом доме бродил одинокий истощенный Пуд... Он уже не ел несколько дней, а когда жена из жалости приносила ему пищу, он бросал в нее стульями, стрелял из револьвера и яростно кричал:

— Вон, иностранка!!

Так он прожил неделю. К началу второй недели спираль дошла до своей мертвой точки. Пуд Исподлобьев увидел, что и он не более, как иностранец...

Висел три дня. Потом заметили, сняли с петли и похоронили.

Хоронили иностранцы.

БОЛЕЗНЬ

Посвящ. А. Н. Шварцу

Начало болезни министра было замечено таким образом: министр позвал своего личного секретаря и сказал ему:

— Составьте циркуляр на имя директоров средних учебных заведений, чтобы они не женились на польках.

— Заведения?

— Нет, зачем же заведения. Директора. Чтоб директора не женились. Так и напишите.

— Слушаюсь.

В тот же день было заседание Совета министров.

— Ну, господа... — сказал председатель. — Рассказывайте, кто что сделал хорошего?

Тот министр, о котором речь шла выше, вскочил и сказал:

— А я директорам гимназий запретил на польках жениться.

Товарищи внимательно посмотрели на него.

— Зачем?

— Да так. Все-таки реформа.

Министры переглянулись между собой и перевели разговор на другое.

— А я еще одну штуку задумал, — усмехнулся министр. — Сделаю распоряжение, чтобы учителей нанимали только блондинов.

— Гм... Странно. Для чего это вам?

— Ну, не скажите... Все-таки реформа.

— Да чем же брюнеты плохие?

— А вдруг еврей?

Председатель побарабанил пальцами по столу и покачал головой:

— Работаете все. Хлопочете. Это страшно утомляет.

— Ничего. Я завсегда готов.

— Поберечь бы себя следовало.

Все сделались задумчивыми.

* * *

— Объявляю заседание открытым, — сказал председатель. — Ну, господа, рассказывайте, кто что сделал хорошего?

— Я! — поспешно сказал министр, о котором речь шла выше.

— Ну?

— Я однажды долго думал, почему наши средние школы стоят не на должной высоте...

— Придумали?

— Да. Все дело в гимназических поясах. Их нужно делать на два пальца уже.

— В чем же тут дело?

— Интереснейшая история! Очень широкий пояс давит своим верхним ребром на грудобрюшную преграду и делает дыхание затрудненным. Появляются судорожные сокращения околосоердечных мышц, кои действуют по своей болезнетворности на общую психику учащегося. А угнетенная психика учащихся — вот наш бич!

— Хлопотун вы, — ласково сказал председатель. — Деляга. Работаете все, и вид у вас утомленный. Наверное, чувствуете себя неважно?

— Нет, благодарю. Я здоров.

— Ну, какое там наше министерское здоровье... Ясно — вы нездоровы. Господа, ведь он нездоров?

— Немножко есть, — подтвердили другие министры.

— Ну, вот. Усиленно советую вам: займитесь вашим здоровьем!!!

Министр побледнел.

— Вы меня пугаете!

— А вы поправьтесь!

Все сделались задумчивыми.

* * *

— Ну, господа... — начал председатель. — Объявляю заседание открытым. Расскажите-ка, кто сделал что-нибудь хоро...

— Я!!

— Ну, рассказывайте вы.

— Ловкую я штуку придумал: издал циркуляр, чтобы родители учеников средних учебных заведений поселились все вместе в большом-пребольшом таком доме! И жили бы там.

— Зачем?!!

— Если все вместе — тогда надзор за учениками легче. И правила выработал для общежития: виновные в курении, ношении усов, бороды, тростей, палок и прочих украшений...

Председатель всплеснул руками.

— Это прямо какой-то святой безумец! Приехал на заседание в то время, когда совсем болен!

— Я... не болен...

— Ну, что вы говорите! На вас лица нет... Ах, Господи! стакан воды скорее! Ради Бога!..

— Да я не хочу воды...

— Какой ужас! У человека такая температура, такой вид, а он работает... Нет, милый... Если вы о себе не заботитесь, то святая обязанность каждого постороннего человека позаботиться о вас... Вам нужно отдохнуть...

— Ну, я возьму отпуск на 2 недели...

— Ни-ни... Мало. Тридцать лет! За этот срок вы успокоитесь, отдохнете, полечитесь...

— А... как же министерство?..

— Ну, есть о чем заботиться. Тут живой человек болен, а он о бездушном пустяке думает...

Товарищи суетились около захворавшего министра. Один из них сочувственно поглядел на него и подсунул какую-то бумажку...

— Что это?

— Пустяки. Простая формальность. Пустяковое прошение.

— О чем?

— Об, этой, как ее... Ну вот... Еще слово такое есть. Да это неважно — вы только подпишите... Там знают.

— Экая досадная штука, болезнь, — вздохнул председатель. — А ведь какой работник был!

— Где моя шляпа? — печально спросил бывший министр.

— Вот она. Не забывайте нас, голубчик. До свиданья. Выздоровливайте. Экая ведь незадача!

Когда бывший министр вышел из дверей, к нему подскочил репортер.

— В отставку уходите, ваше превосходительство? Не можете ли сообщить, по какой причине?

— А вот сейчас посмотрю... У меня есть копия с прошения...

Он вынул из кармана бумагу, развернул ее и сказал:

— Вот сейчас мы и узнаем. Где это? О! вот оно: “по болезни, связанной с усиленными занятиями”...

“КОЛОКОЛ”

Вспоминая о случае в городишке В., я всегда улыбаюсь: так это было смешно и глупо...

Однажды жарким летом я приехал в городишко В. Сухая серая пыль лениво металась перед глазами, крохотные домишки притаились и дремали с полузакрытыми окнами, будучи не в силах поднять отяжелевшие от душной скуки ставни...

Лениво бродил я по мертвому городку, не зная, чем убить время до поезда.

Неожиданно среди этой мелкой приземистой дряни вынырнула громадная чудовищная вывеска, которая, казалось, царила над всей окрестностью, лезла вперед, ширилась и топорщилась, занимая собою полгоризонта.

Размеры этой вывески были таковы, что дом совершенно исчезал под ней. Как будто бы сделали сначала вывеску, а потом уже пристроили к ней домик.

Вывеска меня заинтересовала.

Я подошел ближе, разглядел одно слово:

“Колокол”.

“Что это может быть? — подумал я. — Вероятно, это литейный завод. Отливают здесь, главным образом, колокола, почему весь завод и назван: “Колокол”.

Подошел я еще ближе и разглядел на вывеске, под большим словом “Колокол”, два других, помельче: “Страховое общество”.

“Вот оно что, — подумал я. — Это, вероятно, общество страхования от пожаров. Где только тут оно может помещаться?”

И только когда я подошел совсем близко к загадочной вывеске, мне бросилась в глаза третья, самая мелкая, строка: “Страхование электрических звонков от порчи”.

“Странные люди... — пожал я плечами. — Неужели они для такого маленького предприятия должны были выстроить такую громадину?!”

Инициаторы и владельцы этого странного предприятия не на шутку заинтересовали меня. Я решил полюбоваться на них собственными глазами.

Открыл крошечную калиточку, пролез в нее боком и сейчас же наткнулся на голоногую старуху, кормившую морковью худощавого поросенка.

— Бабка, — сказал я. — А где общество?

— Которое?

— А это вот... “Страхование звонков от порчи”.

— Ну?

— Так вот я спрашиваю, — где оно помещается?

— Что?

— Да общество же! Страхования звонков от порчи, под фирмой “Колокол”.

— Да вон оно лежит! Ослеп, что ли?

— Что лежит?!

— Да общество же. С утра не продыхнет. Получит пятиалтынный за починку, насосется и валится, ровно колода. Тоже — мастер! Не люблю я чивой-то таких мастеров. Сынок мой.

Я сделал три шага в глубь дворика и действительно увидел под навесом разметававшееся “страховое общество”. Было оно лет тридцати, того разнесчастного вида, который бывает у прогоревших мастеровых... Бороденка свалаялась, волосы на голове сползли на сторону, и мухи сплошной тучей окружали голову спавшего.

Это и было “Колокол” — “страховое общество для страхования электрических звонков от порчи”.

Очевидно, в свое время были у парня деньжонки, но ухлопал он их целиком на свою гигантскую вывеску, и теперь сладкий пьяный сон был для него предпочтительнее жалкого бодрствования...

Когда при мне теперь говорят:

— “Союз русского народа”?!!

Я вспоминаю:

— Страховое общество “Колокол”?!!

И улыбаюсь. Так это смешно и глупо: громадная вывеска, а под ней пьяный человек.

СЛУЧАЙ С СИМЕОНОМ ПЛЮМАЖЕВЫМ

Симеон Плюмажев был в этот вечер особенно оживлен... Придя ко мне, он засмеялся: подмигнул, ударил меня по плечу и вскричал:

— Хорошо жить на свете!

— Почему? — равнодушно спросил я.

— А вот Рождество скоро. Каникулы... Отдохнем от думской сутолоки. А вы почему... такой?

— Мне тяжело, вообще. Как вспомню я истязания политических каторжников в Зерентуе и их самоубийство — так сердце задрожит и сожмется.

Он протяжно свистнул.

— Вот-о-но-что... Да ведь это закона не нарушает.

— Что не нарушает?

— Да что их пороли.

— Послушайте, Плюмажев...

Он потонул в мягком кресле и добродушно кивнул головой.

— Конечно! Статья закона гласит: “За маловажные преступления и проступки каторжникам полагаются розги не свыше ста ударов”. Еще недавно по этой же статье до 1906 года полагалось, кроме розог, наказывать плетью даже за маловажные поступки. Это отменено, о чем я весьма сожалею...

— Что вы такое говорите, Плюмажев?! Стыдитесь!.. Ведь вы же интеллигентный, культурный человек, член Думы...

— Вот именно, потому я и говорю. Раз человек в чем-нибудь виновен, он должен понести наказание. Под влиянием иудейского страха, под влиянием трусости, позорной трусости, многие начальники тюрем отделяли этих политических каторжников от обыкновенных и не приводили в исполнение, не применяли тех кар, которые закон повелевал применять. К счастью, нашелся в вологодской тюрьме, а также в зерентуйской тюрьме истинный гражданин, истинный человек, исполнитель закона, который в надлежащем случае выпорол надлежащее количество негодяев!

— Плюмажев, Плюмажев! — горестно всплеснул я руками. — Кто ослепил вас? Неужели вы не понимаете, что дело государства — только обезвредить вредные для него элементы, но не мучить их... не истязать!

— Поррроть! — взвизгнул Плюмажев. — Раз он преступник — нужно его пороть!!

Я встал. Прошелся по комнате.

— Значит, по-вашему, всякого преступника нужно пороть?

Плюмажев ответил твердо и значительно:

— Да-с. Всякого.

— Даже такого, который что-нибудь украл, утаил, присвоил?

Плюмажев замялся немного и потом ответил:

— Даже такого.

Я, пожав плечами, молча позвонил. Вошел слуга.

— Пантелей! Позовите еще Евграфа и дождитесь в передней моих приказаний.

— Для чего это он вам? — засмеялся Плюмажев.

Я вынул из ящика письменного стола бумагу и развернул ее перед Плюмажевым.

— Знаете ли вы, Сеня, что это такое?

— Н...нет.

— Это, Сеня, копия с протокола, который составлен на вас за утаивание гербового государственного сбора.

— Ну-ну, — ненатурально засмеялся Плюмажев, — кто старое помянет — тому глаз вон. Порвите эту бумажонку — я вас хорошей сигарой угощу.

— Постойте, Сеня... Вы соглашаетесь с тем, что вы утаиванием гербового сбора обворовывали казну?

— Эко сказал! — засмеялся Плюмажев. — А кто ее нынче не обворовывает?

— Сеня! — торжественно сказал я. — Имели ли вы какое-нибудь наказание за это преступление? Не имели? Так по долгу справедливости вы его будете иметь, Сеня! Я вас сейчас высеку розгами.

— Фома! — вскричал Плюмажев, как мячик вскакивая с кресла. — Ты не имеешь на это права!!

— Сеня! Я имею право, основываясь на твоих же словах: раз человек преступник — надо его пороть.

— Но ведь это же, вероятно, чертовски больно! Фома! Поедем лучше куда-нибудь в рестораник, а? Выпьем бутылочку холодненького...

— Нет, Сеня... как я сказал — так и будет. Ты преступник — я тебя и выпорю. Эй, Пантелей, Евграф!..

Едва вошли слуги, как Плюмажев изменил растерянное выражение лица на спокойное, осанистое.

— Здравствуйте, братцы, — сказал он. — Мы вот, того... с вашим барином пари подержали: больно ли телесное наказание розгами. Хе-хе. Думаете, небось: "Чудят баре!.." Ну, ладно. Если все хорошо будет, на чай получите...

— Никакого пари мы с ним не держали, — хладнокровно сказал я. — А просто я хочу его высечь за то, что он воровал казенные деньги.

— Thomas! — укоризненно вскричал Плюмажев. — *Devant les domestiques...*¹

— Раздевайтесь, Сеня. Сейчас вы узнаете, приятно ли интеллигентному человеку обращение, за которое вы так ратуете...

— Чудак ты, Фома, — покрутил головой Плюмажев. — Вечно ты такое что-нибудь придумашь... комичное.

Он снял скюртук, жилет, сорочку, погладил себя по выпуклой груди и сказал:

— Что это, как будто сыпь у меня? Ветром охватило, что ли?

Я смотрел на этого человека и диву давался: откуда он брал в эту минуту столько солидности, величавости и какой-то ласковой снисходительности.

— Надеюсь, — сказал он внушительно, — это останется между нами?..

Когда слуги положили его на скамью и дали несколько ударов, он солидно откашлялся и заметил:

— А ведь не особенно и больно... Так что-то такое чувствуешь...

¹ Подлинные слова с трибуны Маркова второго.

¹ Фома!.. Перед слугами... (фр.)

Мне показалось все это противным.

— Довольно! — крикнул я и отошел, уткнувшись лицом в угол.

Так стоял я, пока он не оделся.

Обернулись мы лицом друг к другу и долго стояли, смотря один на другого.

— Нынче летом, — сказал Плюмажев, — видел я в Москве одну девочку итальянку. Актриса с отцом играет. Можете представить: маленькая, а играет, как взрослая.

— Очень страдает? — спросил я.

— Что такое?

— Ваше самолюбие. Ведь я вас высек сейчас.

Он солидно засмеялся.

— Шутник! А что, Фома, не найдется у вас стаканчика чаю? Жажда смертельная.

Нам подали чай. Я потчевал его вареньем, чаем, а он солидно благодарил, рассказывал думские новости и причмокивал, слизывая с ложечки варенье.

— Да, — вздохнул я после долгого молчания. — Такой человек, как вы, не поймет самоубийства Сазонова.

— Пороть их всех нужно, — машинально сказал Плюмажев.

Потом он что-то как будто вспомнил, побледнел и боязливо посмотрел на меня.

— Сознайтесь, Сеня... — засмеялся я. — Ведь я знаю, о чем вы думаете: разболтаю я о том, что было, или нет? Небось тысячи рублей не пожалели бы, чтоб молчал.

— Уж и тысяча, — поморщился он. — И на пятистах отъедешь. Сейчас дать?

— Гадина! Пошел вон.

Он засуетился, вскочил, пожал мне руку и озабоченно сказал:

— Да... пора мне! Засиделся. Гм!.. Ну, всех благ. Заглядывайте.

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Маленький уездный (ялтинский) генерал-губернатор Думбадзе в чине генерал-майора распек телеграммой генерал-губернатора всей Финляндии Бекмана, имеющего чин генерал-лейтенанта... (Факт.)

Департаментский курьер Михеев сидел в полутемной передней и читал газету.

Во время чтения иностранные слова пропускал, к петиту относился с нескрываемым пренебрежением, а из объявлений просматривал только такие, где писалось о колясках, так как сам Михеев до курьерства служил в извозчиках.

Вольнонаемный писец Бутылкин вбежал в переднюю, сбросил калоши и, спустив с одного плеча пальто, внушительно сказал:

— Брось газету! Возьми и повесь!

Михеев солидно взглянул поверх газеты на чиновника и громко проворчал:

— Ты что расскакался, сорока! Много тут вашего брата, чинодралов, ходит. И что это за народ такой охальный пошел... Никакого до сторожов уважения нет.

— Как ты смеешь мне это говорить?! — вспыхнул Бутылкин.

— А что же вы за птица такая, — пожал плечами Михеев. — Видали мы вашего брата! Проходи, пока по запылку не попало... Скорпиён тупоухий!

Бутылкин потупил глаза, пробормотал какое-то извинение и, повесив на вешалку пальто, на цыпочках прошел мимо курьера Михеева.

Когда писец Бутылкин сел за стол, к нему подошел столоначальник Седалищев и положил на стол пачку бумаг.

— Вот, перепиши, братец.

— Много вас тут найдется братцев, — недовольно сказал Бутылкин.

— Что т-такое? — поднял брови столоначальник.

— Да то и такое! Какой я вам братец! У меня отец был обер-офицер, а ваш отец кто был? Жулик какой-нибудь! Вас когда не подтянешь, так вы на голову готовы сесть! Благодарите Бога, что у меня настроение хорошее... А то бы я вас так разнес, что до зеленых веников помнили бы! Буржуй паршивый!

— Но... — робко начал столоначальник.

— Без всяких но! Уходите вы от меня, пока я вас по третьему пункту не выгнал. На первый раз объявляю выговор, а если подобное безобразия повторится, —

без церемонии со службы вышвырну. Ступайте на свое место.

Столоначальник Седалищев тихонько вздохнул и молча поплелся на свое место.

* * *

— Вас его превосходительство господин директор к себе в кабинет требуют, — доложили столоначальнику Седалищеву, после того как он немного успокоился от разноса Бутылкина.

Седалищев нервно встал, уронил стул на пол и, взъерошив волосы, отправился в кабинет директора.

— Звали? — спросил он, садясь на письменный стол, за которым сидел его превосходительство. — Дайте-ка папироску.

— Прежде всего нужно сказать “здравствуйте”... — сухо сказал директор.

— Прежде всего, — перебил его Седалищев, сплевывая в директорскую чернильницу, — прошу без выговоров! И потом, что это у вас за идиотская привычка беспокоить меня и звать к себе! Если вам что-нибудь надо, можете сами прийти и спросить!

— Но... я думал... — начал директор.

— Нужно, молодой человек, — обрезал Седалищев, — думать головой, а не другим каким-нибудь органом! Вы мне действуете на нервы своими оправданиями! Я не потерплю, чтобы у меня на службе были директора департаментов, которые сапоги шьют, вместо служебных занятий!! Не нравится — пожалуйста! На ваше место других найдем, сколько угодно! Шш-то-с? Вы, кажется, забываете, что вы еще генерал, а я уже коллежский советник! Шш-то-с?! Прошу молчать!

Седалищев бросил на директора уничтожающий взгляд и, хлопнув дверью, ушел.

* * *

Директор остался один.

Ему было больно и обидно, что его распекли, как мальчишку, но в то же время он чувствовал свое бессилие.

— Проклятый вертун! — прошептал он. — Эх! Если бы ты был директором, а я столоначальником... Показал бы я тебе.

Он долго шагал по кабинету, не зная, на ком сорвать накопившуюся злость и обиду.

Потом, вспомнив о министре, облегченно потер руки, сел за стол и, почти не думая, написал письмо:

— “Его высокопревосходительству, господину министру!.. Послушайте, милостивый государь... Если вы хотите работать — то работайте, а даром получать министерское жалованье — это извините-с! Я этого не позволю! Вас если не подтягивать, вы совершенно распуститесь... Чтoб этого у меня не было”.

И на душе директора сделалось легче.

Он подписался, вложил письмо в конверт и отправил министру...

СТРАШНОЕ ИЗДАНИЕ

(Святочный рассказ)

Однажды беспартийному гражданину Расхлябину попался в кафе номер “Русского знамени”, в котором Расхлябин от нечего делать прочел:

“Есть прекрасный и безобидный способ бороться с заедающим Русь жидовством, которое с помощью своей наглой жидовской печати опутывает всю матушку-Россию, чтобы верней ее погубить. Приближается подписочное время, и если всякий русский здравомыслящий человек не пойдет на обманные широковетательные жидовские объявления, а, вместо жидовской газеты, подпишется на хорошую правую газету — он получит здоровую пищу для себя и для своей семьи и достигнет в своей жизни благополучия, полного здоровья, покоя и довольства”.

“Это хорошо, — подумал Расхлябин. — Если я получу здоровую пищу для себя и для своей семьи — лучшего мне и не надо. А там пойдет благополучие, здоровье, полный покой и довольство... Прекрасная идея — подпишусь на эту симпатичную газету!”

В тот же день Расхлябин подписался на “Русское знамя”.

* * *

— Вот, жена и дети!.. — сказал за утренним чаем Расхлябин. — Читайте эту газету! Она несет с собой благополучие, здоровье, полный покой и довольство. А то ишь ты какие вы у меня хилые... Да и я сам...

Расхлябин грустно-иронически погладил ладонью свою впалую грудь и тощие плечи.
— Авось поможет.

* * *

Прошло три дня. Жена и дети Расхлябина, следуя примеру отца, усердно читали “Русское знамя”. И странно: прежние горячие споры по разным вопросам между отцом и детьми утикли, все чувствовали себя здорово, благополучно, и покой снизошел под кров нервной, истощенной лишениями семьи Расхлябиных... Расхлябин не мог нарадоваться.

* * *

Теперь лучшим развлечением Расхлябина было — запереться в комнате, раздеться и осматривать свое раздобревшее полное тело, приводившее его в восхищение.

— Телеса-то какие пошли! — умилялся он.

Приводило его в смущение только то, что на всем теле стала появляться странного вида щетинка, которая не только исчезала, но росла все больше и больше.

Однажды, сидя утром за “Русским знаменем”, он сообщил жене об этом странном факте, но она пожалала плечами и сказала:

— Ничего. У меня то же самое. Да теперь ведь зима — еще лучше! Теплее.

В комнату весело вбежал сын Расхлябиных, гимназист, и с порога закричал:

— Mamочка! А я умею ушами шевелить.

Отец взглянул на него и ахнул: большие висячие уши украсили голову его сына, шлепаясь и раскачиваясь от веселых прыжков мальчугана.

— Как ты смеешь, негодяй! — заревел перепуганный отец.

— Чего ты кричишь на мальчика, — возразила мать.

— Иди сюда, мой поросенок. Тебя не смеет обижать этот старый толстый кабан.

— А что, папа, — весело завизжал ребенок. — Ты остался с пяточком.

— С каким пяточком?

— Да который у тебя на носу! У людей говорят — с носом, а ты...

Отец открыл рот, выставил два страшных клыка и с ревом бросился к сыну...

По дороге он взглянул в зеркало и — остолбенел: нос его вытянулся, заломился кверху и смотрел в потолок темно-розовым плоским кружочком.

* * *

— Пойдем прогуляемся, — сказала madame Расхлябина.

Муж отложил в сторону газету и смущенно сказал:

— Мне трудно так ходить...

— Как — так?

— На двух ногах... Мне бы и на руки.

— Так кто же тебе мешает?

— На улице — неудобно. Скажут: вот этот толстый кабан Расхлябин со своей женой и поросятами идет.

— Так ходи здесь, в столовой.

Расхлябин стал на четвереньки и пошел вокруг стола, тихонько повизгивая от удовольствия. На полу он нашел оброненный кем-то и растоптанный кусок котлеты. Съел его. Валялся на ковре... Когда вошел сын — бросился на него и пытался съесть. Мать едва отняла.

* * *

В столовую вошли кухарка, горничная и с ними двое каких-то людей.

— Мы с вас недорого за них возьмем, — сказала кухарка. — Сам-то стар, зато сама — объеденье. А детишки — все молочные. Молоком кормленные.

— Их можно бы к Рождеству и заколоть, — сказал один человек, по виду мясник.

— Дело колбасное, — кивнул головой другой.

* * *

В ту же ночь два страшных человека резали семью гражданина Расхлябина. Сам Расхлябин долго боролся и даже укусил своего убийцу, а жена его умерла сразу, и последние ее слова были:

— Прощайте, мой поросенок. Дай вам Бог благополучия, здоровья и полного в жизни довольства!

И, испустив дух, не слышала она отчаянных предсмертных воплей последних в роде Расхлябиных.

КЛЕВЕТА

Мы встретились на улице.

— Здравствуйте! — сказал я. — Что новенького?

Гурлянд поморщился и сказал:

— Шарлатаны!

— Кто?

— “Новое время”. Читали?

Он вынул из кармана затасканный номер газеты и ткнул пальцем в одну строку.

— О! “Еврейские публицисты из газеты “Россия” гордятся тем...” Как это вам понравится?!

— Что же вас так огорчает?

— Они думают, что в нашей “России” есть евреи. Должен вам сказать, наша “Россия” — это единственная Россия, где нет евреев!

— Неужели?

— Чтоб я так жил! Я их таки этих шарлатанов, конечно, да, понимаю! Им, извините, бельмо на глазу, что есть единственная русская чистая газета, в которой нет этого паршивого племени. Так они же психопаты! У них уже везде грезятся евреи... Они даже меня хотят держать за еврея.

— Неужели?

— А вы что думаете! Когда я им тысячу раз говорил, что я немецкий выходец из Курляндии — так разве они что-нибудь понимают?!..

— Какое же они имеют право?

— Что вы меня спрашиваете? Вы их спросите. Гурлянд? Так они только услышат мало-мальски иностранную фамилию, сейчас ай-яй!.. Сейчас: Гурлянд? Он еврей! Чтоб они так дышали, как я им еврей!

— Вы бы взяли какое-нибудь удостоверение, что ли, что вы не еврей!..

— Что значит — удостоверение? Говорю же им, что я английский выходец из Шотландии... Так это разве люди, имеющие ушей?

— Из Шотландии? Вы, кажется, говорили — из Курляндии?

— Ну да. Я, собственно, из Шотландии вишел в Курляндию, а оттуда в Россию. Знал бы, что здесь такие шарлатаны, — ни за что бы не выходил!

— Вы, вероятно, не любите евреев?

— Он меня спрашивает! Чтоб вы так же любили свои болячки, как я евреев! Если бы “Новое время” знало, как я их люблю, оно бы не сказало — Гурлянд жид. Ой, молодой

человек! Если б вы знали, как тяжело выходцу из Испании, чистой воды испанцу — слушать: Гурлянд, ты еврей!

— Разве вы выходец из Испании?

— А то откуда же? Из Норвегии, что ли?

— Вы говорили насчет Шотландии...

— Таки да! Я вишел из Испании, пошел на минуточку в Шотландию и через Курляндию — в Россию.

Мы помолчали.

— Почему вы говорите — выходец, — полюбопытствовал я, — а не выходец?

— Почему? Потому что это от русского слова выход.

Он остановился у какого-то дома и, вздохнув, сказал:

— Вот мне нужно зайти сейчас до портного... Так чтобы вы думали? Он русский? Хороший русский! Форменный еврей! Это, я вам скажу, такой народ, который всюду засовывает своего носа, как выражается русский крестьянин. Зайдем. Я на немножечко.

Мы зашли.

— Хозяин сейчас выйдет, — сказал мальчишка, расставляя на обеденном столе посуду.

— Вот, видите — еврей сейчас будет обедать. Что он будет обедать? Он будет кушать свою щуку. Ой! Вы думаете, я не угадал? Таки действительно, на этом блюде лежит фаршированная щука! Ой! Это форменные психопаты! Как они могут есть такую дрянь?

Он подошел и заглянул в блюдо.

— Как можно кушать это ужасное стряпничество?.. Потому они такие, извините, и жулики, что щук кушают. Ой! Пахнет прямо до ужаса.

Он потянул носом и обратился ко мне:

— Никогда я не пробовал такой штуки... Попробовать разве, как человек может кушать подобную дрянь...

Отщипнув кусочек щуки, он положил ее в рот, пожал плечами и сказал:

— Форменная гадость! А ну-ка — еще кусочек... Нет! Я вас спрашиваю — как можно это кушать? А что же?

— Зачем же вы еще кусок берете? — спросил я.

— Ой! Он меня спрашивает... Вы бы сами попробовали лучше!.. Хотел бы я посмотреть — как вас не затошнит от этого...

— Так и не трогайте ее больше!

— Что значит — не трогайте? Это хорошо сказать — не трогайте... Уй! Что это такое? хвост? Почему такой маленький?

Когда портной вышел к нам, он заглянул в блюдо и печально спросил:

— Предположим, что это господин Гурлянд, а это его знакомый... Хорошо. А где же щука?

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Житомир. Профессору Краковского университета, директору обсерватории Рудекому не разрешена лекция на тему: "Развитие понятия о строении вселенной".

В момент запрещения лекции "Развитие понятия о строении вселенной" между житомирским администратором и лектором произошел, вероятно, такой диалог:

Администратор. Это что ж за лекция такая?

Лектор. Развитие понятия о строении вселенной.

Адм. Да какое такое строение?

Лект. Строение вселенной.

Адм. Каменное? Деревянное? Строительный устав знаете?

Лект. При чем тут строительный устав?

Адм. Да на строение-то разрешение нужно или не нужно?

Лект. (не понимая). Разрешение на настроение?

Адм. (раздраженно). Не настроение, а на строение.

Лект. Я... вас... не понимаю...

Адм. А еще лекции беретесь читать! Ну, понимаете: строение! Дом!

Лект. Ну?

Адм. Как же вы будете его строить без разрешения?

Лект. Да зачем же мне дом строить?

Адм. (нетерпеливо). Да лекцию-то где вы будете читать?

Лект. В клубе.

Адм. Так зачем же вам дом понадобился?

Лект. (тоскливо). Мне дом и не нужен.

Адм. Вот видите! (С упреком.) Только даром у людей время отнимаете. Вы кто такой сами будете?

Лект. Директор обсерватории.

Адм. Постыдились бы говорить такое... Тут барышня переписчица сидит, а он выражается.

Лект. Да вы не понимаете: обсерватория — это учреждение, где занимаются наблюдением за небесными светилами, метеорологией и...

Адм. Никогда я у себя в Житомире такой гадости не допущу!

Лект. Ах ты, Господи! Да лекцию-то вы мне разрешите?

Адм. Об чем?

Лект. Да ведь я вам уже говорил: "Развитие понятия о строении вселенной".

Адм. Эк, куда хватил! Нельзя. Небось в трубу смотреть будете, а у нас насчет этого строго.

Лект. (в отчаянии). В какую трубу?

Адм. А на небо-то.

Лект. Господи! Где же в клубе небо? Просто будет демонстрация туманных картин...

Адм. Демонстрация? Нельзя. Обязательное постановление от 12-го сего...

Лект. Ну ладно, ладно. Без демонстрации будет. Просто покажу туманные картины.

Адм. Зачем же туманные? Это нехорошо. Бог его знает...

Лект. Ну, ладно!!! Ясные будут картины. Понимаете? Ясные. С помощью волшебного фонаря.

Адм. Гм... Волшебного?.. Тогда я обязан запросить преосвященного. Сами знаете, волшебное нынче... гм! Как понять...

Лект. (в испуге). Ну ладно, ладно... Без волшебного фонаря. Обойдусь камер-обскурой...

Адм. (с беспокойством). Чего?

Лект. (очертя голову). Это такое... Это ничего... Такое... вроде камер-юнкера... Одним словом, мой помощник.

Адм. Юнкер? Тогда ничего. Юнкер, это можно. Давайте уж афишу... подпишу.

Лект. Вот-с... пожалуйста.

Адм. О чем лекция-то?

Лект. (изнемогая). Да говорил же я: "Раз-ви-ти-е по-ня-ти-я о стро-е-ни-и все-лен-ной"!

Адм. (вслушиваясь). С ума вы, кажется, сошли. "Вселенная"! Эко, что выдумал! Идите, идите, господин... Пока хуже не вышло.

Вот каким образом у житомирцев понятие о строении вселенной осталось прежнее: именно, что земля держится на трех китах — полицеймейстере Расшибалове, квартальном Держиморде и городовом Сапогове.

ГРАЖДАНЕ

Когда я зашел вчера к Оголтелову, он взглянул в мое лицо и ахнул.

— Что с тобой?

— Беда, брат!

Он вскочил с дивана, на котором лежал, и подбежал ко мне.

— Ты меня пугаешь! Что случилось?

— Вероисповедные законы взяты министерством обратно! Положение Думы шаткое.

Оголтелов лег опять на диван, заложил руки за голову и задумчиво сказал:

— Тебе не случалось замечать, что иногда встречаешься с человеком, знаешь его, даже дружишь с ним и — ничего не подмечаешь. Но вот мелькает в нем какая-нибудь маленькая черточка, микроскопический зигзаг, и сразу осветит его: эге, думаешь... Да ведь ты, братец, дурак!

— Мне не случалось, — отвечал я после некоторого размышления. — А тебе... случалось?

— Да. Не так давно. Сейчас.

— Оголтелов! — сказал я, покачав головою. — Я не дурак... Но мне больно!

— Что тебе больно?

— Что осуществление гражданских свобод все отодвигается и отодвигается.

— И очень тебе больно?

— Чрезвычайно.

— Может быть, ты бы заплакал?

— Мне очень грустно, Оголтелов.

— Ты извини, что я без жилета!

— Почему ты извиняешься?

— Тебе очень важно, чтобы жилет, в который ты сейчас не прочь заплакать, был бы на ком-нибудь надет? Если не важно, достань в шкафу любой из жилетов и плачь на него.

Я печально смотрел в угол.

— И законы о печати отсрочены, потому что не решен вопрос о чрезвычайном положении... А чрезвычайное положение не может решиться без урегулирования законов о печати. И никаких русскому гражданину нет гражданских свобод.

— Они ему не нужны, — лениво улыбнулся Оголтелов.

— Тт... то есть... кккак... не нужны?

— Да так. Ну, посуди сам: ведь ты человек, в сущности, не глупый; ну куда русскому человеку — гражданские свободы?

— Да что же он, не человек, что ли?

— Конечно, не человек.

— А кто ж он?

— Он?

Оголтелов встал с дивана и принялся одеваться.

— Если ты свободен, пойдем прогуляемся. На улице я тебе покажу русского человека.

* * *

Мы вышли на улицу, и Оголтелов, взяв меня под руку, подошел к одинокому извозчику.

— Эй ты!

— Пожалуйста-с!

— Нет, не пожалуйста... А что это у тебя на руках?

— Рукавицы, — отвечал оторопевший извозчик.

— Рукавицы? Ах ты мерзавец! В участок хочешь? В Сибири сгною тебя, подлеца! Брось рукавицы!

— Ваше благородие! Нешто ж можно... Опять же хозяйскую вещь...

— Брось рукавицы! — истерически закричал Оголтелов. — Тебе говорю — брось! Какой твой номер? Вот мы его сейчас запишем! Ты, негодяй, не знаешь этого, что ли?

Оголтелов, пошарил в карманах и вынул счет от прачки.

— Вот. Не читал? Насидишься ты у меня в тюрьме!

Извозчик, путаясь в армяке, торопливо и неуклюже слез с козел, стащил с головы шапку и стал на колени.

— Батюшка! Не погуби... Чичас брошу, чтоб им пусто было.

— То-то. Учить вас, дураков, нужно. Пойдем, брат.

Оголтелов взял меня под руку и зашагал дальше.

— Видал?

— Слушай... Ты берешь безграмотного, глупого извозчика и строишь на этом...

— Хорошо! Я возьму грамотного, неглупого не извозчика. Эй, молодой человек!

Мимо нас проходил какой-то господин в котелке и золотом пенсне.

— Молодой человек!

— Что вам угодно? — удивленно спросил прохожий, останавливаясь.

— Это вы сейчас узнаете. Не будете ли вы так добры пожаловать под эти вот ворота? На одну минутку.

— Что вам нужно? Отстаньте, я вас не знаю!

— Не знаете? — ядовито засмеялся Оголтелов. — Удивительно! Эй, дворник! Вот этого господина... Позвольте! Вы не вырываетесь: вам же хуже будет...

— По какому праву вы... — возмущенно начал прохожий, вырываясь.

— Это вы узнаете там, куда я вас предоставлю после результата обыска. Позвольте вас обыскать... Эй, дворник! Что ж ты, осел, стоишь, открыв рот. Помогите мне!

Оголтелов толкнул дворника в грудь, ввел прохожего в арку под воротами и внушительно сказал:

— Если вы добровольно покоритесь — вам же лучше будет. Если при вас ничего подозрительного нет, я вас отпущу. Поднимите руки... Вот так. Это что, паспорт? Ага! Позвольте... жилетный карман. Благодарю вас! Извините, что беспокоил. Можете идти.

Прохожий испуганно огляделся, застегнулся и быстро зашагал от нас.

— Эй! — кричал ему Оголтелов. — Может быть, вы хотите жаловаться? Может, вы считаете меня не имеющим права так поступать? Вы скажите... Желаете пожаловаться?

— Не-ет! — донесся из темноты несмелый голос. — Я ничего не имею...

Оголтелов погрозил дворнику пальцем, взял меня под руку и, отведя в сторону, спросил:

— Нет ли тут поблизости какого-нибудь общественного учреждения: церкви, почты или театра?

— Вот в следующем доме почтовое отделение. А что?

Оголтелов вынул из кармана какую-то большую бумагу и развернул ее.

— Смотри... Видишь — плакат! Самая магическая штука для русского человека. Всего четыре слова: "Вход посторонним строго запрещается". Смотри.

Оголтелов прицепил бумагу к дверям почтовой конторы и отвел меня в сторону.

— Смотри!

Изредка по улице деловито пробегали прохожие. Они добежали до дверей почтовой конторы, хватались за дверную ручку, сейчас же отдергивали руку и, потоптавшись у дверей, уходили медленными, нерешительными шагами.

Один чиновник, с телеграммой в руке, стоял у дверей минуты три, очевидно размышляя про себя:

"Постороннее он лицо или нет?"

Решив, что постороннее, почесался, махнул рукой и пошел обратно.

Я не выдержал.

— Слушайте! — кричал я, догоняя его. — Почему вы не вошли в контору?

— Да там надпись: посторонним нельзя.

— Чудак вы! Ведь это же общественное учреждение: для публики! Разве может кто-нибудь ни с того ни с сего запретить вход на почту?

Он призадумался.

— Бог его знает. А вдруг, может.

Я разозлился.

— Осел вы этакий! Как вы смеете разговаривать со мной, держа руки в карманах. Знаете, кто я такой?! Последнюю телеграмму с лондонской биржи читали? Налог за самовар уплатили? Почему в калошах? О менингите слышали? Вон из этого города! Чтоб духу вашего не было.

В голосе моем дрожали слезы.

Невдалеке стоял Оголтелов и, держась за бока, смеялся до упаду.

СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В КАБАКЕ ДЯДИ СТАМАТИ

У наших ног синело прекрасное тихое море. Мы легли на песок животами кверху и повели длинный ленивый разговор.

Следователь сказал мне:

— Я недурно изучил за два года этих чудесных южан. Их можно любить, но уважать их невозможно.

— Почему?

— Потому что у этих людей нет середины. Попробуйте расспросить у кого-нибудь из них: далеко ли до такого места? Одному из них расстояние в десять верст кажется очень коротким... И он, размахивая руками, закричит: "Что вы!! Помилуйте!! Два шага... Десять—двенадцать минут ходьбы — и вы там! Близехонько... Если бы нам влезть на эту крышу — я показал бы вам отсюда это место!" Спросите другого южанина, более ленивого, менее подвижного: "О-о, заорет он (они тихо никогда не говорят). Вы туда хотите идти? Пешком? Да я вам скажу: в два дня не дойдете! Автомобиль если — другое дело... В несколько часов доедете. А пешком? Сумасшествие..." Спросите у южанина мнение о его соседе... Если сосед ему мало-мальски симпатичен — он всплеснет руками и закричит: "Кто? Ованес Туташвили? Да это ж святой человек!! Ведь это ж гениальная личность! Он еще не министр... да, спрошу я вас, почему? Да потому, что он сам не хочет! Это ж человек, с которого нужно напечатать портреты и повесить себе на удовольствие везде, где можно! Ованес!! Его на руках нужно носить днем и ночью, этого Ованеса". Но если Ованес поспорит со своим поклонником из-за подшибленной ноги курицы или взятой без спроса лодки — послушайте, что вам скажут об Ованесе... "Ованес? Вы уверены, что он именно так назы-

вается? Идиёт он называется — вот как! Это ж форменный каторжник, босявка! Все добрые люди трясутся от страха, когда это чудовище показывается на улицу. Ведь ему застрелить человека — все равно что стакан вина из-под таракана выпить, накажи меня Бог! Чтоб я так жил!"

— Неужели все такие? — спросил я.

— Все. Раз южная кровь — значит, такой. Возьми ты их купцов... Спроси в любой лавчонке: "Сколько стоит десяток лимонов?" — "Шестьдесят копеек!" Не разговаривая, вынимай кошелек и плати тридцать. Он ничего не возразит и даже не будет удивлен... Он, в сущности, и сам хотел сказать: "Тридцать", да уж как-то оно само сказалось — шестьдесят.

Вдохнув жадной грудью пахучий воздух, следователь мягко улыбнулся и неожиданно закончил:

— А в общем — они чудесный народ!..

* * *

...Послышался топот нескольких тяжелых ног. Мы обернули лица и увидели двух горожан, которые сломя голову мчались на нас, перепрыгивая с камня на камень и яростно размахивая загорелыми руками.

Когда они подбежали к нам и обессиленные, со стоном ужаса повалились на песок, следователь оглядел их и спокойно спросил:

— Здорово, Тулумбасов! Здорово, Кандараки! Что случилось? Не искусили ли вас бешеные собаки?

— Тулумбасов зарыл руки в песок и застонал.

— О, г. следователь!! Если бы нас искусили бешеные собаки — мы бы даже не поморщились... Страшное преступление!

Кандараки посмотрел на нас широко раскрытыми глазами, в которых застыл нечеловеческий ужас, и пролепетал:

— Что же это будет, если звери уже вырвались на волю и режут людей, как цыплят?.. Почему бы им не зарезать и меня? И мою жену Марину? И маленького Христа?

— Кто там зарезал? Кого?

— Мы ж говорим — матросы! Два громадных буйвола матроса!! У этих чертей ни жалости, ни милосердия!

— Кого зарезали?

— Весь кабак дяди Стамати они зарезали! Массу людей они зарезали! Двух человек!! Мы сами видели.

Следователь встал и отряхнул песок с платья.

— Стойте! Пусть говорит Тулумбасов. Говорите толком...

— Чего там говорить толком! Нельзя говорить толком! Зарезали, ограбили и убежали. Все ограбили — весь-весь кабак унесли!

— В чем... унесли?

— В узле. Большой такой. Пудов десять!

— Постойте... Кто же это первый заметил?

— Я первый, — сказал Тулумбасов.

— Первый я, — сказал Кандараки.

— А кто первый из вас двух? — терпеливо спросил следователь.

— Я первее.

— Первее — я.

— А из двух — кто первый?

— Из двух? Он, — с некоторым сожалением указал Кандараки на Тулумбасова.

— Что же вы увидели и каким образом?

— Вот каким. Иду я к Стамати насчет водки из выжилок условиться — он у меня всегда покупает... Вдруг, смотрю, окно кабака раскрывается и оттуда выпрыгивают два матроса с ножами и огромными узлами в руках. Выскочили и убежали. “Э, — думаю, — дело нечистое”... Да подхожу к окну, да как загляну — и свету, матушки мои, не взвидел. Лежат двое: Стамати и еще один на полу с перерезанными горлами, кругом кровь и все перевернуто вверх ногами... Вижу — Кандараки идет — я и ему показал. Посмотрели, да бежать — прямо к вам!

— Какие из себя матросы и куда они побежали?

— Они высокие, черные, широкоплечие... Глаза горят, как у волков. А направились они прямо по дороге на Феодосию... Боже ж мой... что будет, что только будет?..

— Надо осмотреть кабак прежде всего, — сказал следователь.

— Нужно догнать прежде всего убийц, — горячо возразил я, — пока они не убежали... А кабак всегда можно осмотреть.

— Ну что ж... убийц — так убийц, — лениво согласился следователь. — Достаньте нам у Марасьянца двух лошадей — мы с приятелем поедем.

— А войско? — закричал Кандараки.

— Какое войско?

— Как — какое?.. Что же вы думаете — вам удастся вдвоем справиться с этими двумя зверями, с этими бешеными тиграми? Нужен десяток солдат с ружьями.

— Ничего, — сказал следователь. — Справимся и так.

— Что это за люди! — восхищенно зааплодировал Кандараки. — Это ж форменные герои!

— Это ж какие-то мученики идеи! — согласился восторженный Тулумбасов. — Какие-то Жанны д'Арк! Ну, Бог вам на помощь! Живыми не сдавайтесь! А вот и двор Марасьянца!

— Далеко матросы могли убежать? — спросил я.

— Недалеко. Верст десять.

— Или двадцать, — подтвердил Тулумбасов.

— А пожалуй, и двадцать.

— Эй, Марасьянец! Пару лошадей!

Мы скакали, понукая резвых лошадемок ударами хлыста, уже минут десять.

— Как ты думаешь, — спросил я, — удастся нам нагнать их?

Следователь засмеялся.

— О, будь покоен... Удастся. Эй, мальчик! Стой! Огого? Стой, паршивец! А то натреплю тебе уши!!

Слова эти относились к худому мальчишке лет пятнадцати в белой грязной матроске и растерзанных скороходах. Он тихонько брел по краю пыльной дороги, под тенью придорожных деревьев, с маленьким белым узелочком в руках.

— Эй! Остановись, подлый мальчишка.

Мальчик увидел нас, побледнел, опустился на кучу щепня и горько заплакал.

— Кто это? — удивленно спросил я.

— Это? Убийца Стамати и его клиента.

— А где же другой?

— Другого и не было.

— Но они говорили о двух — широкоплечих, черных...

— Мало что! Послушай-ка, малец... Покажи, что у тебя в узелочке?

Мальчишка снова горько зарыдал и трясущимися руками развязал узелок. В нем мы увидели кисет с табаком, перочинный ножик, кусок жареной камбалы и пару сухих, как камень, пряников, которыми обыкновенно заедали вино в кабаке Стамати.

После недолгих расспросов злосчастный мальчишка признался во всем. Они со своим дядькой зашли в кабак дяди Стамати, и немедленно же дядька с хозяином стали пьянствовать, потом танцевали, потом упали на пол и за-

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

(Из жизни художников)

снули среди разбитых бутылок. Ему надоело смотреть на спящих, и он решил уйти домой, в соседнее село. А так как хозяин, приступив к попойке, предусмотрительно запер дверь и спрятал ключ, то мальчугану ничего не оставалось, как выпрыгнуть в окно.

— А кисет, ножик и рыбу украл? — спросил следователь.

— Я не буду больше, дяденька... Он бы все равно ножик потерял, а на табак у меня своих денег нет. Пустите меня, пожалуйста... Меня мама ждет...

Он снова зарыдал, размазывая по лицу грязь и слезы.

— Ну, ступай, каналья. Да только в другой раз через окна не прыгай — не смущай народ зря...

* * *

Мы возвращались обратно.

— Послушай, — спросил я, нерешительно и смущенно. — Каким образом ты догадался, что этот мальчишка — тот самый?

Он засмеялся.

— Очень просто! Секрет немудрый: когда южанин что-нибудь рассказывает — нужно все данные делить пополам... Он говорит — два матроса — значит, один. Черный, как жук, значит — шатен. Широкоплечий, здоровый — понимай: мальчишка. Такая система объяснит тебе все: и его “громадный узел”, и “ножи”, и “десять верст”, сейчас же превращенные в двадцать (хотя мальчишка пойман только на пятой версте)...

У околицы нас дожидались Тулумбасов и Кандараки, вооруженные ружьем и целым ворохом веревок.

— Не догнали? — тревожно спросили они.

— Да попробуйте догоните их, — серьезно сказал следователь. — Попробуйте — когда их не двое, а двенадцать человек, двенадцать свирепых здоровяков, вооруженных до зубов, да при них целый обоз с награбленными вещами, да кроме того маленькая пушка и ручные бомбы.

— Видите, дядя Тулумбасов! — торжественно воскликнул Кандараки. — Я вам говорил, что их больше, чем два!..

Художник Семиглазов решил выставить на весенней выставке “Союза молодежи” две картины:

1) Автопортрет.

2) Nu¹ — портрет жены художника.

Обе картины, совсем законченные, стояли на мольбертах в его мастерской, радуя взоры молодого художника и его подруги жизни.

Изредка художник обвивал любящей рукой талию жены и, подняв гордую голову, надменно говорил:

— О, конечно, критика не признает их! Конечно, эти тупоголовые кретины разнесут их в пух и прах! Но что мне до того! Искусство выше всего, и я всегда буду писать так, как чувствую и понимаю. Ага! как сейчас, вижу я их. “Почему, — будут гоготать они бессмысленным смехом, — почему у этой женщины живот синий, а груди такие большие, что она не может, вероятно, двигать руками? Почему на автопортрете один глаз выше, другой ниже? Почему все лицо написано красным с черными пятнами”... О, как я хорошо знаю эту тупую, напыщенную человеческую пыль, это стадо тупых двуутробок, этот караван идиотов в оазисе искусства!

— Успокойся, — ласково говорила любящая жена, глядя его разгоряченный лоб. — Ты мой прекрасный генний, а они форменные двуутробки!.....

В дверь мастерской постучались.

— Ну? — спросил художник. — Входите.

Вошел маленький болезненный старикашка. Голова его качалась из стороны в сторону, ноги дрожали от старости, подгибались и цеплялись одна за другую... Дряхлые руки мяли красный фуляровый платок. Только глаза юрко и проворно прыгали по углам, как мыши, учуявшие ловушку.

— А-а! — проскрипел он. — Художник! Люблю художников... Живопись — моя страсть. Вот так хожу я, старый дурак, из одной мастерской в другую, из одной мансарды в другую и ищу, облезлый я, глупый крот, гениальных людей. Ах, дети мои, какая хорошая вещь — гениальность.

¹ Обнаженная (фр.).

Жена художника радостно вспыхнула.

— В таком случае, — воскликнула она, — что вы скажете об этих картинах моего мужа?

— Ага, — оживился старик. — Где же они?

— Вот эти!

Он остановился перед картинами и замер. Стоял пять минут... десять...

Супруги, затаив дыхание, стояли сзади.

Медленно повернул старик голову, заскрипев при этом одеревеневшей шеей.

Медленно, шепотом спросил:

— Это... что же... такое?

— Это? — сказал художник. — Я и моя жена. Эта вот мужская голова — я, а эта обнаженная женщина — моя жена.

Старик изумленно замотал головой и вдруг крикнул:

— Нет! Это не вы.

— Нет, я.

— Уверю вас — это не вы!

Художник нахмурился.

— Тем не менее — это я.

— Вы думаете, что вы такой?

— Да.

— Смотрите: почему на картине ваше прекрасное молодое лицо покрыто зловещими черными пятнами на красном фоне? Почему один глаз у вас затек, а руки сведены и растут: одна из лопатки, а другая из шеи... Почему рот кривой?

— Потому что я такой...

— А вы... сударыня... Вы такие? Я не поверю, чтобы ваше тело было похоже на это.

— Разденься! — бешено крикнул художник. — Докажи этому слепому слизняку!

И, не задумываясь, разделась любящая жена, и обнажила себя всю. Стояла молодая, прекрасная, сверкая юным белым телом и стройной, едва расцветшей грудью.

— И она, по-вашему, похожа, — прищурился старичок. — У нее синий кривой живот? Красные толстые ноги без икр, зловещие рубцы на шее, переломанные руки и громадные почерневшие груди с сосками величиною в апельсин.

— Да! — торжественно сказал художник. — Она такая.

— Да! — крикнула любящая жена. — Я такая.

Старичок неожиданно упал на колени.

— Ты! — воскликнул он, простирая руки к потолку. — Ты, которому я всегда верил и который обладает силой творить чудеса! Сделай же так, чтобы эта молодая чета имела полное сходство с этими портретами. Сделай их подобными порожденным творчеством этого гениального художника.

Жена взглянула на мужа и вдруг пронзительно закричала: на нее в ужасе глядело искаженное лицо мужа, красное, с черными пятнами, с затекшим глазом и сведенными в страшную гримасу губами... Руки несчастного покривились, как у калеки, и на груди вырос горб, точь-в-точь такой, как художник по легкомыслию изобразил на портрете.

— Что с тобой? — вскричал бешено муж. — О, боже! Что сделала ты с собой?!

С непередаваемым чувством отвращения смотрел единственный незатекший глаз художника на жену...

Перед ним стояла уродливая, страшная багровая баба с громадными черными грудями и толстыми красными ногами. Синий живот вздулся, и чудовищные соски на прекрасной прежде, почти девственной груди распухли и пожелтели. Это была чума, проказа, волчанка, ревматизм и тысяча других самых отвратительных болезней, сразу накинувшихся на прекрасное прежде тело. И... удивительная вещь: теперь ужасное лицо мужа и отвратительное тело жены — как две капли воды были похожи на портреты...

— Ну, я пойду, — сказал равнодушно старичок, пряча в карман свой громадный платок. — Пора, знаете, как говорится: посидел — пора и честь знать...

— Милосердный боже! — вскричал художник, падая на колени в порыве ужаса и отчаяния. — Что вы с нами сделали?

— Я? — удивился старик. — Я? Подите вы! Это разве я? Это вы сами с собой сделали. Разве вы теперь не похожи? Как две капли воды. Прощайте, мои пикантные красавцы.

Он прищелкнул пальцами и умчался с быстротой, не свойственной его возрасту.

Супруги остались одни. Художник стер слезу с единственного глаза и обвил синий стан супруги искалеченной рукой.

— Бедная моя... Погибли мы теперь.

— Не смей ко мне прикасаться! — крикнула жена. — У тебя глаз вытек и на лице черные пятна.

— Сама ты хороша! — злобно сказал художник. — На двухнедельный труп похожа...

— Ага... Так? — крикнула жена.

Она бросилась, как бешеная тигрица, на свой портрет и во мгновение изорвала его в клочки. И совершилось второе чудо: снова стала она молода и прекрасна. Снова тело ее засверкало белизной.

И, увидев это, с визгом бросился художник Семиглазов на свой "автопортрет". И, растерзав его, сделался он через минуту так же молод и здоров, как и прежде.

От картин же остались жалкие обрывки.

Недавно я был на выставке "Союза молодежи".

Устроитель выставки сказал мне:

— Да, штуки тут все любопытные. Прекрасная живопись. Но нет гвоздя, на который мы так надеялись. Можете представить — наша слава, наша гордость — художник Семиглазов в припадке непонятого умоиступления изорвал свои лучшие полотна, которые могли быть гвоздем выставки: Ну — портрет своей жены и свой автопортрет.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Однажды в вагоне второго класса пассажирского поезда толстый добродушный пассажир вынул сигару и закурил.

Глаза у него были маленькие, хитрые, улыбка мягкая, чрезвычайно добрая, а манеры грубоватые с оттенком фамильярного дружелюбия.

Против него сидели три пассажира, сбоку еще два — и все пятеро посмотрели на него с ненавистью, угрожающе, как только он выпустил изо рта первый залп тяжелого дыма.

— Это вагон для некурящих, — сдержанно заметил рыжий человек.

Толстяк затянулся второй раз и зажмурил глаза от удовольствия.

— Слушайте! Здесь нельзя курить: это вагон для некурящих!

— Ну-у?

— Да вот вам и — ну! Потрудитесь или бросить сигару, или выйти на площадку.

— Да нет... Я уж лучше тут докурю.

— Как — тут? Почему — тут? Ясно вам говорят, что здесь нельзя курить!

— Кто говорит?

— Я говорю. И мои соседи... И все...

— Да почему?

— Мы дыму не переносим!

Курильщик выразил на своем лице изумление, смешанное с иронией.

— Что... Не любите? Дыму испугались? Как же вы на войну пойдете, если дыму боитесь? Эх, публика! Вот оттого-то вас японцы...

Он сделал длительный перерыв, сладко затянувшись сигарой.

— ...И побили... что мы дыму боимся.

— При чем тут японцы? Ясно здесь написано на табличке: "Просят не курить!"

Лицо толстяка выразило искреннюю печаль и огорчение.

— Боже мой! Как в этой фразе, в этих словах выразился весь русский человек — раб по призванию. Весь пресловутый русский дух сидит в этой фразе! Для него "написано", значит — свято. Печатное слово для него жупел, страшилище, и он перед ним расплывается, как дикарь перед строгим божеством.

— Сами вы дикарь!

— Нет, милостивые государи, не дикарь я. Не дикарь я, потому что...

Он затянулся.

— ...Потому что я рассуждаю и этим являю собою высший интеллект.

— Хороший интеллигент! Интеллигент, а поступает, как нахал.

— Извините меня, сударыня, но вы смешали два разных понятия: интеллигент и интеллект. Это именно и подтверждает мою мысль: дикарь — тот, кто слепо преклоняется перед печатными словами, не зная их подлинного смысла.

Рыжий пассажир, ошеломленный этими словами, потряс головой, подумал немного и сказал:

— Куренье вредно для здоровья.

— Вот оно, вот, — страдальчески поморщился курильщик. — Вот с помощью этих понятий вы и воспитываете будущее поколение, хилое, слабое, не обкуренное дымом и не закаленное суровой жизнью!..

— Категорически умоляю вас: бросьте курить! Как не стыдно, право.

— Да чего там просить его, — поднял от газеты голову чиновник. — Заставить надо.

— Что ж... пожалуйста... Заставьте! Конечно, сила на вашей стороне: вас много, а я один. Но не позор ли для нашего века, когда люди не пускают, как оружие, моральную силу убеждения, а пользуются для этого силой физической, кулаком... Чем же после этого будем мы отличаться от наших предков, бродивших с каменными топорами и стукавших ими по голове каждого встречного?

Человек, по виду артельщик, отозвался из угла:

— Склизкий.

Толстяк сделал вкусную, глубокую затяжку и, как Везувий, выбросил целый столб дыма.

— Чего-с? — спросил он равнодушно.

— Склизкий ты, говорю. Между пальцев проворишь.

— Я вас не понимаю, — недоуменно улыбнулся толстяк.

— Вот когда жандарма со станции позовем, тогда поймете.

— Тогда я пойму одно: русскому человеку свобода не нужна, конституция не для него! Посадите ему на шею жандарма, и он будет счастлив, как светская красавица, шея которой украшена драгоценным бриллиантовым...

Снова он затянулся.

— ...колье! Да-с, колье. Настаиваю на этом уподоблении.

— Кондуктор! Кондуктор!!

Толстяк благожелательно усмехнулся и, вынув изо рта сигару, принялся вопить вместе с другими:

— Конду-у-уктор!

Когда явился кондуктор, курильщик снова взял сигару в рот и пожаловался:

— Кондуктор! Почему эти пассажиры запрещают мне курить?

— Здесь нельзя, господин. Видите вон, написано.

— Кто же это написал?

— Да кто ж мог... Дорога.

— А если мне все-таки хочется курить?

— Тогда пожалуйста на площадку.

— Люди! — засмеялся толстый пассажир. — Как вы смешны и беспомощны! Как вы заблудились между трех сосен!! Вы, представитель дороги, приглашаете меня на площадку, а на этой же стене красуется другая надпись: "Во время хода поезда — просят на площадке не стоять". Как же это совместить? Как можно совместить два совершенно противоположных постановления?!

Кондуктор вздохнул и с беспросветным отчаянием во взоре почесал затылок.

— Как же быть? — пролепетал он.

— Да ничего, милый. Вот докурю сигару и брошу ее.

— Нет-с, — крикнул злобно чиновник, комкая газету, — мы этого не позволим! Раз вагон для некурящих — он не имеет права курить! Пусть идет на площадку.

— Я не имею права курить, по-вашему... Хорошо-с. Но я же не имею права и выходить на площадку! Одно взаимно исключает другое. Поэтому я имею право выбирать любое.

Он стряхнул пепел с кончика сигары и взял ее в рот, ласково улыбаясь:

— Выбираю.

— Кондуктор!! — взревел чиновник. — Ведь это незаконно!! Неужели вы не можете прекратить это безобразие?!

Кондуктору очень хотелось прекратить это безобразие. Он стремился к этому всеми силами, что было заметно по напряженности выражения лица и решимости, сверкнувшей в глазах; он имел твердое намерение урегулировать сложный вопрос одним ударом, как развязан был в свое время гордиев узел.

Сделал он это так: коснулся кончиком сапога скамьи, приподнялся и одним движением руки перевернул табличку с надписью: "Просят не курить".

И табличка, перевернувшись, выказала другую свою сторону с надписью: "Вагон для курящих".

Пассажиры выругались, а толстяк покачал головой и окутал себя таким облаком дыма, что исчез совершенно.

И, невидимый, сказал из облака добродушным тоном: — Всякий закон оборотную сторону имеет.

НА "ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКЕ ЗА СТО ЛЕТ"

— Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.

— Почему?

— Так как-то... Кричат: "Искусство, искусство!" А что такое искусство, почему искусство? — никто не знает.

— Я вас немного не понимаю — что вы хотите сказать словами: "Почему искусство"?

— Да так: я вот вас спрашиваю — почему искусство? — То есть как — почему?

— Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.

— Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.

— Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете, что! Им же все равно.

— Давайте лучше рассматривать картины.

— Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.

— Что ж тут особенного рассматривать — вот я уже и рассмотрел.

— Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.

— Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощь. Интересно, как она называется?

— А какой номер?

— Сто двадцать седьмой.

— Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется "Лесная тишина". Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: "Стол с яблоками" или "Плоды". Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: "Стол с апельсином". А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!

— Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.

— Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина, — это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я же говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется "новым искусством"! Новыми путями! Может, скажете — опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: "Вид с обрыва"! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!

— Это не англичане, а французы.

— Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле "О, закрой свои голубые ноги". Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют "Заседание педагогического совета"!

— А знаете — это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...

— Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку нужно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчичинище с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: "Моя мать"... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма для декадентов и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами — кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый — "Моя мать"? Мать с бородой? Юлия Пастрана? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?

— Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?

— Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом — с академической выставки, которая...

— Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ

История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, наделала в свое время очень много шума. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы.

Тогда перестали волноваться.

Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман, и Кантарович — каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.

— Они не правы?! — кричал, трясая седой бородой, рыбак Блюмберг. — Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну, и они перестали верить.

— Что такое двадцатый век? — обиженно возражал Яша Мельник. — Они говорят, двадцатый век — жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.

— Они разочаровались людьми — нужно вам сказать. Они... как это говорится?... О! вот как: скептики. Вот они что.

— Скептики? А по-моему, это гениальные люди!

— Шарлатаны!

Дело заключалось в следующем.

Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтора рубля, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и, наконец, махнув рукой, сказал:

— Вы, Гендельман, упрямый, как осел. Ну, так поучайте эти двести рублей.

— Где же они? — осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.

— Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.

— Так что же вы их держите в руках? Дайте я их пересчитаю.

— Хорошо, но вы же дайте мне часы.

— Что значит — часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?

— Ну да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.

— Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?

— А спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов *не имею*?

— Кантарович! Вы мне не доверяете?!

— А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и еврей, и русские, и французы разные. Я теперь уже развернулся в человеческих поступках.

— Кантарович!!! Вы мне не доверяете?!

— Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?

— Я доверяю, но только — двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!

— Что мне думать? Мало я думал! Ну, давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватайте деньги, а я часы.

— Гм... Вы предлагаете так? Кантарович! Вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и... татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович... Я теперь уже ничему не верю.

— Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?

— Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег — это будет самый печальный факт.

— Ну, хорошо... смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.

— Гм!.. Это ваша рекомендация... А не хотите ли моей рекомендации: пойдём к лавочнику Агафонову и он нам сделает то же самое.

— Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!

— Так Бог с вами, если вы такой — разойдемся!

— Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.

— А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!

— Так мы сделаем вот что, — сказал Кантарович, почесывая затылок. — Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Он лицо официальное!

— Ну, это еще так-сяк.

Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли, задумчивые.

— Стойте! — крикнул вдруг Кантарович. — Мы идем к уряднику. Но ведь урядник — тоже человек!

— Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон, к чертям.

Оба приостановились и погрузились в раздумье.

По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:

— Что с вами?

— Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель, спрашивается?

— Доверьте становому приставу.

— Благодарю вас, — усмехнулся Кантарович, — сами доверяйте становому приставу.

— Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев — сейчас же и вышлет. Знаете, что? Доверьте мне!

— Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.

— Это верно, — подтвердил старый Блюмберг, — без векселя никак нельзя!

— Ой! Неужели я, по-вашему, жулик?

— Вы, Яша, не жулик, — возразил Гендельман. — Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?

— Да, — подтвердил недоверчивый Кантарович. — Почему?

Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.

Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.

— Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.

— Мы вам доверяем, Григорий Соломонович... Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести — часами. Подумайте сами.

— Положим, верно... Ну, тогда поезжайте в город к нотариусу.

— Натe вам! К нотариусу. А нотариус — машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!

Комбинаций предлагалось много, но так как сумма — двести рублей — была действительно неслыханная, все комбинации рушились.

* * *

Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год... Часы были как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.

О сложном запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать... Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:

— Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.

Часть III

ЦВЕТИКИ В ТРАВЕ

НАЧАЛЬСТВО

(Провинциальные типы)

Городовой

Кроткое безответное существо. Выдерживает стужу, жару, дождь и ветер изумительно. Одет в неуклюжую, как будто накрахмаленную шинель и невероятной громоздкости сапоги из гиппопотамьей кожи... В мирное время имеет дело главным образом с извозчиками и пьяными. Разговор у него с извозчиками следующий: "Милый мой, потрудитесь держаться правой стороны... вы меня этим очень обяжете!.. Послушайте, дорогой ломовик! Нельзя въезжать оглоблей в затылок мирного прохожего. Извините меня, но осторожность в данном случае не мешает".

Разговор провинциального городского с пьяным:

— Милостивый государь! Вы, кажется, вышли из равновесия... Потрудитесь опереться о мое плечо. Ничего, ничего... Не смущайтесь.

Провинциальный городской взятки не берет.

Околоточный

Человек, хотя высшего образования не получивший, но имеющий солидный налет культурности. Избегает употребления спиртных напитков, следит за литературой, не чужд сентиментальности.

В участке ведет с арестованным громилой или карманщиком такой разговор:

— Конечно, до суда я не имею права считать вас виновным, но я думаю, что эти золотые часы и горячий са-

мовар вы приобрели не совсем легальным способом... Что делать... Я не вымогаю у вас сознание распросами, но задержать, к сожалению, принужден. Что делать? *Dura lex — sed lex...*¹

Взяток околоточный не берет.

Пристав

Нет ничего симпатичнее провинциального пристава. Это весельчак, остроумец, душа общества; говорит хорошо поставленным баритоном, крестит у купцов детишек и всякий раз поднимает неимоверный скандал, когда кто-нибудь по глупости попытается предложить ему взятку.

С арестантами и ворами обращается еще мягче околоточного — даже пересахаривает.

Взяток не бер... Впрочем, мы об этом уже говорили выше.

Полицеймейстер

Несмотря на свое высокое положение, полицеймейстер для всех доступен. Всякий, самый последний нищий может искать у него справедливости и защиты. С купцами водит только духовную дружбу, так как вегетарианец, и все эти окорока ветчины, балыки, икра и коньяки — для него звук пустой.

Перед законом преклоняется. Либерал и втайне немало симпатизирует евреям.

Взяток провинциальный полицеймейстер, конечно, не берет.

ПОЗДРАВИТЕЛЬ

(Гримасы быта российского)

Русский поздравитель резко распадается на две части.

I

— Что же это, Иван Семеныч, такое? Не ожидал я от вас, не ожидал!..

— Что такое?

— Да то и такое, что нехорошо. Неблагородно.

— Позвольте...

¹ Закон суров — но это закон (*лат.*).

— Ничего я вам и позволять не желаю... На прошлой неделе был мой юбилей — хоть бы вы чихнули в мою сторону, не то что поздравили...

— Я, право... не знал. Был занят.

— Ну конечно! Весь мир знал, кроме вас. Весь мир поздравлял меня, а только один Иван Семеныч, изволите ли видеть, был занят! Вся вселенная приносила мне поздравления — Закускин, Пузыревич, Красноухов, свояченица Красноухова и Шаплюгин с теткой, — только Ивану Семеновичу не до поздравлений!

— Я очень извиняюсь... В другой раз...

— Нет-с, при чем тут другой раз. Не в другой раз, потому что, надеюсь, мы и вообще-то с вами после вашего поступка знакомы не будем...

— Гм... как хотите. И не надо. Тоже... поздравлять еще всякого...

— И пошел вон! Чтобы духу твоего не было!

II

— Вам что?

— Поздравлять твоего барина пришли.

— Дома нет.

— Как так дома нет! Который раз приходим — и все нет дома. Пятый, чай, раз приходим.

— Да вам что нужно-то?

— Поздравить хотим.

— Так поздравили и идите. Я передам, когда барин вернется.

— Да он дома. Вон его и шуба висит.

— Он в пальте ушомши. Идите, идите, я передам.

— Нет-с, не пойдем! Ты нам своего барина подай — мы его поздравить желаем!

— Так ежели его нет.

— Нет? А ну, Филька, сыпь в комнату! Мы посмотрим! Мы его разыщем. Не отвертится он — поздравим! Это что? Комната? Какое тут такое есть живое существо? Кинарейка одна! К дьяволу кинайреку! Шагай дальше... Посмотри под диваном!.. Нет? А ну, дальше! За двери заглядывайте! Может, он за дверью притулился... Что же это такое, который раз поздравлять приходим — все он прячется. Гляди, братцы, чей это сапог за занавеской! Есть? Тащи его, тащи... Попался, голубчик? Барин, что ли?

— Он.

— Что вам, добрые люди, от меня надо?

— Поздравить, значит, вас пришли, как говорится, с праздником. С наступающим.

— После, после поздравите. Сейчас некогда.

— Нет, не после, еловая голова! Нам тебя сейчас поздравить нужно, а это “после” мы знаем.

— Да не хочу я ваших поздравлений!..

— Как это так — не хочешь? Уж от этого, брат, не отворачивайся. Верно, ребята?

— Уж это так! Вот, стало быть, мы тебя поздравляем и — поздравляем — хоть ты мне черта дай!

— Вот наказание-то... Сколько вас?

— Пятеро.

— Ну, нате — вам.

— Э, нет, барин. Это на троих будет. Трое, значит, только и поздравили, а двое, значит, еще и не поздравляли. Значит, вот мы и хотим все, как есть, вас поздравить.

— А, чтоб вам провалиться, ироды, мерзавцы, хулиганы! На-те, лопаите! Подавитесь!

— Балдарим покорниче! Все, ребята?

— Все. Поздравили...

— Тэк-с! Вали, ребята, следующего поздравлять.

— Проваливайте! Чтоб вам по дороге ноги себе переломать.

— Хо-хо-хо!.. Не любишь?..

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

В течение 4 дней “Новое время” смесило журналиста Бриссона с президентом палаты, его однофамильцем, превратило город Гриммзби в депутата, а Ллойд-Джорджа в город, и заявило, что герцог Бенавенте происходит из рода Веласкеца, в то время когда последним только был написан портрет Бенавенте...

Автор приводит целиком один из ближайших номеров газеты

“НОВОЕ ВРЕМЯ”.

Передовая

Мы давно уже указывали на необходимость решительных шагов в отношении Финляндии. По слухам, город Михелин глухо волнуется, и начальник красной гвар-

дии Таммерфорс уже выехал в Свинхувуд для свидания с революционными главарями тайного общества “Капля молока” — шведом Росмерсгольм и чухонцем Куоккала.

Телеграммы собств. корр.

Вилла Боргезе. Опасно заболел бывший турецкий султан Магомет-Али. Экстренно вызван знаменитый гинеколог Веласкец.

Тегеран. Бывший главарь персидских революционеров, нынешний полицеймейстер Ефрон выступил с войском против персидского разбойника Брокгауза.

Шемаха. Отсюда сообщают, что отряды Брокгауза и Ефрона соединились.

Берлин. Блестящий прием был устроен германским императором Вильгельмом Теллем испанскому королю Хриstoffору Колумбу. Во время парада непрерывно звонили пушки и был произведен залп из колоколов.

Брюссель. На похороны бельгийского короля Леопольда-да-Винчи прибыли три его дочери: Эстляндия, Лифляндия и Курляндия.

Рио-де-Жанейро. Морозы в 40° по Робеспьеру. Гвадалквивир стал.

Фельетон

После всей этой современной писательской свистопляски приятно отдохнуть на настоящей старой литературе... На днях мне удалось прочесть знаменитую “Анфису” популярного историка Костомарова, и невольно поражаешься: какая глубина, какая свежесть! Будто бы это не 80 лет тому назад написано, а вчера... И такими жалкими кажутся все эти Леониды Андреевы с их “Саввами Мамонтовыми”, и Брюсовы с устаревшими уже календарями того же названия...

Смесь

Как приготовить бульон для выздоравливающих. На тарелку воды берут два фунта говядины, перцу, английской соли, рюмку царской водки и немного серной кислоты. Склеенные этим составом вещи не дают трещин и, как всякое животное, любящее ласку, они страшно привязываются к своему хозяину. Другие растения можно поливать тем же составом, но гораздо реже...

Редактор М. А. Суворин.

Однажды я подслушал разговор двух дураков — моих соседей по ресторанной комнате. Чтобы не смущать их и не спугнуть, я закрылся газетным листом.

Привелось мне услышать вот что:

— Слушайте... Почему это, когда выпьешь, то голова болит?

— Не пей, тогда и болеть не будет.

— Предположим. Ну а если я уже выпил?

— Так тебе и надо. Пусть болит.

— Я не о том. Раз, так сказать, факт совершен, то будем говорить в постфактум.

— Ты бы не в пост об этом говорил, а на масленой. Теперь что ж, после драки кулаками махать...

— Ах, как вы меня не понимаете! Я интересуюсь научной подкладкой, а вы мне обыденные факты.

— Да тебе что надо?

— Я спрашиваю: почему, когда человек выпьет, у него голова болит?

— За свою глупость платить надо.

— Так-с. Это моральная оценка события. А я интересуюсь физиологической стороной.

— Ничего я тебя, братец мой, не пойму.

— Ну вот: берете вы рюмку и вливаете ее в рот, так?

Куда она идет?

— Явно — в желудок.

— Хорошо-с. Желудок ведь находится по отношению к голове внизу?

— Ну?

— Так вот меня интересует — почему, если хмель скопляется в желудке, почему — он попадает в голову. Как мы знаем — земное притяжение...

— Дурак ты дурак, как я на тебя посмотрю!

— Почему, разрешите узнать? Как нам известно, земное притяжение...

— Видал ты когда-нибудь живого пьяного?

— Хи-хи... Приходилось.

— Идет эт-то он по улице — песни поет. Язык и горло работают вовсю, а ноги не держат! Почему? Ясно, что водка из живота в ноги просачивается. Голова свежая, а ноги пьяные. И вот, братец ты мой, когда ноги уже окончательно подкосятся — этот человек падает прямо-таки головой вниз на мостовую. Вот — тут-то, когда голова ниже живота, — все ему в голову и переливается... А поэтому: пока человек на ногах держится — он еще ни капельки не пьян...

(Диалог)

Посвящается петербургской газете.

Наивный зритель. Г. режиссер! Мне очень странно...

Режиссер. Что вам такое там странно?

— Да вот... Читаю я в газете, что публика на вашем вчерашнем спектакле смертельно скучала, артисты играли пьесу с гримасой отвращения, и премьер был похож на высеченного могильщика, хотя играл самую комическую роль... А я вчера сам видел, как публика хохотала, артисты были в ударе и премьер играл, как никогда. В чем здесь дело? Почему так написано?

— Боже ты мой! Это ясно как день... Потому и написано, что инженер Царапов разошелся со своей женой!

— При чем же здесь инженер Царапов?

— Как при чем? Разойдясь с женой, он сошелся со вдовой Бедровой.

— А что такое — Бедрова?!

— А у Бедровой есть брат — помещик Ляпкин.

— Какое же Ляпкин имеет отношение к театру и газете?

— Ляпкин не имеет отношения. Но у него есть племянница Куксина.

— Какая Куксина?

— Никакая. Просто Куксина. А у этой Куксиной есть зять, сестра которого, Червякова, играла в нашем театре.

— Ну?

— А мы третьего дня уволили ее за полной неспособностью и бездарностью!

— Убейте меня — не пойму, при чем здесь зять Куксиной, Куксина, Ляпкин, Бедрова и Царапов?!

— Это просто, как палец! Царапов — двоюродный брат рецензента, написавшего рецензию. Когда мы увольняли Червякову, то совсем позабыли, что она может пожаловаться зятю, тот Куксиной, та Ляпкину, тот Бедровой, та Царапову, а тот двоюродному брату, рецензенту...

— Какое же ваше мнение об этом?

— Да такое, что не нужно бы Червякову увольнять: пусть бы, черт ее возьми, получала свои сто рублей.

СТИЛЬ — ЧЕЛОВЕК

“Вечерние бержевые ведомости” сообщают данные об отце покойного художника Мясоедова:

Это был человек без вершка сажень ростом и широченный в плечах. Однажды на охоте, уронив случайно в снег кинжал, этот гигант голыми руками задушил крупного медведя.

Судя по слогу, в шубе из этого медведя теперь щеголяет Николай Николаевич Брешко-Брешковский.

Если вы встретите его, читатель, спросите:

— Неужели голыми руками можно задушить крупного медведя?

— Ну, не крупного, — скажет Н. Н., подумавши. — Небольшого роста.

— Задушить руками?!

— Да, руками. Он, конечно, защищался, лялял...

— И его... голыми руками?

— Очень просто. Мяукал, царапался, но — его задушили.

— Руками?!

— А то чем же? Под самым карнизом окна гнездо себе свили, подлецы! Сидят, воркуют, а гигант покойник ка-ак рукой двинет — дух вон. Одной рукой задушил!

— Рукой?

— Ну да. Она села на лоб, а он рукой — трах! Здоровый был старик — не пикнула.

— Кто?!

— Да муха же.

— Да почему же он кинжал в снег уронил? Разве зимой мухи бывают?

— Кинжал? — Брешко задумался. — Да, кинжал он уронил в другой раз.

СОВЕСТЬ

“На местах”.

— Кто вы такой?

— Депутат четвертой Думы.

— Да нет, я спрашиваю, чем вы занимаетесь?

— Господи! Да депутат же!

— И вам не стыдно?

— Чего?

— Да так вообще, не стыдно?

— Да чего же мне будет стыдно?

— Нет, вы не виляйте — посмотрите мне прямо в глаза и отвечайте: вам не стыдно?

— Я право... не понимаю...

— Да вы этого не говорите! При чем тут — “понимаю, не понимаю”, вы скажите только: вам не стыдно?

Пауза.

— Ну?

— Что?!

— Чего же вы молчите?

— Да что же мне сказать?

— Вам не стыдно? Вы только признайтесь откровенно, вам стыдно или не стыдно?

Пауза.

— Ну, стыдно!

— То-то вот и оно.

Оба вздыхают и расходятся.

ЦЕНИТЕЛЬ ИСКУССТВА

— Там спрашивают вас, ваше пр-во.

— Кто спрашивает?

— Говорит: Бакст.

— Жид?

— Не могу разобрать.

— О, Господи! Доколе же... Ну, проси...

— Что вам угодно, молодой человек?

— Я художник Бакст. Здравствуйте. Мне хотелось бы получить право жительства в столицах.

— А вы кто такой?

— Еврей. Художник. Рисовал костюмы для императорской сцены, работал за границей; в Париже и Лондоне обо мне пишутся монографии.

— Монографии? Это хорошо. Пусть пишутся.

Бакст переступил с ноги на ногу, проглотил слюну и сказал:

— Так вот... Нельзя ли мне... право жительства?

— Нельзя.

— Почему же?

Его пр-во встало и сказало значительно, с выражением человека, исполняющего долг:

— Потому что! Правом жителя! У нас! В России! Пользуются! Только! Еврей-ремесленники!

— Ну-с?

— А какой же вы ремесленник?

Снова Бакст переступил на первую ногу; снова проглотил слюну — и, после минутной борьбы с самим собой, сказал:

— Ну, я тоже ремесленник.

Его пр-во прищурилось.

— Вы? Ну что вы! Вы чудесный художник!

— Уверю вас — я жалкий ремесленник! Ей-Богу! Все мои эскизы, костюмы и картины — жалкое ремесло.

— Ну что вы! Можно ли говорить такой вздор? Милый мой, вы великолепны! Вы гениальный рисовальщик и колорист. Какое же это ремесло?

— А я все-таки чувствую себя ремесленником. Возьмите мои костюмы для Шопенианы, мои эскизы для Шехеразады — ведь это самое ничтожное ремесленничество.

Его пр-во потрепало Бакста по плечу.

— Оставьте, оставьте. Я, милый мой, тоже кое в чем разбираюсь и люблю искусство. Ваши эскизы — это откровение! Это подлинное, громадное искусство!! Вам нужно памятник поставить.

— Значит... я могу надеяться на право жителя?

— Вот именно, что не можете!! Будь вы ремесленник — тогда, пожалуйста. Вот, например, если бы Бодаревский, или Штемберг, или Богданов-Бельский были евреями — пожалуйста. Им — хоть три права жителя! Где угодно. А вы, мой милый... Нет, это было бы оскорблением святому искусству. Что? Вот ваша шляпа... До свиданья!

Усталый, Бакст поплелся домой.

Вошел в мастерскую. Чудесные, ласкающие глаз рисунки и эскизы смотрели на него вопросительно. В их причудливых линиях и пятнах читался вопрос:

— Дали?

В ответ на это Бакст погрозил им кулаком и бешено заревел:

— Будьте вы прокляты! Из-за вас все!!

На благотворительном концерте.
— Прелестно, прелестно!.. Вы, сударыня, сейчас очаровательно спели... Это прямо преступление!..

— Что такое?

— ...Что вы не учитесь серьезно, не развиваете свой голос!..

— Но...

— Нет, нет — без всяких “но”! Господи! Да ведь это целое богатство!.. Вы могли бы даже петь со временем в опере...

— Да, позвольте...

— Ни-ни! Ничего не могу позволить!.. Еще раз повторяю: учиться и учиться! Обратитесь самое серьезное внимание...

— Позвольте! Это совершенно излишне...

— Сударыня, сударыня!.. Знаю заранее все, что вы скажете: что вы смотрите на это как на пустяк, что не придаете этому значения — все знаю! И как вы будете не правы! Если бы вы серьезно занялись своим голосом...

— Черт возьми! Дайте же мне слово сказать...

— Говорите! Но только последний раз повторю: обратитесь серьезное внимание на ваши данные... учитесь!

— Господи! Да ведь я, поймите вы, Долина! Певица Долина — заслуженная артистка императорских театров.

МОСКОВСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

— А! Кузьма Иваныч!.. Как раз к обеду попали... Садитесь. Что? Обедали? Вздор, вздор! И слушать не хочу. Рюмочку водки, балычку, а? Ни-ни! Не смейте отказываться... Вот чепуха... Еще раз пообедаете! Что? Нет-с я вас не пушу! Агафья! Спрячь его шапку. Парфен, усаживай его! Да куда ж вы? Держите! Ха-ха... Удрать хотел... Не-ет, брат... Рюмку водки ты выпьешь! Голову ему держите... вот так! Рраз!.. Ничего, ничего. На вот, кулебякой закуси. Что? Ничего, что поперхнулся... Засовывайте ему в рот кулебяку. Где мадера? Лейте в рот мадеру! Да не рюмку! стакан! Что? Не дышит? Ха-ха! Притворяется... Закинь ему голову, я зубровочки туда... Вот так! Парфен! Балыка кусок ему. Да не весь балык суй, дурья голова. Видишь — рот разодрал... Не проходит? Ты вилок, вил-

кой ему запихивай. Место очищай... Так. Теперь уши вка-
тывай... Что? Из носу льется? Зажми нос! Осетрину всу-
нул? Пропихивай вилкой! Портвейном заливай. Ха-ха. Не
дышит? А ты вилкой пропихни. Что?.. Ну, возьми под-
линнее что-нибудь... Так... Приминай ее, приминай... Что?
Неужто же не дышит? (Пауза.) Ме-ертвый! Ах ты ж ока-
зия! С чего бы, кажется... Ну, как это говорится: царство
ему небесное в селениях праведных... Упокой душу.
Выпьем, Парфен, за новопреставленного!

ЗАКОННЫЙ БРАК (Стихотворение в прозе)

На берегу суетилась кучка людей...
Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину,
которая лежала, худая, мокрая, в купальном костюме, с
закрытыми глазами и сжатыми тонкими губами.
— В чем дело? — спросил я.
— Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.
— Нужно растереть ее, — посоветовал я.
На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он
махнул рукой и сказал:
— Не стоит. Все равно, ничего не поможет.
— Да как же так... Попробуйте устроить искусствен-
ное дыхание... Может, отойдет.
— Мм... не думаю. Не стоит и пробовать, — сказал
толстяк, искоса поглядывая на захлебнувшуюся.
— Но ведь нельзя же так... сидеть без толку. Пошли-
те за доктором!
— Стоит ли, — сказал толстяк. — До доктора три вер-
сты, да еще, может, его и дома нет...
— Но... попытаться-то можно?!
— Не стоит и пытаться, — возразил он. — Право, не
стоит.
— Я удивляюсь... Тогда одолжите нам вашу просты-
ню: попробуем ее откачать!
— Да что ж ее откачивать, — сказал толстяк. — Вый-
дет ли толк? Все равно уж... Будем считать ее утонув-
шей... Право, зачем вам затрудняться...
— Вы жалкий, тупой эгоист! — сердито закричал я. —
Небось, если бы это был вам не чужой человек, а жена...
Он угрюмо посмотрел на меня.
— А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть
жена... Моя жена!

ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРЫСЫ

(1915)

САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Недавно я решил открыть в столице собственный те-
атр: нанял помещение, пригласил хороших актеров и ум-
ных режиссеров.

— Я думаю, можно и начинать, — сказал я старшему
режиссеру. — Для открытия мне бы хотелось поставить
“Отелло” Шекспира.

Режиссер согласился со мною.

— Прекрасно! На ближайшем заседании мы это и об-
говорим.

— Разве нужно заседание?

— А как же! Это очень сложная и трудная вещь — по-
становка пьесы.

— Да, да — это верно. Пока раздашь роли, начнешь
репетиции, напишешь декорации...

Режиссер в ужасе взглянул на меня и отшатнулся...

— Создатель! Да имеете ли вы какое-нибудь предста-
вление о театре? Не полагаете ли вы, что, для того чтобы
построить дом, достаточно навалить груды кирпичей?

— Простите... я...

— Ничего, ничего. На заседании вы увидите, как это
делается.

* * *

Было заседание.

Когда все собрались, главный режиссер встал, откаш-
лялся и сказал:

— Милостивые государи! Прежде всего, мы должны
бросить беглый, ретроспективный взгляд на Бэкона.
Шекспиро-бэконовский вопрос прошел два фазиса. До
1889 года бэкониада ограничивалась одними теоретиче-

скими домыслами в своем походе против Шекспира. Но шекспириологи не обращали внимания на новый фазис бэкономии. В этом смысле высказалось, напр., немецкое Шекспировское общество в 20-м "Jahrbuch"¹. Но уже в 24-м "Jahrbuch"² известный профессор Лео выступил с очень резкой статьей против американца Донелля, изобретателя бэкономовского шифра. Странно, однако, что среди всех обличительных статей против Донелля в "Jahrbuch"² нет ни одной, в которой было бы обращено внимание на язык будто бы раскрытого шифра...

— Действительно, странно! — подхватил я. — Изумительно прямо. Ну, кому же мы поручим роль Отелло?

Все странно взглянули на меня, а режиссер сказал:

— Теперь бросим беглый взгляд на мнение по этому поводу графа Фитцум фон Экштедт...

Режиссер говорил долго. Он бросал беглые взгляды налево, направо, назад и вперед.

— Впрочем, — закончил он, — я не буду теперь об этом распространяться. Мною приглашены профессора Марачек и Палачек, которые осветят вам этот вопрос в специальной лекции. Я же подойду прямо к постановке "Отелло". Завтра я уезжаю в Стратфорд.

— Как уезжаете?! — испугался я. — Ведь вы же только что сказали, что... подойдете прямо к постановке пьесы.

— Ну, да! Вы, ей-Богу, точно ребенок... Я для этого и еду в Стратфорд. Вы ведь знаете, что Шекспир был крещен в церкви Holy Trinity²?

— Неужели? Вот не думал!

— Да, конечно! Я сделаю несколько снимков на месте, затем обследую точно улицу Генли (Henley Street); дело в том, что место рождения Шекспира колеблется на этой улице — между двумя смежными домами, и я постараюсь выяснить...

— А вдруг вам не удастся выяснить? — опасливо сказал кто-то.

— Это было бы большим ударом, но ничего. Постараюсь сделать, что можно, сфотографирую фасады, распрошу жителей. Поброжу по берегу Авона... Надо многое продумать.

— Кто же будет играть Отелло? — переспросил я.

Премьер Кораллов встал и заметил, разглядывая свои руки:

¹ Ежегоднике (нем).

² Святой Троицы (англ.).

— Я думаю — я.

Режиссер закрыл глаза ладонью и сказал сосредоточенно:

— Позвольте, позвольте! Сейчас, сейчас. Дайте вдуматься, дайте осознать это... — И, отняв ладонь от глаз, воскликнул:

— Да! Вы!

— В таком случае, — согласился Кораллов, — если я — сегодня же мне придется выехать.

— Куда? — встревожился я.

— В Абиссинию!

— Значит, вы отказываетесь от роли?

— С чего вы это взяли? Дело в следующем: вам, вероятно, известно, что население Северной Африки отличается многообразной помесью рас. Мы наблюдаем различные комбинации рас семитической (арабы), древнеегипетской (копты), белой (туареги, в которых видят потомков древних гиксов), эфиопской (абиссинцы) и чисто негритянской. Я объеду Каир, Александрию, Луксор...

— Позвольте, — сказал я, — а Дездемона? Кто играет Дездемону?

— Я, — ответила премьерша. — Это ничего, что я не знаю итальянского языка?

— А зачем вам? Пьеса уже переведена с английского.

— Много вы понимаете. Как же я буду играть, не побывав во дворце дождей, не проникнувшись запахом Canale Grande¹ и величавой красотой божественного палатца на Пьяцетте.

— Ничего! — сказал ей декоратор. — Мы поедем вместе. Съездим сначала в Кипр, потом в Венецию, потом...

— И прекрасно, — вскричал бутафор. — Втроем веселее. Выедем через недельку...

— А вам зачем? — обернулся я к нему.

— Это очень даже странно — ваш вопрос; вы, кажется, забыли эпизод с платком Дездемоны...

— Ну?!

— В Венеции есть специальные мастерские кружев: в Мурано, Бурано, Турано, Дурано...

— Изучать будете? — прищурился я.

— Да-с, изучать! Не думаете ли вы, что мы можем делать все на авось? Ох уж эти мне антрепренеры, — все авось, небось и как-нибудь... Вы, может быть, скажете, что мне не нужно поехать и в Лондон для снятия копии со

¹ Большого канала (ит.).

знаменитого “кинжала Отелло”, хранящегося в Западном отделе Британского музея.

— Или мне для роли Кассио не нужно изучать каральную службу на месте, среди кипрских регулярных военных частей?! — подхватил второй любовник.

Я встал и, сделав знак, что желаю говорить, торжественно начал:

— Я приветствую ту любовь к нашему прекрасному делу, ту любовь, о которой говорите вы. Для того чтобы пьеса была обставлена и сделана, как следует, — все это насущно важно и чрезвычайно необходимо. Я пойду еще дальше: по пьесе сказано, что в ней участвуют “послы, музыканты, матросы и прочие”. Я думаю, не мешало бы актеров, играющих послы, отправить в итальянское посольство — пусть изучают! Музыканты пусть возьмут несколько уроков у профессора консерватории, а матросам устроим особый бассейн с моделью корабля, для того чтобы они, плавая, могли проникнуться своими ролями... Остаются “и прочие” — устроим и им курсы. Если за сценой будут выстрелы — возьмем несколько уроков оружейной стрельбы у артиллеристов, или, еще лучше, отправим помощника режиссера на заводы Крезо... В первом акте Бранбанцо кричит: “Огня!” Не мешало бы запросить по этому поводу мнение спичечных фабрик: “Со-ло”, “Вулкан” и других. Мы все это сделаем. И я даю вам слово, что и я сам, я, антрепренер, приму участие в общем творчестве!

— А что же вы... будете делать? — усмехнулся режиссер, пожимая талантливым проникновенным плечом.

— Я? Да ведь на то, чтобы поставить, как следует, эту штуку, нужны большие деньги?

Режиссер снисходительно улыбнулся.

— Да... не маленькие.

— Ну, то-то же! Так что же делаю я? С завтрашнего же дня поступлю простым рабочим в экспедицию заготовления государственных бумаг и начну с самого начала изучать быт служащих, рабочих и способ изготовления кредитных бумажек. Все это нужно прочувствовать, во все вникнуть. Постановка — так постановка! И вот, господа, когда я изучу это дело, тогда и можно приступить к дальнейшей постановке “Отелло”... Года через два-три и займемся. Вот что-с!..

Расходились опечаленные.

АКТЕРЫ

Самое красивое в женщине (когда смотришь на нее со стороны) — это ее осень... Пышная, золотая, иногда спойно-элегическая, иногда бурная, пламенная, она является для всякого, кто глядит на такую женщину, сладким и страшным memento mori...

Самое красивое в мужчине — это его весна: 21—22 года, когда взор задумчив и робок, а сердце бьется и замирает при одном взгляде на женщину. Чуткость, рыцарство и бескорыстная влюбленность свойственны этому возрасту...

Однажды я долго любовался этим чудесным сочетанием зрелой пышной осени и молодой, розовой весны.

Осень — актриса Донецкая.

Весна — актер Рокотов.

Я сидел в ее уютной квартирке и мирно беседовал об искусстве, когда появился Рокотов, молодой красавец, с бритым нервным лицом и задумчивыми, немного печальными глазами.

— Здравствуй, Женя, — сказал он, целуя ее в щеку и здороваясь со мной.

“На “ты”, — подумал я. — Очевидно, ее муж”.

— Ты откуда? — спросила Донецкая.

— На бильярде с твоим мужем играл.

“Не муж, значит, — догадался я. — Значит, брат”.

Вслух заметил:

— А вы совсем не похожи друг на друга лицом.

— Да? — удивилась она. — А я где-то читала, что люди, которые долго живут друг с другом, делаются похожими друг на друга. Мы живем вместе уже полтора месяца, а вот, оказывается, не похожи.

“Вот оказия, — призадумался я. — Живут вместе полтора месяца, а он с ее мужем на бильярде играет. Как же он ей приходится? Впрочем, “вместе” — это, может быть, в одном театре...”

— Вы в одном и том же театре играете? — спросил я.

— Да, — отвечала Донецкая. — В театре его только и видишь. Домой он является в пять часов утра и имеет неприятную привычку будить меня...

Рокотов мелодично засмеялся, поцеловал Донецкой руку и, присев около на низенький пуф, детским движением доверчиво положил ей голову на колени.

— Ах ты мой милый мальчик, — ласково и нежно прошептала она, глядя его волосы.

...И продолжала начатый разговор:

— Да! В те времена я служила еще в Саратове. Еще, как говорится, не расправила крылья. И бедствовали же мы! Комическая старуха варила похлебку из картофеля, и этим питалась вся труппа. Боже мой! Какой контраст с тем, что было потом! Струи золота! Горы бумажек! Ак, дорогой друг мой... Если бы я сейчас имела одну десятую того, что прошло через мои руки, — я была бы миллионершей!

— Неужели в театре платят такие большие оклады?! — удивился я.

— В театре? Я бы сто раз уже протянула ноги — если бы рассчитывала на свое жалованье...

Она склонила благородный профиль к голове любимого человека и, отдаваясь вся во власть воспоминаний, тихо, ни к кому не обращаясь, заговорила:

— О, Боже... Что это было... Например, в Москве... Генерал Штифель... Понравилась мне золотистая лошадь у одного рыбака... Генерал мигнул, лошадь эта очутилась у меня, но я хотела иметь пару... Что ж вы думаете? Всю Россию извездил его секретарь и нашел-таки в каком-то не то Устуге, не то еще где-то... Восемь тысяч ему это стоило... Сердце мое болезненно сжалось.

“Зачем она это говорит, — подумал я. — Ведь любимому и любящему человеку больно слушать о том, как ее любил другой, как он окружал ее королевской роскошью, которой он, бедный артист, не в силах дать ей...”

— А дровяник Сунов, — прошептала Донецкая, еще ниже склоняя чистый, не успевший измяться профиль к голове любимого человека. — Вспомню я об этом Сунове — и даже теперь смешно... К чему были все эти глупости... Делал мне ванну из воды пололам с духами; а духи французские, уж и название не припомню... Флакон 28 рублей... За кровать заплатил семь тысяч... Бывало, приезжаешь к Яру, подойдешь к аквариуму (огромный там аквариум был), выберешь такую рыбку, рублей за полтора ста... подадут ее, ну, и что же? Ковырнешь эту махину вилкой — уберите, не нравится! А цыгане! Как цыгане запоют, так этот Сунов плакать начинает: “Женя! Хочешь, жену отравлю, а на тебе женюсь”. Такой смешной. “Зачем же, говорю, Ваня. Разве я и так не твоя?...” — “Без закона, говорит, это не считается”. Такой юморист, что ужас. До ста тысяч я ему в полтора года стоила...

Тупая боль сжала мое сердце, когда я поглядел на Рокотова.

Бедняга будто замер в своем мучении, уткнув голову в колени женщины, которая так терзала и топтала без вся-

кой жалости его молодое чувство, а она, будто не замечая нависшего над нами ужаса и боли, продолжала:

— А в Киеве! Был у меня сахарозаводчик Тирунин, старик, существо испорченное до мозга костей. Но надо отдать справедливость — денег не жалел. В мой бенефис однажды выкинул штуку: сто корзин поднес. Так вы знаете: я потерялась на сцене!.. Лес! Не знаю, куда идти! Вместо того чтобы в публику, я в кулису кланялась. А за ужином в огромном тазу крешон делали, в который входило шампанское, коньяк, мараскин, персики и я. Это у него уж традиция была. В три недели шестьдесят тысяч растаяли...

Я уже открыл рот, чтобы наемкнуть ей на все неприличие и жестокость ее слов по отношению к тому, кто был у ее ног, но в это время он сам поднял голову и, бросив на нее угрюмый, тяжелый взгляд, пытался что-то сказать, однако, не замечая его порыва, вся погруженная в воспоминания, тихо прошелестела Донецкая:

— В том же Киеве был такой подрядчик, Акулькин... Что он выделывал! Забирал всю труппу, вез ее на Труханов остров, дня на три, а антрепренеру платил неустойку. И все потому, что в городе ему мешал остаться со мной полковник Подругов... Один месяц был у меня этот Акулькин, а обошлось ему это... дай Бог память... Да! 82 тысячи ему это обошлось.

Давно уже хотевший что-то сказать Рокотов теперь не выдержал... Поднял голову энергичным взмахом и ревниво сказал:

— Постой, постой... 82 тысячи! Но ведь это не считая бриллиантов. А ты на сколько получила бриллиантов? Тысяч на двадцать? Вот, брат, оно и за сто перевалило.

— Ах, и верно ведь, — улыбнулась Донецкая, снова укладывая голову любимого человека на колени. — Тогда выйдет больше ста тысяч.

И снова зашелестела тихо и задумчиво пышная осень золотыми листьями, и снова замерла у ее ног розовая весна, очарованная, замороженная волшебной сказкой.

ДАННЫЕ ДЛЯ УСПЕХА

Недавно на премьере в одном из театров (случайно в этот день шла моя пьеса) я встретился в первом антракте у буфета с рецензентом газеты “Голос Эртелева перепулка”.

— Ну, как вы? — осторожно осведомился я.
— Я ничего, — пожал он плечами. — Вы как?
— Что нам делается, — неопределенно заметил я.
— Такое дело уж наше драматическое, — рассеянно покачал он головой. — Как говорится: и не довернешься — бьют, и перевернешься — бьют.
— То есть?
— Вообще.
— Гм!
— Вот вам и — гм!
Мы скосили глаза и посмотрели друг на друга.
— Как вам нравится моя пьеса?
— Пьеска! Как вам сказать... Я не имею никаких данных утверждать, что пьеса хороша.
— То есть, значит, пьеса плоха? — огорченно вздохнул я.
— Я этого не говорю, но у меня нет данных утверждать, что пьеса хороша.
— Понимаю! Вы просто находите пьесу средней.
Он пронзительно взглянул на меня.
— Я не имею даже данных находить ее средней. Понимаете: не имею данных.
— А если бы вы имели данные?
— О, тогда другое дело! Вы сами понимаете: если я имею данные находить вашу пьесу хорошей, то с моей стороны было бы недобросовестно ругать ее.
— Я бы хотел, чтобы вы имели данные.
— Поверьте — я не менее.
Мы помолчали.
— Кстати, о Чехове, — спохватился я. — Вы ведь знали покойника?
— Знал...
— Представьте, какая досада: несколько лет тому назад я одолжил у него пятьдесят рублей и все не мог собраться отдать. Теперь у меня и деньги есть, и желание отдать...
— Хорошо, — с безыскусственной простотой согласился рецензент, — я передам ему.
— Ну вот и прекрасно. С моей души камень снимите. Вот-с... ровно пятьдесят.
— Позвольте, позвольте, — призадумался он. — Помните мне, покойник Антон Павлович часто говаривал, что вы ему задолжали сто рублей.
— Ах, ведь и верно, — всплеснул я руками. — Только видите ли... хотя я и брал у него сто, но однажды двадцать пять ему вернул. Он, вероятно, это запомнил.

— Ну, ладно, — махнул рукой рецензент. — Передам 75.
— Очень обяжете.
Он уселся на диванчик, поболтал ногой и сказал, рассматривая потолок:
— А то у нас и “Вечерняя газета” есть. Тоже газета.
— Ну, какая же это газета. Ведь ее никто не читает, — улыбнулся я.
— Кому надо — прочтут.
— Надеюсь, что эта газета найдет мою пьесу сносной.
— Газета не имеет для этого данных!
— Ну много ли нужно для этой газеты данных?
— Да, положим, немного. Газетка маленькая — короче воробьиного носа. И данные, чтобы найти пьесу хорошей, соответственные.
— Ох, печать, печать! — вздохнул я.
Он подтвердил:
— Да-с. Шестая часть света. Пресса.
— Да-с. Именно — пресса. Недаром в последнем слоге две буквы “с” рядом.
Он отодвинулся.
— Что вы хотите этим сказать?
— Не обижайтесь, ничего. Я пошутил.
— Я еще не имею данных, чтобы выслушивать такие шутки!
Он отвернулся и замолчал.
Я засунул руку в боковой карман, вынул из бумажника красную бумажку и положил ее на пол.
Он нагнулся.
— Что это такое?
— Собачка. Не правда ли, премиленькая?
— Ничего. Мала только очень. Какой породы?
— Борзой щенок. Хотите подарю?
— Я не большой охотник до маленьких собак. По-моему, если собака — так чтобы она была друг человека. Большая, сильная.
— Ну, знаете... Нынче и маленькие собачки ценятся. В Англии, например.
— Ну, что Англия... Переведите-ка вашу пьесу на английский язык, может быть, они и найдут достаточно данных, чтобы прийти в восхищение.
Я пожал плечами.
— Все-таки, фунт.
— Чего фунт?
— Да в собачке моей. Собачка фунт весит.
— Да ведь не русский же фунт!

— Еще чего захотели! Я говорю об английском фунте. Право, возьмите собачку, а?

— Пусть подрастет.

— До?

— До двух с половиной фунтов.

— Тяжела будет! Кто там ее читает, вашу “Вечернюю”.

— Кому надо — прочтут.

— Гм! Ну, и ежели мой пес два фунта потянет?

— Эх! Ну, ладно. Сделано.

Собака поднялась на задние лапы и прыгнула в рецензентову будку, устроенную в жилетном кармане.

— Куш! — сказал рецензент, хлопнув себя по карману.

Я вздохнул.

— А вы знаете, я ведь и в заграничные газеты корреспондирую.

— Ну-с?

— Так вот я хотел сказать: с нашей российской точки зрения я имею вполне достаточные данные быть довольным вашей пьесой. Но за границей... сами знаете... другие условия... иной уклад жизни.

— Другие условия? Понимаю. Ну, что ж. На том свете тоже другие условия, — деликатно возразил я.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да то: вот теперь я, скажем, драматург, а на том свете, может быть, углем буду торговать.

Рецензент был очень догадлив.

— Так-так! Значит, вам на том свете угольки понадобятся?

— Я думаю.

— Хорошо-с. Так вы дайте мне рублей сто авансом, а я вам там верну — самыми лучшими, высшего сорта угольками.

— Ну что вы! Куда мне столько! Я ведь в розницу торговать буду. Если на 25 поставите — и то за глаза хватит. Тем более что у меня много и других поставщиков.

Он добродушно засмеялся.

— Ну что с вами делать! Поставщиков всегда утесняют. Согласен!

Отошел он от меня довольный.

Из настоящей статьи видно, что успех пьесы зависит не только от критиков, но и от:

1) личных друзей Чехова;

2) любителей собак;

3) поставщиков угля.

И, кончая свою статью, скажу я свое последнее слово:

— Аминь!

Что значит в переводе:

Истинно так.

В ЛЕТНИХ САДАХ

Перед открытой сценой в толпе я вижу двух людей...

Один — личность совершенно ординарная, зато другой сразу приковывает к себе внимание вдумчивого человека. По виду он приказчик обувного или писчебумажного магазина, а на лице у него написано, что он раз и навсегда решил все жизненные вопросы и на этом почил. Отупелый взгляд и срезанная задняя часть головы подчеркивают, что этого человека не собьешь с занятой им позиции.

И действительно:

— Ну, скажи же, скажи ты мне, — нудится и юлит около него ординарный человек. — А вот как ты это поймешь, — я в Вилла-Родэ видел: выходит человек с куклой, бросает ее об землю, топчет, снимает ей голову, опять приставляет, а напоследок, оказывается, что кукла-то эта — настоящий человек, с живой головой. Это каким путем?

— Электричество, — веско отвечает приказчик, разрешивший все жизненные вопросы.

— Да-с? Электричество? Ну а как вы объясните сей факт, милостивый государь, что этот велосипедист влезает на одно-одинешенькое колесо и на нем с лестницы скатывается? Тоже электричество?

Непонятно, почему ординарная личность так волнуется; вероятно, потому, что это — столкновение двух мировоззрений и характеров: пытливой, мятущейся, ищущей разрешения мировых загадок души, — и души, уже все постигшей, все себе объяснившей.

— Как ты об этом колесе поймешь?

— Электричество.

— Электричество? Да-с? Вы так думаете? Где же тогда проволока, соединенная со станцией?

— Беспроволочное. Воздушные волны.

— Воздушные волны? А то, что человек давеча на кровати аршин на пять подпрыгивал — и это электричество?

— Электричество.

— Ну, так я после этого с тобой и разговаривать не желаю.

— И не надо. Раз ты не можешь рассуждать научно — не разговаривай.

Но незначительный человек не может успокоиться. Его сердце раздирают обида и сомнение.

— Ну, допустим, даже влияние системы электричества на механические предметы обихода, но живой организм?! Изволили видеть, тут же на открытой сцене тюленей? Этаким дурак, да носом шар перебрасывает. Да ведь как! Не в обиду ему будь сказано — совершенно прекрасно. Значит, тюлени тоже электрические? Это как, а?

— Тюлени не электрические. А шар — да. Электричеством в действие приводится.

Незначительный человек оскорбленно улыбается. Тщетно бьется эта маленькая пытливая душа о стену, воздвигнутую так мощно его противником.

Страшное напряжение мысли — и незначительный человек снова оборачивается с торжествующим лицом к замкнувшемуся в себе приказчику.

— Вот тебе дрессированные слоны... Как вы поймете это, если этакая машинища танцует, ходит на задних лапах и разговаривает с помощью хобота и криков по телефону. Это что же, по-вашему, — слонячье электричество?

— Если бы ты знал, что такое животный магнетизм, происходящий с помощью электрических волн, ты бы не разговаривал. А телефон, по которому говорит твой слон, тоже из чего состоит? Из электричества.

— Он не мой слон. Можешь сам его на шею себе подвесить!

Незначительному человеку жарко, душно и обидно, а противник его спокоен. Живется ему, очевидно, легко. Все понятно, все объяснено, беспокоиться не о чем.

Кажется, в глубине души я ему немного завидую.

В седьмом ряду сидел молодой господин в зеленой шляпе, белых перчатках и клетчатых брюках... Приехал он вчера из Елабуги и поэтому робко озирался при всяком новом появлении зрителя одного с ним ряда, а при виде суетившегося капельдинера в десятый раз засовывал пальцы в жилетный карман с целью убедиться, не утерян ли купленный им билет?

В Елабуге молодой господин вел себя очень нравственно, а приехавши в Петербург, решил вести себя без-

нравственно и сегодня предполагал окунуться в омут столичного разврата, на что отложил из оставшихся на обратную дорогу 14 рублей.

— Я думаю, хватит, — размышлял молодой господин, причем сердце его замирало от предчувствия неизведанных грешных наслаждений. — Выберу какую-нибудь хорошенькую из певиц, угощу скромным ужином, а потом увезу к себе.

На сцене акробаты влезали один другому на голову и лазили в таком виде по лестницам, а молодой господин из Елабуги, не смотря на них, рассуждал так:

— Ужин: два блюда и полбутылки вина красного, скажем, два рубля... Двугривенный лакею на чай, да рубль на извозчика, когда поедет ко мне, — останется еще 80 копеек на разные непредвиденные расходы. Десять же рублей ей за наслаждения ее любовью. Должно хватить.

Когда танцевали негр и негрятка, молодой человек, полный грешных размышлений, подумал:

— А что, если ее пригласить ужинать?

Но, увидев, как яростно негр болтал ногами и размахивал головой, подумал, что негр этот злой и, узнав о его намерении, поколотит испорченного молодого человека...

Потом стали выходить другие певицы, и ему многие нравились...

Испанка заставила своей наружностью и танцами сладко сжаться сердце молодого господина, но он подумал, что она слишком недоступна, и остановил свой выбор на какой-то француженке с голой белой грудью и шикарной походкой.

Когда она удалилась, пропевши свои номера, молодой господин встал и, выйдя, решил выждать ее появления в саду.

Скоро она вылетела, шумя юбкой, в чудовищной шляпе, выставя задорную ногу в чулке бледно-розового цвета.

— Здравствуйте, барышня, — несмело приветствовал ее господин из Елабуги.

— Трастуте! Што ви катите?

Зная, что нужно быть игривым, молодой человек захихикал в руку и похлопал певицу по груди.

— Ну, как вы поживаете? Пойдем ужинать.

— О, з удовольствием! — сказала весело певица, беря его под руку. — Веди меня на террас.

И они уселись за столик, и молодой человек, пока она просматривала карточку, вновь проверил себя:

— Ужин — 2 рубля, лакею и на извозчика — 1 рубль 20 копеек, непредвиденные расходы — 80 копеек и ей завтра утром 10 рублей. Хватит.

— Шеловек! — командовала француженка. — Бутылку Мутон-Ротшильд, котлеты даньен, спаржа и сернистой искры один порций. А што ти выбираешь, милый?

Молодой господин из Елабуги взял, улыбаясь, карточку, но сейчас же побледнел и покачнулся.

Он долго думал что-то, перелистывая карточку и шепча какие-то цифры, и потом костенеющим языком спросил лакея:

— А что... у вас... хорошо делают битки по-казацки?

Когда ему подали битки, он, обжигаясь, съел их и, вынув кошелек, позвал лакея.

— Здесь, вероятно, 13 рублей 30 копеек.

— Так точно-с. Ровно 13 рублей 30 копеек.

— Вот получите, пожалуйста. Я, видите ли, должен сейчас пойти к знакомому одному... тут близко живет... чиновник контрольной палаты... бржнет такой. А ты, милая, подожди. Я сейчас приду, и тогда выпьем шампанского... бутылки четыре!

Молодой господин, съездившись, вышел из сада и пошел домой, в номера на Лиговке, расспрашивая у городских дорогу...

Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как выход русской шансонетной певицы.

Она вылетает на сцену как-то боком на прямых негнущихся ногах и — пока оркестр играет ритуфель — делает следующее: взглянет в потолок, потом большим пальцем руки поправит спустившуюся с плеч ленточку, заменяющую рукав, а потом поглядит в зрительный зал и кому-то кивнет головой.

Кому? Тот столик, которому она кивнула, пуст, но у нее есть свой расчет: подчеркнуть публике, что где-то в зале у нее есть поклонник, бросающий на нее тысячи, и что она не такая уж замухрышка, как некоторые думают.

Поет она хладнокровно — бережно сохраняя темперамент для личной жизни.

Все русские шансонетные куплеты на один лад: или “мама ей скрипку подарила, которую она берегла, пока не явился музыкант”, или она “хорошая наездница и поэтому предпочитает всему хлыст”. Символы меняются: вместо хлыста она прославляет аэроплан, пишущую машину или массаж.

Кто прослушает десяток русских шансонетных куплетов, тот установит следующие излюбленные незыблемые рифмы: “старик — парик”, “я — друзья”, “о, да — всегда”, “раз — экстаз” и “корнет — кабинет”.

Одна певица после своего номера подошла к нам и сказала:

— Угостили бы вы ужином, а?

— По некоторым причинам, — возразил я, — мы с товарищем не можем афишировать нашей с вами многолетней дружбы. Вместо этого послушайте, какую я сочинил шансонетку...

И я запел:

Один старик,
Надев парик,
Позвал меня вдруг в кабинет;
А там сидел уже корнет!
Я в этот раз
Пришла в экстаз,
Клянусь в том я,
Мои друзья,
Люблю корнетов лишь всегда,
Их обожаю я, о, да!

— Неужели сами сочинили?! — удивилась певица. — Какая прелесть! Можно переписать?

НАРОДНЫЙ ДОМ

Когда Мифасов и я собрались ехать в Народный дом — к нам пристал и художник Крысаков:

— Возьмите меня!

— А зачем?

— Да ведь вы едете в Народный дом?..

— Ну?

— А я знаток народных обычаев, верований и всего вообще народного быта. Кроме того, я знаток русского языка.

Последнее было бесспорно. Стоило только Крысакову встретиться с извозчиком, маляром или оборванным мужичком, собирающим на погорельцев, — Крысаков сразу вступал с ними в разговор на самом диком языке:

— Пожалуйста, барин, отвезу.

— А ты энто, малый, не завихляешься-то ничего такого, вобщем? По обыкности, не объерепенишься?

Извозчик с глубоким изумлением прислушивался к этим словам:

— Чего-о-о?

— Я говорю: шелометь-то неповадно с устатку. Дык энто как?

— Пожалуйте, барин, отвезу, — робко лепетал испуганный такими странными словами извозчик.

— Коли животи́на истоманилась, — веско возражал Крысаков, — то не навараксишь, как быть след. Космогонить-то все горазды на подыспод.

— Должно, немец, — печально бормотал ущемленный плохими делами Ванька и гнал свою лошаденку подалее от затейливого барина.

А Крысаков уже подошел к маляру, лениво мажущему кистью парадную дверь, и уже вступил с ним в оживленный разговор.

— Выхмарило сегодня на гораздое ведро.

— Эге, — хладнокровно кивал головой маляр, прилежно занимаясь своим делом.

— А на вытулках не чemezишься, как быть след.

— Эге, — бормотал маляр, стряхивая краску с кисти на бариновы ботинки.

— То-то. Не талдыкнут, дык и гомозишься не с поскоку.

— Эге.

Потом Крысаков говорил нам:

— Надо с народом говорить его языком. Только тогда он не сожмется перед тобой и будет откровенен.

Вот почему мы взяли с собой Крысакова.

Я хочу открыть Америку:

— Читатели! Вы все, в ком еще не заглохла жажда настоящей жизни, любовь к настоящему простому, ясному человеку, стремление к искреннему веселью и непосредственной радости, — сходите в Народный дом, потолкайтесь в толпе.

“Действительно, открыл Америку”, — подумает кто-нибудь, пожав плечами.

Нечего пожимать плечами. Большинство читателей “Нового Сатирикона” в Народном доме ни разу не было, и я, как новый Колумб, уподобив читателей “Нового Сатирикона” испанцам, предлагаю им новую, только что открытую мною страну — Народный дом.

Всякий испанец поблагодарит меня, если ему взбредет в голову, на основании этих строк, потолкаться по обширной территории Народного дома.

Крысаков, по крайней мере, пришел в восторг.

— Какой простор! Какие милые, славные лица... Вот он, настоящий русский народ. И какое искреннее веселье!

Тут же он заговорил с одним парнем, восхищенно глядевшим на измазанных мелом клоунов:

— Энто, стало быть, скоморошество вдругорядь прилично и изничтожению кручинушки, котора, как змея злоехидная, сосет-томит молодецкую грудь... Взирнешь на таку посмеху, да и только тряхнешь кудрями.

Действительно, у парня на лице выразилось сильнейшее желание тряхнуть кудрями — только не своими, а крысаковскими.

— Ты чего ко мне привязался, — сказал парень очень угрюмо, — я ж тебя не трогаю.

— Ничего, ничего, не обижайся, — примирительно сказал Мифасов, покрутив за спиной Крысакова пальцем около лба. — Не бойся, милый; он добрый.

— Вот смотри, что значит наметавшийся глаз, — шепнул мне Крысаков. — Стоило только поговорить мне с ним две минуты, как я уже знаю, кто он такой... Он полотер!

— Вы полотер? — спросил Мифасов парня.

— Нет, — общительно сказал парень. — Я газетчик. Газетами торгую.

— Но, может быть, вы газетами торгуете просто так... изредка... для удовольствия? — с некоторой надеждой спросил Крысаков.

— Кой черт для удовольствия! С восьми утра до восьми вечера не очень-то постоишь для удовольствия.

— Ага! Но вы, вероятно, все-таки изредка натираете полы? Так, знаете, просто, для практики.

— Да чего ж их натирать-то? — удивился парень.

— Ну, просто так... У себя в квартире, а? Паркет, а? Знаете, такой... квадратики.

Парень с сожалением поглядел на Крысакова, сочувственно кивнул нам головой и отошел.

Ни в каком Луна-парке не встретишь такого веселья “на чертовом колесе”, как в Народном доме.

Я видел катающихся в Луна-парке: мрачно, страдальчески сдвинутые брови, отчаянные лица людей, которые решили путем катанья на колесе порвать нить надоевшей жизни, стоны и охи, когда колесо разбрасывает в разные стороны всю эту кучу скучающего человеческого мяса.

Не то в Народном доме. Прежде всего, здесь на “чертовом колесе” катаются титаны, выкованные из железа.

Не успеет колесо остановиться, как на него со всех сторон, подобно лавине, обрушиваются человеческие тела: со всего размаха, с треском и хрустом костей бросается веселящийся русский народ на деревянное колесо. В одну минуту образуется живая гора из перепутавшихся рук, ног, голов...

— Вжжж!.. вертится колесо — и вся эта живая гора, как щепки, со страшным стуком, громом и грохотом разбрасывается в разные стороны.

— Крепко нынче стали людей делать, — задумчиво сказал Мифасов, глядя на мальчишку, который, сделав двухаршинный прыжок и шлепнувшись животом о деревянный пол, вдруг завертелся вместе с колесом, вылетел на барьер, ударился об него головой и дико захохотал, не обращая внимания на то, что какой-то рыжий мужик топчет каблучищем сапога его грязную ручонку.

Весело, черт возьми. И никто ни на кого не обижается.

Наконец-то бедный, бесправный русский народ достиг идеала своей национальной игры: мала куча — крыши нету.

На особой эстраде — танцы. Здесь, в Народном доме, танцы — священнодействие. У всех серьезные, углубленные и как-то внутренне просветленные лица.

Кухарки отплясывают с благоговейным выражением огрубевшего у плиты лица. Модистки танцуют с определенным убеждением, что это не шутки, не игрушки и что громкий голос или смех звучал бы в данном случае кощунственно.

Мы долго не сводили глаз с военного писаря, который думал, что он Нижинский, — и танцевал так, будто бы весь светский административный и дипломатический мир Парижа собрался полюбоваться на него. Мы видели писаря, разочарованного аристократа, который танцевал, еле-еле шевеля ногами, и которому все надоело: и этот блеск, шум и вообще вся эта утомительная светская жизнь. Мы видели какого-то восторженного человека, с глазами, поднятыми молитвенно к небу.

Он прикасался к даме кончиками пальцев, нежно представлял искривленные портняжной работой ноги, а взор его купался в высоте, и он видел там ангелов. Мы видели высокого нескладного молодого человека со множеством веснушек, но зато без всяких бровей и ресниц; этот молодой человек работал ногами так, как не может работать поденщик: это усердие свойственно только сельным рабочим. Про него Крысаков сказал:

— Вот типичный клерк маленькой банкирской конторы.

Впрочем, через пять минут “клерк” сказал своей даме:

— Вот как за целый-то день молотком намахаешься — так на вашу тяжесть мне наплевать.

— Видишь, — сказал Мифасов Крысакову. — Это молотобоец, а ты говоришь — клерк.

— Ну, это еще вопрос, — нахально пожал плечами Крысаков. — Может быть, он в банкирской конторе вбивал молотком какие-нибудь гвозди для плакатов и диаграмм биржевых сделок.

Уходя, мы насолили Крысакову в отплату за его развязность как могли. Именно, продираясь сквозь толпу впереди Крысакова, Мифасов говорил вполголоса:

— Пожалуйста, господа, дайте дорогу. Сзади меня опасный сумасшедший, и не надо его злить. Он только что выписался из больницы, и снова ему плохо. Осторожней, господа!..

Когда мы вышли на улицу, Крысаков сказал:

— Заметили, как весь народ смотрел на меня? Они чувствовали во мне “своего” человека, знающего их быт, привычки, язык и весь вообще уклад.

ЧЕМПИОНАТ БОРЬБЫ

(Очерк)

Устроителей чемпионата есть только одна цель, одна мысль — как можно больше растянуть время, назначенное для борьбы: каждый день часа на два. Если бы устроители об этом не заботились, то все пары переборолось бы в один вечер.

Мы знали одного очень симпатичного, но слабого, хилого атлета, вид которого возбуждал всеобщую жалость и сочувствие. Его впалая грудь, худые бока и изможденное лицо вводили многих на христианскую мысль — определить его в санаторию, но как-то тут случилось, что определился он в чемпионат борьбы.

На второй же вечер этот честный, простодушный человек подошел к организатору борьбы и предложил ему следующее:

— Я знаю, вы распорядились, чтобы мой противник положил меня только после двенадцатой минуты... Зачем это? Зачем тратить напрасно время, которое послано нам

Всевышним, которое так дорого и которое мы должны употреблять с большей пользой. Сделаем так: выйдем на арену, я пожму противнику руку и лягу сам на обе лопатки. Пусть судьи признают меня побежденным.

И что же сделал организатор борьбы? Послушался здравого совета? Нет, он напал на хилого атлета, раскричался, заявил, что он не хочет зря платить деньги разным дармоедам, и тут же отдал распоряжение противнику хилого борца — положить его только на девятнадцатой минуте.

Хилый атлет стал бороться и несколько раз во время борьбы хотел потихоньку лечь на обе лопатки...

Но противник ему попался опытный: он зорко следил за движениями хилого, и едва тот касался лопатками ковра, противник закладывал какой-нибудь нельсон и спасал несчастного, переворачивая его на живот.

Положен был хилый на девятнадцатой минуте странным приемом: он просто зацепился нечаянно одной ногой за другую и упал на спину.

Победителю публика устроила овацию. И было за что: за кулисами он признавался, что никогда не приходилось ему вести более трудной борьбы — каждую секунду нужно было зорко следить, чтобы противник не лег на ковер из простого ехидства и лени.

Вот каким образом устроители чемпионата растягивают борьбу вместо одного вечера на целый сезон.

Растягивание времени замечается даже в мелочах: парад борцов, представление их публике и демонстрирование запрещенных приемов.

Стоит только выйти атлетам, как арбитр начинает топтаться на месте, мямлить и тянуть слова.

Говорит долго-долго.

Затем знакомит борцов с публикой, ухитряясь даже дать некоторым подробные характеристики...

— Эгеберг! Победитель знаменитого Арвид Андерсона, один из лучших техников...

— Лурих! Чемпион мира. Пользуется отличным успехом у женщин. Имеет тридцать пар трико, не считая букетов! Лурих... Не кривляйся.

— Циклоп! Питается сырым мясом и имеет тяжелый характер. Недавно в Галиции умерла его тетка, почему он и просит у публики снисхождения. Циклоп! Алле! Кланяйся публике.

— Муханура! Питается гаоляном. Сын маньчжурских полей, орошенных в свое время кровью двух великих держав. Дитя природы. Тоже просит у почтеннейшей публики снисхождения по причине сильного опьянения на поч-

ве рождения сына. Запрещаются следующие приемы: удары о пол головы противника, сделавшего мост; сдавливание горла; выкальвание глаз; вырывание ноздрей; вырезывание ремней из спины противника; оскорбление памяти предков противника; получение из банков денег по фальшивым векселям; хранение нелегальной литературы и — продажа напитков на вынос в незапечатанной посуде по вольной цене.

Арбитр долго еще перечисляет запрещенные приемы, а время идет...

Конечно, при желании время можно растянуть еще больше: когда борцы сходятся и пожимают друг другу руки, один может сделать приятно удивленное лицо и прикинуться, что он встретился с противником впервые.

— Как?! И ты здесь в чемпионате? Вот не ожидал! Сколько лет, сколько зим! Ну, как поживаешь? Давно видел Поддубного?

И, усевшись на ковре, оба поведут оживленную беседу о прошлом, прерываемые негодующими криками нетерпеливой публики.

Конечно, скудность фантазии борцов мешает им проделывать вышеозначенный прием, и они ограничиваются тем, что возьмется бесплодно на ковре, заботливо предостерегая друг друга от падения на обе лопатки раньше срока.

Время от времени борец "возмущается некорректностью противника". Этот прием заключается в следующем: один борец хватается другого за нос или дергает за ухо... Потерпевший делает оскорбленное лицо и нервно подходит к судейскому столу, вступая с судьей в тихий энергичный разговор, прерываемый размахиваниями жестами.

Борец. Когда же вы отдадите мне три рубля, которые занимали на один день?! (Указывает рукой на противника и касается своего уха.)

Судья. Ей-Богу, сегодня нет. Завтра отдам. (Качает укоризненно головой по направлению другого борца.)

Борец. Вы каждый день говорите завтра, а я что-то своих денег не вижу... (Грозит кулаком противнику и показывает рукой за кулисы, подчеркивая этим, что уйдет и бороться с таким человеком не будет.)

Судья. Завтра у меня маленькая получка, и я отдам. (Энергичный жест рукой по направлению к ковра.)

Публика (волнуясь). В чем дело?

Арбитр (приближаясь к рампе). Борец Соловьев заявляет судье, что он отказывается от борьбы с грубым Корнацким. Судья обещал сделать Корнацкому выговор за некорректность.

На эти переговоры уходит минут пять. Время подползает к "полицейскому часу".

Противники снова сходятся, но арбитр не дремлет:

— Одна минута перерыва!

Ох... Почему не:

— Один год перерыва?!

Почему не:

— Десять лет перерыва?!

Как бы хорошо все отдохнули.

"1812 ГОД"

Пьеса Аркадия Аверченко

Действующие лица:

Аркадий Аверченко (редактор).

Драматург (драматург).

(Кабинет редактора. Он сидит за письменным столом в кресле. Стук в дверь.)

Арк. Аверченко. Можете войти.

Драматург. Да я и вхожу. Вы редактор? Ладно. Садитесь, пожалуйста.

Аверч. Я уже и сижу.

Драм. Ну, тогда и я сяду. Должен вам сказать, что я драматург.

Аверч. Не отчаивайтесь. Как говорит русская поговорка: от тюрьмы да от сумы не отказывайся. Выпейте воды. Могу признаться, что многие в вашем положении держали себя гораздо бодрее.

Драм. Я сейчас только от зятя. Это прямо какой-то психопат! Спрашиваю: "Пишешь пьесу о Наполеоне?" — "Нет, не пишу". Как вам это понравится?!

Аверч. (с убеждением). Форменный кретин.

Драм. Не правда ли? Прямо-таки дурак.

Аверч. (с тою же убежденностью). Дурак и свинья.

Драм. Ну, вот. Так, видите ли, написал я пьеску; назвал ее "Великий полководец". Вы ведь знаете, что Наполеон был очень и очень недурным полководцем.

Аверч. (недоверчиво). Ну, что вы говорите!

Драм. Ей-Богу. Я об этом где-то читал. Говорят даже, что он был императором! Вы подумайте: из простых консулов — да в императоры! А возьмите наших тепе-

решных консулов — подумать стыдно. Как говорится: ни кожи, ни рожи. Я слышал как-то о нем анекдот, что он своих братьев королями поделал. Как говорится: и смех и грех.

Аверч. (меняя исторический разговор). Хорошую пьесу написали?

Драм. Пьеса как пьеса. Как говорится, не лаптем щи хлебаем.

Аверч. Гм... Это хорошее правило. По источникам писали?

Драм. Чего-с?

Аверч. Я говорю: когда пьесу писали — источниками пользовались?

Драм. Помилуйте! Все лето на Кавказе провел.

Аверч. Значит, не пользовались?

Драм. Именно, пользовался.

Аверч. Разве... там... можно... найти?

Драм. Дитя! Видно, вы никогда не бывали на Кавказе: Эссентукский, Железноводский, Нарз...

Аверч. Мерси, я вас понял. Не можете ли вы в кратких словах рассказать содержание пьесы?

Драм. Пожалуйста. Знаете ли вы, что Наполеон был в Москве?

Аверч. Изредка до меня доносились смутные слухи, но я не придавал им никакого значения!

Драм. Напрасно! Это факт! Он был там. Я узнал также, что в это время была сожжена Москва!

Аверч. Ужасная неприятность. Застраховано?

Драм. В том-то и дело, что нет. И представьте, французы любовались на это с птичьего полета.

Аверч. (недоумевает). Почему... с птичьего.

Драм. Ну, да. У москвичей очень своеобразный язык: они называют это — "с Воробьевых гор". Парфраз.

Аверч. (бормочет под нос). Пара фраз, а какие глупые.

Драм. Что вы говорите?

Аверч. Я говорю — с нетерпением жду дальнейшего!

Драм. Да-с. И вот стоят они и любуются на пожар Москвы. Наполеон со штабом. Вся его свита: Марат, Дантон, Мей, Бонапарт, Барклай-де-Толли...

Аверч. Позвольте, позвольте! Какой Марат?

Драм. Известный. Тот, которого потом убила Шарлотта Корде.

Аверч. Простите, она его не потом убила, а раньше.

Драм. Как раньше? Как же он мог быть на пожаре Москвы, если раньше. Труп его возили, что ли?

Аверч. Да дело в том, что с Наполеоном был не Марат, а Мюрат.

Драм. Да? Ну, как говорится: "Не вмер Данила, болячка задавила". Сойдет.

Аверч. Потом у вас тут в штаб затесалась какая-то странная личность: Бонапарт.

Драм. Ну да? Что вас так удивляет?

Аверч. Бонапарт-то... Ведь это и есть Наполеон.

Драм. Еще что выдумаете! Был генерал Бонапарт и был император Наполеон.

Аверч. Но, клянусь вам, что это одно и то же лицо!! Его так и звали: Наполеон Бонапарт.

Драм. Э, черт! То-то я смотрю, что они все вместе были: куда Наполеон, туда и Бонапарт. Я, признаться, думал, что это его адъютант. Вот досада!

Аверч. Почему вы досадуете?

Драм. Да, как же! Я ведь Бонапарту совсем другой характер сделал. Он у меня холерик, а Наполеон сангвиник; они часто спорят между собой, и Бонапарт даже, однажды, впал в немилость. Ведь тут у меня любовная интрига! Оба они влюбляются в одну и ту же помещицу. Помещица у меня такая есть: Афросимова. Она тоже хотела бежать из Москвы, но на полдороге, благодаря недостатку бензина, была перехвачена.

Аверч. (растерялся). Какой бензин? Зачем?

Драм. (хладнокровно). Бензин. Автомобильный. Представьте, на полдороге недостаток бензина, порча карбюратора...

Аверч. Вы можете мне довериться?

Драм. (с беспокойством). А... что?

Аверч. Тогда автомобилей не было.

Драм. (растерялся). Ну, что вы?! Не было! Какой удар! А что же было?

Аверч. Лошади были.

Драм. Да ведь у меня весь эффект четвертой картины на автомобиле построен. Мотор налетает на дерево, останавливается, в это время непобедимая наполеоновская гвардия выскакивает и бросается на помещицу, но тут как из земли вырастает телефонист Падекатров с партизанами, которые...

Аверч. Э, э!.. Пойдите! Какой телефонист?

Драм. Такой, знаете. На телефоне. В те старые времена о телефонистках еще и не слыхивали... Были телефонисты.

Аверч. В те старые времена и о телефоне тоже не слыхивали. Его не было. Он изобретен лет семьдесят спустя.

Драм. (он осунулся). Какой удар! Какой удар! А у меня на этом все построено. Понимаете, все телефонисты разбежались со станции, остался один мой герой. И что же! Он подслушивает распоряжения Наполеона, передаваемые Бонапарту, Барклаю-де-Толли и другим генералам, и потом доносит русским о всех передвижениях неприятельских войск. Потом, разоблаченный, отбивает у неприятеля пулемет и мчится на паровозе прямо к Пскову, где...

Аверч. (жестким тоном). Пулеметов не было, паровозов не было. И потом, почему у вас Барклай-де-Толли затесался к французам?

Драм. Да он кто?

Аверч. Русский полководец.

Драм. Чудеса! Как говорится: чудеса в решетке. А фамилия у него, тово... гм... Я было и Багратиона хотел к французам, а потом вижу, что он же и Мухранский — э, думаю, осади назад. (Тоскливо.) А Наполеон принимал у себя русских полководцев или не принимал?

Аверч. Не принимал.

Драм. А у меня принимает. Перед ним, знаете ли, выстроились русские полководцы: Куропаткин, Каульбарс, Гриппенберг, Штакельберг, а он осмотрел их и сказал историческую фразу: "С такими молодцами, да не победить русских! Это было бы невозможно". Теперь уж я и сам вижу, что у меня немного напутано. Потом, у меня тут Наполеону доставляют в палатку карикатуру на него, напечатанную в "Сатириконе"... (Уныло.) "Сатирикон"-то был?

Аверч. Как вам сказать: этого тоже не могло случиться. Петрониевский "Сатирикон" хотя и был, но Петроний уже в то время умер, а петроградского "Сатирикона" и совсем не было.

Драм. Боже, Боже! Удар за ударом... Неужели из-за этих мелких промахов должна пропасть вся пьеса... Все мои боевые картины: и пожар Березины, и седанский разгром, и бегство Наполеона с полуострова Св. Елены?

Аверч. (с интересом). Березина разве горела?

Драм. Со всех четырех концов! Вы себе представить не можете, что это было за необычайное, эффектное зрелище.

Аверч. (деликатно). Старожилы рассказывают, что Березина... гм... в сущности, река.

Драм. Вздор! Как же она могла гореть?

А верч. Она и не горела. Она в этом отношении солидарна с полуостровом Св. Елены, который не только не горел, но даже более того — остров.

Драм. Ну знаете, об этом мы поспорим; может быть, Св. Елена и остров, но не весь же остров, черт возьми, занимал Наполеон. Совершенно ему достаточно было и полуострова.

А верч. Значит, половина острова, по-вашему, — полуостров?!

Драм. Логика говорит за это.

А верч. (долго сдерживаемая ярость в сердце его прорывается наружу; он вскакивает, хватая драматурга за шиворот, трясет). Это уже слишком, негодяй! Я вижу, ты совершенно не знаешь истории! Ты не знаком с техникой! Ты даже не слышал о логике!!.. Географию ты знаешь не больше любой извозчицкой клячи!!.. И ты берешься писать пьесу о Наполеоне, об Александре Македонском прошлого века!!!

Драм. (падает в кресло; с сожалением). Вот Александра Македонского я и забыл вывести... Как говорится: "Слона-то я и не приметил!"

МУЗЫКА В ПЕТЕРГОФЕ

Концерты придворного оркестра
под управлением Г. И. Варлиха

Когда я сижу перед эстрадой и слушаю хорошую музыку в прекрасном исполнении, когда я вижу около себя публику, часть которой упорно, не мигая, смотрит на надутую щеку тромбониста (музыкальные натуры), а другая часть ведет разговор о вчерашнем дожде (равнодушные), я всегда вспоминаю один случай, в котором как раз была замешана публика и музыка.

Я и один из моих друзей, окруженные роем барышень, дам и их мужей, слушали однажды симфонический оркестр. Когда играли "Лунную сонату", то одна из дам рассказывала, как она на днях поругалась в конке с кондуктором, а "Смерть Азы" Грига заставила ее вспомнить, что ее горничная до сих пор не пересыпала нафталином зимние вещи.

Не желая отставать от этой дамы, ее муж, обладавший лирической натурой, рассказал под аккомпанемент

увертюры к "Тангейзеру", как он предчувствовал смерть своей бабушки и как он три дня ничего не ел и не пил, узнав, что эта бабушка отошла в лучший мир...

Растроганная пятой симфонией Чайковского, лиловая барышня все добивалась ответа у серого молодого человека:

— Почему он такой задумчивый? Не потому ли, что вчера он не приехал, как обещал, к ним в Тярлево, и не потому ли, что вчера же его видели с какой-то высокой дамой? Пусть он скажет: почему он такой задумчивый?

Эти вопросы так волновали барышню, что заняли весь промежуток — от начала до конца — пятой симфонии и захватили даже кусок 2-й рапсодии Листа.

Серый молодой человек, улучив минуту, перехватил себе остаток рапсодии и на ее фоне нарисовал незатейливый рисунок, смысл которого состоял в том, что дама эта — подруга его сестры, а сам он не мог быть потому, что у него болела голова и ломило ноги.

Когда же последняя нота в этом отделении концерта была сыграна, дама и ее муж, и лиловая барышня, и серый молодой человек, и другие, которые были с нами, обрушились таким громом аплодисментов, что дирижер подпрыгивал от сотрясения воздуха, как мячик, а музыканты с гордым, самодовольным видом поглядывали друг на друга, подмигивая один другому:

— Видал? Наконец-то нас оценили по достоинству!

Лирический муж кричал:

— Браво!

Лиловая барышня и молодой человек, у которого болела голова и ноги, в полном экстазе шли дальше и кричали:

— Бис!!

Когда восторги утихли, я посмотрел в глаза дамам и лирическому мужу и спросил:

— Вам это нравится?

— Да! Это очаровательно!

— Разве можно не любить музыку?! — сказал муж.

— Невозможно, — сказал солидно молодой человек.

— Музыка — это восторг, — пискнул сзади кто-то, кого до сих пор никто не мог разглядеть из-за толстой дамы.

Тогда я сделал знак моему другу и завел с ним музыкальный разговор:

— Я тоже люблю музыку! Помнишь, Коля, это печальное скерцо Бетховена...

И я затаил какой-то бессмысленный мотив:

ИЗ СБОРНИКА “ВОЛЧЬИ ЯМЫ”

(1915)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОЕННОМУ ДЕЛУ

(Из жизни малой прессы)

Прежний “военный обозреватель” поссорился с редактором и ушел.

Он обиделся на редактора за то, что последний сказал ему:

— Какую вы написали странность: “Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них”. Что значит “их в них”?

— Что же тут непонятного? Направляя их в них — значит, направляя блиндажи в русских!

— Да разве блиндаж можно направлять?

— Отчего же, — пожал плечами военный обозреватель, — ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону.

— Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть?

— Отчего же... — конечно, кто хочет — может выстрелить, а кто не хочет — может не стрелять.

— Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж — нечто вроде пушки?

— Не по-моему это, а по-военному! — вспыхнул обозреватель. — Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы: “Русские стреляли из блиндажей”, “немцы стреляли из блиндажей”... Осел только не поймет, что такое блиндаж!

Редактор догадался, на кого намекает обозреватель, и обиделся.

— Не знаю, кто из нас осел. Почему же в “Военном скакуне” обозреватель пишет такую фразу: “Немцы прятались в блиндажах”. Что ж они, значит, по-вашему, в пушках прятались, что ли?

— Тра-ла-ла-ла!.. Тра-ла!..

— Как же! — подхватил Коля. — Но мне больше нравится вторая часть его “Венгерских песен Брамса”: Рра-та-та-та-дарм-рам-рам!.. Помнишь?

— Как же. Это це-мольная?

— Она самая.

— Ах, Бетховен! — благоговейно вздохнула лиловая барышня.

— Не скажите... — возразил серый господин. — Шуберт тоже...

— Что — Шуберт? — сурово спросил я.

— Тоже... есть у него... вещички.

— Сухой педант ваш Шуберт, — сказал вдруг Коля. — Разрешение диссонансов у него — вы заметили? — всегда строго согласовано с контрапунктом, но в нем нет той ажурности рисунка, того проникновения задачей и той концепсии в мажорах, как у Гайдна.

— Гайдна звали Иосиф, — сказала барышня.

— Совершенно верно, сударыня. Помните у него это мощное начало: трада-рам-рам, ра рам! Которое потом сразу падает в тихое мелодичное фортиссимо: тра-ла-бам! Ла-ла-ла! Ба-бам! В этом месте у него особенно хороши деревянные инструменты... Помните? — спросил строго Коля.

— Помню, — робко сказала барышня.

Мы долго и горячо толковали о музыке.

Когда возвращались домой, лирический муж взял меня под руку и, глядя на луну, тихо сказал:

— Музыка... Как она облагораживает... Вот вы, очевидно, знаток... Так скажите же мне, пожалуйста: почему музыка так облагораживает?

Я вспомнил эту незамысловатую историю, сидя перед эстрадой в Новом Петергофе.

Прекрасный оркестр, тонкий интеллигентный дирижер Варлих, громадный незаметный труд, затраченный им и музыкантами на достойную передачу гениальных творений, — все это было для него, для того, который в этот вечер сидел сзади меня и под звуки Сибелиуса рассказывал своему знакомому:

— А то такой случай был: приказал я прачке поставить самовар, а она, стерва, пошла за углями и пропала!.. Жду я ее, жду, представьте себе, жду...

— Почему же нет? Если орудие, скажем, восемнадцатидюймовое, а средний солдат, имея объем груди, согласно правилам воинского распорядка частей внутреннего согласования армий, которое... которое... Э, черт! Взял просто человек и залез в пушку.

— Сел в лужу наш военный обореватель, — вступил в разговор корреспондент из Копенгагена. — Блиндаж — это нечто вроде солдатской галеты. Иностранное слово. Происходит с русинского. Блин даже. Так сказать, даже блин, и тот идет в ход. Я сам читал корреспонденцию, что немцы без блиндажа ни на шаг. Ясно — галеты. Любят, черти, покушать. Хотите, я сегодня из Копенгагена напишу об этом?

— Пожалуйста, — скривился военный обореватель. — Если вы в военных вопросах понимаете больше меня, ведите сами военный отдел. А я вам больше не писарь.

Взял он свое пальто, шляпу, два рубля долгу из конторы и ушел.

Редактор привез нового военного обозревателя.

Все сотрудники высypали смотреть на него.

Поглядывали с тайным страхом — вдруг человек возьмет да и начнет стрелять в них. Все-таки военный обореватель, имеющий дело с разными шрапнелями, мортирами и блиндажами.

Но новоприбывший военный обозреватель оказался на редкость милым, скромным человеком.

Улыбнулся всем, а молодому секретарю сказал даже комплимент:

— Какие у вас хорошие ботиночки!

— Да, — самодовольно согласился секретарь. — Почти новые. Второй год всего ношу.

— О чем будете писать нынче? — спросил редактор.

— Об Италии.

— Почему именно об Италии?

— Да давно хотелось написать. Тем более что она имеет на карте такую забавную форму.

Появилась статья военного обозревателя об Италии.

Она начиналась так:

“Италия имеет форму сапога. — Капо-спартивенто — это его носок, Капо-С. Мария — его каблук. Средняя

часть подметки образуется из залива Таренто. К сожалению, мы не можем точно обрисовать верхнюю часть сапога, так как верхушка голенища сливается с материком, а ушки должны быть где-нибудь между Сицилией и Венецией. Что же касается подъема этого сапога, то...” и т. д. и т. п.

Статья была очень оригинальная и в редакции произвела известное впечатление.

— А о чем вы нынче думаете? — спросил редактор.

— Написать о чем? Думаю написать статью о состоянии обуви во французской армии.

— Разве это такой важный вопрос?

— Обувь-то? Это — все. Обуйте солдата как следует, и он сделает чудеса.

На следующий день появилась новая статья нашего военного обозревателя.

Она начиналась словами:

“Многим, вероятно, интересно, как обута французская армия. Обувь французов состоит из...” и т. д. и т. п.

Эта статья оставила у всех какое-то странное впечатление узости освещения затронутого вопроса и поразила обилием специальных непонятных терминов. Впрочем, редактор утешил себя:

— Ничего не поделаешь — специалист.

А вечером спросил:

— А завтра о чем будет?

— Думаю коснуться состояния обуви в австрийской армии.

— Что вы все обувь да обувь? — нервно возразил редактор. — Напишите что-нибудь другое.

— Именно? — пугливо спросил новый обозреватель, огорченный редакторской нервностью.

— Ну... например, напишите о расположении австрийской армии...

— Слушаю-с.

На следующий день появилась статья:

“Расположение австрийской армии”.

Начиналась так:

“Австрийская армия расположена сейчас в виде дамского ботинка, причем левый фланг образует собой как

бы носок, а правый как бы верх ботинка. 3-й корпус стоит в виде высокого каблука, причем рантом его является"... и т. д. и т. п.

* * *

Прочтя эту статью, редактор расвирипел.

Долго кричал на военного обозревателя:

— Что вы всюду тычете ваши сапоги, туфли и башмаки? Что это за военные статьи, ни одна из которых не обходится без каблука, ранта, подъема и носка? На плане расположение австрийской армии похоже на кочергу, а вы всюду хватаетесь за свой излюбленный сапог!

— Извините! — обиженно возразил новый обозреватель. — Я не кухарка какая-нибудь, чтобы сравнивать положение армии с кочергой.

— Но и не сапожник же, — завизжал редактор, — чтобы сравнивать армии с сапогом!

— Извините, — угрюмо прошептал новый обозреватель, — как не сапожник? Мне своей профессии стыдиться нечего. Сейчас я, конечно, приглашен вами на пост военного обозревателя, но раньше я действительно работал подмастерьем у сапожного мастера Василия Хромононого.

* * *

И когда он, получив расчет и собрав свои вещи (пучок драгты, две колодки и коробку вару), уходил, в глазах его читался кроткий упрек:

— За что? Чем я хуже других?

СТАРЧЕСКОЕ

Падают, падают желтые листья на серые, скользкие дорожки. Нехотя падают.

Оторвется лист и тихо, неуверенно колеблясь, цепляясь за каждую ветку, за каждый сук, падает, падает лист, потерявший все соки, свернувшийся, как согбенный старичок.

— Кхе-кхе...

Невеселую песню тянет тонким голосом запутавшийся среди черных голых ветвей ветер, тоже состарившийся с весны, когда было столько надежд и пышного ощущения своего бытия.

У черта на куличках теперь эти надежды и это пышное ощущение бытия!

Где та нарядная береза, которую он любил целовать в теплый задумчивый вечер, когда озеро гладко, как дорожное зеркало, а оттуда, где закат, доносится мирный, умирительный колокольный звон?

От березы остался грязный скелет, и сама она вместо гармоничного шелеста издает такой печальный скрип, что взять бы да и повеситься на ней от тоски и ужаса.

И еще упало несколько листьев. И еще...

— Кхе-кхе...

К вам, бедные старики человеки, обращаются мои взоры, и тоска давит сердце: ведь и я буду стариком.

Не хочется...

Как сухие листья, опадут мои нежные, шелковистые волосы — мои волосы! Как сучковатые ветви, станут мои гибкие сильные руки — мои руки! Уродливыми корнями уйдут в землю мои стройные ноги, каждый мускул которых напрягался и дрожал, когда несли они меня к любимой, — мои сильные ноги! Темная кора, вся в морщинах и царапинах, будет покрывать пригнувшееся к земле тело — мое тело, которое жадно целовали ненасытные женские губы.

Падайте, листья, пригибайся, ствол, — к земле, к земле! Уходи в землю, старый дурак, нечего тебе шамкать о каких-то любимых и любящих женщинах, кто тебя, корявую колоду, мог поцеловать?

— Да ведь целовали же! Целовали! Ну вот еще, ей-Богу, целовали... И как!

Бедные старики.

Не старик я, а буду стариком.

Богатая у меня фантазия, роскошная фантазия! Вот захочу сейчас, закрою глаза да и представлю себе, ясно, как на солнце, отрывок, огрызок моей старческой жизни.

Слушай, читатель.

— Кхе-кхе...

Шелковыми волосами, нежной щекой трется о мою заскорузлую, жилистую руку внук Костя, Саша или Гриша, как там его заблагорассудят назвать нежные родители.

— Дед, — говорит Костя, — что ты все спишь да спишь... Рассказал бы что-нибудь. Эй, ты!.. А еще, мамка говорит, что писателем был.

Мои потухшие глаза чуть-чуть загораются.

— А ведь был же! Ей-Богу, был! Помню, выпустил я как-то книжку "Веселые устрицы". Годов тому поди

пятьдесят будет. Один критик возьми и напиши: “Этот, говорит, молодой человек подает надежды...”

— Подал? — спрашивает внук, с любопытством оглядывая морщинистого “молодого человека”.

— Что подал?

— А надежды-то.

— А пес его знает, подал или не подал! Разве тут было время разбирать? Да ты сам взял бы какую книжку с полки, да почитал бы дедову стряпню, хе-хе-кхе... Кхе!

— Ну ее, — с наивной жестокостью детской ясной души морщится внук. — Еще недоставало чего! Почитать... Ничего я там не пойму.

А у меня уже и самолюбия авторского не осталось. Все старость проклятая выела.

Даже не обидно.

— Ну, чего ты там не поймешь? В мое-то время люди все понимали. Неужто уж умнее были?

— Нет, непонятно, — вздыхает внук. — Вдруг сказано у тебя там: “Приятели чокнулись, выпили по рюмке водки и, поморщившись, поспешили закусить. “По одной не закусывают”, — крикнул Иван Иванович...” Ни черта, дедушка, тут не разберешь.

— Вот те раз! Чего ж тут непонятного?

— Да что это такое водка? Такого и слова нет.

Молодостью повеяло на меня от этого слова — *водка*.

— Водка-то, такое слово было.

— Что же оно значит?

— А напиток такой был. Жидкость, понимаешь? Алкогольная.

— Для чего?

— А пить.

— Сладкая, что ли?

— Эва, хватил. Горькая, брат, была. Такая горькая, что индо дух зашибет.

— Горькая, а пили. Полезная, значит, была? Вроде лекарства?

— Ну, насчет пользы — это ты, брат, того. Нищим человек от нее делался, белой горячкой заболел, под заборами коченел.

— Так почему же пили-то? Веселым человек делался, что ли?

Я задумчиво пожевал дряхлыми губами.

— Это как на чей характер. Иной так развеселится, что вынет из кармана ножик и давай всем животы пороть.

— Так зачем же пили?

— Приятно было.

— А вот у тебя там написано: “Выпили и поморщились”. Почему поморщились?

— А ты думаешь, вкусная она. Выпил бы ты, так похуже, чем поморщился...

— А почему они “поспешили закусить”?

— А чтоб вкус водочный отбить.

— Противный?

— Не без того. Крякать тоже поэтому же самому приятно было. Выпьет человек и крякнет. Эх, мол, чтоб ты пропала, дрянь этакая!

— Что-то ты врешь, дед. Если она такая противная на вкус, почему же там дальше сказано: “По одной не закусывают”.

— А это, чтоб сейчас другую выпить.

— Да ведь противная?

— Противная.

— Зачем же другую?

— А приятно было.

— Когда приятно — на другой день?

— Тоже ты скажешь: “на другой день”, — оживился я. — Да на другой день, брат, человек ног не потащит. Лежит и охает. Голова болит, в животе мутит и на свет божий глядеть тошно до невозможности.

— Может, через месяц было хорошо?

— Если мало пил человек, то через месяц ничего особенного не было.

— А если много, дед, а? Не спи.

— Если много? Да если, брат, много, то через месяц были и результаты. Сидит человек с тобой и разговаривает, как человек. Ну а потом вдруг... трах! Сразу чертей начнет ловить. Смехи. Хи-хи. Кхе-кхе!

— Ка-ак ловить? Да разве черти есть?

— Ни шиша нет их и не было. А человеку кажется, что есть.

— Весело это, что ли, было?

— Какой там! Благим матом человек орал. Часто и помирали.

— Так зачем же пили? — изумленно спросил внук.

— Пили-то? Да так. Пилось.

— Может, после того как выпьют, добрыми делами занимались?

— Это с какой стороны на какое дело взглянуть. Ежели лакею физиономию горчицей вымажет или жену по всей квартире за косы таскает, то для мыльного фабриканта или для парикмахера это — доброе дело.

— Ничего я тебя не понимаю.

Внук накрутил на палец кольцо своих золотых волос и спросил, решив, очевидно, подойти с другой стороны:

— А что это значит “чокнулись”?

— А это делалось так: берет, значит, один человек в руку рюмку и другой человек в руку рюмку. Стукнут рюмку о рюмку, да и выпьют. Если человек шесть-семь за столом сидело, то и тогда все перестукаются.

— Для чего?

— А чтобы выпить.

— А если не чокаться, тогда уж не выпьешь?

— Нет, можно и так, отчего же.

— Так зачем же чокались?

— Да ведь, не чокнувшись, как же пить?

Я опустил голову, и слабый розовый отблеск воспоминаний осветил мое лицо.

— А то еще, бывало, чокнутся и говорят: “Будьте здоровы”, или “Исполнение желаний”, или “Дай Бог, как говорится”.

— А как говорится? — заинтересовался внук.

— Да никак не говорится. Просто так говорилось. А то еще говорили: “Пью этот бокал за Веру Семеновну”.

— За Веру Семеновну, — значит, она сама не пила?

— Какое! Иногда как лошадь пила.

— Так зачем же за нее? Дед, не спи! Заснул...

А я и не спал вовсе. Просто унесся в длинный полуосвещенный коридор воспоминаний.

Настолько не спал, что слышал, как, вздохнув и отойдя от меня к сестренке, Костя заметил соболезнующе:

— Совсем наш дед Аркадий из ума выжил.

— Кого выжил? — забеспокоилась сердобольная сестра.

— Сам себя. Подумай, говорит, что пили что-то, от чего голова болела, а перед этим стукали рюмки об рюмки, а потом садились и начинали чертей ловить. После ложились под забор и умирали. Будьте здоровы, как говорится!

Брат и сестра взялись за руки и, размахивая ими, долго и сочувственно разглядывали меня.

Внук заметил, снова вздохнув:

— Старенький, как говорится.

Сестренке это понравилось.

— Спит, как говорится. Чокнись с ним скалкой по носу, как говорится.

— А какая-то Вера Семеновна пила, как лошадь.

— Как говорится, — скорбно покачала головой сестренка, — совсем дед поглупел, что там и говорить, как говорится.

Никогда, никогда молодость не может понять старости.

Плохо мне будет в 1954 году, ох, плохо!.. Кхе-кхе!..

КОРНИ В ЗЕМЛЕ

Толстый человек, отдуваясь и тяжело дыша, утирал громадный лбище громадным клетчатый платком и, делая после каждого слова антракт в виде глубокой передышки говорил:

— Это (передышка) как же (передышка) будет (передышка) теперича?

— А что? — недоуменно поднял я голову.

— Значит, это выходит, что жить не по-хорошему нужно, не в браке, а в разврате — да? В гнусности — да?

— Именно?

— Раз свадьбы не сделаешь — что ж оно выйдет? Ясное дело.

— Какой свадьбы?

— Какая бывает. Между двумя.

— Которыми?

— Вообще. Барышня, скажем, и кавалер.

— Ну?

— Между ими, говорю.

— Так кто ж им мешает жениться?

— Без свадьбы-то?

— Со свадьбой!

Толстяк охнул и, как кит, выпустил из ноздрей струю воздуха, поколебавшую гардину на окне.

— Где же это вы, скажите на милость, свадьбу теперь увидите?

— А что? Пост?

— Тоже вы скажете — пост. Пост дело проходячее: пост ни при чем.

— А что не “проходячее”?

— Читали, что всякое питье хотят уничтожить?

— Читал. Прекрасная мысль.

— Умники вы!.. Новомодные танцоры. Шаркуны, трам-блям... Вот и выдумываете бо-зна-что!

— Однако при чем тут свадьба?

— О, Господи ж! Да какая христианская душа без выпивки свадьбу справит? Ведь куры ж засмеют. Господи, Господи!

— Какой вздор. Обряд бракосочетания не требует выпивки.

— Так-с. Вы по-умному все, по-балетному рассуждаете. А дозвоьте вас спросить: вернумшись?

— Что такое — “вернумшись”?

— Вернумшись с этого “бракосочетания”, как вы выражаетесь, что они должны делать?

— Молодые?

— Да-с. И молодые, и старые.

— Чай пить.

— Это на свадьбе-то?! Да пригласи меня человек на такую свадьбу — я и ему, и его невесте всю прическу чаем ошпарю!

— Пусть не приглашает.

— Это меня-то? Дядю-то? Кто его после такого поступка лечить будет?

— Однако, согласитесь сами, что таким образом для вашего племянника создается безвыходное положение.

— То есть для племянницы. И верно, что безвыходное. Где уж тут замуж выходить при этом самом. Позор один, смехота.

— Не понимаю, почему. Будто все дело в выпивке.

— Ну, вот и говори с ним. Свадьба это али нет?

— Свадьба.

— Музыка должна быть? Туши она должна играть? Под какой же дьявол она будет играть туши, ежели выпить нечего? За мое-то здоровье, за дядюшкино, должны пить или, может быть, скажете — не должны? За молодых должны пить или не должны? Керосин пить будут, клюквенный сироп? Молодым должны кричать “горько!” или не должны? А где ж тут горько? От чего? От чего?! От моржовой воды?!!

— Что это за моржовая вода?

— Лечебная. С пузырьречками. Орел на этикетке.

— Боржом!

— Это все едино. Пить я его не буду...

— Ну и что же?

— Так вот, при таких обстоятельствах, я вас спрашиваю, что это получится: свадьба или похороны? Чем молодые потом такой день вспомнят? Похороны? Да теперь и похороны тоже... Доведись на меня — никогда бы я при таких делах не похоронился.

— Похоронят! И спрашивать не будут.

— Разве что. А только вот уж всякий на таких похоронах скажет: “Собаке собачья смерть”. И действительно!

Он всплакнул в платок, высморкался и обратил на меня маленькие покрасневшие глаза.

— Простите вы меня, сырой я. Так вот вам какие похороны. Певчие без водки злые, как собаки, петь будут безо всякой чувственности, поминальщики за блинами, за пирогами не поплачут, как раньше, а еще по трезвому делу так ругнут, так обложат покойничка, что он, как шашлык на шампуре, завертится в гробу. А детки!.. Эти ангелочки малые...

Он снова полузаплакал в платок, полувывсморкался.

— Детки, говорю я... Так некрещеными им, значит, и ходить? Ни нашим ни вашим, да?

— Ну, уж крестины, простите...

— Нет, это уж вы мне простите! Не желаю я вам прощать — лучше уж вы мне простите! Это какие же такие крестины должны получиться, когда за здоровье младенца, за евонную мамыньку, за крестных — так уж и не выпьет никто?! Это вы как понимаете? Да ведь после таких крестин младенец и лапки кверху задерет.

Я засмеялся.

— Выживет.

— Выживет? Почему выживет? Потому что пусть лучше некрещеным бегаёт, чем...

Очевидно, глаза его устроились в свое время на сыром, болотистом месте. При легоньком нажатии платка в этих двух кочках проступала обильная вода.

Высморкавшись особенно щеголевато и громко, он сказал с грустной мечтательностью:

— Ну конечно, что же это за жизнь. Так и будут ходить — некрещеные, не венчаные, не погребенные... И помирать скверно, и жить не сладко.

И вдруг, вспомнив что-то, с новой энергией застонал толстяк:

— А праздники!! А Рождество и Пасха?! Пришел ко мне, скажем, Семен Афанасьич. “Драсьте — драсьте”. — “Понравилась ли вам заутреня? Пожалуйте к столу”. Крякнет Семен Афанасьич, потрет руки, пригладит усы, подойдет к столу... (он всхлипнул), подойдет это он к столу — ветчина тут, поросеночек, колбаса жареная, птички разные разругмяненные... И что же! Все это по столу стелется, все это низко, простите! А где же вершины духа человеческого? Где же эти пирамиды, обелиски, радующие взоры и уста! Как же может Семен Афанасьич съесть поросеночка? Как ему в глотку полезет жареная колбаса? Как у него подымется рука золотистенький грибок в рот отправить? Да не сделает же этого Семен Афанасьич! Не такой это он человек. Выронит вилку, шваркнет хлебцем, уже заранее для первой рюмки приготовленным, в поросенка, плюнет на

стол и уйдет. Это Рождество, по-вашему? Это Пасха? Это колокольный звон или ваше трам-блям?! Нечистый возрадуется — и горько восплачет мы! Да я в такой праздник сейчас же работать, как в буденный день, пойду. Знаете вы это? Что мне такое праздник? Да вам самим лучше меня заняться работой в такой праздник, а то ведь я на людей бросаться буду, кусаться буду, землю ногами рыть!! Ведь раньше, вы подумайте, что было: с утра собираешься, чтобы пить, потом пьешь, потом опохмеляешься, тошнит, значит, тебя, голова болит — ан, смотришь, день и прошел. А нынче что я буду делать? Пойду да Семену Афанасьевичу стекла и побью.

— Это зачем же? — удивился я такому странному заключению.

— А с досады. Двадцать лет мы с ним вместе пьем — так это как вынести? Да уж что там о праздниках говорить... А будни! А моя работа?! Подрядами я занимаюсь. Как же я с нужным человеком дело сварганю, как я его удовлетворю — лимонным сиропом или голландским какао? На голову он мне выльет сироп. Да ну вас!!! — вдруг махнул он рукой. — Пойду. Доведете вы меня когда-нибудь до кондрашки...

Ушел, не забыв надавить красным платком свои водочащие кочки...

* * *

Вчера этот толстяк явился ко мне, размахивая огромной простыней петроградской газеты.

— Сдаются? — улыбнулся я.

— Это как же-с?

— А что же это вы белым флагом размахались?

Он был светел. Сиял.

— Нет, уж пусть кто другой сдается. А мы еще повоюем.

— С чего это так воссияли?

— А вот. Видали? (Ткнул в газету пальцем, похожим на старую морковь.) Сказано, что в скором времени открывається продажа водки для технических целей!!!

— Так ведь для технических же?

Он призадумался, немного обеспокоенный.

— А это что же, по-вашему, обозначает?

— Значит, не для питья.

— А куда ж ее?

— Ну, там... для научных препаратов, для парфюмерии, для лекарств.

— Толкуйте! Тогда бы о спирте говорилось, а тут ясно сказано: "водка".

Я не хотел сдаться:

— Все-таки, "для технических целей" сказано. Я еще понимаю, если бы продавали крепкие виноградные... Тогда бы...

— Попались, батенька! Вон что дальше сказано: "Будет допущена продажа крепких виноградных вин для технических целей"... Какие же это, простите, технические цели — для мадерцы, токайского или мартеля, три звездочки. Одна только техническая цель — купить бутылочку и высмоктать ее.

Я смутился:

— Да... Это что-то непонятное. Впрочем, если сказано: "для технических целей", то, очевидно, зря никому из частных лиц продавать не будут.

Он прищурился.

— Так-с? А кому же будут?

— Очевидно, техникам.

— Так поздравляю вас! — захихикал он. — Отныне, значит, вся Россия техниками обрстет.

— Каким образом?

— Для водки-то? Да для водки любой человек таким техником сделается, что только руками разведете. Ну, прощайте! Бегу.

— Куда?

— А к другим техникам — новость сообщить. Эй, Глаша! Скажи технику Гавриле, чтобы подавал. Поеду к технику Семену Афанасьичу. Спасибо, Глаша! Вот тебе на технику полтинник!..

СПИРТНАЯ ПОСУДА

1. Крушение надежд

— Знаете, Илья Ильич, гляжу я на вас — и удивляюсь. Как вы это, доживши до сорока лет...

— Что вы! Мне пятьдесят восемь.

— Пятьдесят восемь?! Это неслыханно! Никогда бы я не мог поверить — такой молоденький!.. Так вот я и говорю: как это вы доживши до... сорока восьми лет, сумели сохранить такую красоту души, такую юность порывов и широту взглядов. В вас есть что-то такое рыцарское, такое благородное и мощное...

— Вы меня смущаете, право...
— О, какое это красивое смущение — признак скромной девичьей души! И потом, вы знаете, ваше умение говорить образными, надолго западающими в сердце фразами — как оно редко в наше время!

— Ну что вы, право!
— Ну вот, например, эта краткая, но отчеканенная, отшлифованная, как бриллиант, фразочка: “Ну что вы, право”. Сколько здесь рыцарской застенчивости, игривого глубокомыслия, детской скромности и умаления себя! А ведь фразочка — короче воробьиного носа. “В немногом многое”, как говорил еще Герострат. Неудивительно, что беседа с вами освежает. Потом, что мне нравится — так это ваши детки, умные, скромные и такие способные-преспособные. Например, старшенький — Володя. Помилуйте! Ведь это образец! Кстати, что это его не видно...

— В тюрьме сидит, за растрату.
— Ага. Так, так. Ну, дай Бог, как говорится. Младшенький тоже достоин всякого удивления. Вся гимназия, как говорят, не могла на него надыхаться...

— Теперь уже она может надыхаться. Вчера его только выгнали из гимназии за дебош.

— Ага.. Ну, так о чем я, бишь, говорил? Да! Какая черта вашего характера кажется мне преобладающей? А такая: что вы готовы последним поделиться с ближним. Например, на прошлой неделе вы как-то вскользь сказали мне, что у вас есть бутылка водки. И что же! Приди я к вам сейчас и скажи вам: “Илья Ильич! У меня завтра обручение дочери и именины жены — уступите мне свою бутылочку” — да ведь вы и слова не возразите. Молча пойдете в свое заветное местечко...

— Нет, простите, водки я вам дать не могу.

— Это еще почему?

— Не такой это теперь продукт. Отец родной если будет умирать — и тому не дам. Так что уж вы того... Извините... Жenu могу отдать, детей, а с бутылочкой этой самой не расстанусь.

— Очень мне нужен этот хлам — ваша жена и дети! А я-то дурак, перед ним, перед сквалыгой, скалдырником, разливаюсь. Только время даром потерял. И что это за преподлый народишко пошел!! Что? Руку на прощанье? Ногу не хочешь ли?! Отойди, пока я тебя не треснул!

II. Великосветский роман

— Баронесса! Вы знаете, что мое сердце...
— Довольно, князь! Ни слова об этом. Я люблю своего мужа и останусь ему верна.
— Ваш муж вам изменяет.
— Все равно! А я его люблю.
— Но если вы откажетесь быть моею, я застрелюсь!
— Стреляйтесь.
— А перед этим убью вас!
— От смерти не уйдешь.
— Имейте в виду, что вашим детям грозит опасность!
— Именно?
— Если вы не поедете сейчас ко мне, я принесу когда-нибудь вашим детям отравленных конфет — и малютки, покушав их, протянут ноги.

— О, как этот изверг меня мучает!.. Но... будь что будет. Лучше лишиться горячо любимых детей, чем преступить супружеский долг.

— Ты поедешь ко мне, гадина!!

— Никогда!

— А если я тебе скажу, что у меня в роскошной шифоньерке с инкрустациями стоит полбутылки водки с белой головкой?!!

— Князь! Замолчите! Я не имею права вас слушать...

— Настоящая, казенная водка! Подумайте: мы нальем ее в стаканчики толстого зеленого стекла и... С куском огурца на черном хлебе...

— Князь, поддержите меня, я слабею... О, я несчастная, горе мне! Едем!!

Через две недели весь большой свет был изумлен и взбужден слухом о связи баронессы с распутным князем...

.....
О, проклятое зелье!

III. За столом богатого хлебосола в — будущем

— Рюмочку политуры!
— Что вы, я уже три выпил.
— Ну, еще одну. У меня ведь Козихинская, высший сорт... Некоторые, впрочем, предпочитают Синюхина и К°.
— К рыбе хорошо подавать темный столярный лак Кноля.

— Простите, не согласен. Рыба любит что-нибудь легонькое.

— Вы говорите о денатурате? Позвольте, я вам налью стаканчик.

— Не откажусь. А это что у вас в пузатой бутылочке?

— Младенцовка. Это я купил у одного доктора, который держал в банках разных младенцев — двухголовых и прочего фасона. Вот это вот двухголовка, это близнецовка. Это — сердцепьянцевка. Хотите?

— Нет, я специальных не уважаю. Если позволите, простого выпью.

— Вам какого? Цветочного, тройного? Я, признаться, своими одеколонами славлюсь.

Гость задумчиво:

— А ведь было время, когда одеколоном вытирали тело и душили платки.

— Дикари! Мало ли что раньше было... Вон, говорят, что раньше политуру и лак не пили, а каким-то образом натирали ими деревянные вещи...

— Господи, помилуй! Для чего это?

— Для блеску. Чтобы блестяли вещи.

— Черт знает что такое. И при этом, вероятно, носили в ноздре рыбью кость?

— Хуже! Вы знаете, что они делали с вежеталем, который мы пьем с кофе?

— Ну, ну?

— Им мазали голову.

— Тьфу!

ТАЙНА ЗЕЛЕННОГО СУНДУКА

(Рождественский рассказ)

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда госпожа Постулатова, сидя в будуаре, говорила гувернантке:

— Никогда я не могла представить себе такого хорошего Рождества. Вы подумайте: напитков никаких нет, значит, останется больше денег, и мы не залезем в долги, как в прошлые праздники.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда кухарка Постулатова, сидя в теплой кухне, говорила соседской горничной:

— Хорошее Рождество будет... Господа денег на пьянство не потратят, а сделают нам хорошие подарки. Славьте Господи.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда дети Постулатовых, сидя в детской, тихо шептались друг с другом:

— Нынче папа никакого вина и водок не может купить — значит, эти деньги, которые останутся, пойдут нам на елку. Хорошо, если бы елку закатали побольше да игрушек бы закатали побольше.

Ветер выл, как тысяча бешеных собак, и метель кружилась в невероятной сногшибательной пляске, когда глава дома Постулатов сидел одиноко в темном кабинете, в углу, и, сверкая зелеными глазами, думал тяжелую мрачную думу.

Страшен был вид Постулатова.

“Нету нынче на праздниках никаких напитков — хорошо же! — Думал он. — Кухарку и гувернантку изругаю, жене изменю, а ребятишек всех перепорю. Раз уж скверно, то пусть всем будет скверно”.

Ветер за окном выл, как тысяча бешеных собак, да и метель держала себя не лучше.

...Дверь скрипнула, и в кабинет вошла жена. Ласково спросила:

— Что ты тут в темноте сидишь, Алексашенька?

— Черташенька я тебе, а не Алексашенька! — горько ответил муж. — Возьму вот и повешусь на дверях!

— Господь с тобою! Кажется, все хорошо, надвигаются праздники, и праздники такие хорошие — будут без неприятностей... Я с тобой хотела как раз поговорить о подарках кухарке и гувернантке.

— Подарок? — заскрежетал зубами Постулатов. — Кухарке? Купить ей в подарок железную кочергу, да и бить ее этой кочергой каждый день по морде.

— Алексаша! Такие выражения. Надо же выбирать...

— Не из чего, матушка, не из чего!

— Что же тебе кухарка плохого сделала?

— Да, знаю я... Поймает крысу да и врубит ее в котлеты. А в суп, наверное, плюет.

— Опомнись! Для чего ей это делать?

— А я почему знаю. Развращенное воображение. В чай, я уверен, мышьяк подсыпает.

— Зачем? Что ей за расчет? Ведь мышьяк денег стоит.

— Из подлости. А гувернантка — я знаю — она губит моих детей. Она их потихоньку учит курить, а старшенького подговорила покуситься на мою жизнь.

— Для чего?! Что она после тебя, наследство получит, что ли?

— Садизм, матушка. Просто хочет насладиться моими предсмертными мучениями.

— Бог знает, что ты такое говоришь... — Заплакала жена. — Ну, раз не хочешь сделать им подарки, что ж делать... Я из своих им куплю. Из тех, что ты мне на расходы дашь.

— Ничего я тебе на расходы не дам. Не заслужила, матушка! Как жена, ты ниже всякой критики.

— Алексаша!!

— Чего там “Алексаша!”. Ты лучше расскажи, почему все наши дети на меня не похожи? Я все понимаю! Не будет им за это елки!!

— Какой позор! — воскликнула жена и, рыдая, выбежала из комнаты.

— А ловко я ее допек! — подумал немного прояснившийся Постулатов. — Теперь еще только выругать кухарку, перепороть детишек, — и все будет, как следует.

И заворочались во тьме тяжелые ленивые мысли:

“Жаль, что у меня детишки такие послушные — ни к чему не придерешься. Хорошо, если бы кто-нибудь разбил какую-нибудь вещь, или насорил в комнате, или нагрубил мне. В кого они только удались, паршивцы? У других, как у людей — ребенок и стакан разобьет, и кипятком из самовара руку обварит, и отца дураком обзовет, — а у меня... выродки какие-то. Вон у Кретюхиных сынишка в мать за обедом вилку бросил... Вот это — ребенок! Это темперамент! Да я бы из такого ребенка такой лучины нащипал бы, таких перьев надрал бы, что он потом за версту от меня удирал бы. Вот что я с ним, подлоцом, сделал бы. А от моих — ни шерсти, ни молока... Сидят у себя они в детской тихонько, смиренненько, не попрыгают в гостиной, не посмеются”.

Сердце его сжалось.

“А почему они не прыгают? Почему не смеются? Ребенок должен вести себя сообразно возрасту. А если он сидит тихо, значит, он паршивец, делает нечто, противное своему возрасту. А за это — драть! Неукоснительно — драть. Я им покажу, как серьезничать”.

Он встал, сверкнул зелеными глазами и, крадучись, отправился в детскую.

А за окном ветер и метель вели себя ниже всякой критики...

* * *

— Вы чего тут сидите? — нахмурившись и обеда детей жестким взглядом, проворчал Постулатов.

— Мы ничего, папочка. Мы сидим тихо.

— Сидите тихо?!

Леденящий душу смех Постулатова прозвучал в детской, сливаясь с воем бури за окном.

— А разве дети должны сидеть тихо? Детское это дело? Сейчас же, чтобы резвиться, прыгать и смеяться. Ну?!!

Детки заплакали.

— Простите, папочка... Мы больше никогда не будем...

— Что? Плакать? Немедленно же резвитесь, свиненки этакие! Ну, ты! Или смейся, или я с тебя три шкуры спущу. Я вам пропишу елку!..

Прижавшись друг к другу, забившись в угол, дети с ужасом глядели на искаженное лицо отца...

— Ах, так? Такое отношение? Не хотите веселиться?! Ну, так вы сейчас отведаете ремня!! Эй, кто там?! Где мой кожаный ремень!! Агафья! Лизавета! Подать ремень!!

Столпившись в дверях, все домочадцы с ужасом взирали на разъяренного хозяина.

— Куда девался ремень? Агафья!

— Не знаю, барин... я и то найти его не могу!.. Уж не в зеленом ли дедушкином сундуке?..

— Подальше, дьяволы, постарались засунуть. Прочь!! Я сам его найду!

И ринулся Постулатов в полутемный чулан, в котором стоял знаменитый дедушкин зеленый сундук.

В каждом благоустроенном семействе имеется какой-нибудь баул, сундук или просто коробка, в которую годами складывается всякая дрянь: сплюснутая весенняя шляпка, два разрозненных тома “Нивы”, испорченная мясорубка, засаленный галстук, бутылочки со старыми лекарствами, мужская сорочка с оторванными манжетами, пара граммофонных пластинок и изъеденная молью плюшевая кошка.

На письменных столах и туалетах тоже стоят маленькие коробочки, в которых годами копят: шнурок от

пенсне, полдюжата разнокалиберных пуговиц, поломанная запонка, английская булавка и позолоченная облезшая часовая цепочка.

Зеленый сундук Постулатовых отличался той же хаотичностью и разнообразием содержимого...

Лихорадочно рылся разъяренный Постулатов, отыскивая популярный в детской желтый кожаный ремень от сакvojа, рылся... как вдруг рука его наткнулась на что-то стеклянное.

— Дрянь какая-нибудь, пустая посуда, — подумал он и вытянул на свет Божий одну бутылку, другую... третью...

Оглядел их — и сердце его бешено заколотилось: в первых двух ярким топазом сверкнул французский коньяк, а в третьей тихо мелодично булькала при малейшем сотрясении настоящая смирновская водка.

— Чудеса... — проворчал он дрогнувшим голосом и закричал:

— Лизочка! Лиза! Иди сюда, голубушка.

Вошла заплаканная жена.

— Лизочек, каким это образом в зеленом сундуке очутились коньяк и водка? Откуда это, милая?

Жена наморщила лоб.

— Действительно, как они попали в сундук? Ах, да! Это я весной засунула их сюда, перед Пасхой. Ты тогда купил больше, чем нужно. А я сунула сюда, подальше от тебя, да и забыла.

Постулатов подошел к жене, нагнулся близко к ее лицу:

— А чьи это глазки?

— Лизины.

— А зачем они заплаканы?

— Потому что один дурачок ее обидел.

— А если дурачок их поцелует — они будут веселее?

— Барин, — сказала, входя, Агафья. — Вот и ремень.

Он за шкахвом был.

— Нацепи его себе на нос, — засмеялся Постулатов.

— Послушай, Агафьюшка. Ты, кажется, гусей хорошо жарить? Так вот изжарь к Рождеству. Потом, я давно хотел спросить: что ты такое кладешь в пирожки с сливером, что они так вкусно пахнут? Молодец ты у меня, Агафьище, замечательная баба! Можешь взять для своего мужа мой старый синий пиджак... Я его носить не буду.

Пошел в детскую легким танцующим шагом

— Марья Николаевна! Я доволен вашими занятиями с детьми и хотел бы чем-нибудь... Впрочем, это уже дело жены. хе-хе! А вы что, архаровцы, приумолкли? Чего ждете?

— Сечься ждем, — покорно вздохнул самый маленький и заплакал.

— Ишь чего захотели? А чего вы больше хотели бы: сечься или елку?

С решительностью, чуждой всяких колебаний и сомнений, все сразу определили свой вкус:

— Елку!

— Да будет так! — мелодично засмеялся отец, целуя младшего. — Кося, заведи граммофон!..

* * *

Тысячи собак за окном улеглись спать под ровное белое покрывало. Тысячами бриллиантов горела пелена снегов под кротким тихим светом луны.

Завтра — веселый сочельник.

Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение...

О МАЛЕНЬКИХ — ДЛЯ БОЛЬШИХ (1916)

ОТ АВТОРА

*Вы,
которые
любите их смеющимися,
улыбающимися, серьезными и плачущими...
Вы, которым дѣроги
они — всякого цвета и роста —
от
еле передвигающихся
на неверных ногах крошек,
с ручонками, будто ниточками перехваченными,
и губками, мокрыми и пухлыми, —
до
ушастых веснушчатых юнцов
с ломающимися голосами,
большими красными руками
и стриженными ежом волосами,
с движениями смешными и угловатыми —
для вас эта книга,
потому что
большая любовь к детям водила рукой автора...*

*Вы же,
которым
ненавистен детский плач,
которые мрачно и угрюмо прислушиваются
к детскому смеху,
находя его пронзительным и действующим
на нервы,*

*Вы, которые
в маленьком ребенке видите
бесформенный кусок мяса,
в чудесном лопухом гимназистике — несносного
шалуна,
а в прелестном пятнадцатилетнем застенчивом
увальне —
неуклюжего, портящего стиль вашей гостиной
дурака —
Вы
не читайте этой книги...
Она —
не для Вас.*

Аркадий Аверченко

О ДЕТЯХ

(Материалы для психологии)

У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей.

Мысли их идут по какому-то своему пути; от образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью.

Вот несколько пустяков, которые запомнились мне.

I

Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала:

— Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать... И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахара. Больших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-претолстый дуб и стал размывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар — величиной с лошадь...

— Да что это, в самом деле, у тебя, — нетерпеливо перебил я. — Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук...

Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами:

— А как же бы ты думал. Ведь он же слон?

— Ну так что?

— И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек сахара.

Я промолчал, но про себя подумал:

“Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку — психологию девочки”.

II

Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил:

— Как ты думаешь: как меня зовут?

Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза:

— Я думаю — Андрей Иванович.

На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ.

III

Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать.

Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп.

Я вздрогнул и открыл глаза.

Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал.

Так мы долго молча смотрели друг на друга.

Наконец он с любопытством спросил:

— Что ты лопаешь?

Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем: бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал:

— Что ты лопаешь?

Можно ли не любить детей?

I

За все пять лет Ниночкиной жизни сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил на нее преядовитый стихотворный памфлет.

День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала:

— А теперь ступай на крыльцо, погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчаса, — постереги, чтобы дождик не пошел. А потом приходи да мне скажи. Интересно, как оно там...

Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю со сдобными сухариками.

Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозрить в этом случае подвох... Она кротко одернула на животике передничек, сказала: “Ну что ж, пойду погляжу”, — и сошла на крыльцо, залитое теплым золотистым солнцем.

Неподалеку от крыльца на ящике из-под пианино сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда и не видывала.

Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение — “постеречь, не пошел бы дождик”, — один из трех мальчиков, пошептавшись с приятелями, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.

— Здравствуй, девочка, — приветствовал он ее.

— Здравствуйте, — робко отвечала Ниночка.

— Ты здесь и живешь?

— Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлен, няня, кухарка и я.

— Ого! Нечего сказать, — покривился мальчик. — А как тебя зовут?

— Меня? Ниночка.

И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчишка с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом, глядела Ниночка на негодя, так порочившего ее, а он снова, подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О, Боже, Боже!.. За что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили?

Солнце померкло в ее глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она — «серый поросенок»? Она — подавилась грязью?! Где? Когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железом, и жить не хотелось.

Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку — это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать, что «Ниненок» прекрасно рифмуется с «поросенком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.

Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.

— Пойдем, Колька, — сказал сочинителю памфлета один из его клеветников, — а то эта плакса пожалуется еще — нам и влетит.

Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с непросохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька... О, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, — с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часу просидала она так в темном углу передней, на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести.

И вдруг бог поэзии, Аполлон, коснулся ее чела перстом своим. Неужели?.. Да, конечно! Без сомнения, у нее на Кольку будут тоже стихи. И несколько не хуже давешних!

О, первые радости и муки творчества!

Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те жгучие огненные строки, которые она швырнет Кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью: теперь Колька узнает, как затрагивать ее.

Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом, снова вышла на крыльцо.

Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трех в восторг игру... Именно — каждый по очереди, приложив большой палец к указательному, так, что получилось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевков пролетал внутрь кольца, не задев пальцев, счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а, вытерев мокрые пальцы о край блузы, с новым азартом погружался в увлекательную игру.

Ниночка полюбовалась немного на происходящее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:

— А тебя как зовут?

— А что? — подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всем этом какой-то подвох.

— Да ничего, ничего... Ты только скажи, как тебя зовут?

У нее было такое простодушное наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.

— Ну, Колька, — прохрипел он.

— А-а-а... Колька...

И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:

Колька-Колёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатился,
Подавился... грязью...

Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытую дверь, а вслед ей донеслось:

— Дура собачья!

Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав.

— Няня, дождик не идет.

— Ну и хорошо.

— Что ты делаешь?

— Не мешай мне.

— Можно смотреть?

— Нет, нет уж, пожалуйста. Пойди лучше посмотри, что делает Лиза.

— А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка.

— А потом скажешь мне.

— Хорошо...

При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит:

— Тебе чего надо?

— Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь.

— Уроки учу. Не видишь, что ли?

— А можно мне около тебя посидеть? Я тихо.

Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки.

— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.

— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.

— Ну так вот что... Пойди посмотри, где Тузик? Что с ним?

— Да он, наверное, в столовой около стола лежит.

— Ну вот. Так ты пойдешь, посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.

Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение — вот и все.

— А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? — серьезно спрашивает Ниночка.

— Нет! Ты тогда пойдешь к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще посиди там у него, понимаешь?..

— Хорошо...

С видом домовитой хозяйки-хлопотуньи спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчит к отцу (вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу).

— Папа!

Папы в кабинете нет.

— Папа!

Папы нет в гостиной.

— Папа!

Наконец-то... Папа сидит в комнате фрейлен, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке.

При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением:

— А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет моих очей?

— Папа, я уже покормила Тузика хлебом.

— Ага... И хорошо, брат, сделала, потому они, животные эти, без пищи тово... Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.

— Куда, папа?

— Ну... пойдешь ты вот куда... Пойдешь ты... гм!.. Пойдешь ты к Лизе и узнай, что она там делает.

— Да я уже только была у нее. Она уроки учит.

— Вот как... Приятно, приятно.

Он красноречиво глядит на фрейлен, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит:

— Ну, в таком случае... пойдешь ты к этой самой... пойдешь ты к няньке и погляди ты... чем там занимается выше-сказанная нянька?

— Она что-то шьет там.

— Ага... Да, постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?

— Два кусочка.

— Эка расщедрилась! Разве такой большой пес будет съят двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати... Кусочка этак четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола.

— А если грызет, прийти и сказать тебе, да? — глядя на отца светлыми, ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.

— Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее... Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с картинками, то ты ее, значит, тово... Просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?

— Поняла. Посмотрю и расскажу.

— Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?

— Хорошо. Завтра.

— Ну, путешествуй!

Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы.

— Лиза! Тузик не грызет ножку стола.

— С чем тебя и поздравляю, — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. — Ну, иди себе.

— Куда идти?

— Поди к папе. Спроси, что он делает?

— Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо все завтра рассказать...

— Ах ты, Господи! Что это за девчонка!.. Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.

Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усеченные пирамиды, конусы и треугольники.

— Посмотрела, — говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. — Теперь что?

— Теперь? Господи! Вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши: что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?

— Нет...

— Ну, пойди, посмотри. Потом мне расскажешь.

— Что ж... пойду.

У Ариши гости: соседская горничная и посыльный — “красная шапка”.

— Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо посмотреть.

— Где там скоро! И через час не уберусь.

— Ну, я посижу, подожду.

— Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.

— А чего?

— Ну, там она знает — чего.

— Чтоб сейчас дала?

— Да, да, сейчас. Иди себе, иди!

III

Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений — по горло. И все самые важные, неотложные.

Бедная “неприкаянная” Ниночка.

И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием.

— А-а, Ниночка, — бурно встречает ее тетя Вера. — Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка... Ты меня слушаешь?

— Да, тетя. Слушаю.

— Вот что, милая... Ко мне сейчас придет Александр Семеныч. Ты знаешь его?

— Такой, с усами?

— Вот именно. И ты, Ниночка... (тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце) ты, Ниночка... сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь... Слышишь?

— Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?

— Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут, и больше никаких. Поняла?

* * *

— Барыня! Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора.

— Нет-нет, она еще посидит со мною. Правда, Александр Семеныч?

— Да пусть спать идет, чего там? — говорит этот молодой человек, хмуря брови...

— Нет-нет, я ее не пушу. Я ее так люблю...

И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку...

А когда Александр Семеныч, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:

— А теперь ступай, детка, спать. Нечего тут рассиживаться. Вредно...

* * *

Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя, в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать: “А что, если и я помру? Кто тогда все делать будет?”

ГРАБИТЕЛЬ

I

С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело молодое, розовое лицо — черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились.

Я спросил:

— Чего тебе надо?

Он ухмыльнулся:

— Собственно говоря — ничего.

— Это наш сад, — деликатно намекнул я.

— Ты, значит, здешний, мальчик?

— Да. А то какой же?

— Ну, как твое здоровье? Как поживаешь?

Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезный разговор.

— Благодарю вас, — солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки. — Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли!..

Это вышло шикарно. Совсем как у тетки.

— Здорово, брат! Теперь ты мне скажи вот что: у тебя, кажется, должна быть сестра?

— А ты откуда знаешь?

— Ну, как же... у всякого порядочного мальчика должна быть сестра.

— А у Мотьки Нароновича нет! — возразил я.

— Так Мотька разве порядочный мальчик? — ловко отпарировал незнакомец. — Ты гораздо лучше.

Я не остался в долгу:

— У тебя красивая шляпа.

— Ага! Ключуло!

— Что ты говоришь?

— Я говорю: можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад?

— Ну, это, брат, невозможно.

— Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать.

Смотри-ка!

Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад.

Но спорт — это святое дело.

— Гоп! — И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты.

Это было так недостижимо для меня, что я даже не завидовал.

— Ну, здравствуй, отроче. А что поделывает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут?

— Откуда ты знаешь?

— По твоим глазам вижу.

Это меня поразило. Я плотно зажмурил глаза и сказал:

— А теперь?

Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись бесплодно, сознался:

— Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь. Ты во что тут играешь, в саду-то?

— В саду-то? В домик.

— Ну? Вот-то ловко! Покажи-ка мне твой домик.

Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышовой палки и нескольких досок, но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня...

“О, Господи, — подумал я. — А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все то, что было скоплено таким трудом и лишениями: живая черепаха в коробочке, ручка от зонтика в виде собачьей головы, баночка с вареньем, камышковая палка и бумажный складной фонарик”.

— А зачем тебе? — угрюмо спросил я. — Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать?

Он быстро, с некоторым испугом схватил меня за руку.

— Ну, не надо, не надо, не надо! Не уходи от меня... Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме.

— Почему?

— Мне без тебя будет скучно.

— Ты, значит, ко мне пришел?

— Конечно! Вот-то чудак! И ты еще сомневался... Сестра Лиза дома сейчас?

— Дома. А что?

— Ничего, ничего. Это что за стена? Ваш дом?

— Да... Вот то окно — папина кабинета.

— Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке.

— Да я не хочу. Что мы там будем делать?

— Я тебе что-нибудь расскажу...
— Ты загадки умеешь?
— Сколько угодно! Такие загадки, что ты ахнешь.
— Трудные!
— Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет?

— Никого. А вот отгадай ты загадку, — предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада. — “В одном бочонке два пива — желтое и белое”. Что это такое?

— Гм! — задумчиво сказал молодой человек. — Вот так штука! Не яйцо ли это будет?

— Яйцо...

На моем лице он ясно увидел недовольство, разочарование: я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывались.

— Ну, ничего, — успокоил меня незнакомец. — Загадай-ка мне еще загадку, авось я и не отгадаю.

— Ну, вот отгадай: “Семьдесят одежек и все без застежек”.

Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость.

— Шуба?

— Нет-с, не шуба-с!..

— Собака?

— Почему собака? — удивился я его бестолковости.

— Где же это у собаки семьдесят одежек?

— Ну, если ее, — смущенно сказал молодой человек, — в семьдесят шкур зашьют.

— Для чего? — безжалостно улыбаясь, допрашивал я.

— Ну, мало ли... Если, скажем, хозяин чудак.

— Нет, это ты, брат, не отгадал!

II

После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие:

— Велосипед? Море? Зонтик? Дождик?

— Эх, ты! — снисходительно сказал я. — Это кочан капуста.

— А ведь в самом деле! — восторженно крикнул молодой человек. — Это замечательно! И как это я раньше не догадался. А я-то думаю: море? Нет, не море... Зонтик? Нет, не похоже. Вот-то продувной братец у Лизы! Кстати, она сейчас в своей комнате, да?

— В своей.

— Одна?

— Одна. Ну, что ж ты... Загадку-то!

— Ага! Загадку? Гм... Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту: “Два конца, два кольца, а посередине гвоздик”.

Я с сожалением оглядел моего собеседника: загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая.

Но внутренняя деликатность подсказала мне не отгадывать ее сразу.

— Что же это такое? — задумчиво промолвил я. — Вешалка?

— Какая же вешалка, если посередине гвоздик? — вяло возразил он, думая о чем-то другом. — Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась.

— А два конца, где они?

— Костыли? — лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью: — Ножницы!..

— Вот, черт возьми! Догадался-таки! Ну и ловкач же ты! А сестра Лиза отгадала бы эту загадку?

— Я думаю, отгадала бы. Она очень умная.

— И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые?

— Есть. Эльза Либкнехт, Милочка Одинцова, Надя...

— Нет, а мужчины-то. Есть?

— Есть. Один тут к нам ходит.

— Зачем же он ходит?

— Он?

В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца.

Я пришел в восхищение:

— Сколько стоят?

— Пятнадцать рублей. Зачем же он ходит, а? Что ему нужно?

— Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора, он старый. А эти банты — завязываются или так уже куплены?

— Завязываются. Ну, а Лиза хочет за него замуж?

— Согни-ка ногу... Почему они не скрипят? Значит, не новые, — критически сказал я. — У кучера Матвея были новые, так небось скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь.

— Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отроче, а Лизе хочется за него замуж?

Я вздернул плечами.

— А то как же! Конечно, хочется.

Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи.

— Ты чего?

— Голова болит.

Болезни — была единственная тема, на которую я мог говорить солидно.

— Ничего... Не с головой жить, а с добрыми людьми.

Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу.

— Пожалуй, ты прав, глубокомысленный юноша. Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж?

Я удивился:

— А как же иначе?! Как же тут не хотеть? Ты разве не видел никогда свадьбы?

— А что?

— Да ведь, будь я женщиной, я бы каждый день женился: на груди белые цветочки, банты, музыка играет, все кричат ура, на столе икры стоит вот такая коробочка, и никто на тебя не кричит, если ты много съел. Я, брат, бывал на этих свадьбах.

— Так ты полагаешь, — задумчиво произнес незнакомец, — что она именно поэтому хочет за него замуж?

— А то почему же!.. В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке бант повязан. Подумай-ка! Жду — не дождусь, когда эта свадьба начнется.

— Я знал мальчиков, — небрежно сказал незнакомец, — до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать...

Он затронул слабейшую из моих струн.

— Я тоже могу!

— Ну что ты говоришь! Это неслыханно! Неужели доскачешь?

— Ей-Богу! Хочешь?

— И по лестнице наверх?

— И по лестнице.

— И до комнаты Лизы?

— Там уж легко. Шагов двадцать.

— Интересно было бы мне на это посмотреть... Только вдруг ты меня надуешь?.. Как я проверю? Разве вот что... Я дам тебе кусочек бумажки, а ты и доскачи с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом, хорошо ли ты доскакал!

— Здорово! — восторженно крикнул я. — Вот увидишь — доскачу. Давай бумажку!

Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне.

— Ну, с Богом. Только если кого-нибудь другого встретишь, бумажки не показывай — все равно тогда не поверю.

— Учи еще! — презрительно сказал я. — Гляди-ка!

По дороге до комнаты сестры, между двумя гигантскими прыжками на одной ноге, в голову мою забралась предательская мысль: что, если он нарочно придумал этот спорт, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой — эти люди превращаются в бессовестных грабителей.

Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему пойду.

— А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге? И замечать — все время на левой.

— Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно.

Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства.

— Ну, подождем, — сказал он. — Кстати, как тебя зовут?

— Ильюшей. А тебя!

— Моя фамилия, братец ты мой, Пронин.

Я ахнул:

— Ты... Пронин? Нищий?

В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего: под рукой костыль, на единственной ноге обвязанная тряпкой галоша и за плечами грязная сумка, с бесформенными кусками сухого хлеба.

— Нищий? — изумился Пронин. — Какой нищий?

— Мама недавно говорила Лизе, что Пронин — нищий.

— Она это говорила? — усмехнулся Пронин. — Она это, вероятно, о ком-нибудь другом.

— Конечно! — успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок. — У тебя брат-то какой-нибудь есть, нищий?

— Брат? Вообще брат есть.

— То-то мама и говорила: много, говорит, ихнего брата, нищих, тут ходит. У тебя много ихнего брата?..

Он не успел ответить на этот вопрос... Кусты зашевелились, и между листьями показалось бледное лицо сестры.

Пронин кивнул ей головой и сказал:

— Знавал я одного мальчишку — что это был за пролаза — даже удивительно! Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскать в сирени пятерки, да как! Штук до десяти. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков...

— Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно. Даже двадцать!

— Двадцать? — воскликнул этот простака, широко раскрывая изумленные глаза. — Ну, это, милый мой, что-то невероятное...

— Хочешь, найду?

— Нет! Я не могу даже поверить. Двадцать пятерок... Ну, — с сомнением покачал он головой, — пойдй поищи... Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем...

Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. Двадцать пятерок были зажаты в кулак. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал:

— Ну! Не двадцать? На-ка, пересчитай!

Дурак я был, что искал ровно двадцать. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои пятерки.

— Ну и ловкач же ты, — сказал он изумленно. — Прямо-таки огонь. Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу.

— Большая важность! — презрительно засмеялся я. — Только идти не хочется.

— Ну, не надо. Тот мальчишка, впрочем, был попрытчей тебя. Пребойкий мальчик. Он таскал лестницу, не держа ее руками, а просто зацепивши перекладиной за плечи.

— Я тоже смогу, — быстро сказал я. — Хочешь?

— Нет, это невероятно! К самой стене!..

— Подумаешь — трудность!

Решительно в деле с лестницей я поставил рекорд: тот, пронинский, мальчишка только тащил ее грудью, а я при этом еще, в виде премии, прыгал на одной ноге и гудел, как пароход.

Пронинский мальчишка был посрамлен.

— Ну, хорошо, — сказал Пронин. — Ты удивительный мальчик. Однако мне старые люди говорили, что в сирени тройки находить труднее, чем пятерки...

О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадаются в сирени гораздо чаще, чем пятерки! Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал с деланным равнодушием:

— Конечно, труднее. А только я могу и троек достать двадцать штук. Эх, что там говорить! Тридцать штук достану!

— Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту?! О, чудо!

— Хочешь? Вот увидишь!

Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень, и углубился в благородный спорт.

Двадцать шесть троек были у меня в руке, несмотря на то что прошло всего четверть часа. Мне пришлось в голову, что Пронина легко поднадуть: показать двадцать шесть, а уверить его, что тридцать. Все равно этот простачок считать не будет.

III

Простачок... Хороший простачок! Большого негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой. А во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости: загадки, пятерки, тройки, похищение сестры и прочие штуки — все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик... Действительно, не успел я подскочить к лестнице, как сразу увидел, что около нее уже никого не было, а домик мой, находившийся в трех шагах, был начисто ограблен: нянькин большой платок, камышовая палка и сигарная коробка — все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала возле разбитой банки с вареньем...

Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика: через три дня пропавшая сестра явилась вместе с Прониным и, заплакав, призналась отцу с матерью:

— Простите меня, но я уже вышла замуж.

— За кого?!!

— За Григория Петровича Пронина.

Вдвойне это было подло: они обманули меня, надсмелись надо мной, как над мальчишкой, да кроме того выхватили из-под самого носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было бы на свадьбе есть, сколько влезет — все равно никто не обращает внимания.

Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина:

— Сознайся, зачем ты приходил: украсть у меня мои вещи?

— Ей-Богу, не за этим, — засмеялся он.

— А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем?

— Платком укутал Лизу, потому что она вышла в одном платье, в коробку положил разные свои мелкие вещи, палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит, а банку с вареньем разбил нечаянно...

— Ну ладно, — сказал я, делая рукой жест отпущения грехов. — Ну, скажи мне хоть какую-нибудь загадку...

— Загадку? Изволь, братец. Два кольца, два конца, а посередине...

— Говорил уже! Новую скажи...

— Новую?.. Гм...

Очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе. Ничего другого у него не было... Как так живут люди — не понимаю...

— Неужели больше ты ничего не знаешь!..

И вдруг — нет! Этот человек был решительно не глуп — он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой:

— Стоит корова, мычать здорова. Хватишь ее по зубам — вою не оберешься.

Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примирившей с хитроумным шурином.

Оказалось — рояль.

Подперев руками голову, я углубился в “Историю французской революции” и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечая этих ухищрений. Сзади прибежали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое “а зачем” она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос “История революции” бледнеет.

— У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это не хорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

— Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну, слушай... Ты про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

— Первый раз слышу.

— Ну, слушай... Жила-была Красная Шапочка...

— Виноват... Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения при развитии фабулы.

— А зачем?

— Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.

— В этом... В Симферополе.

— Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

— ...Взяла она маслице и лепешечку и пошла через лес к бабушке...

— Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

— Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

— По-латыни — *Lupus*.

— Что?

— Я спрашиваю: большой волк?

— Вот такой. И говорит ей...

Она морщит нос и рычит:

— Красная Шапочка... Куда ты идешь?

— Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу:

— Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

— Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик...

— А где он жил? — ехидно спрашивает она.

— Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: "Папаша... яблоки имеют лапки?" — "Нет, милый". — "Ну, значит, я жабу слопал!"

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

— Ай! Съел жабу?

— Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

Минут через двадцать знакомое дерганье за пиджак, легкое царапанье ногтем — и шелотом:

— Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно...

— Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

— Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые... груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: "Мама! Груши имеют лапки?" — "Нет, детка". — "Ну, значит, я курицу слопала!"

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замать разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке:

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о... Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

— Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу, перелистывает...

— Пойди сюда, дядя, — неуверенно подзывает она. — Вот твоя невеста...

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы.

— Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка... Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

— Я не могу... найти... для тебя... страшную... невесту.

Пожав плечами, сажусь за революцию; углубляюсь в чтение.

Тишина... Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее уди-

вляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы...

ДЕТВОРА

Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов, — рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете.

Рубрика эта — “наши дети”.

Соль острот “наши дети” всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно остроты “наши дети” фабрикуются по одному и тому же методу:

— Бабушка, ты видела Лысую гору?

— Нет, милый.

— А как же папа говорил вчера, ты сушая ведьма?

Или:

— Володя, поцелуй маму, — говорит папа. — Поблагодари ее за обед.

— А почему, — говорит Володя, — вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?

Или совсем просто:

— Дядя, ты лысый дурак?

— Что ты, Лизочка!

— Ну да, мама. Ты же сама вчера сказала папе, что дядя — лысый дурак.

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть “дурным тоном литературы”. Таков сюжет “наши дети”.

Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о “наших детях”.

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:

“Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!”

Зашел в магазин.

— Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьми-девяти лет!

Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился...

— О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки... Обуреваемы любопытством — будет ли елка... О, золотое детство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.

— Я все-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее увешать хотят — пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну... можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов.

— А по-моему, просто, — сказал прямолинейный Вова, — нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска...

— Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика...

— И смешно, и противно, — усмехнулся Вова, — как это они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажы, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я нарочно спросил, что там делается, тетя Нина ответила: “Там маме шьют новое платье!..” Секрет по-лишинеля!..

Все засмеялись.

— Братцы! — умоляюще сказал добросердечный Ванька. — Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы посмотрите-ка, как я себя буду вести — без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы: порадуем стариков.

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.

— Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.

— Очень мило! — сказал Ваня, — захлопав в ладоши. — Как живой! Спасибо, папочка.

— Тебе это нравится?

— Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравится? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.

— Ванечка!!..

— Что такое?

— Милый мой! Ну, я тебя люблю, — ну, будь же и ты со мной откровенен... Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущенно опустил голову.

— Видишь ли, папа... Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не о себе говорю и не о Вове — о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком, — там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из виду, и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то, доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.

Понурился, молча слушал сына чиновник Плешихин.

— Так... Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

— Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать?.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны...

Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:

— Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.

На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.

— Пожалуйста! На твоей стороне сила — я знаю! И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, — нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка... Это общее место. И если хочешь — я даже тебя понимаю и оправдываю... Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение подавленное, сердитое, скверное... Нужно на ком-нибудь сорвать злость — на мне или на другом — все равно! Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения — я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь. "Понять, — сказал философ, — значит, простить".

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.

— Что с тобой, папа? Что ты делаешь?

— Секи ты меня; что уж там! — сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.

Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное — ни более ни менее как сонное видение чиновника Плешихина...

Заснул чиновник — и пригрезилось.

И однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими — как умные детишки отсталого чиновника...

Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.

БЛИНЫ ДОДИ

Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год — он для всех Додя, и больше ничего.

И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой Додя, будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:

— Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?

И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остро-любопытную область жизни взрослых людей: “Дмитрий Михайлович!..” О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.

— Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это нехорошо.

— О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женечки-то!) Петровна.

Однако все это в будущем. А пока Додя — шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).

* * *

Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному; в восторге от всего сладкого, ненавидит горькое; любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти... С восторгом измывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают, но и противоположное ощущение — ласки близких ему людей — вызывает в нем отвращение.

Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было

так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную соломку и стал рассеянно откусывать кусок за куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.

Додя отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борющегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека:

— Пусс... ти, дура! Ос... ставь, дура!

Ему страшно хотелось освободиться от “дуры” и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Додя страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга.

Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои.

Однако справедливость требует отметить, что молодой человек в конце концов добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Додя. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: “Оставь, дура”, а тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековой мужской участи...

Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он — страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но, увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: “Хочу, чтобы дом был мой”. Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городского, Додя, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: “Хочу, чтобы лошадь была моя; чтобы снег был мой; чтобы городской был мой”.

Рыночная стоймость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Додина мать сказала отцу: “А знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени”, — Додя сейчас же прошептал себе под нос: “Хочу, чтобы у меня были камни в печени”.

Славный, бескорыстный ребенок.

Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему: “Завтра у нас будут блины...” — Додя не преминул подумать: “Хочу, чтобы блины были мои”, — и спросил вслух:

— А что такое блины?

— Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?

Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год — это что-то такое громадное, монументальное, что как Монблан заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти монбланы все уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок, увенчанный каменной плитой да покосившимся крестом.

Год жизни наглухо заслонил от Доды прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься? Может, это народ такой — блины? Ничего в конце концов неизвестно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать блины, искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой.

Этого показалось ему мало.

— Я люблю тебя, Марья, — признался он дрожащим голосом.

— Ну, ну. Ишь какой ладный мальчущечка.

— Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?

Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.

И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила нагребленного добра. Только сказала ласково:

— А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.

— А блины-то... будут?

— А для чего же опару ставлю!

— Ну, то-то.

Уходя, подкрепил на всякий случай:

— Ты красивая, Марья.

Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении...

Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра... Что за поражающая селедка, украшенная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота — эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. (“Гм!.. Соленое”.)

А впереди еще блины — это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.

“Посмотрим, посмотрим, — думает Додя, бродя вокруг стола. — Что это там у них за блины такие...”

Собираются гости...

Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений.

Сбивает его с толку поведение гостей.

— Анна Петровна — семги! — настойчиво говорит мама.

— Ах, что вы, душечка, — ахает Анна Петровна. — Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем!

“Дура”, — решает Додя.

— Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?

— Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.

“Дурак!” — удивляется про себя Додя.

— Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..

“Врешь, — усмехается Додя. — Он ел больше всех. Я видел”.

— Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.

“Сумасшедшая какая-то, — вздыхает Додя. — Хочу, чтоб сардинки были мои...”

Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.

“Ишь ты, — думает Додя. — Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохля”.

Подают знаменитые долгожданные блины.

Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.

— Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?..
— Бли... ны...
— Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?
— Такие... круглые...
— Господи... Так что же из этого? Обрежу тебе их по краям — будут четырехугольные...
— И со сметаной...
— Так можно без сметаны, чудачина ты!
— Так они тестяные!
— А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?
— И... не сладкие.
— Хочешь, я тебе сахаром посыплю?

Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти тупоголовые дураки, что Додю блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить.

Плачет Додя.

Боже! Как это все красиво, чудесно началось — все, начиная от опары и вкусного блинного чада, — и как все это пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.

* * *

Гости разошлись.

Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:

— Ну ты... блиноед африканский... Наплакался?

И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость:

— А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мраича оскорбление действием.

И, подымая отяжелевшие веки, с усилием шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:

— Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.

Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом...

РЕСТОРАН “ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ”

Глава первая

ОТКРЫТИЕ

Недавно, плывя по ленивому венецианскому каналу на ленивой гондоле, управляемой ленивым грязноватым парнем, я подумал от нечего делать:

— Что, если бы судьба занесла моего отца в Венецию? Какую бы торговлю открыл этот неугомонный купец, этот удивительный беспокойный коммерсант?

И тут же мгновенно ответил сам себе:

— Торговлю лошадиной упряжкой открыл бы мой отец. И если бы через месяц он ликвидировал предприятие за отсутствием покупателей, то его коммерческая жизнь потянула бы его на другое предприятие: торговлю велосипедами.

О, Боже мой! Есть такой сорт неудачников, который всю жизнь торгует на венецианских каналах велосипедами.

История ресторана “Венецианский карнавал”, этого странного чудовищного предприятия, до сих пор стоит передо мною во всех подробностях, хотя прошло уже двадцать четыре года с тех пор, — как быстро несемся мы к могиле...

Я был тогда настолько мал, что все люди казались мне значительными, громадными, достойными всяческого уважения и преклонения, и значительнее и умнее всех казался мне отец, несмотря на то что к тому времени три бакалейных магазина его сгорели или прогорели — я в те годы не мог уяснить себе разницы между этими двумя почти одинаковыми словами.

Глухие разговоры об открытии ресторана начались среди взрослых давно, и чем дальше, тем больше росла и укреплялась эта идея. Мне трудно проследить полное ее развитие и начало осуществления, потому что в воспоминаниях детства часто, на каждом шагу, встречаются черные зияющие провалы, которые ослабевшая память не может ничем засыпать... Лучше уж обходить эти бездны, не пытаюсь исследовать их туманную глубину, а то еще завязнешь и не выберешься на свежий воздух.

Основание ресторана “Венецианский карнавал” я считаю с того момента, когда стекольщик подарил мне кусок оконной замазки, которая целиком пошла на заделыва-

ние замочных скважин в дверях. Как член нашей деятельной семьи, я хотел этой работой внести свою скромную лепту в общее строительство, но меня поколотили, и я до вечера просидел в углу за печкой, следя за остатком замазки, прилипшей к башмаку моего отца и весело носившейся с ним из угла в угол...

Вот — замазка на башмаке отца, запах краски и растерянное лицо матери — это и было начало “Венецианского карнавала”.

Открывая “Карнавал”, отец, очевидно, искал новые пути. Несколько уже существовавших ресторанов группировались в центре на главных улицах нашего городка, и влачили они прежалкое существование, а отец выбрал для своего предприятия окраину — одну из бесчисленных “продольных”, кольцом опоясавших центр маленького черноморского городка.

Мать возражала:

— Вот глупости! Ну кто пойдет сюда? Что за чушь! Ведь это форменная слободка.

Отец дружески хлопал ее по руке:

— Ничего... Будущее покажет.

Мне очень понравились большая прохладная комната, сплошь уставленная белоснежными столами, солидный буфет и прилавок, украшенный бутылками и вкусными закусками.

Глава вторая

ПЕРСОНАЛ “ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА”

Штат прислуги был невелик (отец предполагал значительно увеличить его на будущее время) — слуга Алексей, повар и поваренок.

Алексей обворожил меня своей особой: от него так вкусно пахло потом здорового, сильного парня, он был так благожелательно ленив, так безумно храбр, так ловко воровал у отца папиросы, что мечтой моей жизни сделалось — быть во всем на него похожим, а впоследствии постараться заполучить себе такое же местечко, которое он занимал теперь с присущим ему одному презрительным шиком. Я любовался его длинными кривыми ногами и мечтал: “Ах, когда-то еще у меня будут такие длинные кривые ноги”, терся об его выгоревший засаленный пиджак и думал: “Сколько еще лет нужно ждать, чтобы моя курточка приняла такой приятный уютный вид”. Да! Это был настоящий человек.

— Алексей! — спрашивал я, положив голову на его живот (обыкновенно мы забирались куда-нибудь в чулан со съестным или на диван в пустынной бильярдной и, лежа в удобных позах, с наслаждением вели длинные разговоры). — Алексей! Мог бы ты поколотить трех матросов?

— Я? Трех?

Презрительная, красиво-наглая мина искажала его лицо.

— Я пятерых колотил по мордасам.

— А что же они?

— Да что ж... убежали.

— А разбойники страшнее?

— Разбойники? Да чем же страшнее? Только что людей режут, а то такие же люди, как и мы с тобой.

— Ты бы мог их поубивать?

Он усмехался прекрасными толстыми губами (никогда у меня не будет таких прекрасных губ — печально думал я):

— Да уж получили бы они от меня гостиниц...

— А ты кого-нибудь убивал?

— Да... бывало... — Зевота и плевков прерывали его речь (прекрасная зевота! чудесный неподражаемый плевок!). — В Перекопе четырех зарезал.

Это чудовищное преступление леденило мой мозг. Что за страшная личность! Что ему, в сущности, стоит резать сейчас и меня, беспомощного человечка.

— А знаешь, Алексей, — говорю я, глядя заискивающее его угловатое плечо, — я у папы для тебя выпрошу сегодня двадцать папиросок.

— Просить не надо, — рассудительно качает головой этот худощавый головорез. — Лучше украдь потихоньку.

— Ну, украду.

— А что, Алексей, если бы тебя кто-нибудь обидел...

Что бы ты...

— Да уж разговор короткий был бы...

— Убил бы? Задушил?

— Как щененка. Одной рукой.

Он цинично смеется. У меня по спине ползет холодок: — А папа... Ну, если бы, скажем, папа отказал тебе от места?

— А что ж твой папа? Бриллиантовый, что ли? Туда ему и дорога.

После такого разговора я целый день бродил, как потерянный, нося в сердце безмерную жалость к обреченному отцу. О, Боже! Этот большой высокий человек все

время ходил по краю пропасти и даже не замечал всего ужаса своего положения. О, если бы суровый Алексей смягчился...

Повар Никодимов, изгрызенный жизнью старичок, был человек другого склада: он был скептик и пессимист.

— К чему все это? — говаривал он, сидя на скамеечке у ворот.

— Что такое? — спрашивал собеседник.

— Да это... все.

— Что все?

— Вот это: деревья, дома, собаки, пароходы?

Собеседник бывал озадачен.

— А... как же?

— Да никак. Очень просто.

— Однако же...

— Чего там, однако, “однако же”! Глупо. Я, например, Никодимов. Да, может быть, я желаю быть Альфредом?! Что вы на это скажете?

— Не имеете права.

— Да? Мерси вас за вашу глупость. А они, значит, имеют право свое это ресторанный заведение назвать “Венецианский карнавал”? Почему? Что такое? Где карнавал? Почему венецианский? Бессмысленно. А почему, например, я в желе не могу соли насыпать? Что? Невкусно? А почему в суп — вкусно? Все это не то, не то и не то.

В глазах его читалась скорбь.

Однажды мать подарила ему почти новые отцовские башмаки. Он взял их с благодарностью. Но, придя в свою комнату, поставил на стол подарок и застал:

— Все это не то, не то и не то!

Пахло от него жареным луком. Если Алексея я любил и гордился им, если к Никодиму был равнодушен, то поваренка Мотьку ненавидел всем сердцем. Этот мальчишка оказывался всегда впереди меня, всегда на первом месте.

— А что, Мотька, — самодовольно сказал я однажды, — мне мама дала сегодня рюмку водки на зуб подержать — у меня зуб болел. Прямо огонь!

— Подумаешь — счастье! Я иногда так нарежусь водкой, как свинья. Пьешь, пьешь, чуть не лопнешь. Да и вообще, я веду нетрезвый образ жизни.

— Да? — равнодушно сказал я, скрывая бешеную зависть (где он подцепил такую красивую фразу?). — А я нынче пробовал со ступенек прыгать — уже с четвертой могу.

— Удивил! — дерзко захохотал он. — Да меня андысь кухарка так сверху толкнула, что я все ступеньки пе-

ресчитал. Морду начисто стер. Что кровящи вышло — страсть!

Положительно, этот ребенок был неуязвим.

— Мой отец, — говорил я, напряженно шаркая ногой по полу, — поднимает одной рукой три пуда.

— Эге! Удивил! А у меня отца и вовсе нет.

— Как нет? А где же он?

— Нет и не было. Одна мать есть. Что, взял?

— А чем же лучше, если отца нет? По-моему, хуже...

— Ах ты, кочерыжка! Тебя-то иногда отец за ухо дернет, а меня на-кося! Никакой отец не дернет.

Этот поваренок умел устраиваться в жизни. Никогда мне не случалось видеть человека, который бы жил с таким комфортом и так независимо, как этот поваренок.

Однажды я признался ему, что не люблю его.

— Удивил! — захохотал он. — А я не только тебя не люблю, но плевать хотел и растереть.

Я молча ушел и про себя решил: лет через тридцать, когда я вырасту, этот мальчишка вылетит из нашего дома.

Глава третья

ТОРГОВЛЯ

В первый день на открытии ресторана было много народа: священник, дьякон, наши друзья и знакомые. Все ели, пили и, чокаясь, говорили:

— Ну... дай Бог. Как говорится.

— Спасибо, — повторял, кланяясь всем, растроганный отец. — Ей-Богу, спасибо.

Я сидел возле него, и знакомые спрашивали:

— Ну, как ты поживаешь? Прехорошенький мальчишка! Славный ребенок.

Они целовали меня и трепали по щеке.

“Ага, — рассуждал я, — раз я такой хороший — можно от них кое-что и подцепить”.

Когда отец ушел распорядиться насчет вина, я обратился к толстому купцу, который называл меня “славным мужчиной и наследником”.

— Дайте мне сардинку, которую вы кушаете.

— Я тебе дам такую сардинку, — прошептал купец, — что ты со стула слетишь.

Худая благожелательная дама, назвавшая меня достойным ребенком, ела икру.

— Можно мне кусочек?.. — обратился я на нее молящий взор.

— Пошел вон, дурак. Проси у матери.

“Ловкая, — подумал я. — А если я уже получил у матери?”

Пришел отец.

— Ну, — сказал толстый купец. — Теперь за здоровье вашего наследника. Дай Бог, как говорится.

Я почувствовал себя героем.

— А что, — сказал я поваренку после обеда, — а они за мое здоровье пили.

— Удивил, — пожал плечами этот неуязвимый мальчишка, — да мне вчера мать чуть голову не разбила водочной бутылкой — и то ничего.

На другой день ресторан открыли в 12 часов дня. Было жаркое лето, и пустынная улица с рядом мелких домишек дремала в горячей пыли. Отец сидел на крыльце и читал газету. В половине третьего встал, полюбовался на вывеску “Венецианский карнавал” и пошел распорядиться насчет обеда.

В этот день в “Венецианском карнавале” не было ни одного гостя.

— Ничего, — сказал отец вечером, — еще не привыкли.

— Да кому же привыкать, — возразила мать. — Тут ведь и народу нет.

— Зато и конкуренции нет! А в центре эти рестораны, как сельди в бочке. И жалко их, и смешно.

На второй день в три часа пополудни в ресторан зашел неизвестный человек в форменном картузе. Все пришло в движение: Алексей схватил салфетку и стал бегать по ресторану, размахивая ею, как побежденные белым флагом. Отец, скрывая прилив радости, зашел солидно за прилавок, а сестренка помчалась на кухню предупредить повара, что “каша заваривается”.

— Чем могу служить? — спросил отец.

— Не найдется ли разменять десять рублей? — спросил незнакомец.

Ему разменяли, и он ушел.

— Уже заходят, — сказал отец. — Хороший знак. Начинают привыкать.

И его взгляд задумчиво и выжидательно бродил по пыльной улице, по которой шатались пыльные куры, ребенок с деревянной ложкой в зубах и голыми ногами да тащился, держась за стены, подвыпивший человек, очевидно, еще не привыкший к нашему “Карнава-

лу” и накачавший себя где-либо в центре или на базаре...

Улица дремала, и только порывистый Мотья, мчавшийся из мелочной, оживлял пейзаж.

— Мотья, — остановил я его, — меня скоро учить начнут. Что, съел?

— Удивил! — захихикал он. — А меня не будут совсем учить. Это, брат, получше.

Этот поваренок даже пугал меня своей увертливостью и умением извлечь выгоду из всего...

Только на третий день бог Меркурий и бог Вакх сжалились над моим отцом и спустились на землю в виде двух чрезвычайно застенчивых юношей, собравшихся вести разгульную, порочную жизнь.

Эти юноши зашли в “Венецианский карнавал” уже вечером и, забившись в уголок, потребовали себе графинчик водки и закуски “позабористее”.

Отец держался бодро, но втайне был потрясен, а Алексей так замахал белой салфеткой, что самый жестокий победитель был бы тронут и отдал бы приказ прекратить бомбардировку крепости.

Когда показалась в дверях не верившая своим глазам мать, отец подмигнул ей и засмеялся счастливым смехом:

— А что?! Вот тебе и трущоба!

Все население “Венецианского карнавала” высыпало в зал, чтобы полюбоваться на диковинных юношей. Сестренки прятались в складках платья матери, повар Никодим высовывал из дверей свою худую физиономию, забыв о заказанных битках, а Мотья за его спиной тарашил глаза так, будто бы в ресторан забрели попить двоим разукрашенных перьями индейцев.

Юноши, заметив ту сенсацию, которую они вызвали, отнесли ее на счет своих личных качеств и приободрились.

Один откашлялся, передернул молодцевато плечами и сказал другому не совсем натуральным басом:

— А что, не шарахнуть ли нам по лампадочке?

Другой согласился с тем, что шарахнуть самое подходящее время, и оба выпили водки с видом людей, окончательно махнувших рукой на спасение грешной души в будущей жизни.

Вторую рюмку, по предложению младшего юноши, “саданули”, третью “вдолбили”, и так они развлекались этой невинной игрой до тех пор, пока графинчик не опустел, а юноши — не наполнились до краев.

Отец приблизился к ним, дружелюбно хлопнул старшего по плечу и сказал:

— Ах, господа! Я так вам благодарен... Вы, так сказать, кладете основание... Почин, как говорится, дорожке денег. Разрешите мне по этому случаю угостить вас бутылочкой вина за мой счет.

Старший юноша не прекословил. Кивнул головой и сказал:

— Царапнем. Как ты думаешь?

Младший согласился с тем, что “рассосать” бутылочку вина “недурственно”.

Он показался мне тогда образцом благодушия, веселья и изящного балагурства.

Юноши выпили вино, и, когда спросили счет за съеденное и выпитое раньше, отец категорически воспротивился этому.

— Ни за что я этого не позволю, — твердо сказал он. — Будем считать, что вы мои гости.

— Да как же так, — простонал младший, хватаясь за воспаленную голову. — Это как будто не того...

— Мм... да-с, — поддержал старший. — Оно не совсем “фельтикультяпно”.

Отец, наоборот, нашел в своем поступке все признаки этого джентльменского понятия, и юноши, одарив Алексея двугривенным, ушли, причем походка их поразила меня своей сложностью и излишеством движений. Два ряда столов показывали им прямой фарватер, выводивший на широкое открытое море — на улицу, но юноши, как два утлых суденышка, потерявших руль, долго носились и кружились по комнате, пока один не сел на мель, полетев с размаха на стол, а другой, пытаясь взять его на буксир, рухнул рядом.

Мощный Алексей снял их с мели, вывел на улицу, и они поплыли куда-то вдаль, покачиваясь и стучаясь боками о стены...

Глава четвертая

ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ

Лето прошло, и осень раскинула над городом свое серое, мокрое крыло. Пыль на нашей улице замесилась в белую липкую грязь, дождь постукивал в оконные стекла, в комнатах было темно, неуютно, и казалось, что мир уже кончается и жить не стоит, что над всем пронесся упадок и смерть.

Память моя сохранила лица и наружность всех посетителей, перебивавших в “Карнавале”... С начала его ос-

нования их было человек семь: два старых казначейских чиновника, хромой провизор, околоточный, управский служащий, помещик Терещенко, у которого сломалась бричка как раз против нашего ресторана, и неизвестный рыжеусый человек, плотно пообедавший и заявивший, что он забыл деньги дома в кармане другого пиджака. Этот человек так и не принес денег: я решил, что или у него сгорел дом, или воры украли пиджак, или попросту его уколошили разбойники. И мне было искренне жаль рыжеусого неудачника.

...Был особенно грустный день. Ветер рвал последние листья мокрых облезлых укусных деревьев, уныло выывавшихся из-за грязных дощатых заборов. Улица была пустынна, мертва, и двери “Карнавала”, которые так гостеприимно распахивались летом, теперь были плотно закрыты, поднимая адский визг, когда кто-либо из нас бепокоил их.

Я сидел с Алексеем в пустой бильярдной и, куря папироску, изготовленную из спички, обернутой бумагой, слушал.

— И вот, братец мой, приходит ко мне генерал и говорит: “Вы будете Алексей Дмитрич Моргунов?” — “Так точно, я. Садитесь, пожалуйста”. “Ничего, — говорит. — Я и постою. А только, — говорит, — такое дело, что моя дочка вас видела и влюбилась, а я вас прошу отступиться”. — “Чего-с? Не желаю!” “Я вам, — говорит, — дом подарю, пару лошадей и десять тысяч!” “Не нужно, — говорю, — мне ни золота вашего, ни палат, потому что это у вас наворовано, а дочка ваша должна нынче же ко мне притить!” Видал? Вот он и говорит: “А я полицеймейстеру заявлю о таком вашем деле”. — “Да сделай милость. Хучь самому околоточному”. Взял его за грудки да и вывел, несмотря что генерал. Ну, хорошо. Приезжает полицеймейстер. “Вы Алексей Моргунов?” — “А тебе какое дело?” “Такое, — говорит, — что на вас жалоба”. “Один дурак, — говорю, — жалуется, другой слушает”. “Отступитесь, — говорит, — Алексей Дмитрич. А то, — говорит, — добром не кончится”. — “Чего-с? Ах ты, селедка полицейская”. “Прошу, — говорит, — не выражаться, а то взвод городских пришлю и дело все закончу”. “Присылай”, — говорю. Схватил его за грудки да в дверь. Ну, хорошо. Приезжает взвод, ружья наголо — прямо ко мне!..

Сердце мое замерло... Я знал храбрость этого молодца, был уверен в его диком неукротимом мужестве и свирепости, но страшные слова “ружья наголо” и “взвод” потрясли меня. Я посмотрел на него с тайным ужасом, за-

мер от предчувствия самого страшного и захватывающего в его героической борьбе с генералом, но в это время скрипнула дверь... вошел отец. Он был суров и чем-то расстроен...

— Вот ты где, каналья, — проворчал он. — Мне это надоело. Целые дни валяешься по диванам, воруеть папиросы, а на столах в ресторане на целый палец пыли. Получай расчет и уходи подобру-поздорову.

Сердце мое оборвалось и покатилося куда-то. Я вскрикнул и закрыл лицо руками... Вот оно! Только бы не видеть, как этот страшный, безжалостный забияка будет резать отца, так неосторожно разбудившего в нем зверя. Только бы не слышать стонов моего несчастного родителя!

Алексей прыгнул с дивана, выпрямился, потом наклонился и, упав на колени, завопил плачущим голосом:

— Вот чтоб я лопнул, если брал папиросы. Чтоб меня разорвало, если я не стирал пыли нынче утром! Только две папиросочки и взял! Что ж его, стирать пыль, если все равно уже неделя как никто в ресторан не идет. Простите меня — я никогда этого не сделаю! Извините меня!

О, чудо! Этот сокрушитель генералов и полицеймейстеров хныкал, как младенец.

— Я исправлюсь! — кричал он, бегая за отцом на коленях, с проворством и искусством, поразившими меня. — Я и не курю вовсе! Да и пыли-то вовсе нет!

— Э, все один черт, — устало сказал отец. — Я закрываю ресторан. Наторговались.

Глава пятая

ЛИКВИДАЦИЯ

...Ряд столов, с которых были содраны скатерти, напоминал аллею надгробных плит... Драпировки висели пыльными ключьями — впрочем, скоро и их содрал бойкий, чрезвычайно разговорчивый еврей. Уже не пахло так весело и обещающе замазкой и масляной краской — в комнатах стоял запах пыли, пустоты и смерти.

В темной столовой наша семья доедала запасы консервов и паштетов, какие-то мрачные, зловещие, выползшие из неведомых трещин родственники с карканьем пили из стаканов вино — остатки погребя “Венецианского карнавала”, — а в кухне повар Никодимов сидел на табуретке с грязным узелком в руках и шептал саркастически:

— Все это не то, не то и не то!..

Посуда была свалена в кучу в темном углу, а Мотья сидел верхом на ведре и чистил картофель — больше для собственной практики и самоуслаждения, чем по необходимости.

Я бродил среди этого разгрома, закаляя свое нежное детское сердце, и мне было жалко всего — Никодимова, скатертей, кастрюль, драпировок, Алексея и вывески, потускневшей и осунувшейся.

Отец позвал меня.

— Сходи, купи бумаги и больших конвертов. Мне нужно кое-кому написать.

Я оделся и побежал. Вернулся только через полчаса.

— Почему так долго? — спросил отец.

— Да тут нигде нет! Все улицы обегал... Пришлось идти на Большую Морскую. Прямо ужас.

— Ага... — задумчиво прошептал отец. — Такой большой район, и ни одного писчебумажного магазина. — А... гм... Не идея ли это? Попробую-ка я открыть тут писчебумажный магазин!..

.....
— А что, — говорил я Мотьке вечером того же дня. — А отец открывает конверточный магазин.

— Большая штука! — вздернул плечами этот анафемский поваренок. — А моя матка отдает меня к сапожнику. Сапожник, брат, как треснет колодкой по головешке — так и растянешься. Какой человек слабый-то и сдохнет. Это тебе не конверты!

И в сотый раз увидел я, что ни мне, ни отцу не угнаться за этим практическим ребенком, который так умело и ловко устраивал свои делишки.

ГАЛОЧКА

Однажды в сумерки весеннего, кротко умиравшего дня к Ирине Владимировне Овраговой пришла девочка двенадцати лет Галочка Кегич.

Сняв в передней верхнюю серую кофточку и гимназическую шляпу, Галочка подергала ленту в длинной русой косе, проверила, все ли на месте, и вошла в неосвещенную комнату, где сидела Ирина Владимировна.

— Где вы тут?

— Это кто? А! Сестра своего брата. Мы с вами немного ведь знакомы. Здравствуйте, Галочка.

— Здравствуйте, Ирина Владимировна. Вот вам письмо от брата. Хотите, читайте его при мне, хотите — я уйду.

— Нет, зачем же; посидите со мной, Галочка. Такая тоска... Я сейчас.

Она зажгла электрическую лампочку с перламутровым абажуром и при свете ее погрузилась в чтение письма.

Кончила...

Рука с письмом вяло, бессильно упала на колени, а взгляд мертво и тускло застыл на освещенном краешке золоченой рамы на стене.

— Итак — все кончено? Итак — уходить?

Голова опустилась ниже.

Галочка сидела, затушенная полутьмой, вытянув скрещенные ножки в лакированных туфельках и склонив голову на сложенные ладонями руки.

И вдруг в темноте звонко — как стук хрустального бокала о бокал — прозвучал ее задумчивый голосок:

— Удивительная это штука — жизнь.

— Что-о? — вздрогнула Ирина Владимировна.

— Я говорю: удивительная штука — наша жизнь. Иногда бывает смешно, иногда грустно.

— Галочка! Почему вы это говорите?

— Да вот смотрю на вас и говорю. Плохо ведь вам небось сейчас.

— С чего вы взяли...

— Да письмо-то это, большая радость, что ли?

— А вы разве... Знаете... содержание письма?

— Не знала бы, не говорила бы.

— Разве Николай показывал вам?

— Колька дурак. У него не хватит даже соображения поговорить со мной, посоветоваться. Ничего он мне не показывал. Я хотела было из самолюбия отказаться снять письмо, да потом мне стало жалко Кольку. Смешной он и глупый.

— Галочка... Какая вы странная... Вам двенадцать лет, кажется, а вы говорите, как взрослая.

— Мне вообще много приходится думать. За всех думаешь, заботишься, чтоб всем хорошо было. Вы думаете, это легко?

Взгляд Ирины Владимировны упал на прочитанное письмо, и снова низко опустилась голова.

— И вы тоже, миленькая, хороши! Нечистый дернул вас потепаться с этим ослом Климухиным в театр. Очень он вам нужен, да? Ведь я знаю, вы его не любите, вы

Кольку моего любите — так зачем же это? Вот все оно так скверно и получилось.

— Значит, Николай из-за этого... Боже, какие пустяки! Что же здесь такого, если я пошла в театр с человеком, который мне нужен, как прошлогодний снег.

— Смешная вы, право. Уже большой человек вы, а ничего не смыслите в этих вещах. Когда вы говорите это мне, я все понимаю, потому что умная и, кроме того, девочка. А Колька большой ревнивый мужчина. Узнал — вот и полез на стену. Надо бы, кажется, понять эту простую штуку...

— Однако он мне не пишет причины его разрыва со мной.

— Не пишет ясно почему: из самолюбия. Мы, Кегичи, все безумно самолюбивы.

Обе немного помолчали.

— И смешно мне глядеть на вас обоих и досадно. Из-за какого рожна, спрашивается, люди себе кровь портят? Насквозь вас вижу: любите друг друга так, что аж чертям тошно. А мучаете один другого. Вот уж никому этого не нужно. Знаете, выходите за Кольку замуж. А то прямо смотреть на вас тошнохонько.

— Галочка! Но ведь он пишет, что не любит меня!..

— А вы и верите? Эх, вы. Вы обратите внимание: раньше у него были какие-то там любовницы...

— Галочка!

— Чего там — Галочка. Я, слава Богу, уже 12 лет Галочка. Вот я и говорю: раньше у него было по три любовницы сразу, а теперь вы одна. И он все время глядит на вас, как кот на сало.

— Галочка!!

— Ладно там. Не подумайте, пожалуйста, что я какая-нибудь испорченная девчонка, а просто я все понимаю. Толковый ребенок, что и говорить. Только вы Кольку больше не дразните.

— Чем же я его дразню?

— А зачем вы в письме написали о том художнике, который вас домой с вечера провожал? Кто вас за язык тянул? Зачем? Только чтобы моего Кольку дразнить? Стыдно! А еще большая!

— Галочка!.. Откуда вы об этом письме знаете?!

— Прочитала.

— Неужели Коля...

— Да, как же! Держите карман шире... Просто открыла незапертый ящик и прочитала...

— Галочка!!!

— Да ведь я не из простого любопытства. Просто хочу вас и его устроить, с рук сплавить просто. И прочитала, чтобы быть... как это говорится? В курсе дела.

— Вы, может быть, и это письмо прочитали?

— А как же! Что я вам, простой почтальон, что ли? Чтобы втемную письма носить?.. Прочитала. Да вы не беспокойтесь! Я для вашей же пользы это... Ведь никому не разболтаю.

— А вы знаете, что читать чужие письма неблагоприятно?

— Начихать мне на это. Что с меня можно взять? Я маленькая. А вы большой глупыш. Обождите, я вас сейчас поцелую. Вот так. А теперь — надевайте кофточку, шляпу — и марш к Кольке. Я вас отвезу.

— Нет, Галочка, ни за что!

— Вот поговорите еще у меня. Уж вы, раз наделали глупостей, так молчите. А Колька сейчас лежит у себя на диване носом вниз и киснет, как собака. Вообразите — лежит и киснет. Вдруг — входите вы! Да ведь он захрюкает от радости.

— Но ведь он же мне написал, что...

— Чихать я хотела на его письмо. Ревнивый этот самый Колька, как черт. Наверное, и я такая же буду, как вырасту. Ну, не разговаривайте. Одевайтесь! Ишь ты! И у вас вон глазки повеселели. Ах вы, мышатки мои милые!..

— Так я переоденусь только в другое платье...

— Ни-ни! Надо, чтобы все по-домашнему было. Это уютненькое. Только снимите с волос зеленую бархатку, она вам не идет... Есть красная?

— Есть.

— Ну, вот и умница. Давайте, я вам приколю. Вы красивая и симпатичная... Люблю таких. Ну, поглядите теперь на меня... Улыбнитесь! То-то. А Кольке прямо, как придете, так и скажите: "Коля, ты дурак". Ведь вы с ним на ты, я знаю. И целуетесь уже. Раз видела. На диванчике. Женитесь, ей-Богу, чего там.

— Галочка! Вы прямо необыкновенный ребенок.

— Ну да! Скажете тоже. Через четыре года у нас в деревне нашего брата уже замуж выдают, а вы говорите ребенок. Охо-хо!.. Уморушка с вами. Духами немножко надушитесь — у вас хорошие духи, — и поедем. Дайте ему слово, что вы плевать хотели на Климухина, и скажите Кольке, что он самый лучший. Мужчины любят это. Готовы, сокровище мое? Ну, айда к этой старой крысе!

"Старая крыса", увидев вошедшую странную пару, вскочил с дивана и, растерянный, со скрытым восторгом во взоре, бросился к Ирине Владимировне.

— Вы?!.. У меня?.. А письмо... получили?..

— Чихать мы хотели на твое письмо, — засмеялась Галочка, толкая его в затылок. — Плюньте на все и берегите здоровье. Поцелуйтесь, детки, а я уже смертельно устала от этих передряг.

Оба уселись рядом на диване и рука к руке, плечо к плечу — прильнули друг к другу.

— Готово? — деловым взглядом окинула эту группу с видом скульптора-автора Галочка. — Ну, а мне больше некогда возиться с вами. У меня, детки, признаться откровенно, с арифметикой что-то неладно. Пойти подзубрить, что ли. Благословляю вас и ужоу. Кол-то мне из-за вас тоже, знаете, получать не расчет...

СТРАШНЫЙ МАЛЬЧИК

Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.

Широким полем расстилается умильное детство — безмятежное купание с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатании по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, "большая перемена" в саду под акациями, змеившимися золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке "Родное слово" Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцать, сорок раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: "Нитка тонка, а Ока широка" или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: "Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише", переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый сладкий сердцу запах непроветренного класса — запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по протоптанном среди густой грязи, полупросохшим, упру-

гим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы, и, наконец, среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт, кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.

Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на Ваньку Аптекаренко, а я в пугливом кротком сердце моем окрестил его Страшным Мальчиком.

Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах совершенно неисследованных — в нагорной части Цыганской слободки; носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посередине самым вкусным образом.

Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.

Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека или двух или трех, он кричал, сбрасывая пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.

Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуправляемые, но страшные удары обеими ногами... Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый лете-

ли от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот — и так далее.

Если же на него напали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стойчески переносил дождь ударов по мускулисту гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.

Вот что это был за человек — Аптекаренко.

Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?

* * *

Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купанья на “Хрусталке”, или бродил с товарищем по Историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда, по неведомым делам, все время налет тайного неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренко в поисках своих жертв... Вдруг он поймает меня и избьет меня вконец — “пустит юшку”, по его живописному выражению.

Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились...

Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренко холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:

— Ты чего на нашей улице задавался?

Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:

— Я... не задавался.

— А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?

— Я не отнял их. Он их проиграл.

— А кто ему по морде дал?

— Так он же не хотел отдавать.

— Мальчиков на нашей улице нельзя бить, — заметил Аптекаренко и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул “под вздох”, отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:

— А ты... (это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи)... А ты что? Может, тоже хочешь получить?

— Нет, — пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекаренка. — За что же... Я ничего.

Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.

— Я до тебя давно добираюсь... Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!

“Все знает проклятый мальчишка”, — подумал я. И спросил, осмелев:

— А на что они тебе... Ведь это не твои.

— Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана — лучше бы тебе и на свете не родиться.

Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.

Страшно жить на свете маленькому человеку.

* * *

Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту.

Ходил он всегда один, несмотря на то что все окружающие мальчишки ненавидели его и желали ему зла.

Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.

А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказа:

— Братцы! А ну, покажем ему “рака”.

В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала — так хорошо проклятый Аптекаренок умел делать “рака”.

Столпившиеся темные поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец... И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:

— Рак! Рак!

— Смотри, рак! Черт знает какой огромный! Ну и штука же!

— Вот так рачище!.. Гляди, гляди — аршина полтора будет.

Мужичище — какой-нибудь булочник, или пекарь, или грузчик в гавани, — конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь “колодца”.

А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр “колодца”.

Целый фонтан — нечто вроде смерча — взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.

Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик — одетый и после “рака” начинал напоминать вытасченного из воды утопленника.

Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты — мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после “рака” Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках “сухарей”, которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.

* * *

Пятнадцати лет от роду мы все начали “страдать”.

Это совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух “фрайеров” (тоже южное аргю) было:

— Дрястуй, Сережка. За кем ты страдаешь?

— За Маней Огневой. А ты?

— А я еще ни за кем.

— Ври больше. Что же ты другу боишься сказать, чтолича?

— Да мне Катя Капитанаки очень привлекает.

— Врешь?

— Накарай мне господь.

— Ну, значить, ты за ней страдаешь.

Уличенный в сердечной слабости, “страдалец за Катей Капитанаки” конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения погибает трехэтажное ругательство.

После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранных.

Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.

Страшный Юноша, Аптекаренко, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:

— Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?

— Гуляю... — ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.

— Чиво ж ты гуляешь?

— Да так себе.

Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.

— А ты за кем страдаешь?

— Да не за кем.

— Ври!

— Накарай меня госп...

— Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем страдаешь?

И тут сердце мое сладко сжалось; когда я выдал свою сладкую тайну:

— За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.

— Ну, это можно.

Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце.

Помолчав, спросил:

— А ты знаешь, за кем я страдаю?

— Нет, Аптекаренко, — ласково сказал я.

— Кому Аптекаренко, а тебе дяденька, — полушутливо-полусердито проворчал он. — Я, братец ты мой, страдаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я страдал (произносить “я” вместо “а” — был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то...

Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.

— Видал? А так ничего, гуляй. Что ж... всякому страдать приятно.

Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.

* * *

12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос: — Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого.

Я с недоумением поглядел на него и спросил:

— Вы это мне?

— Так-то, не узнавать старых друзей? погоди, попадешься ты на нашей улице — узнаешь, что такое Ванька Аптекаренко.

— Аптекарев?!

Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

— Милый Аптекаренко? Офицер?

— Да.

— Ранен?

— Да. (И, в свою очередь): Писатель?

— Да.

— Не ранен?

— Нет.

— То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибонера вздул?

— Еще бы. А за что ты тогда “до меня добирался”?

— А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.

— Почему?

— Потому что мне самому хотелось воровать.

— Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь...

— Да, брат, — усмехнулся он. — И вообразить не можешь.

— А что?

— Да вот, гляди.

И показал из-под одеяла короткий обрубок.

— Где это тебя так?

— Батарейку брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого... Меньше.

Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой назад рукой слепо бросался на пятерых, — и промолчал.

Бедный Страшный Мальчик!

* * *

Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:

— За кем теперь страдаешь?

И такая жалость по ушедшему сладкому детству, по книжке “Родное слово” Ушинского, по “большой перемене” в саду под акациями, по украденным пучкам сирени, — такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.

РАССКАЗ ДЛЯ “ЛЯГУШОНКА”

Редактор детского журнала “Лягушонок”, встретив меня, сказал:

— Не напишете ли вы для нашего журнала рассказ?

Я не ожидал такой просьбы. Тем не менее спросил:

— Для какого возраста?

— От восьми до тринадцати лет.

— Это трудная задача, — признался я. — Мне случилось встречать восьмилетних детей, которые при угрозе отдать их бабе-яге моментально затихали, замирая от ужаса, и я знавал тринадцатилетних детишек, которые пользовались всяким случаем, чтобы стянуть из буфета бутылку водки, а при расчетах после азартной карточной

игры в укромном месте пытались проткнуть ножами животы друг другу.

— Ну да, — сказал редактор. — Вы говорите о тринадцатилетних развитых детях и о восьмилетних — отстающих в развитии. Нет! Рассказ обыкновенно нужно писать для среднего типа ребенка, руководствуясь приблизительно десятилетним возрастом.

— Понимаю. Значит, я должен написать рассказ для обыкновенного ребенка десяти лет?

— Вот именно. В этом возрасте дети очень понятливы, сообразительны, как взрослые, и очень не любят того сюсюканья, к которому прибегают авторы детских рассказов. Дети уже тянутся к изучению жизни! Не нужно забывать, что ребенок в этом возрасте гораздо больше знает и о гораздо большем догадывается, чем мы полагаем. Если вы примете это во внимание, я думаю, что рассказец у вас получится хоть куда...

— Ладно, — пообещал я. — Завтра вы получите рассказ.

В тот же вечер я засел за рассказ. Я отбросил все, что отдавало сюсюканьем, старался держаться трезвой правды и реализма, который, по-моему, так должен был подкупить любознательного ребенка и приохотить его к чтению.

Редактор прочел рассказ до половины, положил его на стол и, подперев кулаками голову, изумленно стал меня разглядывать:

— Это вы писали для детей?

— Да... Приблизительно имел в виду десятилетний возраст. Но если и восьмилетний развитой мальчишка...

— Виноват!! Вот как начинается ваш рассказ:

День Лукерьи.

“Кухарка Лукерья встала рано утром и, накинув платок, побежала в лавочку... Под воротами в темном углу ее дожидался разбитной веселый дворник Федосей. Он ущипнул изумленную Лукерью за круглую аппетитную руку, прижал ее к себе и, шлепнув с размаху по спине, шепнул на ухо задыхающимся голосом:

— Можно прийти к тебе сегодня ночью, когда господа улягутся?

— Зачем? — хихикнула Лукерья, толкнув Федосея локтем в бок.

— Затем, — сказал простодушный Федосей, чтобы...” Ну, дальше я читать не намерен, потому что, я думаю, от

такого рассказа вспыхнет до корней волос и солдат музыкантской команды.

Я пожал плечами.

— Мне нет дела до какого-то там солдата музыкантской команды, но живого любознательного ребенка такой рассказ должен заинтриговать.

— Знаете что? — потирая руки, сказал редактор. — Вы этот рассказ попытайтесь пристроить в “Вестнике общества защиты падших женщин”, а если там его найдут слишком пикантным — отдайте в “Досуги холостяка”. А нам напишите другой рассказ.

— Не знаю уж, что вам и написать. Старался, как лучше, избегал сюсюканья, как огня...

— Нет, вы напишите хороший детский рассказ, держась сферы тех интересов, которые питают ребенка десяти-одиннадцати лет. Ребенок очень любит рассказы о путешествиях — дайте ему это со всеми подробностями, потому что в подробностях для ребенка есть своеобразная прелесть. Вы можете даже не стесняться фантазировать, но чтобы фантазия была реальна — иначе ребенок ей не поверит, — чтобы фантазия была основана на цифрах, вычислениях и точных размерах. Вот что дает ребенку полную иллюзию и что приковывает его к книжке.

— Конечно, я это сделаю, — сказал я, протягивая руку редактору “Лягушонка”. — Через два дня такой рассказ уже будет у вас в руках.

И я, обдумав, как следует, тему, написал рассказ:

Как я ездил в Москву.

“Недавно мне пришлось съездить в Москву. В путеводителе я нашел несколько поездов и после недолгого размышления решил остановиться на отходящем ровно в 11 часов по петербургскому времени. Правда, были еще два поезда — в 7 час. 30 мин. и в 9 час. 15 мин. по петербургскому времени, но они не были так удобны. Для того чтобы попасть на вокзал, я взял извозчика, сторговавшись за 40 копеек. Ехали мы около 25 минут, и на вокзал я приехал за 16 минут до отхода поезда. Известно, что от Петербурга до Москвы расстояние 604 версты, каковое расстояние поезд проходит в 12 часов с остановками или в 10 часов без остановок, т. е. 60 верст в час. Мне досталось место № 7 в вагоне № 2...”

В этом месте редактор, читавший вслух мой рассказ о путешествии, остановился и спросил:

— Можно быть с вами откровенным?

— Пожалуйста!

— Никогда мне не приходилось читать более скучной и глупой вещи... Железнодорожное расписание — штука хорошая для справок, но как беллетристический рассказ...

— Да, рассказ суховат, — согласился я. — Но самый недоверчивый ребенок не усомнится в его правдивости. По-моему, самая печальная правда лучше красивой лжи!..

— Вы смешиваете ложь с выдумкой, — возразил редактор. — Ребенок не переносит лжи, но выдумка дорога его сердцу. И потом мальчишку никогда не заинтересует то, что близко от него, то, что он сам видел. Его тянет в загадочно-прекрасные неизвестные страны, он любит героические битвы с индейцами, храбрые подвиги, путешествия по пустыне на мустангах, а не спокойную езду в вагоне первого класса с плацкартой и вагон-рестораном. Для мальчишки звук выстрела из карабина в сто раз дороже паровозного гудка на станции Москва-товарная. Вот вам какое путешествие нужно описать!

“Вот осел, — подумал я, пожимая плечами. — Сам не знает, что ему надо”.

— Пожалуй, — сказал я вслух, — теперь я понял, что вам нужно. Завтра вы получите рукопись.

На другой день редактор “Лягушонка” вертел в руках рукопись “Восемьдесят скальпов Голубого Опоссума”, и на лице его было написано все, что угодно, кроме выражения восторга, на которое я имел право претендовать.

— Ну? — нетерпеливо сказал я. — Чего вы там мнетесь. Вот вам рассказ без любви, без сюсюканья, и сухости в нем нет ни на грош.

— Совершенно верно, — сказал редактор, дернув саркастически головой. — В этом рассказе нет сухости, нет, так сказать, ни одного сухого места, потому что он с первой до последней страницы залит кровью. Послушайте-ка первые строки вашего “путешествия”:

“Группа охотников расположилась на ночлег в лесу, не подозревая, что чья-то пара глаз наблюдает за ними. Действительно, из-за деревьев вышел, крадучись, вождь Голубой Опоссум и, вынув нож, ловким ударом отрезал голову крайнему охотнику.

— Оах! — воскликнул он. — Опоссум отомщен.

И, пользуясь сном охотников, он продолжал свое дело... Голова за головой отделялась от спящих тел, и скоро груды темных круглых предметов чернела, озаренная светом костра. После того как Опоссум отрезал последнюю голову, он сел к огню и, напевая военную песенку, стал обдирать с голов скальпы. Работа спорилась...”

— Извольте видеть! — раздраженно сказал редактор. — “Работа спорилась”. У вас это сдирание скальпов описано так, будто бы кухарка у печки чистит картофель. Кроме того, на следующих двух страницах у вас бизон выпускает рогами кишки мустанга, две англичанки сгорают в пламени подожженного индейцами дома, а потом индейцы в числе тысячи человек попадают в вырытую для них яму и, взорванные порохом, разлетаются вдребезги. Согласитесь сами — нужно же знать границы.

— Да что вам жалко их, что ли? — усмехнулся я. — Пусть их режут друг другу головы и взрывают друг друга. На наш век хватит. А зато ребенок получает потрясающие захватывающие его страницы.

— Милый мой! Если бы существовал специальный журнал для рабочих городской скотобойни, ваш рассказ явился бы лучшим его украшением... А ребенка после такого рассказа придется свести в сумасшедший дом. Напишите вы лучше вот что...

Я видел, что мы оба чрезвычайно опротивели друг другу. Я считал его тупоумным человеком со свинцовой головой и мозгами, работающими только по неприсутственным дням. Он видел во мне бестолковую бездарность, сказочного дурака, который при малейшем принуждении к молитве сейчас же разбивал себе лоб. Он не понимал, что человек такого исключительного темперамента и кипучей энергии, как я, не мог остановиться на полдороге, шел вперед напролом и всякую предложенную ему задачу разрешал до конца.

Я чувствовал, что мой энергичный талант был той оглоблей, которой нельзя орудовать в тесной лавке продавца фарфора.

— Напишите-ка вы, — промямлил редактор “Лягушонка”, — лучше вот что...

— Стойте, — крикнул я, хлопнув рукой по столу. — Без советов! Попробую я написать одну вещицу на свой страх и риск. Может быть, она подойдет вам. Сдается мне, что я раскусил вас, почтеннейший.

Через час я подал ему четвертую и последнюю вещь. Называлась она:

Лизочкино горе.

“Мама подарила Лизочке в день ангела рубль и сказала, что Лизочка может истратить его, как хочет.

Лизочка решила купить на эти деньги занятную книжку, чтобы в минуты отдыха своей мамы читать ей

из этой книжки интересные рассказы для самообразования.

Лизочка оделась, вышла на улицу и, мечтая о книжке, которую она должна сейчас купить, весело шагала по тротуару.

— Милая барышня, — послышался сзади нее тихий голос. — Подайте Христа ради. Я и моя дочка целый день не ели.

Лизочка обернулась, увидела бедную больную женщину и, не раздумывая больше, сунула ей в руку рубль.

— На-те, купите себе на эти деньги горячей пищи!

И вернувшись домой без книжки, Лизочка припала к плечу мамы и, рассказав ей о своей встрече, горько заплакала.

— Чего ты плачешь, — спросила мама удивленно. — Не оттого ли, что тебе жалко своего доброго порыва?

— Нет, мама, — отвечала благородная девочка. — Мне жалко, что я не имела трех рублей”.

Ну, вот видите, — сказал редактор “Лягушонка”. — Я был уверен, что в конце концов вы и напишете то, что нам нужно!

ДЕТИ

I

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу — очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бони, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад...

Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонаравных мальчиков от 8 до 11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:

— Миленский! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?

Я добродушно ответил:

— Если ты опасаясь, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину.

— Дело не в том... А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.

— Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия, как это за ними присматривают?

— Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно... Ты такой милый!..

— Милый-то я милый... А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?

— Я скажу им... О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.

Были призваны дети. Три благонаправных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

— Вот, дети, — сказал отец, — с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайте его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня — не год же, черт возьми!

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.

II

Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямогу и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.

— Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам

носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.

— Мы... не умеем... стоять... на головах.

— Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются о том с похвалой. Вот так, смотрите!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову.

Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.

— Дети! — сказал я внушительно. — Я вам запрещаю — слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением...

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: "папа, мама", и то при очень сильном нажатии груди. Это да еще умение в лежащем положении закрывать

глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: "7 руб. 50 коп."

Повторяю — это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было связано ей прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что поговорка "запрещенный плод сладок" не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!

III

— Будем жить в свое удовольствие, — предложил я детям. — Что вы любите больше всего?

— Курить! — сказал Ваня.

— Купаться вечером в речке! — сказал Гришка.

— Стрелять из ружья! — сказал Леля.

— Почему же вы, отвратительные дьяволята, — фамильярно спросил я, — любите все это?

— Потому что нам запрещают, — ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. — Хотите курить?

— Сколько тебе лет?

— Десять.

— А где ты взял папиросы?

— Утащил у папы.

— Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил — будем курить их. А выйдут — я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.

Поговорили о домовых, живших на конюшне.

Потом беседа прекратилась. Молчали...

— Скажи ему! — шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке. — Скажи ты ему!..

— Пусть лучше Ваня скажет, — шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка. — Ванька, скажи ему.

— Стыдно, — прошептал Ваня.

Речь, очевидно, шла обо мне.

— О чем вы, детки, хотите мне сказать? — осведомился я.

— Об вашей любовнице, — хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. — Об тете Лизе.

— Что вы врете, скверные мальчишки? — смутился я. — Какая она моя любовница?

— А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.

Меня разобрал смех.

— Да как же вы это видели?

— А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: "Милая! Ведь я не с дурными намерениями!" А тетка головой крутит, говорит: "Ах, ах!..."

— Дура! — сказал, усмехаясь, маленький Лелька.

Мы помолчали.

— Что же вы хотели мне сказать о ней?

— Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастливым человеком будете.

— А чем же она плохая? — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.

— Как вам сказать... Слякоть она!

— Не женитесь! — предостерег Гришка.

— Почему же, молодые друзья?

— Она мышей боится.

— Только всего?

— А мало? — пожал плечами маленький Лелька. — Визжит, как сумасшедшая. А я крысу за хвост могу держать!

— Вчера мы поймали двух крыс. Убили, — улыбнулся Гришка.

Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к "глупой тетке", и ловко перевел разговор на разбойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.

Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.

— Есть хочу, — сказал неожиданно Лелька.

— Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:

— Ухи.

— А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?

— На огороде. Украсть.

— Почему же украсть лучше, чем попросить?

— Веселее, — сказал Гришка. — Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!!

Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.

IV

Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стаченного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.

Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.

Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом глядел мне в лицо.

Неожиданно Ванька расхохотался.

— Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?

— Хи-хи! — запищал голый Гришка. — Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.

— А все Михаил Петрович, — сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.

— Мы вас не выдадим!

— Можно называть вас Мишей? — спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. — Ой, горячо!..

— Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?

— Превосхитительно!

Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.

— Давайте ночевать тут, — предложил кто-то.

— Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, — возразил я.

— Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.

— Не простудимся?

— Нет, — оживился Ванька. — Накажи меня Бог, не простудимся!!!

— Ванька! — предостерег Лелька. — Божишься? А что немка говорила?

— Божиться и клясться нехорошо, — сказал я. — В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы... Например: “Клянусь своей бородой!”, “Тысяча громов...”, “Проклятие неба!”

— Тысяча небов! — проревел Гришка. — Пойдем собирать сухие ветки для костра.

Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.

Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защибетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.

V

Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие...

Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно — с прямой целью отвертеться от утомительного снятия и надевания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевки на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:

— Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении?

Дети успокаивали меня, как могли:

— Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!

— Тысяча громов! — хвастливо кричал Ванька. — А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!

— Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколомшатят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

— Ничего, Миша! — успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. — Зато хорошо пожили!

Вечером приехали из города родители, немка и та самая “глупая тетка”, на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусьвая с дороги, и сказал:

— Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сблизюсь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу... Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

— Тебя! — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.

— Пошли бы вы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?

— Пойдем, — сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.

— Было ли вам эти три дня весело?

— Ого!!

Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придеживались грязными руками, законченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:

— Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?

— Да! — сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. — Клянусь своей бородой! Пошел бы.

Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:

— Хохочет... Тоже! Будто ей под юбку мышь подбрали! Дура.

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

Гуляя по лесу, чиновник Плюмажев вышел к берегу реки и, остановившись, стал бесцельно водить глазами по тихой зеркальной поверхности воды.

Близорукий взгляд чиновника Плюмажева скользнул по другому берегу, перешел на маленькую желтую купальню и остановился на какой-то фигуре, стоящей по колена в воде и обливавшей горстями рук голову в зеленом чепчике.

“Женщина! — подумал Плюмажев и прищурил глаза так, что они стали похожи на два тоненьких тире. — Ей-Богу, женщина! И молоденькая, кажется!”

Его худые, старческие колени задрожали, и по спине тонкой струйкой пробежал холодок.

— Эх! — простонал Плюмажев. — Анафемская близорукость... Что за глупая привычка — не брать с собой бинокля.

Он протер глаза и вздохнул:

— Вижу что-то белое, что-то полосатое, а что — хоть убей, не разберу. Ага! Вон там какой-то мысок выдвинулся в воду. Сяду-ка я под кустик да подожду, может, подплывет ближе. Эх-хе!

Спотыкаясь, он взобрался на замеченную им возвышенность и только что развел дрожащими руками густую заросль кустов, как взгляд его упал на неподвижно застрявшую между зеленью веток гимназическую фуражку, продолжением которой служили блуза хаки и серые брюки.

— Ишь, шельма... Пристроился! — завистливо вздохнул Плюмажев и тут только заметил, что лежащий гимназист держал цепкой рукой черный бинокль, направленный на противоположный берег.

Гимназист обернулся, дружески подмигнул Плюмажеву и, улыбнувшись, сказал:

— А, и вы тоже!

“Подлец! Еще фамильярничает”, — подумал Плюмажев и хотел оборвать гимназиста, но, вспомнив о бинокле, опустил рядом на траву и заискивающе хихикнул:

— Хе-хе! Любопытно?

— Хорошенькая! — сказал гимназист. — Одни бедра чего стоят. Колени тоже: стройные, белые! Честное слово.

— А грудь... А грудь? — дрожащими губами, шепотом осведомился Плюмажев.

— Прелестная грудь! Немного велика, но видно — очень упруга!

— Упруга?

Плюмажев провел кончиком языка по сухим губам и нетерпеливо произнес:

— Не могли бы вы... одолжить на минутку... бинокль!

Гимназист замотал головой:

— Э, нет, дяденька! Этот номер не пройдет! Надо было свой брать.

Плюмажев протянул дрожащую руку.

— Дайте! На минутку.

— Ни-ни! Даром, что ли, я его у тетки из комода утащил! Небось, если бы у вас был бинокль, вы бы мне своего не дали!

— Да дайте!

— Не мешайте! Ого-го.

Гимназист поднялся вперед и так придавил к глазам бинокль, что черепу его стала угрожать немалая опасность.

— Ого-го-го! Спиной повернулась... Что за спина! Я, однако, не думал, что у нее такой красивый затылок...

Лежа рядом, Плюмажев с деланным равнодушием отвернулся, но губы его тряслись от негодования и обиды.

— В сущности, — начал он срывающимся, пересохшим голосом, — если на то пошло — вы не имеете права подглядывать за купальщицами. Это безнравственно.

— А вы у меня просили бинокль! Тоже!.. Самому можно, а мне нельзя.

Плюмажев молчал.

— Захочу вот — и отниму бинокль. Да еще приколочу. Я ведь сильнее...

— Ого! Попробуйте отнять... Я такой крик подниму, что все дачники сбегутся. Мне-то ничего, я мальчик — ну, выдерут, в крайнем случае, за уши, а вот вам позор будет на все лето. Человек вы солидный, старый, а скажут, такими глупостями занимается... Теперь она опять грудью повернулась. Живот у нее... Хотите, я вам буду рассказывать все, что видно?

— Убирайся к черту!

— Сам поди туда! — хладнокровно возразил гимназист.

— Грубиян.

— От такого слышу.

Плюмажев закрежетал зубами и решил — наградивши мальчишку подзатыльником — сейчас же уйти домой, но вместо этого проглотил слюну и обратился к гимназисту деланно-ласковым тоном:

— Зубастый вы паренек... Вот что, дорогой мой, ежели не хотите одолжить на минутку, то... продайте!

— Да... продайте... А тетка мне потом покажет, как чужие бинокли продавать!

— Я уверен, молодой человек, — заискивающе сказал Плюмажев, — что тетка ваша и не подумает на вас! Теперь прислуга такая воровка пошла... Я бы вам полную стоимость сейчас же... А?

Лицо гимназиста стало ареной двух противоположных чувств, он задумался.

— Гм... А сколько вы мне дадите?

— Три рубля.

— Три рубля? Вы бы еще полтинник предложили. Он в магазине восемь стоит.

Гимназист с презрением повел плечом и опять обратился к противоположному берегу.

— Ну, вот что — пять рублей хотите?

— Давайте десять!

— Ну, это уж свинство. Сам говорит, что новый восемь стоит, а сам десять дерет. Жильник.

— Мало ли что! Иногда и двадцать отдашь... Вот... теперь она наклонилась грудью! Замечательно у нее сзади получается... Перешла на мелкое место, и видны ноги. Икры, щиколотки, доложу вам, замечательные!

Раньше гимназист восхищался бесцельно. Но теперь он делал это с коммерческой целью, и восторги его удвоились.

— Эге! Что это у нее? Ямочки на плечах... Действительно! А руки белые-белые... Локти красивые!! И на сгибах ямочки...

— Молодой человек, — хрипло перебил его Плюмажев, — хотите... я вам дам восемь рублей...

— Десять!

— У меня... нет больше... Вот кошелек... восемь рублей с гривенником. Берите... с кошельком даже! Кошелек новый, три рубля стоил.

— Так то новый! А старый — какая ему цена — полтинник!

Плюмажев хотел возразить, что сам гимназист, однако же, ломит за старый бинокль вдвое, но втайне побоялся: как бы мальчишка не обиделся.

— Ого! Стала спиной и нагнулась! Что это! Ну, конечно! Купальный костюм расстегнут и...

— Слушайте! — перехватывающимся от волнения голосом воскликнул Плюмажев. — Я вам дам, кроме восьми рублей с кошельком, еще перочинный ножичек и неприличную открытку!

— Острый?

— Острый, острый! Только вчера купил!

— А папиросы у вас?

— Есть, есть. Позвольте предложить?

— Нет, вы мне все отдайте. А! Кожаный портсигар... Вот если папиросы с портсигаром, ножичек, открытку и деньги — тогда отдам бинокль!

Плюмажев хотел выругать корыстолюбивого мальчишку, но вместо этого сказал:

— Ну, ладно... Только вы мне пару папирос оставьте... на дорогу...

— Ну, вот новости! Их всего шесть штук. Не хотите меняться — не надо.

— Ну, ну... берите, берите... Вот вам, можете посчитать: восемь рублей десять копеек! Вот ножичек. Слушайте... А она не ушла?

— Стоит в полной красе. Теперь боком. Натe смотрите.

Гимназист забрал все свои сокровища, радостно зашвырнул и, игриво уцепив Плюмажева за ногу, скрылся в лесной чаще.

Плюмажев плотоядно улыбнулся, приладил бинокль к глазам и всмотрелся; на песчаной отмели перед купальной в полосатом купальном костюме стояла жена Плюмажева Марья Павловна и, закинув руки за голову, поправляла чепчик.

У Плюмажева в глазах пошли красные круги... Он что-то пробормотал, в бешенстве размахнулся и швырнул ненужный бинокль прямо в воду.

До моста, по которому можно было перейти на тот берег, где стояла его дача, предстояло идти версты три...

Ноги ныли и подгибались, смертельно хотелось курить, но папирос не было...

ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ

I

— Небось, теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым — тогда, небось, заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы меня, извинились... Но лучше нет! Пусть смерть... Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! вспомните когда-нибудь раба божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете — всего восемь годочков!

План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки.

Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежавав немного, стукнулся головой о низ шкафа.

Подумал:

“Пусть убивают!”

Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания.

— Пожалуйста, не притворяйся, — сердито сказала мать. — Убирайся отсюда!

Она схватила его за руку и, несмотря на то что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.

Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям...

Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: “Духи, духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе”. Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, раздражается грубым, оскорбительным смехом: “Духи тебе? А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться?..” Или может быть так, что он находит на улице деньги... сто рублей. Все начинают льстить, подмазываются к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и раздражается изредка оскорбительным смехом... Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь — леопард или пантера... Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки, холодный, как скала... А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнет, иголки приподымаются и — трах! Обидчик так и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери... Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья — чтобы она не

была косая... Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь...

Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп... Подымется визг, оханье и плач. Прибежит мать: "Пустите меня к нему! Это я виновата!" "Да уж поздно!" — подумает его труп и совсем, навсегда умрет...

Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния...

Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника неподходяща, улегся на ковре. Были сумерки; от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то заглушенные двойными рамами далекие крики с улицы:

— Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе пары уволокли... Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец паршивый, хучь одну пару!

"Кричат... — подумал Мишка. — Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы".

Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос: "Отчего ж, в сущности, он умирает? Просто так — никто не умирает... Умирают от болезней".

Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало.

"Вот оно, — подумал Мишка, — чахотка. Ну и пусть! И пусть. Все равно".

В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из "Нивы", изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена набок и глаза закрыты.

Поза была найдена.

Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать...

II

Но ему помешали.

Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.

— Только на одну минутку, — говорила тетя Ася, входя. — А потом я вас сейчас же выгоню.

— Настасья Петровна! Десять минут... Мы так с вами редко видимся, и то все на людях... Я с ума схожу.

Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами?..

— Вы говорите вздор, Кондрат Григорьич, — совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя. — Не понимаю, почему вам сходить с ума?

— Ах, Настасья Петровна... Вы жестокая, злая женщина.

"Ого! — подумал Мишка. — Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал — она б тебе показала".

— Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.

— Не находите? А мучить, терзать человека — это вы находите?

"Как она там его терзает?"

Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов — этих необходимых спутников терзания.

Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы — ничего подобного. Никого не терзали... Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову, и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.

"Вот уронишь еще баночку — она тебе задаст", — злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с флаконом.

— Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?

— Чем? И вы не догадываетесь?

Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг.

"Вот-то здорово! — подумал Мишка. — Надо бы потом попробовать".

О своей смерти он стал понемногу забывать; другие планы зародились в его голове... Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть — еще почище теткиного верчения будет.

III

К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шепотом произнес:

— И вы не догадываетесь?!
— Нет, — сказала тетя, кладя зеркальце на колени.
— Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!

“Вот оно... Уже начал с ума сходить, — подумал со страхом Мишка. — На колени стал. С чего, спрашивается?”

— Я день и ночь о вас думаю... Ваш образ все время стоит передо мной. Скажите же... А вы... А ты? Любишь меня?

“Вот еще, — поморщился за ширмой Мишка, — на “ты” говорит. Что же она ему, горничная, что ли?”

— Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинке сесть...

“Что-о такое?! — изумленно подумал Мишка. — Что он такое собирается делать?”

— Ну, скажи — любишь? Одно слово... Да?

— Да, — прошептала тетя, закрывая лицо руками.

— Одного меня? — навязчиво сказал офицер, беря ее руки. — Одного меня? Больше никого?

Мишка, распростертый в углубленном уголку за ширмами, не верил своим ушам.

“Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму? Хорошо же... Пусть-ка она теперь подойдет к нему с поцелуями — он ее отбреет”.

— А теперь уходите, — сказала тетя, вставая. — Мы и так тут засиделись. Неловко.

— Настя! — сказал офицер, прикладывая руки к груди. — Сокровище мое! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.

Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором. “Настя! — говорит мужественный офицер. — Сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью...” Тетя плачет: “Ну, жертвуй, что ж делать”. Трах! И голова падает с плеч, а палач, по Мишкиному шаблону в таких случаях, скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом.

Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял.

— Ах, — сказала тетя, — мне так стыдно... Неужели я когда-нибудь буду вашей женой...

— О, — сказал офицер. — Это такое счастье! Подумаешь — мы женаты, у нас дети...

“Гм... — подумал Мишка, — дети... Странно, что у тебя до сих пор детей не было”.

Его удивило, что он до сих пор не замечал этого... У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тетя без детей.

“Наверно, — подумал Мишка, — без мужа их не бывает. Нельзя. Некому кормить”.

— Иди, иди, милый.

— Иду. О, радость моя! Один только поцелуй!..

— Нет, нет, ни за что...

— Только один! И я уйду.

— Нет, нет! Ради Бога...

“Чего там ломаться, — подумал Мишка. — Поцеловалась бы уж. Будто трудно... Сестренку Трусью целый день ведь лижет”.

— Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам!

Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тетю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.

Мишке сделалось немного неловко. Черт знает что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху: высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник: “Вы чего тут делаете?!”

Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала.

IV

Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат.

“Ложки звякают, чай пьют... Небось, меня не позовут. Хоть с голоду подыхай...”

— Миша! — раздался голос матери. — Мишутка! Где ты? Иди пить чай.

Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери.

“Сейчас будет извиняться”, — подумал он.

— Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?

“Эх, — подумал добросердечный Миша. — Ну и Бог с ней! Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит, обувает”.

Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко сказал:

— Мама, поцелуй-ка меня!

— Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.
Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении вздернул плечами:
“Что тут особенного? Не понимаю... Полжизни... Прямо — умора!”

МАНЯ МЕЧТАЕТ

Хорошо идти, идти, да вдруг найти на улице миллион. Вот бы тогда...

Мане четырнадцать лет, кожа на лице ее прозрачна, и подбородок заострен; глаза большей частью красные; конечно, не от природы, а от усиленной работы в мастерской madame Зины, где она работает и сейчас, несмотря на вечер Страстной субботы и заманчивый перезвон колоколов...

Наблюдал ли кто-нибудь за взаимоотношением между положением человека и его желаниями? Как-никак, Маня все же сидит более или менее сытая, в более или менее теплой комнате, и ей хочется найти миллион; бродит она босая, в изорванном платье — венцом ее мечтаний было бы найти десять или даже сто миллионов. Неправда, что у нищих скромные желания. Нищие больны лихорадочной ненасытностью. Если бы Маня сидела не в мастерской, а у себя дома, в уютной гостиной, за пианино, и отец ее был бы не пьяный рассыльный технической конторы, а статский советник — ее материалистические мечты сузились бы пропорционально благосостоянию. (“Хорошо бы найти где-нибудь пятисотрублевую бумажку. Чего только на пятьсот рублей не сделаешь!..”) А некоторые немецкие принцессы, как о том писали в газетах, получают от родителей десять марок в месяц, и, конечно, венец их желаний — найти где-нибудь стомарковую монету.

Маня мечтала о миллионе; из этого можно заключить, что жилось ей совсем неважно.

“Пасха тут на носу, — угрюмо думала Маня, переезжая со своего излюбленного миллиона на предметы более реальные, — а ты сиди, работай, как собака какая-нибудь. Уйти бы теперь, да на улицу!.. Хорошо, если бы вдруг пожар случился. Чтобы вспыхнуло у старшей мастерицы платье, которое она так внимательно расправляет на манекене. И чтобы огонь перескочил на всю эту кучу тряпок... Все визжат, бегут... Я бы тоже завизжала, да на улицу... Ищи меня тогда...”

— Опять задумалась? Тебя что же взяли сюда — работать или раздумывать? Скоро одиннадцать часов, а у тебя что сделано, дрянь этакая?

У Мани так и вертелся на языке ошеломляющий по своей ядовитости ответ:

— Дрянь, да с дворян, а ты халява моя.

Она и сама не знает, где впервые услышала это “выражение по существу”, но элемент сатанинской гордости, заключенный в вышеприведенной угрозе, чрезвычайно привлекает ее.

Конечно, она никогда не рискнет сказать эту фразу вслух, но даже про себя произнести ее — так заманчиво.

Даже элемент неправдоподобия не смущает ее: она далеко не дворянка, да и мадам Зина никогда не была ее халявой; да и еще вопрос, что означает странное обидное слово — халява; а пометать все же приятно: “Вдруг я скажу это вслух! Крики, истерика, да уж поздно. Слово сказано при всех, услышано, и мадам Зина опозорена навеки”.

— Опять ты задумалась?! И что это в самом деле за девчонка такая омерзительная?!

Легкий толчок в плечо; иголка впивается в палец; первая мысль — профессиональная: боязнь запятнать работы кровью, для чего палец берется в рот и тщательно высасывается; вторая мысль: “Тебя бы мордой на иголку наткнуть, узнала бы тогда...”

Но этого мало; когда мысли начинают течь по обыкновенному руслу, судьба madame Зины определяется более ясно:

“Хорошо бы ошпарить ей голову кипятком, когда она моет волосы; под видом, будто нечаянно. Вылезшие волосы поползут вместе с водой по плечам, по спине, и забегает она, проклятая Зинка, с красным лицом, страшная, обваренная, и только тогда поймет, какая она была дрянь по отношению к Мане”.

Однако этот проект быстро забраковывается, и, нужно сказать правду, — не по причинам милосердия и душевной доброты мстительницы.

“Кипятком, пожалуй, и не обваришь как следует. Наденет вместо волос парик, а красные пятна запудрит. Нет, нужно что-нибудь такое, чтобы она долго мучилась, чтобы страдала и чувствовала, страдала и чувствовала”.

И совершенно неожиданно страшный, злодейский план приходит в голову закоренелой преступнице Мане.

“Хорошо бы купить такую машину, которую я давеча видела в магазине, где покупала ветчину... Машина эта

специально и сделана для резки ветчины: около небольшой площадки вращается с невероятной быстротой колесо; края у него острые, как бритва, на площадке лежит окорок ветчины, и стоит только пододвинуть этот окорок к колесу, как колесо режет тонкий, как бумага, ломоть ветчины”.

Страшные мысли бродят в многодумной Маниной голове.

“Взять бы эту анафемскую Зинку да положить ногами вместо ветчины... Отрезать сначала кончики пальцев да и посмотреть в лицо: “Приятно ли тебе, матушка?” Пододвинуть немножко опять, завертеть колесо да снова взглянуть в лицо: “Что, сударыня, приятно вам?” Целый час резать можно по тоненькой такой пластиночке — а она все будет чувствовать”.

Выкупавшись досыта в Зинкиной крови, Маня переходит на мечь более утонченную, более женственную. Правда, тут без миллиона не обойтись, ну что же делать — можно ведь, в конце концов, найти и миллион (иду, а он у стенки валяется в белом пакете)...

“У меня свой дом; большая мраморная лестница, и на каждой ступеньке пальма и красный лакей. Я сижу в зале, всюду огни, а меня окружает золотая молодежь! Все во фраках. Я играю на рояле, а все восхищаются, охают и говорят: “До чего же вы хорошо играете, Мария Евграфовна! Подарите розу с вашей груди, Мария Евграфовна! Я вас люблю, Мария Евграфовна, — вот вам моя рука и сердце”.

“Нет, — печально говорю я, — я люблю другого. Одного князя... — Вдруг на лестнице шум, лакеи кого-то не пускают, слышен чей-то женский голос: “Пустите меня к ней, она, наверное, не забыла свою старую хозяйку, мадам Зину! Я так разорилась, и она мне поможет...”

Рука с иголкой опустилась. Широко открытые глаза видят то, чего никто не видит. Видят они захватывающую, полную глубокого драматизма, сцену:

“Услышав шум, я встаю из-за рояля... Барон, взгляните, что там за шум?.. Встаю, иду на середину зала; за мной все мои гости, ну, конечно, и мастерицы некоторые, здешние. На мне корсаж из узорчатого светлого шелка; воротник из тонкого линобатиста. Юбка в три волана, клеш. Спереди корсажа складки-плиссе. Шарф из тафты или фэй-де-шинь. На шее сверкает кулуар. Мадам Зина одета криво, косо, юбка из рыжего драпа спереди разорвана, застежка на блузе без басонных пуговиц — позор форменный! Я смотрю на нее в лорнетку и удивляюсь как будто бы: “Это еще что за чучело?”

“Манечка! — кричит она. — Это же я, мадам Зина!” — “Кескесе, Зина? — спрашиваю я, опираясь на плечо барона. — Кто осмелился пустить эту не-пре-зен-табельную женщину? Мой салон не для нее”. — “Манечка, — кричит она. — Я несчастная, прости меня!” Я снова осматриваю ее в лорнетку, холодно говорю: “Вон!” — и сажусь играть за рояль. Ее выводят, она кричит, а я играю “Сон жизни”, и все танцуют. А лакеи смеются над ее драповой юбкой и сбрасывают ее с лестн...”

— Ну что, Маня, кончила? — раздается над ее головой голос madame Зины.

Странно — голос как будто потеплел, без сухих деревянных раздражительных ноток.

— Немножко осталось, мадам. Только эту сторону притачать.

— Заработалась? — улыбается мадам Зина, поглаживая ее жидкие волосы. — Все уже ушли, только ты и Софья остались. Ну, да ладно. Отложи пока — тут на полчас работы, пойдем ко мне.

— Зачем, мадам? — робко шепчет кровожадная, честолюбивая Маня.

— Разговеешься, дурочка. Что ж так сидеть-то, спину гнуть в такой праздник?.. Разговеешься, окончишь то, что осталось, и иди домой спать. Ну, пойдем же.

Она увлекает пораженную, сбитую с толку Маню во внутренние, такие таинственные, такие заманчивые комнаты, подводит ее к столу, за которым сидят уже мастерица Соня, старуха — мать хозяйки и два молодых человека в смокингах, с громадными цветками в петлицах.

— Господа, христосуйте! — смеется madame Зина, подталкивая Маню. — Ну, Маня, иди, я тебя поцелую. Христос Воскресе!

— Воистину... — шепчет ужасная Маня, касаясь дрожащими губами упругой, надушенной сладкими духами щеки madame Зины.

— Садись сюда, Маня. Вот выпей, это сладенькое. Мама, передайте ей свяченого кулича. Барашка хочешь или ветчины? Что именно?

... Маня задумчиво жует ветчину. Что-то ассоциируется в ее мыслях с тонкими ломтиками ветчины. Что именно?

Взгляд ее падает на красиво обтянутую шелковым чулком стройную ногу, выставленную из-под черного бархатного платья madame.

Маня хочет представить, как эта нога, обнаженная, сверкая белизной, ляжет у острого, как бритва, колеса,

ШАЛУНЫ И РОТОЗЕИ

(1915)

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ЛОХМАЧЕВ

как колесо врежется в розовую, нежную, как лепесток цветка, пятку, как она, Маня, будет глядеть в искаженное лицо madame — хочет Маня все это представить и не может.

Жует кулич, потом сладкую творожную пасху, запивает душистым портвейном и снова глядит немигающими глазами на madame.

— Что, Маня? — спрашивает madame, снова кладя теплую ладонь на светлые Манины волосы. — Покушала? Ну, иди, детка, кончай, а потом ступай себе спать. Впрочем, пойдем, я тебе помогу... Вдвоем мы скорее справимся. Извините, господа! Я через десять минут...

Привычные руки быстро порхают над куском белого, как весеннее пасхальное облачко, газа...

А мысли, независимо от работы рук, текут по раз и навсегда прорытому руслу:

“Хорошо бы найти где-нибудь миллион да взять его, купить дом с садом и мраморной лестницей. Конечно, на каждой ступеньке лакеи и все, что полагается... Сижу я в зале, всюду огни, играю на рояле, все сидят во фраках, слушают... Вдруг шум, крики: “Пустите меня к ней, это моя бывшая мастерица Манечка”. Я еще не знаю, в чем дело, но уже говорю графу: “Впустите эту добрую женщину”. Впускают... “Боже мой! Это вы, мадам Зина? В таком виде? В грязи, в старом платье?! Эй, люди, горничная! Принесите сейчас же туалет легкого шелка, заложеного в складки-плиссе. То самое, низ складок которого скреплен рюшем с выстроченными краями, а на рубашечку надевается веста-кимоно из фая мелкими букетиками вяло-розовых цветов!! Дайте сюда это платье, наденьте его на мадам и вообще обращайтесь с ней, как с моим лучшим другом. Мадам! Вы, может быть, голодны? Могу вам предложить барашка, ветчины или чего-нибудь презентабельнее? Кескесе вы пьете?” Я плачу, мадам плачет, гости и лакеи — тоже плачут. Потом все, обнявшись, идем в столовую и пьем за здоровье мадам. “Жить вы будете у меня, как подруга!” Тут же я снимаю с шеи алмазный кулуар и вешаю его на мадам. Все плачут...”

Обилие слез в этой фантастической истории не смущает Маню.

Главное дело — чувствительно и вполне отвечает новому настроению.

— Предводитель! Все исполнено. Завтрак готов. Мясо изжарено.

— Ого! По чести сказать, малец, ты довольно-таки исполнительный парняга. Это что у тебя в руках?

— Так себе, ничего, предводитель. Груша. Обыкновенная грушка...

— Дай-ка я откушу маленький кусочек.

Очевидно, эту фразу можно было толковать двояко, потому что Илья Лохмачев всунул в рот почти всю грушу, оставил маленький кусочек и великодушно протянул его мне.

Это была небольшая уютная лужайка, окруженная кустами боярышника и кривыми акациями. Мы помещались на краю лужайки в большой, неправильной формы яме, посредине которой весело пылал костер. На этом костре жарилось несколько кусков мяса, выпрошенных мальшом Петькой у своей доброй, слабохарактерной кухарки.

Надо сказать несколько слов о яме, в которой мы помещались: она была вырыта нашими руками еще весною. Предполагалось сделать подземный ход под всем городом, до самого моря, куда мы ежедневно бегали купаться. Предполагалось ходить купаться именно через это подземелье, а выход его у берега моря заваливать каждый раз какой-нибудь скалой, которая могла бы поворачиваться на замаскированных петлях.

К рытью подземелья приступили очень охотно, вырыли яму в пол-аршина глубиной и бросили. Впрочем, яма была и так хороша. Посредине разводили костер, а по краям, на свежей траве и листьях, располагалась шайка.

Шайка состояла из пяти человек: предводитель — Илья Лохмачев, и мы — Гичкин, Луговой, Прехин и мальш Петя, личность еще не определившаяся, но полезная тем, что могла доставлять провиант для пирушек, а также исполнять все мелкие черные работы.

Конечно, в любой благовоспитанной детской Илья Лохмачев производил бы дурное впечатление. Ходил он, заломив фуражку набок, изогнувшись боком и насвистывая все время разные грубые марши. Голос имел сиплый, и разговор его как раз подходил к голосу.

— Разрази меня гром, если я не голоден как собака! Пусть дьявол унесет мою душу, если я сейчас не расправлюсь с тобой по-своему!

Он наводил ужас, но вместе с тем мы тайно его уважали. Вот почему, несмотря на его тринадцать лет, он был уже нашим предводителем.

Сегодня в нашей компании был еще посторонний мальчик, приглашенный Гичкиным, и поэтому Лохмачев старался казаться еще страшней, грубей и заносчивей.

— Тысяча пуль! — прохрипел он. — Если этот парень пережарил мясо, я вобью его ему в горло собственным шомполом!

О шомполе было, конечно, упомянуто для постороннего мальчика, потому что никакого шомпола у Лохмачева не было.

Однако, кроме шомпола, кое-что у Лохмачева было такое, отчего Посторонний Мальчик онемел от ужаса и изумления.

Именно, Лохмачев лениво потянулся и сказал: “А теперь недурно бы промочить горло глоточком рома”, наклонился к краю ямы и, отодвинув деревянную заслонку, вынул из тайника бутылку с желтой таинственной жидкостью.

Он говорил, что никакой напиток не действует так благотворительно на его организм, как обыкновенный матросский ром. Пил он его из горлышка, запрокинув голову, и все мы с тайным ужасом и замиранием сердца следили за этой страшной, грубой операцией. Каждый из нас ожидал, что вот-вот сейчас предводитель наш зашатается и грохнется смертельно пьяный на землю, но ничуть не бывало — отпив приблизительно чайный стакан, Лохмачев опускал бутылку, утирал губы и, сказав хладнокровно: “Добрый ром”, прятал бутылку в тайник.

Никто из нас, конечно, никогда и не думал о том, чтобы попробовать это ужасное пойло. Кроме того, Лохмачев однажды предупредил, что если хоть одна живая душа

дотронется до его запаса, то он, Лохмачев, познакомит смельчака со своим пистолетом, который лежал в том же тайнике в стенке ямы — в черном длинном футляре.

На этот раз операция с ромом была проделана еще медленнее и торжественнее. Спрятав бутылку и осмотрев внимательно футляр таинственного страшного пистолета, Лохмачев развалился на краю ямы и, прожевывая жареное мясо, затянул старинную матросскую песню:

Никого мы не боимся,
Всех возьмем на бордаж,
В воду трупы побросаем —
Так проводим мы день наш.
Гоп! Гоп!

Помолчав немного, Лохмачев повернулся к ошеломленному его прекрасными разбойничьими манерами Постороннему Мальчику и сурово спросил его:

— Ты нас не выдашь?

— В чем? — робко спросил мальчик.

— Так, вообще.

— А вы что делаете?

— Мало ли что... Если на днях у Хрустальных скал найдут разбитый бриг и вся команда будет висеть на реях, ты помалкивай. Ладно?

— Ладно, — сказал мальчик. — А разве вы...

— Тссс! — сказал таинственно Лохмачев. — Тут стены имеют уши.

Ближайшая стена была по крайней мере на расстоянии полуверсты, но тем не менее Посторонний Мальчик умолк.

— Да, брат, — медленно сказал Лохмачев. — А если проболтаешься, тогда пеняй на себя, — тебя постигнет участь Одноглазого Джима.

— Какого Одноглазого Джима? — спросил заинтересованный Гичкин.

— Гром и молния! Они не знают, как я расправился с Одноглазым Джимом! Провались вы в преисподнюю, если стоит водить с вами компанию.

— Где же он жил? — спросил Гичкин.

— Где? Около Капштадта, в Южной Африке. Был он боэром.

— Да ты разве был в Южной Африке?

— Был, — сказал хладнокровно Лохмачев, поглядывая на костер. — Подбросить бы, ребята, дровец.

— Когда? Когда ты был?
— Да два года назад. С отцом. Он был торговцем невольниками.

— Да как же так: ведь твой отец служит в казначействе чиновником?

— Ну, и служит. Что тут удивительного: нельзя же заниматься все время одним делом.

— Так ты был в Южной Африке? Вот-то здорово! Там, наверное, зверей много, а?

— Ужас! Бывало, ложимся спать — всегда костер раскладываем. Два года так мы промучились.

— Но ведь если лев подкрадывается, я думаю, от него можно на мустанге ускакать?

Лохмачев с сожалением оглядел всю компанию:

— Эх вы, суслики!.. В огороде бузина, а в Киеве дядька! Где вы нашли мустангов? В Африке? Вот что значит знать все по учебникам географии, а не по собственному опыту. Во-первых, мустанги водятся только в Америке, а во-вторых, любая пума, американский лев, в три прыжка догонит мустанга. Меня однажды мустанг подвел так, что я чуть не погиб.

— Ты разве был в Америке?

— Был, — сказал Лохмачев, презрительно пожимая плечами. — Все мое раннее детство. Ах, моя родина! Эти пампасы, озаренные восходящим солнцем... Эти льяносы...¹

Он погрузился в задумчивость, которую никто не смел нарушить. Только малыш Петя шмыгнул носом и спросил:

— А их едят?

— Кого?

— Лампасы.

— Ты бы, Петя, пошел прогуляться, — сказал Лохмачев под общий смех. — Тебе вредно слушать разговоры взрослых.

Петя засопел, сложил умоляюще руки и прошептал фразу, которую он подцепил в какой-то детской книжке:

— О, не гоните меня, добрый господин.

— А в Австралии ты не был? — спросил Гичкин.

— Ну, это даже нельзя сказать, что был, — пожал плечами Лохмачев. — Хотя я и прожил там три года, но мы жили около Мельбурна и вглубь не заходили.

— Разбойников боялись?

— Разбойников? Разбойников, милый мой, нужно бояться не там...

— А где же?

— На Кавказе. Я до сих пор не могу забыть этих двух лет, которые прожил у них в плену.

— Да ты разве и на Кавказе был?

— Важное кушанье! Четыре года с отцом в ущелье прожили.

Если бы подсчитать все годы, которые непоседливый Лохмачев потратил на скитания, ему должно было бы быть лет пятьдесят. Но он говорил об этом так уверенно, с такой массой подробностей, что ни у кого не зарождалось сомнения.

— А как же ты освободился? — спросил Гичкин. — Убежал?

— Убежал, как же! От них убежишь... Просто отец заплатил им — разрази их гром! — выкуп.

— Много?

— Пустяки. Десять тысяч.

Он посидел немного и встал:

— Эх, воспоминания на меня нахлынули. Промочу-ка я горло ромом. Кстати, ребята, не знаете, где тут можно достать табуку для жевания?

— А ты разве... жуешь?

— Да, жеванул бы. От матросов научился, да и сам не знаю, что теперь с собой делать.

— От каких матросов?

— С которыми я плавал. Да недолго пришлось — на “купца” налетели и пошли ко дну.

— На какого купца?

— “Купец” — так называется купеческое судно. Они везли кошениль и сандаловое дерево, а мы — пятьсот чернокожих.

— Торговать рабами стыдно, — сказал я возмущенно. — Это позор для белых людей.

— Тысяча чертей! — взревел Лохмачев. — Этот щенок, кажется, собирает меня учить! Не хочешь ли ты, я поджарю тебя на этих угольях вместо говядины?

Простодушный Петя пришел мне на выручку. Он сложил ручонки и прошептал:

— О, пощадите его, добрый господин!

— Пощадить, пощадить... Надо помалкивать, господа, вот что.

Чтобы переменить разговор, кто-то спросил:

— А со львами тебе приходилось иметь дело?

¹ Льяносы — тип саванны.

— Изредка. Однажды я привязал лошадь к кусту алоэ и погнался за львицей, не заметив, как два львенка подобрались к лошади и растерзали ее чуть ли не в пять минут.

— Маленькие были львята? — спросил Посторонний Мальчик странным тоном.

— Маленькие...

— Тогда ты говоришь неправду. Маленькие львята не могут растерзать лошадь.

— Каррамба! — вскричал свирепо Лохмачев. — Не хотите ли вы, господинчик, сказать, что я лгу? О, лучше бы вам тогда и на свет не родиться!

— Я говорю только, что маленькие львята лошади не растерзают.

— Да ты откуда это знаешь?

— Видел...

— Что видел? Где видел?

— В Берлине... Мы с отцом были в Зоологиш-Гартен. Я видел, как сторож вынимал голыми руками за шиворот двух львят и они держали себя как котята. Он понес их через дорогу и пустил побегать около пруда.

Странно: все рассказы Лохмачева об Африке, мустангах и кавказских разбойниках сразу потускнели перед Берлином Постороннего Мальчика.

Наглый, развязный Лохмачев и сам это почувствовал.

— Ты говоришь вздор! Моим львятам было уже по три месяца, а твои, вероятно, только что родились.

— Нет... Я спрашивал у сторожа, и он сказал, что им уже по пяти месяцев.

— Как же ты спрашивал, — угрюмо захохотал Лохмачев, — если в Берлине сторож — немец?

— Потому что я говорю по-немецки, — коротко объяснил Посторонний Мальчик.

Все мы ахнули: такой маленький мальчик и уже говорит по-немецки.

— Врешь ты! — неожиданно сказал Лохмачев. — Ни в Берлине ты не был, ни львят не видел и по-немецки ты не говоришь.

— Я в Германии был, — сказал Посторонний Мальчик, пожимая плечами. — В Берлине, Лейпциге, Франкфурте и Дрездене. И по-немецки я говорю. А вот ты нигде не был, а просто выдумываешь все.

— Каррамба! Этот щенок, кажется, обвиняет меня во лжи?! Я вижу, тебе уже давно мешает твой собственный скальп, и я тебе его сниму по образцу моего краснокожего друга Серого Гриззли!

— О, пощадите его, добрый господин! — захныкал сердобольный Петя.

— Пойдите, господа, — сказал, вставая, Посторонний Мальчик, губы которого дрожали от обиды. — Одну минутку. Так ты говоришь, что был в Америке?

— Был!

— По-индейски говорить умеешь?

— Ха-ха! Получше, чем ты по-немецки.

— На языке сиуксов говоришь?

— Это все равно — все племена: сиуксы, шавнии, гуроны и апачи говорят на одном языке.

— Ну, ладно, — усмехнулся таинственный Посторонний Мальчик. — Идем же!

— Куда?

— Сейчас мы разберем, кто из нас прав.

— Пойдем, — неуверенно сказал страшный Лохмачев. — Только имей в виду, если ты завлечешь меня в западню, мы будем защищаться, как львы.

— Не в западню, а в мебелированные комнаты "Ялта". Не бойтесь?

— Лохмачев ничего не боится! Дай только промочить горло глоточком ямайского рома, и я пойду хоть к дьяволу на рога.

Через полчаса вся наша молчаливая, приниженная компания поднималась по лестнице мебелированных комнат.

У одной из дверей Посторонний Мальчик постучал и сказал:

— Отец! Можно к тебе?

— Входи.

— Я не один. С товарищами.

— Милости прошу.

Мы гурьбой ввалились в комнату. Небольшого роста, коренастый, с мускулистой шеей человек пожал нам руки и сказал:

— Гоп, гоп! Друзья мои! Я уже догадываюсь, зачем вы пришли. Хотите попасть сегодня в цирк?

— Это само собой, отец, — сказал Посторонний Мальчик, похлопывая его по руке. — А теперь ты скажи: Гарри дома?

— Дома.

— Можно к нему зайти?

— Если не спит, идите.

Коренастый человек распахнул боковую дверь и крикнул что-то по-английски.

Мы вошли туда и... испуганно прижались к двери — перед нами стоял высокий медно-красный мужчина с чер-

ными, длинными волосами, одетый в коричневый пиджак. В руках у него был огромный лук и ножик, которым он что-то исправлял в тетиве лука.

— Вот, господа, — сказал Посторонний Мальчик звонким смелым голосом. — Это индеец-сиукс, который сегодня выступит в цирке как знаменитый стрелок из лука. Лохмачев! Поговори с ним на его языке. Ты же разговариваешь.

— Он не настоящий! — растерявшись, пролепетал наш предводитель.

— Почему?

— У него нет перьев на голове.

Посторонний Мальчик засмеялся, снял со стены длинный пестрый ток из перьев и дружески нахлобучил индейцу на голову. Тот тоже засмеялся и сказал что-то Лохмачеву.

Лохмачев побледнел, потом покраснел и боком, опустив голову, выскочил из номера.

Все мы восторженно поглядывали на индейца и Постороннего Мальчика, а малыш Петя, по своей привычке, встал перед индейцем на колени и пролепетал, сложив руки:

— О, пощади нас, добрый господин!

Мы ушли, получив обещание коренастого человека пустить нас сегодня в цирк, а завтра на репетиции показывать на слоне.

Веселой гурьбой отправились мы на свою излюбленную лужайку за городом... Костер уже погас... Солнце склонялось к западу.

Посторонний Мальчик смело отодвинул заслонку и вынул знаменитую лохмачевскую бутылку с ромом и пистолет в футляре.

Бесстрашно открыл он футляр и вынул... трубку. Старую, прокуренную, поломанную трубку с длинным чубуком. Мы придвинулись ближе...

Он откупорил зловещую бутылку и, подмигнув нам, отхлебнул.

— Гм! — сказал он. — Я предпочитаю его пить горячим.

— Что?

— Чай. Ведь это обыкновенный сладкий чай.

— Кто смеет трогать мое оружие и мой погреб?! — раздался за нами хриплый голос. — Кто нарушает приказание атамана?!

— Урра! — крикнули мы. — Да здравствует новый атаман! Ты уже больше не атаман... Можешь лгать кому хочешь, но не нам.

Лохмачев упер руки в боки и разразился страшным хохотом.

— Бунт? Ну, ладно! Вы еще повисите у меня на реях. Кто за мной? Кто еще остался мне верен?

И раздался неожиданно для нас тонкий голосок:

— Я!

Это был Петя.

— Ага. Молодчага. Лихой разбойник. Отчего же ты не хочешь покинуть своего старого атамана?

И добросердечный малыш Петя отвечал:

— Потому что мне тебя жалко.

ИНДЕЙСКАЯ ХИТРОСТЬ

После звонка прошло уже минут десять, все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых — именно тех, которые и не разворачивали вчера потрепанные учебники географии... Сладкая надежда:

— А вдруг не придет совсем.

Учитель пришел на двенадцатой минуте.

Полосухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом:

— Слава Богу. Наконец-то вы пришли. А мы тут так беспокоились — не случилось ли с вами чего.

— Глупости. Что со мной случится...

— Отчего вы такой бледный, Алексан Ваныч?

— Не знаю... У меня бессонница.

— А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.

— Ну и что же?

— Да ничего.

— При чем тут таракан?

— Я к тому, что он тоже две ночи не спал.

— Кто, таракан? — пошутил учитель.

Весь класс заискивающе засмеялся.

“Только бы не спросил, — подумали самые отчаянные бездельники, — а то можно смеяться хоть до вечера”.

— Не таракан, а мой папаша, Алексан Ваныч. Мой папаша, Алексан Ваныч, три пуда одной рукой подымает.

— Передай ему мои искренние поздравления...

— Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо этого служит в банке директором — прямо смешно.

Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил иссякнуть, толстый (хохол) Нечипоренко решил “подбросить дров на огонь”:

— Я бы на вашем месте, Алексан Ваныч, объяснил этому глупому Полосухину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка — это личность уважаемая, а борец в цирке...

— Нечипоренко, — сказал учитель, погрозив ему карандашом. — Это к делу не относится. Сиди и молчи.

Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним разговором оттянуть несколько минут.

Натужился и среди тишины молвил свои слова:

— Молчание — знак согласия.

— Что? — изумился учитель.

— Я говорю: молчание — знак согласия.

— Ну так что же?

— Да ничего.

— Ты это к чему сказал?

— Вы, Алексан Ваныч, сказали Нечипоренке “молчи”. Я и говорю: “молчание — знак согласия”.

— Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придет твоя очередь говорить?..

— Гм, кхи, — закашлялся Карташевич.

— ...когда я спрошу у тебя урок. Хорошо?

Карташевич не видел в этом ничего хорошего, но принужден был согласиться, сдерживая свой гудящий бас:

— Горожо.

— Карташевич через двух мальчиков перепрыгивает, — счел уместным сообщить Нечипоренко.

— А мне это зачем знать?

— Не знаю... извините... Я думал, может, интересно...

— Вот что, Нечипоренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хитрее. Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу...

— “К отцу, весь издрогнув, малютка приник”, — продекламировал невпопад Карташевич.

— Карташевич. Ступай приникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли? Дежурный! Что на сегодня готовили?

— Вятскую губернию.

— А-а... Хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну... спросим мы... Кого бы нам спросить?

Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Ива-

нович посоветовал бы спросить Нечипоренку, Патваканов — Блимберга, Сураджев — Патваканова, а все вместе они искренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать.

— Спросим мы...

Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не менее рассеянно взглянул на учителя.

“Ого! — подумал он. — Глядит на Блимберга. А ну-ка, Блимберг, раскошелив...”

— Челноков.

Челноков бодро вскочил, захлопнул под партой какую-то книгу и сказал:

— Здесь.

— Ну? Неужели здесь? — изумился учитель. — Вот поразительно. А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?

— Кхе. Кха. Хррр...

— Что это с тобой? Ты кашляешь?

— Да, кашляю, — обрадовался Челноков.

— Беденький... Ты, вероятно, простудился?

— Да... вероятно...

— Вероятно... Может быть, твоему здоровью угрожает опасность?

— Угрожает... — машинально ответил Челноков.

— Боже мой, какой ужас! Может быть, даже жизни угрожает опасность?

Челноков сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершенно другим, прежним тоном:

— Ну-с... Расскажи нам, что тебе известно о Вятской губернии.

— Вятская губерния, — сказал Челноков, — отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России... По своей площади она занимает место, равное... Мексике и штату Виргиния... Мексика — одна из самых богатых и плодородных стран Америки, населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние иногда входят в соглашение с индейскими племенами шавниев гуронов, и горе тому мексиканцу, который...

— Постой, — сказал учитель, выглядывая из-за журнала. — Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?

— Не в Вятской губернии, а в Мексике.

— А Мексика где?

— В Америке.

— А Вятская губерния?
— В... Рос... сии.
— Так ты мне о Вятской губернии и говори.
— Кгм... Почва Вятской губернии имеет мало чернозему, климат там суровый, и потому хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница и овес — вот что, главным образом, может произрастать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов, ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом одолевает томагавк отважного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под немолчные крики обезьян и разноцветных попугаев, оглашающих воздух...

— Что?
— Оглашающих, я говорю, воздух.
— Кто и чем оглашает воздух?
— Попугаи... криками...
— Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губернии он ничего не рассказывает.

— Я, Алексан Ваныч, о Вятской губернии и рассказываю... Народонаселение Вятской губернии состоит из великороссов. Главное их занятие — хлебопашество и охота. Охотятся за пушным зверем — волками, медведями и зайцами, потому что других зверей в Вятской губернии нет... Нет ни хитрых, гибких леопардов, ни ягуаров, ни громадных свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льяносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина скваттэра...

— Кого-о?
— Скваттэра.
— Это что за кушанье?
— Это не кушанье, Алексан Ваныч, а такие... знаете... американские помещики...

— И они живут в Вятской губернии?
— Нет... я — к слову пришлось...
— Челноков, Челноков... Хотел я тебе поставить пятерку, но — к слову пришлось, и поставлю двойку. Нечипоренко!

— Тут.
— Я тебя об этом не спрашиваю. Говори о Вятской губернии.

Нечипоренко побледнел как смерть и, по принятому обычаю, сказал о Вятской губернии:

— Кхе.
— Ну, — поощрил учитель.

И вдруг — все сердца екнули, — в коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену.

— Экая жалость! — отчаянно вздохнул Нечипоренко.
— А я хотел ответить урок на пятерку. Как раз сегодня выучил...

— Это верно? — спросил учитель.

— Верно.

— Ну, так я тебе поставлю... тоже двойку, потому что ты отнял у меня полчаса.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГОЛУБОГО ШАКАЛА

I

— Михаил! — сказал отец. — Через две недели экзамены, а ты до сих пор и за книжку не брался.

Михаил Черепицин, ученик второго класса, держался на этот счет другого мнения.

— Еще рано готовиться, — ответил он, не задумываясь.

— Как так рано?!

— Еще две недели. Если я теперь все выучу, так к экзаменам и забуду.

— Нечего сказать, хороший ученик! Другие всю жизнь помнят, а он через две недели собирается забыть... Марш сейчас же за книгу!

Михаил Черепицин, ученик второго класса, покорно вздохнул и сел за книгу. На переплете было написано: "Малинин и Буренин. Арифметика".

Но если раскрыть эту книгу, на первой же странице можно было прочесть:

"Солнце склонялось к западу... Вдруг высокая трава заколебалась, чьи-то руки раздвинули ее, и на прогалину выполз краснокожий сиукс, свирепое лицо которого было покрыто татуировкой.

— Оах! — воскликнул он вполголоса, хватаясь за томагавк..."

Готовиться к экзаменам было еще рано. Так мирно шли дни, и каждое утро и каждый вечер сиукс Голубой Шакал хватался за томагавк. А когда до экзамена осталось два дня, ученик второго класса Михаил Черепицин, по примеру сиукса, схватился за книги.

Но, схватившись, увидел, что, пожалуй, к экзамену ему не подготовиться. Книг было много, а времени мало.

Вдумавшись в свое положение, Черепицин заметался, как зверек в клетке, но помощи ждать было неоткуда.

Даже сам гроза прерий Голубой Шакал не мог помочь Черепицину, несмотря на все свое влияние и связи на Дальнем Западе.

Сколько бы он ни кричал свое грозное “оах”, сколько бы ни размахивал томагавком, учителя не обратили бы на него никакого внимания.

Черепицин тоскливо брал книги в руки, перелистывал их одну за другой, но вызубрить все это в несколько часов — он сам понимал — было невозможно.

— Ну, раз уже поздно, — решил Михаил Черепицин, — ничего не поделаешь. Попробую на авось.

Впрочем, в день перед экзаменом некоторые меры, которые были в ходу у ленивых товарищей, он принял: положил на ночь книги под подушку, что, по словам некоторых бездельников, якобы помогает в смысле запоминания предмета.

Кроме того, вырвал из книги самые трудные страницы и натошак съел их. Кто-то в училище уверил его, что если съест какую-нибудь страницу, то уж никогда ее не забудешь.

Было очень противно: жеваная бумага не проходила в черепицино горло, но он запил водой и с трудом проглотил несколько отвратительных комков.

А отправляясь на экзамен, Черепицин решил сделать доброе дело: дал нищему две копейки и попросил помолиться за то, чтобы он, Черепицин, выдержал экзамен.

II

— Черепицин Михаил!

— Здесь.

— Подойдите к столу.

Ноги Черепицина дрожали, когда он подходил к экзаменационному столу.

“Эх, — подумал он, — хорошо бы, чтоб сейчас из-под этого покрытого зеленым сукном стола выполз вождь сиуксов Голубой Шакал! Все бы испугались, убежали, и экзамена бы не было”.

Но чудес в наши дни не случается. Из-под стола никто не вылез, а учитель математики прищурился и сказал:

— Ну-с... Черепицин Михаил... Что такое арифметика?

Черепицин Михаил проглотил слюну и ответил, робко озираясь:

— Арифметика. Это такое... такая книжка, которая... которая... орая...

— Которая что?

— Которая... в зелененьком таком переплете с корешочком...

— Нет, Черепицин, я с вами не о внешности книги говорю, а о сущности этого предмета. Какую цель преследует арифметика?

— Она преследует... цель.

— Ну, да. Какую же?

— Эту самую... Задачи. Берется задача и решается.

— Я вас не о задачах спрашиваю! Арифметика — это наука о числах.

— Наука о числах, — печально повторил Черепицин.

— Этого, очевидно, вы не знаете... Ну-ка, скажите нам что-нибудь о дробях. Сколько будет — половина от трех восьмых?

Черепицин опустил голову:

— Ну?

— Половина из трех восьмых?

— Да.

— Сейчас... сейчас, — забормотал Черепицин. — Половина из трех восьмых... трижды восемь... двадцать четыре, вычитаем половину, остается двенадцать... восемь и три — одиннадцать...

— Ну?!

— Сейчас, сейчас...

— Ну, у вас есть три восьмых. Сколько из них — половина?

Черепицин вытер пот со лба и прохрипел:

— Видите ли... Наверно, я вам не могу этого сказать, только многого это не составит.

— Та-ак. А сколько будет, если сложить сорок семь и девяносто два?

— Рубль тридцать пять...

— Что-о-о?

— Пол... полтора рубля.

— О господи! Я вас не о деньгах спрашиваю, а о числах!

Один из экзаменаторов что-то шепнул другому, и тот, ответив “хорошо”, обратился к Черепицину:

— Попробуем теперь письменный ответ. Вот садитесь за ту парту и решите вот эту задачку. Прочтите ее! Вы ее понимаете?

Черепицин прочел задачу и признался очень добросовестно:

— Нет, не понимаю. Ее нельзя решить.

— Да?.. Вы так думаете? А составитель задачи думал, вероятно, иначе. Он думает, что ее решить можно. Ну? Чего же вы молчите?

— Составить задачу легче, чем решить, — пролепетал Черепицин, водя пальцем по краю стола.

— Да? Вы так думаете? Знаете что? Садитесь вон за тот стол и составьте-ка задачу вроде этой. Посмотрим... Может быть, у вас действительно особый талант.

Экзаменатор улыбнулся и шепнул что-то соседу. Тот тоже усмехнулся.

Ш

— Готово?

— Готово.

— Ну-с... посмотрим: "Три мальчика имели двенадцать пушек: первый имел три пушки, второй вдвое больше, а третий имел остальные. Сколько пушек имел каждый мальчик?"

— Ну, милый мой, какая же это задача? Ее и шестилетний ребенок решит. Нет, ты составь задачу посложнее, подлиннее. Чтобы ее решить было не так легко.

— Подлиннее? — тоскливо сказал Черепицин. — Сейчас.

— Да, да. Понимаешь, чтобы она была запутаннее, а то что это такое — три строки, и готово. Так нельзя.

Усевшись снова за стол, долго тер бедный Черепицин свою бедную пустую голову.

— Длинную задачу... Ну, как ее там сочинишь, длинную-то?

Только через полчаса поднялся он с места и неуверенно подошел к экзаменатору.

— Сделал? Ну, давай. Гм... "Три виноторговца купили 12 кусков сукна. Один выехал из Москвы, другой ему навстречу из Петербурга, а третий устроил бассейн и выпустил туда все вино в четыре часа. Если из одного крана вода выливается в час сто ведер, а в другой кран вливается пятьдесят, то спрашивается, сколько было воды. От Петербурга до Москвы 6400 верст, а из Москвы в Петербург вдвое дешевле: спрашивается, сколько стоили билеты двух виноторговцев, если один выехал туда, а другой обратно. Сочинил ученик 2-го класса Михаил Черепицин!"

— Здорово! — сказал учитель. — Ступай домой, больше нам от тебя ничего не надо.

С искаженным от ужаса лицом вышел на улицу Черепицин. Увидел нищего, подошел к нему и сказал плачущим голосом:

— Ты, наверное, не молился... Отдавай мои две копейки!

ЯПОНСКАЯ БОРЬБА

Общий друг и приятель Саша Кувырков вошел в комнату, оглядел снисходительно всю компанию и очень бодро воскликнул:

— Ну, вы! Червяки дождевые! Что сидите, нахохлившись? Нужно быть радостными, бодрыми и здоровыми! Спортом нужно заниматься.

Это было что-то новое...

Все подняли головы и вопросительно поглядели на Сашу.

— Это ты с каких же пор стал спортсменом? — осведомился долговязый Бачкин.

— Я-то? Меня, братцы, всегда к этому тянуло. Что может быть лучше гармонически развитого тела... И теперь... Вы знаете, я будто снова на Божий свет родился...

— Господи! Еще раз? Нам тебя и одного было довольно.

— Вы — лошади! Поймите вы, что с тех пор, как я стал изучать джиу-джитсу, я хожу, дышу и говорю по-новому.

— Чего-о?

— Что "чего"?

— Как ты сказал, какое слово?

— Джиу-джитсу. Японская борьба.

— Ага. Очень приятно. Садитесь.

— Эх вы, деревянные мозги! Вы все готовы высмеять, над всем вы издеваетесь, а того не знаете, что джиу-джитсу такая борьба, в которой маленький хрупкий человек расшвыряет трех больших верзил.

— Что ты говоришь, Саша?!

— Вправду, Саша?

— А, что мне с вами говорить! Я вас просто отошлю к Ганкоку!

— Хорошо, что не дальше.

— Кто же этот удивительный Ганкок?

— Ганкок? О, это, братцы, человек! Он систематизировал и привел в порядок весь огромный материал по истории борьбы джиу-джитсу.

Раздались восторженные восклицания:

— Какой молодец!

— Тебе бы так.

— Обязательно запишу его имя в поминание за здравие.

— Боже, как вы омерзительны своей самовлюбленной тупостью. Я вам говорю серьезно, я раскрываю перед вами одно из лучших сокровищ великого японского народа, а вы хрюкаете, как меланезийские дикари над граммофоном!..

— Слава Богу! Наконец-то Кувырков вышел из себя.

— Да право! Я, может быть, и сам раньше думал, как вы, но, когда приступил к изучению джиу-джитсу, я благоговейно преклонил голову.

— Ну, не волнуйся, чудак. Расскажи лучше, в чем там дело?..

— Понимаете, это все основано на изучении мускулов и нервных центров человеческого тела. Нажатием известного места на тыльной части кисти руки можно, например, парализовать всю руку и привести человека в беспомощное состояние...

— А ну, покажи.

— Хорошо. Дай-ка ты, Володя, свою руку. Да не бойся, чудак. Джиу-джитсу тем и хорошо, что без злой воли не наносит членовредительства. Давай руку, Володя, не бойся.

— Я не боюсь, — простодушно сказал Володя, протягивая руку.

— Ну вот... Видите это место? Тут, между двумя суставами. Ну вот — я нажимаю это место... больно?

— Нет, ничего. Только ты ногтем не дави.

— Я не давлю, Боже меня сохрани. Больно? Чувствуешь ты, как рука постепенно немеет?

— Нет, как будто ничего.

— Постой... Ах, да, я не ту руку взял. Дай другую.

— На.

— Ну, вот. Больно?

— Да, как будто немножко больно, — сказал добряк Володя, сжалившись над пыхтящим, измученным Сашей Кувырковым.

— То-то и оно. Это еще ничего. А то есть страшные вещи: ребром ладони, если ударить наискосок, можно переломить руку.

— Чью? — робко спросил кто-то.

— Понятно, чужую. Что за дикий вопрос. А вы знаете, например, лучший способ обезвредить противника, не трогая его пальцем?

— Нет, нет. Покажи, Саша.

— Ну вот, скажем, возьмем Бачкина. Пойди сюда, Бачкин. Вот, например, Бачкин подходит ко мне с намерением напасть на меня. Подходи, Бачкин, с намерением напасть на меня.

— Ну, подходи же, Бачкин, — поощрительно зашумела заинтересованная компания. — Подходи, не бойся.

— Подходить, значит, нужно с намерением напасть? — переспросил добросовестный Бачкин.

— Ну да!

Бачкин выпучил самым злодейским образом глаза, растопырил руки и, рыча, стал приближаться к мужественно ожидавшему его Кувыркову.

— Ну вот, смотрите, господа: он приближается, я хватаю его за лацканы пиджака, дергаю их вниз и... Постой, черт! Чего ж ты лезешь? Где у тебя лацканы? Где пиджак?..

— А разве нужно пиджак? — смутился Бачкин. — Ну, извини, пожалуйста. У меня рабочая блуза.

— Так же нельзя, господа... В блузе человек, а туда же — на джиу-джитсу лезет. Дайте ему кто-нибудь пиджак сверх блузы. Вот так! Надевай, Бачкин... Подкрадывайся с целью напасть.

— Ну вот, глядите... Постой... ты только не поднимай руки; держи их так вот, опущенными. Ну, глядите: раз, два, три!

Кувырков схватил Бачкина за лацканы и дернул их вниз, спустив пиджак с плеч до половины. Руки у того действительно оказались ущемленными спустившимся пиджаком, что привело всех в восторг.

Поаплодировали.

Кувырков торжествующе держал Бачкина за лацканы.

— А дальше что? — кротко спросил Бачкин.

— Дальше ничего. Я тебя обезвредил.

— Но ведь ты меня должен так держать все время.

— Почему?!

— Да стоит тебе только выпустить мой ворот из рук, как я на тебя нападу.

— А ты не нападай, — благоразумно возразил кто-то.

— Позвольте, — сказал Кувырков. — Но если он на меня нападет, у меня явится другой прием. Ну вот, я тебя выпустил, нападай на меня.

Бачкин поднял руку и нерешительно схватил Кувыркова за горло.

— Постой, постой... Так нельзя. Ты пусти. Видишь ли, ты должен поднять обе руки кверху и напасть на меня.

Ну, нападай! А я приседаю, подныриваю под твои вытянутые руки, одной рукой схватываю за ближайшее колено, и... дальше я, кажется, забыл, что нужно делать... Пусти-ка... Да стой! Я посмотрю, в чем там дело?

Кувырков вылез из-под долговязого Бачкина, вынул из кармана книжечку в кирпичного цвета обложке и стал усердно ее перелистывать.

— А, вот: “Нападающий часто пускает в ход такую проделку: прыгнув вперед и выпрямившись, он тотчас же приседает под вытянутые руки противника, одной рукой схватывает его за ближайшее колено, а другой — возможно выше наносит удар. Во время удара надо тянуть охваченное колено вперед или в сторону, и у противника, приготовившегося отразить атаку на другой высоте, остается только один свободный выбор: падать или на спину, или на бок”. Ну вот. Давай сначала! Ну, нападай. Руки вверх, как можно выше, ради Бога! Ну вот. Гоп! гоп! гоп! Чего ж ты не падаешь?

— А разве нужно упасть? — удивленно спросил Бачкин.

— Ну как же! Вот дикое существо! Я его и за колено тяну и в живот ударил, а он стоит, как колокольня Ивана Великого!

— Да там как сказано, в книжке-то?

— Просто сказано: “Противнику остается только один свободный выбор: падать или на спину, или на бок”. А ты не падаешь.

— Просто Бачкин бездарный парень, — сказал Володя. — Если бы он изучил джиу-джитсу, он знал бы, когда нужно упасть. Охота тебе, Кувырков, со всяким бороться.

— Вот ты, Володя, смеешься, а на самом деле, ей-Богу, джиу-джитсу — замечательная вещь. Вы знаете, господа, знаменитый прием с нажатием основного сустава безымянного пальца?

— Нет... Откуда же нам знать!

— Мы люди темные.

— Прекрасный, так называемый “джентльменский” прием. Вам стоит только повернуть противника к себе влоборота, захватить его руку и, нажав своими двумя пальцами верхний сустав безымянного пальца противника, совершенно обезвредить его. Володя, дай руку.

— На! Здравствуй, как поживаешь?

— Не шути. Сейчас тебе будет не до шуток. Ну вот. Видите? Я надавливаю на твой сустав. Теперь, — торжествующе закричал Кувырков, — бей меня по чем хочешь

— по голове, по затылку, по груди — посмотрим, как тебе это удастся.

— Изволь, — сказал Володя и ударил Кувыркова по затылку довольно сильно.

— Стой, я, кажется, не тот сустав надавил... А ну-ка, дай этот! Ну? Теперь попробуй. Ой! Ну это уже свинство... Я тебе ведь только показываю, а ты обрадовался! Дерется, болван, что есть силы...

— Так ты же ведь говорил, что ударить нельзя!

— Конечно, нельзя. Вот тут и в книжке сказано: “В этом положении противник ни в коем случае не может коснуться ни одной части тела нападающего”. Понял? “Ни в коем случае”.

— Ну, извини. Других приемов там нет?

Саша Кувырков погас, увял и тон его сделался лениво-покорным.

— Да, конечно, есть и другие приемы. Это ведь замечательная борьба. Еще древние самураи боролись.

— Земля им пухом, — благоговейно прошептал Бачкин.

А проворный Челябинский упругим прыжком вскочил на стол, принял позу и манеру старого профессора-лектора и сказал:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Искусство японской борьбы джиу-джитсу очень сложное и трудное искусство. Постольку, поскольку наш известный молодой чемпион Кувырков познакомил нас с этой борьбой — джиу-джитсу требует многого. Во-первых, при нападении враг должен быть в пиджаке; если же оно-го у него нет, он должен пойти домой, или к приятелю, или в магазин готового платья и там таковой пиджак приобрести. Во-вторых, противник должен быть вежлив, и, если вы утверждаете, что рука у него вашим приемом парализована, он должен немедленно согласиться с вами — иначе он хам и мытарь. В-третьих, если по учебнику джиу-джитсу после одного из ваших приемов противник должен лежать на земле, то пусть он, каналья, ложится, а не стоит, как каланча. И наконец, в-четвертых, если тебе нажимают на сустав, не смей драться, раз тебя уверяют, что в этом положении ты не можешь “ни в коем случае коснуться тела противника”! Резюмируя все вышесказанное и подводя, так сказать, итог, я должен сказать, что японская борьба джиу-джитсу — борьба замечательная, дающая вам бесценные преимущества, но только в том случае, если изучали ее не вы, а ваш противник... За здоровье самурая Кувыркова! Ура!

Все сделали вид, что растроганы, и принялись утирать платками сухие глаза.

И только по виду Кувыркова было заметно, что он не прочь заплакать по-настоящему.

ДЕЛОВОЙ МАЛЬЧИК

От автора

Милые дети! Верите ли вы мне, что я вас чрезвычайно люблю и что для меня нет лучшего удовольствия, как возиться с вами, разговаривать, а если вы еще малы, то качать вас на колене: гоп! гоп!

И мне на днях было чрезвычайно грустно, когда одна маленькая девочка пыталась уличить меня во лжи — будто бы я когда-нибудь был способен солгать детям!

Я рассказывал ей сказку и вскользь упомянул о мальчике, который съел свой двухколесный велосипед.

Услышав это, девочка широко открыла глаза и заявила мне крайне невежливо:

— Ты лжешь! Мальчик не может съесть велосипеда.

Я тогда не оправдывался... Но мне было очень, очень грустно и обидно!

И нижеследующий рассказ я пишу отчасти для того, чтобы той девочке было стыдно, отчасти же — чтобы мои маленькие читатели поверили, что не только мальчики могут в жизни глотать велосипеды, но случаются и более удивительные вещи.

Аркадий Аверченко

...Велосипед был прекрасный: двухколесный, с кожаным седлом и даже со звонком, в который можно было звонить, сколько влезет, предупреждая встречного путника об угрожающей ему опасности.

Можно было бы сказать, что владелец велосипеда, Николаша, ходит как именинник, если бы Николаша действительно не был сегодня именинником.

Подарков преподнесли много, но больше всего радовал Николашу велосипед — предмет его давнишних пылких мечтаний.

Едва кончился обед, как Николаша вскочил на свой велосипед и помчался на площадку около дачного театра.

На площадке шумела и веселилась чудеснейшая компания: маленькие гимназистки, штатские дети, еще не вкусившие прелести гимназического мундира, и обойщиков сын Петраха — душа общества, балагур и гимнаст, которому было совершенно безразлично, как ни стоять: на голове или на ногах; первое он даже предпочитал, потому что в этом положении оставались свободными обе ноги, которыми он выделывал разные фокусы. Вообще, Петраха был пресимпатичным ребенком, и, если бы не его хриплый голос, вечное желание подвести ближнего под неприятность и способность божиться по всяким пустякам, он занял бы солидное положение в обществе.

Увидев подъехавшего Николашу, этот ребенок подпрыгнул, стал на голову и проревел, красный от натуги:

— Ник-колаша! Откуда у тебя велосипедяша?

— Подарили! — восторженно сказал Николаша. — Гляди-ка какой! Двухколесный и со звоночком.

Петрахе дома никогда ничего не дарили, кроме тумачков. Обойщик был того мнения, что всякий тумак приносит свою пользу: "один тумак — один пятак. Сто тумачков — сто пятаков". Зарабатывая в день иногда до двухсот таких пятаков, что составляло 10 рублей, Петраха, однако, был беден, как церковная крыса. Поэтому роскошный Николашин подарок поселил в его голодной душе самую отчаянную зависть.

— Ну, брат, — сказал он, критически осматривая велосипед, — штука неважная.

— Почему? — встревоженно спросил Николаша.

— Потому. Колес мало.

— Да ведь в настоящем велосипеде больше и не бывает.

— А трехколесные-то, значит, хуже?

— Конечно, хуже...

— Значит, чем меньше колес, тем лучше?

— Да, — неуверенно сказал Николаша.

— Значит, два лучше, чем три, а одно лучше, чем два?

— Да... да, — сказал ошеломленный Николаша.

— А без колеса, значит, еще лучше? Хо-хо!

— Отстань!

— Отстань... Вам бы все только отстать. По воде-то на нем ездить можно?

— По воде нельзя.

— Ну так что ж с него толку — по земле только таскаться.

Не успел он сказать этого, как велосипед сразу потускнел в глазах Николаши... Колеса показались маленьки-

ми, спицы слишком тонкими, а звонок своей трескотней действовал на нервы.

— Ты ничего не понимаешь, — расстроено сказал Николаша.

Какой-то гимнастик приблизился к ним, держа в руках странный черный предмет со множеством разных кнопок и застежек.

— Слушай, как тебя, Николаша... — солидно сказал он. — Хочешь меняться: отдай мне велосипед, а я тебе фотографический аппарат. Ладно?

— Ишь ты, какой ловкий, — быстро возразил Николаша. — На велосипеде ездить можно, а фотографический аппарат — куда он мне...

— Ну, знаешь ли, — пожал плечами гимнастик, — ты, я вижу, ничего не понимаешь: моим аппаратом что угодно снять можно — и будет, как в натуре. Дом выйдет, человек или лошадь — все равно. Можешь своих родителей снять — очень приятная штука.

— Велосипед лучше, — упрямо сказал Николаша.

— Лучше? Да ты своим велосипедом можешь фотографию снять?

— Нет... не могу.

— А моим аппаратом можно. Значит, что лучше?

— А зачем же ты хочешь меняться, если твой аппарат лучше?

— Да просто, вижу — хороший мальчик... Отчего бы ему и не принести пользы. Ежели бы ты был умный, ты бы сразу понял.

— А что мне дома скажут, когда я без велосипеда приду?

— Без велосипеда!.. Так зато, чудак ты человек, с фотографическим аппаратом. Дома-то будут все довольны во как!

— Петраха! — обратился полный сомнений Николаша к своему вероломному другу — обойщикову сыну. — Как ты думаешь: что лучше?

Гимнастик незаметно толкнул коленом Петраху и стал смотреть куда-то в сторону.

И вероломный друг Петраха сказал восторженно:

— О, Боже-ж! Конечно, фотография. Ты своим велосипедом даже мухи не снимешь, а тут накося! Что твоей душеньке угодно...

— Ну ладно, — со вздохом сказал Николаша, — бери. Только твой аппарат не испорчен?

— Сегодня только получил. Новехонький.

И гимнастик, вручив Николаше аппарат, взял велосипед.

— Настоящий-то, а? Велосипед-то? Может, деревянный?

— Конечно, настоящий. Честное слово.

— Ну то-то. Съездить домой, что ли...

Николаша уселся с Петрахой на скамеечке и оба углубились в рассматривание аппарата.

— Хлеб да соль! — сказал высокий, долговязый, веснушчатый мальчишка, подходя к скамье и похлопывая себя деревянным луком по колену. — Что подельваете?

— Здравствуй, Антонов. Вот аппарат рассматриваем.

— А у меня, братцы, лук такой, что загляденье. На двадцать шагов в цель попадает. Если даже будешь просить поменяться на твой аппарат — ни за что не поменяюсь.

— Да я и не хочу, — сказал Николаша.

— Почему не хочешь? Что ж, твой аппарат разве лучше моего лука?

— Лучше.

— Много ты понимаешь!.. Да я вчера стрелой стекло в третьем этаже выбил — так мне задали такую трепку, что мое почтение. Это тебе, брат, не фотография.

— А все-таки фотография лучше.

— Лучше?! — с негодованием вскрикнул веснушчатый мальчик. — Да если этой стрелой в человека попасть, так он тебя так исколотит, что ног не потянешь! Да я вчера, если хочешь знать, вазу на подзеркальнике вдребезги раскокал, а ты мне говоришь — аппарат лучше! Отец меня в погреб за это запер, а ты говоришь — аппарат лучше.

— Да чем же аппарат хуже, — спросил Николаша, наполнив уже убежденный этим стремительным вихрем странных доказательств.

— Чем? Ты вот что скажи: из твоего аппарата можно стрелять?

— Н... нет.

— Ну, и помалкивай. А из моего лука стреляй, сколько угодно. Да я на днях, может быть, соседнюю болонку так подцепил стрелой, что отец хотел меня в рассыльные мальчишки отдать. Так меня исколотил, что живого места нет.

Петраха в это время с внимательным видом знатока осматривал лук.

— Петраха, — сказал Николаша, смотря на лук разгоревшимися глазами. — Что лучше?

— Конечно, лук, — сказал Петраха, переталкиваясь локтями с долговязым мальчишкой. — Из твоей фотографии, действительно, не выстрелишь.

— А зато, — возразил Николаша, чувствуя, что он тонет в этом море противоречий, — зато я могу снимать, что хочу: папу, тетю, дом, собаку или птичку.

— Эх ты! “Птичку”... Да тебе что приятнее: снять птицу или подстрелить ее?! Подстрелить-то лучше.

— А стрелы есть? — спросил со вздохом Николаша.

— Две штуки целых! Идет, что ли? А то, брат, будешь просить — не поменяюсь. Пользуйся, что я сейчас такой добрый!

— Ну, ладно... — сказал Николаша.

— Вот добряга-то этот Антонов! — воскликнул лукавый Петраха. — Отдает такой хороший лук.

— Мне, Петраха, не жалко, — сладенько сказал долговязый Антонов. — Я, Петраха, предобрейший мальчик. Пусть человек пользуется — мне что! Носи на здоровье!

Очевидно, о Николаше разнеслись вести по всей площадке, потому что через минуту после ухода рыжего мальчишки к скамейке подлетел еще один мальчик самого добродушного вида.

— Эх ты, Николаша, — сказал он. — Жалко мне тебя... Ну зачем тебе этот лук? Ведь им рисовать нельзя?

— Рисовать нельзя, — возразил Николаша, голова которого горела от той массы дел, которые он совершил в столь короткий промежуток. — Рисовать нельзя, а стрелять можно.

— Куда стрелять? Зачем стрелять?

— Ну... в собаку... Или в вазу. Вчера вон Антонов в вазу попал, так его так отодрали, что мое почтение!

— Так что ж тут хорошего? — резонно сказал добродушный мальчик. — Его отодрали, и тебе то же будет. За рисование, брат, не отдерут!

— Почему... за рисование... не отдерут?

— “Почему, почему”?! Да ты видел когда-нибудь человека, которого наказывали бы за рисование?

— Нет, не видел.

— То-то вот. Я как раз сегодня получил целую коробку цветных карандашей... 16 штук. Это тебе не лук. Луком-то ты не очень разрисуешься.

— А Антонова вон за лук отец хотел отдать в раскормленные мальчишки.

Странное дело: те доказательства, которые в устах Антонова действовали так убедительно на Николашу, совершенно не убеждали карандашного мальчика.

— То-то и оно, — сказал карандашный мальчик. — С этим луком беды не оберешься. А карандаши — одно

удовольствие: рисуй себе да рисуй, раскрашивай да раскрашивай...

— И не жалко тебе, — спросил Петраха карандашного мальчишка, — такие хорошие карандаши за какой-то скверный лук отдавать?

— Да ведь ты давеча хвалил лук, — удивился Николаша.

— Хвалил потому, что карандашей не видал. Карандаши-то прямо загляденье.

— Ну, хорошо, — сказал Николаша. — Бери лук.

— Не желаю! — сказал добродушный мальчик. — Карандаши лучше.

— Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ты же сам предлагал... Теперь отказываться нечестно.

— Разве что нечестно, — покачал головой карандашный мальчик. — Потому только и меняюсь, что обещал. Эх-ма! Бери!

Когда Николаша и Петраха остались одни, Петраха огляделся и, отведав Николашу в сторону, таинственно спросил:

— А что, они вкусные?

— Что? Кто?

— Да эти карандаши-то?

— Что ты, братец! Их не едят.

— Да ну? Вот так влопался ты в историю.

Петраха посвистал, заложив руки в карманы.

— А что? — испуганно спросил Николаша.

— Да ведь я думал, что их есть можно, а то, что в них толку?

— Ими рисуют.

— Ну, что там рисуют. Это и черным карандашом можно.

Петраха подумал немного, вынул из кармана коробку с двумя шоколадными сигарами и сказал:

— Вот это, по крайней мере, едят.

— Дай мне кусочек, — попросил Николаша, поглядывая на сигары.

— Эх, жалко мне тебя... Хочешь меняться? Уж так и быть, выручу. Больно ты парень хороший. И как это тебя угораздило?! Я думаю себе — их и съесть можно, и то, и се, — а они, оказывается, только для рисования... А ведь шоколадная сигара — это штука! Ее в рот возьмешь, будто куришь, а сам знай отъедай конец.

— Ну, хорошо, — сказал Николаша с деловым видом.
— Дай мне за карандаши полторы, а себе возьми полвинку...

Сошлись на том, что Петраха за карандаши дает одну из сигар, а другую съест сам, так как, по его словам, ему и то убыточно.

— Эти сигары, сам знаешь, — сказал он, — даром на полу не валяются...

Усталый, печальный, возвращался Николаша домой. Когда он вошел на веранду, отец оглядел его и спросил:

— А где же велосипед?

И вдруг, как молния, озарило Николашу: велосипеда-то ведь действительно нет, и аппарата нет, и лука, и карандашей...

И, схватившись руками за голову, заплакал бедный именинник.

— Что с тобой? Где велосипед?

И, прерывая слова горькими рыданиями, едва сумел выговорить Николаша:

— Я... его... съел!..

СЕРЕЖКИН РУБЛЬ

КАК ЕГО ЗАРАБОТАЛ

Звали этого маленького продувного человечка Сережка Морщинкин, но он сам был не особенно в этом уверен... Колебания его отражались даже на обложках истрепанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось: "Сергей Мортчинкин". То: "Сергей Мортчинкен".

Эта неустанная, суровая борьба с буквой "щ" не мешала Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались.

Писались стихи по совершенно новому способу... Таковы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой:

До соседей вдруг донесся слух,
Что в доме номер три, в кух
Не, горел большой огонь,
Который едва-едва потушили.
Кухарку называли "дурой" милли
Он раз, чтобы она смотрела лучше.

За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого, отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже.

Сережка долго плакал в сенях за дверью, твердо решив убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый, изобретательный умишко заработал в другом направлении... Он прокрался в детскую, заперся там и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой.

— Что это? — спросил дядя.

— Стихи.

— Твои? Хорошие?

— Да, эти уж, брат, почище тех будут, — важно сказал Сережка. — Самые лучшие стихи.

Дядя засмеялся.

— А ну, прочти-ка.

Сережка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло откашлявшись, прочел:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая...
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, синем кушачке...
Ему больно и смешно,
А мать грозит ему в окно.

— Гм... — сказал дядя. — Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?

— Уж сейчас и списал, — возразил Сережка, ерзя по дивану и пытаясь стать на голову. — На вас разве угодишь?

Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Сережку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал:

— Так как все поэты получают за стихи деньги — получай. Вот тебе рубль.

От восторга Сережка даже побледнел.

— Это... мне? И я могу сделать, что хочу?

— Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей.

В эту ночь Сережке спалось очень плохо — рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз.

Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в девять часов. Выбрался он из дому в восьмом часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями...

Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе:

— Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?

Зашел в ближайшую лавочку. Разменял.

Действительно, по количеству монет оказалась целая уйма — чуть ли не в семь раз больше... но качество их было очень низкое — маленькие, потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.

— Скверные денежки, — решил Сережка. — Их тут столько, что немудрено одну монетку и потерять... Разменяю-ка я их обратно.

Он зашел в другую лавочку с самым озабоченным видом.

— Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.

— Извольте-с.

Новая мысль озарила Сережину голову.

— А может... у вас бумажный есть?

— Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.

— Ну, дайте трехрублевку.

— Это за рубль-то! Проходите, молодой человек.

Опять в Сережкином кармане очутился толстый, тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой:

— Даже лучше. Новее того. А много можно на него сделать: купить акварельных красок... или пойти два раза в цирк на французскую борьбу (при этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы)... а то можно закупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок — ничего: живешь-то ведь один раз.

В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.

— Смерть пригодишам! — прорычал злобный голос. — Смерть Морщинкину.

По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса — драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов.

— Пустн, Тарарыкин, — прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.

— Скажи: "пустите, дяденька".

— Пустите, дяденька.

Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.

— Эх ты, Морщинка — тараканья личинка. Хочешь так: ты ударь меня по спине, как хочешь, десять раз, а я тебя всего один раз. Идет?

Но многотуманная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему.

— Слушай, Тарарыкин, — сказал он после долгого раздумья. — Хочешь получить рубль?

— За что? — оживился вечно голодный прожорливый третьеклассник.

— За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене.

— А тебе это зачем?

— Чтоб меня все боялись. Будут все говорить: раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно. А ты получишь рубль... Можешь на борьбу пойти... красок купить коробку...

— Нет, я лучше пирогов куплю по три копейки тридцать три штуки.

— Как хочешь. Идет?

В Тарарыкине боролись два чувства: самолюбие первого силача и желание получить рубль.

— Что ж, брат... А если я тебе поддамся, так меня уж всякий и будет колотить?

— Зачем? — возразил сообразительный Сережка. — Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то... Ведь ты их целый месяц есть будешь.

— Неделю. Эх, Морщинка — собачья начинка, соглашаться, что ли?

Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.

— Эх! — застонал Тарарыкин. — Пропадай моя славушка, до свиданья-с, моя силушка. Согласен.

И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.

— Чего же ты дерешься?

— Так ведь чудак же: это в последний раз. Потом уж ты меня колошматить будешь.

И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк...

Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха. Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами, без помощи рук.

— Попробуй, Тарарыкин, — предложил Сивачев.

В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом:

— Куда этому Тарарышке прыгнуть — у него сейчас и ноги отвалятся.

— Ты-ы! — угрожающе зарычал Тарарыкин. — Знай, с кем говоришь! Котлету из тебя сделаю!

— Котлету! Ах ты, кухарка свиньячья!

— Отойди лучше, Морщинка, — получишь по затылку!

— Очень я тебя боялся, — лихо захохотал Сережка.

— Попробуй-ка, тронь только!

— Да и трону, — проворчал Тарарыкин.

— А ну, тронь!

— А что ж ты думаешь — не трону?

Сережка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкиным и, задрав голову, сказал иронически:

— Тронь только — кто тебя у меня отнимать будет?

Кругом засмеялись.

— Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!

— Ну, что ж ты, Тартарарыка, небось только на маленьких силач. До меня-то и дотронуться боишься.

— Я? Тебя? Боюсь? На ж тебе, получай!

Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.

— Съел?

— Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй!

Сережка взмахнул маленьким кулачком и — о чудо! К ужасу и изумлению всех присутствующих, верзила Тарарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин “переиграл”, но простодушная публика не заметила этого.

— Ого! Ай да Сережка!

Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.

— А-а, так ты так-то!

— Да-с. Вот так! — нахально сказал Сережка. — Нака еще, брат!

Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкинскую спину своими кулачками.

Все были изумлены до чрезвычайности.

Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его:

— Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?

— Кто ж его знал, — ответил добросовестный Тарарыкин. — Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки — железо. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.

— Больно?

— Попробуй-ка. Завяжись сам с ним. Ну его к Богу. Я его теперь и не трону больше...

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина и что тот, как пригодишник, плакал (последнее было уже прибавлено восторженными поклонниками), — эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться.

К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин и принес ему горькую жалобу:

— Морщинкин! Ильяшенку дерется — дай ему хорошенько, чтобы не заносился.

— Ладно! — нахмурился Сережка. — Я это устрою. А что мне за это будет?

— Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебряной бумажке.

— Тащи.

Потом подошел Португалов:

— Здравствуй, Сережка. Сердишься?

— А то нет! Свинья ты! Жалко было цветных карандашей, что ли? Обожди! Попадешься ты мне на нашей улице!

Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал:

— Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.

Три второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы.

Получили снисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.

— Ты что, упражнялся? — спросил Гукасов.

— Упражнялся, — сказал Сережка.

В конце концов, Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу.

Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой.

— Стой! — крикнул Сережка. — Отдай булку!

— Ишь ты какой! А я-то?

— Отдай, все равно отниму!

Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке.

— На, подавись!

— То-то. Ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.

В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.

— Бойшься? — спросил заносчиво Сережка.

— Еще бы. Я и не знал, что ты такой здоровый.

И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль... А что, если... Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти напролом... Насытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:

— Отдавай рубль!

— Что ты! — удивился Тарарыкин. — Ведь мы же уловились...

— Отдавай! Все равно отниму!

— Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых — попробуй-ка.

На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу.

И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченно-

го Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но... Тарарыкин опомнился.

— Ты... вот как!

Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красноватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет.

И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава... Сережка лежал, избитый, в пыли и прахе, а мстительный Кочерыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы; подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал:

— Вот тебе цветные карандаши. Поросенок!

Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой; губа вспухла, щека вспухла; на лбу была царапина, рубль пропал бесследно, дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное...

Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок... он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать... Но в передней его ждал последний удар.

Дядя поймал его за руку и сердито сказал:

— Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои стихи? Списал у Пушкина да и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома — о цирке и зверинце забудь, а во-вторых, — возврати-ка мне мой рубль.

Сердце Сережки упало...

СИНЕЕ ОДЕЯЛО

— Грачев! У тебя есть двенадцатый выпуск Ната Пинкертон?

— Нет, девятый есть. Спроси у Замирайло.

— Замирайло! Дай двенадцатый выпуск Пинкертончика.

— Ишь ты какой хитрый... А что я буду читать?

— Так ведь сейчас урок арифметики будет, не будешь же ты читать на арифметике.

— Ах, господи! Сейчас арифметика... А я что называется — ни-ни. Всю ночь читал "Дик Викольтос — душитель миллионеров"...

— А что у нас на сегодня?

— Цепное правило и правило товарищества.

— Здорово. Пойдем мы сегодня как топоры ко дну. Вот тебе и Пинкертон. Красильников! Ты приготовил?

— Приготовил... Могилу я себе приготовил. Слушай, ты не знаешь случайно, что такое правило товарищества?

— По-моему, так: главное — не фискалить, поддерживать товарища в беде, кроме того...

— Дурной ты! Я тебя об арифметическом правиле спрашиваю. Ты еще на уроке ляпни такой ответ Александру Николаевичу...

— Краснокожие!.. — возгласил дежурный, заглянув в окно. — Стройся, как говорится, к расчету. Александр Николаевич идет.

Сдержанный болезненный стон пронесся по всему классу.

“Мне смертью кость угрожала”, — прошептал Красильников, судорожно вчитываясь в Киселева, страницы которого были испещрены самыми загадочными цифрами и вычислениями.

Почти у всех в руках вместо Киселева была Бог его знает какая гадость: маленькие засаленные книжонки с аляповато, грубо раскрашенными обложками, крикливо вещавшими, что содержание их не менее зазвонисто: “Тайна мистера Пэка, или три отрезанные головы”, “Берлинский палач”, “Подземелье дьявола” — все это сплошь грубое, глупое, тошнотворно-безграмотное. Весь этот вздор при первых же словах дежурного, обращенных к краснокожим, моментально нырнул в ранцы и ящики парт, а взамен “берлинских палачей” выскочили спокойные, солидные Киселевы, Киселевы, Киселевы — целое море глубокомысленной арифметики.

— Много будет сегодня убиенных младенцев, — прощелески провозгласил Красильников.

— Типун тебе на язык.

— Ну, типун-то — это вопрос, а единица в журнале — верная.

С первой скамьи раздался судорожный писк умиравшего от ужаса и дурных предчувствий Грачева:

— Замирайло! Золотой голубчик! Спаси нас!

— Как же я вас спасу, дурные! Надо было выучить и тройное и цепное.

— А сам-то ты учил?

— Нет, положим. Я вчера у одного мальчика достал “Фантомас, убийца детей”... Впрочем, постойте, господа... Надо, знаете, что сделать? Занять Александра Николаевича разговором. Гм!.. Стоп. Нашел. Чем ушибся, тем и лечись!.. Есть. Только вы уж поддержите.

* * *

Учитель математики с завидной медлительностью положил на кафедру журнал, вынул платок, протер очки, аккуратно сложил и спрятал платок и только тогда уселся на свое место.

— Ну-с... Перво-наперво мы проверим, кого нет в классе.

Он медлительно развернул журнал.

— Авилов Илья?

— Здесь.

— Агабашев Степан?

— Здесь.

— Андриевич Николай?

— Нет его, — отвечал дежурный.

— И не будет, — вдруг мрачно пробормотал Замирайло.

— Что? — поднял голову учитель.

Все молчали.

— Кто сказал “и не будет”?

Замирайло с деланной неохотой поднялся с места.

— Я сказал “и не будет”.

— Что ж он, серьезно болен, что ли?

— Нет, — промямлил Замирайло, — не то... Да я уж и не знаю, говорить ли вообще, Александр Николаевич...

— А что такое? В чем дело? — встревоженно поднял голову добряк математик.

— Да я боюсь, как бы и мне в эту историю не запутаться... Будут еще по судам таскать как свидетеля... — И добавил с лицемерной заботливостью: — А это может отразиться на моих учебных занятиях.

— Нет, ты мне скажи, в чем дело с Андриевичем, — совсем уже встревожился учитель. — Что такое? При чем тут суд?

Замирайло, опустив голову, молчал.

— Ну же? Говори смело, не бойся.

— Ну хорошо... — вздохнул Замирайло. — Я скажу все, что знаю, там не мое дело. Вчера, как вам известно, было воскресенье. Я решил с утра пойти на реку, половить рыбу. Ну, конечно, взял с собой и учебные книжки... Киселева “Арифметику” взял. Думаю, что хотя и знаю все, но все-таки еще подзубрить не мешает. Иду это я к реке, встречаю Андриевича, под мышкой у него синее одеяло и книжки.

Замирайло на минуту замялся, потом великодушно закончил:

— Тоже учебные книжки. Он тоже шел на реку учить Киселева. “Здравствуй, голубчик Андриевич, — говорю я ему. — Куда это ты с книжками и одеялом направляешься?” — “А к реке, — говорит. — Лягу себе, — говорит, — под кустиком и тоже буду учить арифметику”. — “Ну, хорошо, — говорю я ему, — только ты садись подальше, чтобы мы не мешали друг другу учить арифметику”. Так мы и сделали. Я уселся под ивой на бережку, а он улегся, так... ярдов на сто...

— Ну, ну — и что же? — поощрил заинтересованный учитель.

— Сижу я, значит, ужу рыбку, учу арифметику (хотя, конечно, я знаю, но для верности учил еще), вдруг слышу за спиной на горке голоса... Кто эти проходящие, я не видел — сидел спиной, да и кусты мешали, но разговор я услышал такой: “Так, значит, решено, Манюк?” — “Значит, решено”. — “Деньги получишь, как обещано. Это тебе лучше лошадей”. — “А вы верно знаете, что он тут?” — “Здесь он, здесь. Взял одеяло и пошел на реку... Манюк!” — “А?” — “Только сделай же так, чтобы никаких следов не было”. — “Да уж раз река под боком, какие же следы...” Тут они прошли, и я дальше ихнего разговора не слышал... Только минут через пять до меня донесся издали какой-то разговор, потом подавленный крик, потом плеск воды!.. А потом все смолкло.

— Ну, — поощрил учитель.

— Все... — глубоко вздохнул Замирайло. — Я больше ничего не знаю.

Учитель задумался, покусывая суставы пальцев.

— Я думаю, что все это вздор. Просто случайное совпадение. Кому, спрашивается, может понадобиться жизнь Андриевича... Ну-с... А теперь приступим к правилу товарищества. Кого бы мне вызвать?..

Вдруг с места поднялся Красильников и взволнованным голосом спросил Замирайло:

— Замирайло! А какого цвета было одеяло у Андриевича?

— Синего, — с готовностью ответил Замирайло.

— Синего? Гм... Странно. Все это очень странно, — потирая лоб, прошептал Красильников.

— Что тебе странно, Красильников? — удивленно спросил учитель.

— Такое странное совпадение. Как вы знаете, господа, дом моего отца стоит на Проломной, ярдах в четырехстах от реки. А у нас есть собака — Тигр. И этот Тигр вечно шатается по окрестностям и всегда норовит прита-

щить какую-нибудь дрянь: то кусок дохлой кошки, то обглоданную кость. А вчера он является домой и приносит в зубах кусок синего... одеяла. И на куске какие-то красные пятна, запачканные землей. Тигр положил обрывок на пол и стал слизывать красные пятна...

Красильников потер ладонью лоб и умолк.

— Все? — спросил учитель.

— Все.

— Да, все это странно. Ну, я думаю, его родители сами все выяснят. Итак: правило товарищества... Вызовем мы...

— Теперь мне многое делается ясным, — громко сказал Грачев, ни к кому определенно не обращаясь.

— Что тебе ясно? — встрепенулся учитель.

Грачев встал и начал уверенным, полным тайного значения тоном:

— Вчера я зашел к Красильникову взять у него учебник арифметики. У меня мою книгу кто-то украл (мне говорили, что в городе действует какая-то шайка), а я хотел во что бы то ни стало приготовить на сегодня урок... Захожу к Красильникову, он сидит, учит правило товарищества. Поговорили о том о сем, об арифметике... Вдруг он рассказывает: “Понимаешь, — говорит, — наш Тигр принес странный обренок одеяла”. — “Обренок, — поправляю я, — а не обренок”... Ведь ты, Красильников, настаивал на том, что это обренок?

— Настаивал, — с готовностью согласился Красильников, — и сейчас настаиваю. Кусок одеяла, именно срезок от целого, и нож, очевидно, был очень острый, потому что без рваных мест.

— Все-таки что же тебе ясно? — переспросил Грачев учитель.

— Когда он показал обрывок или там отрезок, я и говорю: “Постой, да ведь это одеяло Андриевича. Я у него как-то был, сидел на кровати и как раз обратил внимание на цвет и рисунок одеяла...” Мне как-то сразу сделалось беспokoйно. “Знаешь что, — говорю я. — Пойду-ка я к Андриевичу, лучше у него возьму арифметику. Кстати же и проведаю его, как он живет”. Попрошался с Красильниковым, иду...

— Да, это верно, — подтвердил обстоятельный Красильников, — он со мной попрощался и пошел...

— Не мешай, Красильников, — раздался гул голосов.

— Иду... Прихожу к Андриевичу, встречает меня ихняя домоправительница... Как известно, господа, Андриевич сирота, сын очень богатых родителей, и живет он у

своего холостого опекуна. “Что вам?” — спрашивает меня домоправительница и все этак подозрительно на меня поглядывает. “Андриевич дома?” — спрашиваю. “Нет его, нет, и неизвестно, когда будет”. И видно, что старая ведьма старается как можно скорее спровадить меня со двора. Вдруг вижу я, из дому на крыльцо выходит цыган Манюк, про которого говорят, что он конокрад и занимается вообще всякими темными делами... И вдруг тут меня будто что в бок толкнуло. “А я, говорю, к Андриевичу пришел по делу. Мы, видите ли, устраиваем любительский спектакль, и нам нужно для занавеса синее одеяло... Андриевич говорил, что у него есть, обещал дать”. Она ка-ак расвиреплет. “Уходите, — кричит, — никаких одеял не могу вам дать! Молодого барина нет, а я без него не могу его вещей давать”. А меня как будто кто-то в бок толкает. “Мадам, — говорю я. — Я этого одеяла и не собираюсь брать с собой, вы мне только покажите его, годится ли?” Тут она взвизгнула, схватила меня за плечи, вытолкала и захлопнула калитку перед самым моим носом.

— Гм!.. — промычал учитель. — Замирайло! Выскажи свое просвещенное мнение...

— Что ж я скажу, Александр Николаевич, — скромно встал Замирайло. — Я ничего не знаю, а только у Андриевича в будущем большие деньги, и опекуну выгодно отделиться от бедного Николая...

— Так ты думаешь, что это опекун говорил с Манюком за твоей спиной?

— Уверен, — бодро сказал Замирайло.

— В котором часу это было приблизительно? — спросил учитель.

— В десять часов утра или немного позже.

— Ну, так поздравляю вас: я был вчера около этого времени на вокзале и видел опекуна Андриевича — я его немного знаю в лицо. Он сел в десятичасовой киевский поезд и уехал.

Это сообщение учителя произвело большое впечатление. Все притихли. Воспользовавшись паузой, учитель снова развернул журнал и сказал:

— Кого же бы нам сейчас вызвать?..

— Понял! — вдруг раздался голос Азешашева Степана. — Теперь не буду больше ломать себе голову.

— Над чем это, Азешашев? Над чем ты не будешь ломать голову?

— Да это пустяк, Александр Николаич. Но все-таки меня он удивил. У меня есть товарищ, сын начальника

станции... И он вчера утром позвал меня покататься на маневрирующем паровозе. Сели мы — паровоз стоял на запасном пути, сзади десятичасового пассажирского, вдруг раздается третий звонок, пассажирский трогается, и только что он тронулся, как на площадке показались пожилой господин с чемоданом, открыл дверцу площадки да и выскочил с нашей стороны, то есть с противоположной перрону. Схватил чемодан да, сделав маленький крюк, помчался в город.

— Вздор ты говоришь, Азешашев; если, как я тебя понимаю, это был опекун Андриевича, то как он мог через колеса попасть на реку и встретиться с Манюком, если от вокзала до реки езды на извозчике не меньше часу. Просто совпадение. Ну, мы все тут болтаем, а час уже скоро кончается. Ну-с, пусть нам расскажет о правиле товарищества... Батуричев, что ли.

Батуричев встал, помолчал немного и сказал:

— Правилom товарищества называется... Нет, не могу припомнить! Может быть, это и пустяк, может, это и не имеет отношения, но сказать я обязан.

Учитель был чрезвычайно удивлен таким продолжением “правила товарищества”:

— Что это ты там бормочешь, Батуричев? Что ты обязан сказать?

— Вчера утром, Александр Николаевич, я встал очень рано. Хотя было воскресенье, но, думаю, встану, поучу хорошенько правило цепное и товарищества, а потом пойду гулять... а около нашего дома помещается гараж, оттуда можно брать автомобили. Смотрю, стоит автомобиль, весь в пыли, а около ходит шофер и о чем-то разговаривает с механиком. Я тоже остановился около автомобиля, люблюсь машиной, слушаю. “Чего ж он так гнал тебя?” — “Бог его знает. Я стоял у вокзала, вдруг он подбегает, с чемоданом, пожилой такой, верно, чем-то озабоченный, вскакивает в мотор и говорит: “Поднимите верх и, не жалея машины, летите к реке, пятьдесят рублей на чай получите!” Я и погнал. Около реки из-за кустов вышел какой-то чернобородый, и они о чем-то заговорили... А я уехал”. Не знаю, почему мне запомнился этот рассказ шофера, но я...

Резкий звонок, возвещавший окончание учебного часа, прозвучал в коридоре.

Все облегченно вздохнули.

Учитель сделался задумчив.

— Да, любопытная история, любопытная. Хотел бы я знать, что случилось с Андриевичем и где он сейчас...

И вдруг встал доселе молчавший и погруженный в чтение какой-то раскрашенной книжки Авилов Антон.

— Александр Николаевич, — простодушно спросил он. — Вы, кажется, хотите знать, где сейчас Андриевич?

— Да! А ты разве знаешь?

— Я когда шел сегодня утром в гимназию, встретил его. Он сказал, что его опекун заболел и он должен бежать в аптеку и сидеть около него.

— Чего ж ты раньше молчал, чудака? — удивился учитель. — Мы тут целый час толкуем об Андриевиче, а он...

— А я не слышал. Я читал книжку... Арифметику Киселева читал. Так увлекся, что и не слышал, о чем говорят.

— Экая досада. А вы, господа, вечно какие-нибудь глупости выдумаете. Почудится им какой-нибудь вздор, они и пойдут расписывать, только время даром отнимают...

В этот момент в комнату вошел надзиратель. Сказал:

— Александр Николаич! Батюшка сейчас запиской сообщил, что на уроке закона божьего не будет. Директор просил вас заняться с классом на один час.

Сдержанный глухой стон как ветерок пронесся по классу.

— Ну-с, пинкертоны, — обратился учитель к поникшим ученикам. — Сейчас пятиминутная перемена, а через пять минут займемся правилом товарищества... Вы все так его вызубрили, что приятно будет вас спросить...

Волосы у пинкертонов встали дыбом. Будто целый лес тоненьких единиц пророчески поднялся на голове у каждого из них.

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ

(1916)

ЗАПУТАННАЯ И ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ

I

Торговец обувью Подлюкин надел потертое, порывшее на швах пальто без воротника и пешком пошел в лавку бакалейного купца Хамова.

Придя, поздоровался с хозяином и сказал:

— Дай, братец, ветчины два фунтика.

— Изволь, братец. С тебя два рублика.

— Вот тебе на! Да ведь еще позавчера она стоила по восьми гривен.

— То было позавчера, а то сегодня, — ухмыльнулся Хамов.

— Хорошо же, — угрюмо проворчал Подлюкин. — Попомнишь ты меня!

И ушел, шепча какие-то цифры.

II

Купец Хамов надел пальто с воротником из собачьего меха и на трамвае поехал к обувщику Подлюкину.

— Драсте, — сказал, входя. — Да-козь мне, голубь, какого-нибудь этакого штиблета.

— Изволь, изволь, — засуетился Подлюкин. — Вот парочка. Шестнадцать с вас.

— Как шестнадцать?! Да ведь еще о прошлой неделе я для дяди покупал по тринадцать.

— Ну, чего там на прошлой неделе! На прошлой неделе и ветчина у тебя стоила по восьми гривен.

— Так ты вот как?! — зашипел Хамов. — Обожди, придешь ко мне — я тебе удружу!

Купец Подлюкин надел новенькое пальто с барашковым воротником, сел на извозчика и поехал к бакалейщику Хамову.

— Да-кошь пять фунтов ветчины.

— Звольте. Десять рублей в кассу.

— Ах, уже по два рубля? Ладно, ладно... Расчудесно. Я знаю, что мне делать!!

IV

Купец Хамов, отправляясь к торговцу обувью Подлюкину, набросил на плечи бобровую шубу, нахлобучил собою шапку и, выйдя на крыльцо, крикнул:

— Никифор, давай!

Мордастый кучер шевельнул вожжами, и лошадь полетела.

— К Подлюкину!

Подлюкин встретил Хамова гордо.

— Ботиночки требуются? Так-с. Тридцать восемь за пару. Бери скорей, а то и этих не будет.

— Ах, ты мне так-то, — вскипел Хамов. — Ботинки я, конечно, возьму. Но уж и вашему брату у меня в лавке не поздоровится. Удружу!

V

Подлюкин надел шубу, подбитую чернобурой лисцей, и, взяв палку с массивным золотым набалдашником, вышел на крыльцо:

— Михаил! Подавай.

Автомобиль зашипел, дрогнул и плавно покотился по мостовой.

Ехал Подлюкин к Хамову.

У Хамова с Подлюкиным разговор был такой:

— Я, брат, человек справедливый: ты мне на ветчину — я тебе на ботинки, ты мне на колбасу — я тебе на калоши!

— Нас не переплюнешь, — самодовольно ухмыльнулся Подлюкин. — Вот ты с меня содрал за ботинки по 62, а я тебе колбасу по 3.80. Ты с меня за калоши возьмешь 16, а я тебе копченую грудинку по 18.50.

Злобно поглядели друг на друга и разошлись.

Читатель! Я думаю, что ни тебе, ни мне не интересна борьба двух мелких оскорбленных самолюбий Хамова и Подлюкина, если бы...

В данном случае "если бы" заключается в мелком чиновнике Пуплии Овечкине, который — Бог его знает как запутался между двумя самолюбиями Хамова и Подлюкина.

Получил он 20-го числа жалованье, надел теплое барашковое пальто и отправился на извозчике к обувщику Подлюкину.

— Ботики мне.

— Есть. 22 рубля.

— Виноват... Но ведь они раньше стоили 13.

— Мало ли. Вон и ветчина раньше стоила по восьми гривен, а теперь по рублю сорок платим.

Через неделю Пуплию Овечкину понадобилась ветчина.

Надел он весеннее пальто и, ежась от холода, отправился на трамвае к Хамову.

— Ветчинки бы.

— Пожалте! Два десять за фунтик.

— Что вы! А раньше рубль она стоила.

— Эх, раньше! Да раньше, господин, ботики стоили 13 рублей, а теперь 24.

— Это верно, — вздохнул Пуплий Овечкин. — Извините, что усомнился...

Через неделю надел Пуплий летнее пальто и, перепрыгивая с ноги на ногу от холода, отправился пешком к Подлюкину:

— Ботинки надо.

— Пятьдесят.

— Ох!!..

— Мотыка! Убери этого, который в обмороке. Отнеси в заднюю комнату, где приводят в чувство. Ботиночки-то он все-таки за пятьдесят возьмет! Шалишь, брат.

...Метель разыгралась вовсю, когда Пуплий Овечкин в одном вицмундире, без пальто, дую в кулак, бежал к лавке Хамова.

— Колбаски мне... восьмушку фунта.

— Сто...

— Чего сто? За что сто?

— Вообще, сто. Нам все равно. А если за штиблеты дерут пятьдесят, то мы тоже, знаете, извините... Разо- ряться не намерены.

И, запахнувшись в шубу, усыпанную крупными изумрудами, Хамов строго поглядел на Пуплия Овечкина.

— Можно мне умереть? — робко спросил Пуплий.

— Пожалуйста. Только имейте в виду, что теперича гроб кусается... и лошадь, которая с попоной, кусается.

Однако Пуплию уже было все равно.

Он покачнулся, икнул и помер.

— Савелька! — крикнул Хамов. — Убери эту жертву всеобщей дороговизны!

И, надев шапку, украшенную крупным солитером, окруженным рубинами, пошел гулять.

Сзади на случай надобности шагом следовал автомобиль и пара серых в яблоках, грушах и ананасах...

VII

По-вашему, это — басня?

По-моему, не басня.

А если и басня, то читатель нашей книжки такой умный, что выведет себе мораль и без автора.

VIII

Говорят, что все дорожает, потому что спрос превышает предложение...

Дорожают и такие товары, как веревка и мыло, а спрос на них, однако же, небольшой.

И жаль.

Надо бы, чтоб спрос на них был большой.

Следует.

БЕЗ ЕЛОЧКИ

Подобно тому как в мирное время большинство штатских граждан делаются на две недели солдатами, отправляясь на так называемый "учебный сбор" — так и в редакциях газет перед Рождеством и Пасхой мобилизуются все наличные силы для писания праздничных рассказов...

Передовик пишет пасхальный рассказ, злобист, обозреватель провинциальной жизни пишет — и даже беговой рецензент пытается застенчиво и робко сунуть в грозную редакторскую руку неуверенный рассказ из жокейской жизни.

Таков бытовой уклад. Не от нас это повелось, не нами и кончится...

Специалист по вопросам кооперации Кривобоков сидел у себя дома в столовой, заменявшей ему кабинет, и писал для газеты статью: "Вопросы кооперации в Соединенных Штатах".

Вошла жена и озабоченно сказала:

— Проваливай отсюда, сейчас будем окна мыть, пыль сметать.

— А может быть, не стоит, — пролепетал кроткий Кривобоков, только что настроивший себя самым кооперативным образом.

— Вот еще новости! Праздники на носу, а мы будем в грязи сидеть... В этакий-то праздник!

— Неужели уже праздники?

— А ты что же думал?!..

Как раз в этот момент с колокольни ближнего собора ударил густой колокол, а из кухни потянуло запахом чего-то дьявольски скоромного — не то запекаемого окорока, не то индейки.

— Гм!.. — подумал Кривобоков. — А ведь, пожалуй, и действительно праздники. Надо будет рассказец праздничный нажарить...

Он побрел с чернильницей и бумагой в спальню и уселся за туалетный столик.

Четырехлетняя Нюся взобралась к нему на колени, любовно поцеловала его в нос и спросила:

— Папочка, праздники скоро?

— Да, детка.

— А мне елочка будет?

Кривобоков поглядел на дочку своими туго соображающими кооперативными глазами и медленно переспросил:

— Е-лоч-ку? А почему бы я тебе ее и не устроил? Конечно, будет и елочка. Только ты, Нюся, не мешай мне. Я сейчас напишу рассказец, а потом тебе и елочка будет.

Нюся ушла, а Кривобоков опустил голову на грудь и глубоко задумался.

— Елочка... Чем же и побаловать ребенка, как не елочкой. О, Боже, Боже, как несчастны те детки, родители которых не могут сделать им елочки... Напишу-ка я рассказ о бедных детках, у которых не было елочки.

Кривобоков обмакнул перо в чернильницу и принялся писать.

Но так как он был добрый человек, то и рассказ у него выходил хороший, добрый.

Дело было вот в чем: папа бросил маму и ушел к другой, нехорошей женщине... Мама и детки стали жить в домике, на окраине города, где уже начинался лес. И вот наступила Рождественская ночь, а елки у деток (мама ихняя была бедная) — не было, если не считать одной большой елки, которая стояла на опушке леса, перед самыми окнами обездоленных деток. И что же! В Рождественскую ночь папе вдруг делается жаль своих деток, он покупает им игрушек, елочных украшений, но так как раскаявшийся грешник боится войти в дом, то он и украшает купленными игрушками елку, стоящую совсем на улице перед окнами детей. И дети, проснувшись, видят елку, и мама видит, и папу все видят около елки — и все плачут, кто как: дети и мама радостно, папа смущенно, и даже елка плачет, потому что уж, действительно, трудно сдержаться.

Хороший вышел рассказ.

Идя в редакцию, Кривобоков распахнул шубу и, отдуваясь, думал так:

— С этой кооперацией возишься и совсем не замечаешь, что климат у нас в России меняется с каждым годом. Теплынь такая, что хоть в летнем пальто ходи. Бывало, раньше на Рождество эва какие морозы завинчивали... Положим, в ледниковый период и летом все было завалено льдами, а теперь... Гм... да! Очень оригинальная штука — природа.

— Рассказ принесли? — встретил его редактор. — Давайте.

Взял рассказ, прочел. Задумался.

— Скажите, вы сколько времени шли из дому?

— Минут двадцать. А что?

— А я думал — четыре месяца.

— А что? — обеспокоился Кривобоков. — Устарелый рассказ?

— Черт его знает, как его рассматривать: если он написан для прошлого Рождества — он устарел. Для будущего — он очень молод. Вопросы кооперации — вещь, конечно, хорошая и нужная, но уж очень эта вещь мозги засаривает. Знаете ли вы, что теперь не Рождество, а Пасха?

Кривобоков оторопел.

— Серьезно?!.. Что же это я, действительно... Постойте! А как же дочка моя елку у меня просила?..

— А ей сколько лет?

— Четыре.

— А вам чуть не сто! Стыдитесь. Забирайте ваш рассказ.

— Может быть, вы как-нибудь... тово... ошибаетесь? — робко прошептал Кривобоков. — Я хорошо помню, что нынче у нас сметали пыль, запекали окорок... Опять же колокол звонил...

— Это ничего не доказывает, — сухо возразил редактор. — Эти явления повторяются и на Пасху, и на Рождество.

— Так знаете что? Пусть и рассказ мой будет пасхальным, а?

— Тоже вы скажете. Там одного снегу сколько...

— Снег уберем.

— Детишки у вас резвятся вокруг елки в полушубках...

— Детишек разденем.

— А елка? Куда ж вы елку сунете?!

— Елка?.. Елку? А мы вместо нее устроим пасхальный стол. Папа ихний вместо елки, вместо игрушек покупает кулич, окорок, крашеные яйца и украшает пасхальный стол.

— Но ведь у нас вся суть в том, что папа этот анафемский делает свой сюрприз потихоньку на улице!..

Кривобоков защищал свое детище с мужеством отчаяния:

— Ничего не значит! Мама выставила стол на улицу, потому что в квартире было тесно, а папа потихоньку подкрался с окороком и куличом, положил на стол... и... тово...

Кривобоков споткнулся, весь обмяк и сконфуженно умолк.

— Нет, — с достоинством сказал редактор. — Еще елка могла стоять на улице, в лесу, но чтобы стол стоял на улице, в лесу... Нам таких рассказов не надо. Напишите лучше к четверговому номеру "Вопросы кооперации на Скандинавском полуострове".

* * *

О, Боже, Боже!.. Как несчастны те детки, которые лишены лучшей радости ребенка — зеленой, кудрявой елочки!

Не одно читательское сердце сожмется, узнав, что у малютки Нюси так и не было в эту Пасху зеленой, кудрявой елочки...

Бедные городские дети!

ЛЮДИ, БЛИЗКИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказало разнеженным голосом:

— Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство!.. Вот я на днях был в Эрмитаже, такие там есть картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Теннисры, голландцы и прочее в этом роде.

Секретарь подумал и сказал:

— Да, живопись — приятное времяпрепровождение.

— Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь... Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли...

— Гуно — хороший композитор, — подтвердил секретарь. — Вообще, музыка — увлекательное занятие.

— А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?

— Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

И я понял в одно мгновенье...

Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!

— Да-с. Стихи чрезвычайно приятные и освежительны для ума.

— А науки!.. — совсем разнежась, прошептало его превосходительство. — Климатология, техника, гидрография... Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах?

— Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в неизвестности.

— Надо их открывать и... как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.

— Некому поручить, ваше превосходительство!

— Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?

— Полиция, ваше превосходительство!

— И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится.

— О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке!

— Почему вторым? Я могу быть и первым!

— Первый уже был. При Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и другие.

— А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркуляриком.

Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу:

“2 февраля 1916 г.

Второе делопроизводство
департамента.

Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, — немедленно доводить до вашего сведения и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции”.

Очнулся.

— Позвать Илью Ильича! Здравствуйтесь, Илья Ильич! Я тут получил одно предписание: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!

— Слушаю-с.

— Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.

— Ага, зовите его! Здравствуйтесь! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и,

по разыскании и выяснении их знания и прочего, сообщать об этом нам. Понимаете?

— Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.

* * *

— Становые пристава все в сборе?

— Все, ваше высокоблагородие!

Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь:

— До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.

* * *

Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:

— Ребята! До сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством — музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело очень серьезное и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?

— Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.

— Ну, вот то-то. Ступайте!

* * *

— Ты Иван Косолапов?

— Я, господин урядник!

— На гармонии, говорят, играешь?

— Это мы с нашим вдовольствием.

— А-а-а... "С вдовольствием"? Вот же тебе, паршивец!

— Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?

— Вот ты у меня узнаешь "вдовольствие"! Я вас мерзавцев всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?

— Что вы, господин урядник? Нешто возможно? Мы, слава Богу, тоже не без понятия.

— А кто же у вас тут климатологией занимается?

— Надо быть Игнашка Кривой к этому делу причinen. Не то он конокрад, не то это самое.

— Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.

* * *

— Ты — Кривой?

— Так точно.

— Климатологией занимался?

— Зачем мне? Слава Богу, жена есть, детки...

— Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?

— Так нешто я один. На лугу-то запрошное воскресенье все пели: Петрушка Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петряй...

— Стой, не тарахти! Дай записать... Эка, сколько народу набирается. Куда его и сажать? Ума не приложу.

* * *

Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции доношения:

"Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого запирательства, изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения".

* * *

Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним "Проделки Скапена".

А Лафонтены и Мольеры, сидя по "холодным" и "кордегардиям" необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

С одним токарным станком случилось то же, что случается с кораблем, проплававшим в море несколько лет: спускают в воду корабль чистенький, новенький, с подводной частью, свежевыкрашенной прочной краской, а посмотрите — во что превращается эта подводная часть через год-два?..

Столько налипло на дне разной слизи, ракушек, моллюсков, водорослей и пауков, что удивляешься: как вся эта чепуха не потянула своей тяжестью корабль ко дну?!..

Токарный станок, о котором я говорю, проплавал в море житейском всего несколько дней, а превратился в то же, во что превращается дно корабля после многолетнего плавания.

* * *

Я сидел у приятеля, человека очень предприимчивого и бойкого. Когда разговор о Государственной думе иссяк, он вдруг спросил в упор:

— Ты видел когда-нибудь, как покупают токарные станки?

— Не только этого не видел, но, кажется, и станков токарных видеть не доводилось. А ты почему спрашиваешь?

— Да я должен сегодня купить один станок.

— Господи Иисусе! Для чего он тебе?

— Мне он ни на что не нужен. Я его сейчас же и продам. Тысячи полторы можно заработать.

— Ты разве в станках понимаешь?

— А что в них понимать: станок себе и станок. Ко мне должен прийти сейчас один человек, у которого есть такой станок... Да вот и звонят. Наверное, он.

Вошел человек крайне урезанного, обиженного вида. Серенький костюмчик сидел на нем очень неуютно, и вся его манера держать себя напоминала беспокойные манеры человека, вошедшего в клетку со львами. За этим обиженным человеком шел другой, очень гордый, раз навсегда удивленный своими успехами в обществе.

Обиженный поздоровался и, указывая на упоенного собой, сказал:

— Видите ли, станок, собственно, не у меня, а у него. Это Михаил Борисович. Михаил Борисович отыскал станок, а я отыскал Михаила Борисовича!..

— А при чем же вы сейчас, — очень твердо заметил мой приятель.

— Как при чем?! Мы работаем вместе. Если вы мне не дадите десять процентов, так он вам даже не покажет станка.

После длинного разговора о процентах, благополучно завершившегося какой-то распиской, мой приятель спросил:

— А где же этот ваш станок?

— Где? Это секрет, где.

— Так я ведь вам уже выдал расписку — при чем тут секрет?

— В таком случае я вам скажу проще: я не знаю, где этот станок.

— Как не знаете? Потеряли вы его, что ли?!

— Наоборот — я его нашел. Только я не знаю, где он стоит.

— А кто же знает, черт возьми?!

— Трейгис знает.

— Какой Трейгис?..

— Вы наденьте пальто, выйдем на улицу. Он тут на улице нас дожидается.

— Значит, это станок не ваш, а его?..

— Какая вам разница? Мы же продаем.

— Так почему же вы не привели его сюда?

— Что вы! Как же мы можем ему показать вас до получения куртажной расписки? Вы ведь могли сговориться с ним помимо нас.

— А теперь можно меня показать?

— Можно.

— Да сами-то вы станок видели?

— На что нам видеть? Что это, пьеса в Александринском театре, что ли? Какое может быть зрелище? Вы мне сказали, что вам нужен станок — хорошо. Я говорю Михаилу Борисычу: им нужен станок. Он говорит: хорошо, я знаю человека, который имеет этот станок.

— Это — Трейгис?

— Может, Трейгис, а может, не Трейгис. Но Трейгис знает и где этот станок, и что этот станок, и почему этот станок.

— Ну, ладно. Показывайте нам этого знаменитого Трейгиса.

— А они? — спросил Михаил Борисыч, указывая на меня. — Они с вами тоже работают?

— Нет, он так, — засмеялся мой приятель. — Ему просто любопытно, как это покупают станки...

После этого интерес у компаньонов ко мне сразу упал, и они стали смотреть сквозь меня, как сквозь невидимое глазу стекло.

* * *

На улице к нам подошел маленький толстый черный господин и, жадно поглядывая на моего приятеля, спросил компаньонов:

— Ну, что? Где он?

— Вот он.

— Это вы хотите иметь токарный станок?

— Я.

— Вы его будете иметь. Он стоит 5400.

— Как так? А они мне говорили: 5000.

— Да, так, а я — что же? Собака? Мне нужно своих 400 рублей получить или не нужно?

— Ну да ладно. Где этот ваш станок?

— Я вас повезу в самое то место, где стоит станок. В самое, так сказать, станковое гнездо. Но мы раньше зайдем в эту лавочку — вы мне напишете расписку на 400 рублей.

— Да станок-то ваш?!!

— Мой, не мой — от этого станок лучше не делается. Я вас проведу до самого хозяина станка.

Признаюсь: меня так заинтересовала сложная процедура “покупки токарного станка”, что я увязался за приятелем.

* * *

Трейдис с самым таинственным видом привел нас к дверям большого каменного сарая во дворе дома, выходящего окнами в узенький переулок. Не открывая дверей сарая, таинственный Трейдис сказал:

— Сейчас я позову хозяев этого станка. Это уже настоящие хозяева.

Он побежал куда-то в глубь двора, постучал в какую-то замасленную дверь и, выведя оттуда двух людей, сказал нам:

— Вот они.

Один был большой, другой маленький, один рыжий, другой блондин. В одном только владельцы станка сходились: оба держались крайне замкнуто и непроницаемо.

— Вы хотите видеть наш станок? Идите посмотрите.

Мы вошли внутрь сарая. В одном углу стоял знаменитый станок, в другом сидел на опрокинутом ящике мрачный латыш в бараньем полушубке и сосредоточенно курил трубку.

Не обращая на него внимания, хозяева станка подвели моего приятеля к станку, и между ними завязался длинный горячий разговор.

Я стал скучать: ни разговор, ни станок, ни сидевший в углу латыш не представляли собой ничего замечательного.

— Этот господин ваш компаньон? — спросили наконец владельцы станка.

— Нет, он так себе.

— В таком случае вы пожалуйста в нашу контору, а он пусть здесь подождет.

— Ты извини, я сейчас, — кивнул мне приятель, направляясь со всей процессией компаньонов и посредников в глубь двора к замасленной двери.

Я остался наедине с молчаливым латышом и таким же застывшим, молчаливым станком.

— Гм, гм! — откашлялся я. — Холодно.

— Да, холодно, — угрюмо отвечал латыш.

— Вы тут работник?

— Нет, я приезжий.

— Это токарный станок?

— Токарный.

— Сколько он стоит?

— Три тысячи двести.

— Как три тысячи двести?! А двое, хозяева, просили за него пять тысяч четыреста!

— Не знаю.

— Ну, да, вы, значит, просто не знаете, сколько стоит станок.

— Знаю. Три тысячи двести.

— Да позвольте, это чей станок? Высокого или низенького?

— Мой это станок.

— Ваш?!!

— Мой. Я его продаю за 3.200. Я его привез из Юрьева.

— А они кто же? Эти люди?!

— Не знаю. Я продаю за три тысячи двести.

— Мне можете продать?

— Да. За три тысячи двести.

Я усмехнулся, вынул из кармана пятьсот рублей и сказал:

— Вот задаток. Станок за мной.

И, давась от смеха, пошел в “контору”.

Это была маленькая, совсем пустая комната, если не считать кривого стола и полдюжины пустых ящичков.

Все шестеро — покупатель, посредник и продавцы — сидели на этих ящичках и кричали так, что даже не заметили моего появления:

— Я же вам говорю, что он себе стоит 4800... Нужно же нам что-нибудь заработать?!

— Нет, — ревел мой приятель. — Нет, нет и нет! Больше четырех с половиной я не дам.

— Согласен! — сказал я, хлопнув его по плечу... — Станок за тобой...

* * *

Это был день, когда я, не ударив палец о палец, заработал 1300 рублей только потому, что меня бросили одинокого, ненужного в холодном сарае.

Это был день, когда я провалил все торговое предприятие двух знаменитых компаньонов, потому что вся контора их, как я узнал после, только и создана была около этого станка и ради этого станка...

Это был день, когда я разорил трех самых бойких и способных посредников...

И наконец, это был день, когда я видел самую печальную в мире процессию: впереди компаньоны с пачкой забранных из конторы деловых бумаг (стол и пустые ящички были подарены ими дворнику за услуги); за компаньонами угрюмо шагал вконец разоренный Трейгис, а за ним, совсем убитый, плелся Михаил Борисович под руку со своим товарищем.

* * *

Я соскоблил всех моллюсков, прилипших к корабельному дну, и корабль-станок теперь уже спокойно и уверенно плыл в тихую гавань...

УТОЧКИН

Лучи солнца имеют свойство, которое, вероятно, не всем известно... Если человек долго находится под действием солнечных лучей, он ими пропитывается, его мозг, его организм удерживают в себе надолго эти лучи, и весь

его характер приобретает особую яркость, выразительность, выпуклость и солнечность.

Эта насыщенность лучами солнца сохраняется на долгое время, пожалуй навсегда.

Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы еще так недавно искренно оплакали.

Он умер и унес с собой частицу еще не израсходованного запаса солнца.

А излучался он постоянно, и все его друзья и даже посторонние грелись в этих ярких по-южному, пышных струях тепла и радости.

Кто таков был Уточкин, каков был его характер, какова была его жизнь — знают многие, а Одесса, пожалуй, — и вся. Эта милая, веселая, любопытная Одесса, этот огромный “журнал Пате, который все видит” сквозь огромные зеркальные окна своих кафе и ресторанов, — вся Одесса напоминает мне огромное окно в кафе, сидишь уютно у самого стекла, и перед тобой проходит вся жизнь огромного города...

Поэтому Одесса прекрасно знает “своего” Уточкина, и сотни хороших беззлобных анекдотов об Уточкине на устах у всех одесситов.

Теперь бедняга Уточкин уже — область истории, и поэтому я считаю себя вправе внести и свою лепту в сокровищницу рассказов об Уточкине и изложить здесь один случай, который с особенной выпуклостью характеризует этого удивительного человека.

Южное солнце пропекает человека до самого нутра, до самой сути. Вот почему от всего, что делал Уточкин, веет жарким летним загаром пышного богатого июля месяца.

Веселье и юмор искрятся в каждом его шаге, в каждом его трюке. Веселье, юмор, легкая безобидная плутоватость, головокружительная, но спокойная смелость и неожиданная выдумка.

Таков Уточкин, и таков случай с автомобилистом-инженером.

Об этом случае я и пишу.

* * *

Кому-то из неугомонных одесситов пришла в голову мысль — устроить состязание автомобилей между Одессой и Николаевом.

Устроили.

Участвовал, конечно, и Уточкин.

До Николаева добрались благополучно, и это неожиданное благополучие так обрадовало гонщиков, что в Николаеве за обедом напились.

У всякого человека опьянение выражается по-разному. Есть милые добродушные люди, которые, размякши, как пуховая перина, плачут восторженными слезами и пытаются зацеловать и обсклонить все окружающее — будь то приятель, лошадь, собака или даже бездушная спокойная дверь, которая не всегда даже взвизгнет при таком вольном обращении.

Но есть пьяные — страшные. Их маленькие свирепые глазки наливаются кровью, и они подозрительно и свирепо, по-носорожьему, шныряют этими пытливыми глазками по всем лицам — нельзя ли к чему-нибудь придраться и учинить скандал... Тут все годится: простое человеческое слово, движение, даже взгляд.

В характере такого пьяного, действительно, много носорожьего: так же его раздражает все постороннее, все свежее, на все он тупо и злобно набрасывается, только других пьяных он щадит, и их присутствие его не раздражает. Впрочем, и носорог довольно спокойно переносит присутствие другого носорога.

Инженер Зет выехал из Одессы в самом хорошем настроении, в таком же настроении приехал в Николаев, в таком же настроении сел за стол и выпил несколько бокалов вина. Никто его не замечал, никто не обращал на него особенного внимания, а между тем глаза его все краснели да краснели, рот все кривился да кривился. А за сладким рыжие волосы его неожиданно поднялись дыбом, он вскочил, обрушил рыжий веснушчатый кулак на стол и загремел как гром среди ясного неба:

— Ш-што-сс?! Ма-а-алчать! Пр-рошу не шуметь!! Кто тут шумит? Б-бутылкой по голове за это!

— Набрался, — скорбно сказал кто-то. — И как тихо — никто и не заметил.

— М-а-алчать! Что за шум?

— Да ведь это вы сами и шумите, — засмеялся его сосед.

— Што-о-о? Смеешься? Надо мной смеешься? Как собак перестреляю!!!

Хотя он был и пьян, но слово у него строго и гармонично вязалось с делом: в ту же секунду в руках инженера сверкнул новенький семизарядный браунинг.

— Ну, кто хочет? Подходи!!

Вопрос был праздный, потому что не хотел решительно никто. Наоборот, все отхлынуло от предприимчивого инженера и, как теплый квас из откупоренной бутылки, брызнуло во все стороны.

* * *

Возвращались обратно в Одессу.

— Господи, — заметил кто-то, — не только наш инженер, но и его шофер не вяжет лыка. Как быть?

— Оставим их здесь. Послушайте, инженер! Вы устали, оставайтесь до завтра, хотите?

— А ты вот этого хочешь?

“Это” — был тот же новенький браунинг, направленный рыжей, чуть-чуть трясущейся рукой в толпу спортсменов.

— Слушайте! Надо отнять у него револьвер... Ведь он нас всех может перестрелять, как куропаток.

— Поп...робуйте, отним...мите, — усмехнулся пьяный, сверкая красными глазками. — Первому, кто подойдет — пуля в глаз.

— Черт с ним, пусть едет.

— И поэ...эду! Ты мне не указ! Зах...хочу и поэ...эду. А? Шофер! Готовь мою машину!

— Хор...шо, — сказал шофер, покачиваясь и совершенно игнорируя хозяйский револьвер. — Готово! Пожалте!

Выехали из Николаева.

Через несколько минут были уже у знаменитого спуска, который так крут, что приходится пускать в ход все тормоза и даже тормозить цепью, что делается только в самых исключительных, опасных случаях...

И вдруг пыхтение и шум моторов покрыл пронзительный пьяный голос:

— Господа! Хотите видеть рекорд? Смотрите! Уже! Ставлю всемирный рекорд!!

Инженер вылез из автомобиля (у него был прекрасный 100-сильный “бенц”), сел верхом на радиатор и командовал шоферу:

— Володя! Шпарь во весь дух.

Общий крик ужаса подавленно прозвенел в воздухе.

— Он с ума сошел!

— Он погибнет!

— Верная смерть!!

— Остановите его! Стащите его с радиатора!

— Кого? — взревел пьяный инженер, весело и грозно оглядывая спутников. — Меня? А это видали? Хотите попробовать?

— Хоть бы он револьвер выронил, — чуть не плакал кто-то.

— Я? Выроню? Нет, брат, я не выроню...

И действительно: хотя инженер сидел на своем радиаторе, как цирковой жокей на крупной лошади, рука его прочно и непоколебимо сжимала рукоятку браунинга.

В это время на сцену впервые выступил Сережа Уточкин, сам влюбленный в разные “рекорды” и сам не щадивший своей головы во многих спортсменских авантюрах.

— В... вот, почему вы, — по обыкновению заикаясь начал он. — Почему вы боитесь за него? Он съедет, ей-Богу.

— Как съедет? Да вы видите, какая крутизна? Тут костей не соберешь!

— В... вот, это для трезвого. А пьяный, ей-Богу, съедет, как по маслу.

— Да почему?!

— Пья-а-аным везет.

Инженер в это время хлопнул в ладоши, пьяный шофер дал почти сразу полный ход, и “бенц” под общий рев ужаса, просвистев, как пуля, слетел вниз по головокружительной крутизне.

Все открыли зажмуренные глаза и со страхом взглянули вниз. “Бенц” замер в полуверсте совершенно невредимый, а инженер по-прежнему сидел верхом на радиаторе, раскланиваясь, пошатываясь, и посылал всем воздушные поцелуи...

* * *

Инженер не только не успокоился после своего “рекорда”, а наоборот — успех раззадорил его еще пуще: он решил, что так — просто и спокойно — ехать скучно и поэтому, завладев рулем, принялся “срезывать носы” другим автомобилям.

А когда раздался общий крик протеста, потому что катастрофа висела на волоске, инженер совсем разошелся: обогнал всю компанию, поставил свою машину поперек дороги и заявил, что считает вообще всякие гонки пошлостью и своей властью прекращает эту скуку и безобразие.

— Связать его! — крикнул кто-то из наиболее нетерпеливых.

— Любопытно мне это, — засмеялся инженер, направляя дуло револьвера на инициатора этой затеи. — Подойдите-ка, молодой человек, подойдите... Чего же вы прячетесь за автомобиль?

Теперь вся дорога, озаренная заходящим солнцем, имела такой вид: у поворота сгрудились все автомобили, около которых в нерешимости стояли гонщики, приседая всякий раз, когда на них направлялось злое дуло. Шагах в пятидесяти от общей массы стоял одинокий “бенц”, к которому прислонился предприимчивый инженер с наведенным на группу озлобленных гонщиков револьвером.

Так простояли минут десять.

— До ночи мы будем так стоять? — спросил кто-то с горькой иронией.

Вдруг заговорил Уточкин:

— П...постойте, господа... О...о...он хороший человек, только пьяный. Я с...с ним поговорю, и все уладится. У него револьвер-то заряжен?

— Заряжен. Я сам видел.

— Сколько зарядов?

— Все. Семь.

— В... вот и чудесно. О, он славный человек, веселый, и я с ним поговорю... Все уладится!

Уточкин вынул из своего мотора две пивные бутылки (очевидно, запас, взятый на дорогу), положил их под мышку и спокойно, с развальцем, зашагал к злое дуло “бенцу”.

Все притаили дыхание, с ужасом наблюдая за происходящим, потому что в глазах инженера не было ничего, кроме твердой решимости.

— Не подходи!! — заорал он, прицеливаясь. — Убью!!

Так же спокойно и неторопливо остановился Уточкин в пятнадцати шагах от инженера, расставил рядышком свои бутылки и, вынув носовой платок, стал утирать пот со лба.

— В... вот, солнце зашло почти, а жарко!..

— Я стреляю! — заревел инженер.

— И в... все ты хвастаешь, — вдруг засмеялся Уточкин, искоса одним зорким глазом наблюдая за инженером. — “Стреляю, стреляю!” А т... ты раньше мне скажи, умеешь ли ты стрелять...

— Хочешь, между глаз попаду? Хоч... чешь?

— В... вот ты дурак! А вдруг промахнешься? Зачем зря воздух дырять? Докажи, что умеешь стрелять, попади в бутылку, в... вот я и скажу: д-да, умеешь стрелять.

— И попаду! — угрюмо проворчал инженер, подозрительно глядя на Уточкина.

— Что? — засмеялся добродушно и весело Уточкин.
— Т...ты попадешь? А хочешь на пять рублей пари, что не попадешь? Идет?

И столько было спортсменского задора в словах Уточкина, что спортсменский дух инженера вспыхнул как порох.

— На пять рублей? Идет! Ставь бутылки.

— В...вот они уже стоят. Двадцать шагов. Только смотри, стрелять по команде, а то я вас, шарлатанов, знаю — будешь целиться полчаса.

Уточкин сделал торжественное лицо, вынул из кармана носовой платок и сказал:

— В...вот, когда махну платком. Ну, раз, два, три!

Бац! Бац, бац!..

— Ну, что? В...вот стрелок, нечего сказать, в корову не попадешь! Од...ну бутылку только пробил. А ну! Раз, два, три! Пли!

Бац, бац, бац, бац!..

— Эх, ты! Из семи выстрелов одну бутылку разбил... Сап...пожник! А теперь довольно, едем в Одессу, нечего там. Садись!

— Ш-што?

Снова поднял свой револьвер инженер, поглядел с минуты на револьвер, на Уточкина и вдруг осел, как-то обмяк, опустил и, сунув пустой револьвер в карман, покорно и робко полез на своего "бенца".

Несколько гонщиков приблизились к машине, с презрением оглядели инженера, а один сплюнул и сказал:

— Туда же, с револьвером! Пьяница паршивая.

Инженер отвернулся, согнулся еще больше и, жалкий, маленький, застыл так.

Уточкин вернулся к своей машине спокойный, невозмутимый, только глаза его усмехались:

— В...вот, он добрый, хороший, только дурак.

И общий смех вырос и разбежался в похолодевшем воздухе; и никто не хотел сознаться, что в этом смехе топили неловкость перед тем человеком, который только сейчас так мило и с таким юмором рискнул жизнью, чтобы вывести несколько десятков человек из глупого положения...

Южное солнце родит светлые мысли и красивые жесты...

— ...Вообще, эти спасательные круги — чистейший предрассудок, — усмехнулся мой собеседник, выпив одним духом большую кружку пива.

— Ну! Почему?

— Видели вы когда-нибудь человека, который был бы спасен спасательным кругом? Разговаривали с таким человеком?

— Признаться, не видел. Не разговаривал.

— То-то и оно. И я тоже. А что встречаются люди, которые гибнут из-за этих самых спасательных кругов, — так это верно.

— Положим, я и этого сорта не встречал.

— А я встречал на своем веку. Двух. Один — мой приятель. Пил он, знаете ли, пил и допился до того, что прыгнул однажды на Фонтанке с моста в воду. Ну, конечно, в холодной воде сразу отошел, кричит, вопит: "Спасите!" Городовые в Петрограде понатыканы на каждом углу. Один такой — человек, очевидно, очень рачительный, старательный — сорвался со своего поста, прибежал на крик к перилам моста, сорвал спасательный круг да как шваркнет его в воду! Так что ж вы думаете? Круг-то, вместо того чтобы упасть около утопающего, возьми да и попади ему в голову. Можете представить, получив этакий шок, мой полупьяный утопленник охнул, схватился руками за голову, нырнул — только его и видели... Вот тебе и спасательный круг. Спасли... Нечего сказать.

— Утонул?

— Конечно. От этакого-то удара? Ведь круг, он тяжелый, основательный.

— Та-ак... А кто же второй погиб от спасательного круга?

— Да я.

— Что вы говорите!

— Вот вам и что говорю.

Пиджачишка с чужого плеча, белье грязное, на ногах опорки и голос такой, что сами все понимаете.

В пивной, где я встретил этого странного человека, кроме нас, никого не было.

Я сразу же сделал равнодушное лицо (самый верный способ заставить собеседника говорить).

— Охо-хо! Был я тогда просто голодным человеком. Жена больная лежала, со службы выгнали, ну и прочее, что вы своей фантазией дополнить можете. Бродил, бро-

дил я по улицам, с каждым шагом все больше и больше превращаясь из овечки в волка. Добродился до того, что сам себе поставил такое задание: "украсть надо". То есть, вы знаете, только когда решишь заняться этим — поймешь, как ловко и прочно человечество охраняет свою собственность. Конечно, профессионалам эта охрана — плевое дело, но я ведь тогда был только робкий дебютант, и поэтому меня с первых же шагов поразила такая удивительная постановка буржуазного строя жизни. Все было очень искусно запрятано, все заперто, около всего стояли или люди, или торчали крепкие железные решетки.

Два дня бродил я так около железных засовов, крепких дверей и часовых... И только на третий день нашел один предмет, который не был ни заперт, ни охраняем, ни хотя бы прикреплен к чему-нибудь... Это был прекрасный новенький спасательный круг, висевший на столбе в конце одного безлюдного моста. Я поспешно, дрожащими от страха руками, снял его, спрятал под пальтишко и сломя голову понесся на толкучий рынок. Не идиот ли?!

— А почему?

— А вот слушайте. Обращаюсь к одному: "Дядя, не купите ли кружок хороший спасательный, совсем новенький". Осмотрел его внимательно, спокойно, этаким истовым кладноокровным бородач, и спрашивает, глядя на меня лучезарными глазами: "А для чего он мне?" — "Как для чего?" — "Да так. Ведь тонуть я не собираюсь". — "Ну, уж и тонуть, — смутился я. — А может, в хозяйстве пригодится?.." И сам чувствую, что говорю вздор... "Это круг-то этот? В хозяйстве? Да что ж я в него собаку заставлю прыгать или велисапед сделаю? Проходи, паренек!" До вечера я с этим кругом маялся, пока скачущему фараону на глаза не попался. "Это, говорит, что у тебя?" — "Круг, господин городской". — "А чей?" — "Да мой!" — "Для чего же он тебе? Если взаправду топиться собираешься, так круг ни к чему, а если нет — так тем паче. А?! А промежду прочим, пожалуйста в участок. Там все это распутают".

— Ну?

— Распутали. На два месяца. Взмолился я, когда судья объявил об этой такой мере пресечения. "За что же, помилуйте?" — "За кражу чужой собственности, вот за что". — "Да какое же оно чужое, оно общее". — "Нет, не общее оно, а специально для погибающих предназначено". — "Да я, может быть, и был такой погибающий. Верите — два дня ничего не ел". — "Очень возможно, но только вы сухопутный погибающий, а это для тех, кото-

рые морские погибающие, важнее". — "Да ведь я в тюрьме совсем погибну, господин судья!" — "А это уж ваше дело. Вам виднее".

— Посадили?

— Конечно. Вот вам и спасательный круг.

Лгал он или нет — во всяком случае, эта история имела некоторый философский оттенок.

По своей привычке обобщать частные случаи и делать из них выводы я призадумался, а он потрепал меня по плечу и, держа в руках истрепанную грязную фуражку, предостерег на прощанье:

— Во всяком случае, ваше высокоблагородие, если придется вам чем-нибудь когда-либо попользоваться, — остерегайтесь следующего: спасательных кругов, визитных карточек, хотя бы их была тысяча, очень больших бриллиантов и очень маленьких детей. Эти предметы ничего, кроме хлопот и неприятностей, не принесут. Деть их некуда, а попасться легко. Адью!

Так сообщил он мне для сведения, не желая, конечно, меня обидеть.

Так пишу я читателям для сведения, не желая, конечно, их обидеть.

Просто я думаю, что можно иметь в виду все перечисленное.

РУССКИЕ СИМВОЛЫ

В передней прозвонил звонок.

Так как горничную я отпустил, пришлось выйти самому.

Время было позднее, поэтому я, не открывая дверей, спросил как можно громче:

— Кто там?

Какой-то странный, неестественный фальцет пропищал за дверью:

— К вам барышня пришла... Очень хорошенькая! Пожалуйста, откройте.

— Кой черт! Какая барышня?

— Очень хорошенькая! Откройте — будете иметь полное удовольствие.

— Это вы барышня и есть?

Дребезжащий фальцет пропищал:

— Я-а-а!

— Что же вам нужно?

— Откройте — узнаете. Ах, такой приятный кавалер и так капризничает! Хи-хи!

Голос был странный, неестественный.

Я приоткрыл дверь и выглянул в переднюю.

На меня смотрела красная худая рожа разносчика телеграмм.

Кроме него, за дверью никого не было.

— Это вы сейчас говорили со мной? — строго спросил я.

— Так точно. Я.

И устало, с деревянным выражением лица он добавил:

— Примите телеграмму. Распишитесь... Вот тут.

— Это еще что за штуки? — сердито нахмурился я. —

Почему вы прямо не сказали, что — телеграмма?

Он с хитрым видом поглядел на меня.

— Как же! Скажи я вам, что телеграмма, так вы бы меня и выпустили! Дудки! Я уж к некоторым господам по три раза ходил... Только скажешь: “Телеграмма” — сейчас же они это из-за дверей: “Пошел, пошел вон! Никаких телеграмм нам не надо!”

— Господи! Да почему же?

— Эх, барин! Неужто не смекаете? Да телеграмму-то приносят когда?

— Ну?

— Когда с обыском жандармы али там полиция приходит. Это уж у них так водится: “тук-тук!” — “Кто там?”

— “Телеграмма!” Откроют дверь, они и ввалятся. А там уж разбирайся сам — телеграмма или не телеграмма. Так теперь — верите? — ни в один дом не пускают с телеграммой! “Бог с тобой, — говорят. — Знаем мы вас, “телеграфистов”.

Стараясь по возможности быть серьезным, я спросил:

— Так вы всех “барышнями” соблазните?

— Зачем всех. Мы тоже с понятием... Ежели, скажем, девице депеша, — мы ей мужским голосом что-нибудь этакое скажем; ежели старуха, — очень помогает болонкой за дверью повизжать. Шибко они, старухи, до собак жалостливые... Глядишь, и откроют. Старик идет больше на знакомого, который в карты пришел играть... Замужняя ежели, то уж скажешь: “Ридикюльчик на лестнице нашли — не ваш ли?” Потому, замужние очень ридикюли терять обожают. Кого на что взять. Это тоже понятие нужно иметь.

— Вот ты, братец, и дурак, — рассердился я. — Почему тебе пришло в голову, что я только “барышне” открое. Что ж я, по-твоему, развратник какой, что ли?

Он отпарировал:

— Однако ж, открыли.

— Открыл... я потому, чудак ты человек, и открыл, что было уж очень любопытно: что это за нелепая картина так пищит.

Почтальон с беспокойством взглянул на меня.

— А разве... не похоже?

— Совсем не похоже. Немазаная телега вместо женского голоса.

— Вот горе-то! — искренно огорчился он.

Мне сделалось жаль беднягу. Я похлопал его по плечу и сказал:

— Ничего, не огорчайся. Я тебе дам такой совет: если жандармы говорят “телеграмма”, то им не верят и не открывают дверей. Так? А если ты придешь с телеграммой и скажешь: “Обыск!” — тебе тоже не поверят и, конечно, откроют дверь. Понял? Если они притворяются, то и ты притворяйся.

Он сразу повеселел.

— А ведь и верно, барин. Ну, спасибо. Хе-хе! Здорово удумано: “С обыском”... Открыли дверь, а это телеграмма. Хо-хо. Мерси вас. Желаем здравствовать.

На другой день, вечером, я опять услышал звонок в передней. Улыбнулся... Вышел в переднюю.

Спросил:

— Кто там?

— С обыском.

“Ага! — усмехнулся я. — Догадался мой приятель-рассыльный”.

Открыл дверь...

И передняя сразу наполнилась жандармами, дворниками и понятиями...

— Позвольте, — возмутился я. — Чего ж вы не сказали, что “телеграмма”?! Это обман! Обыкновенно говорите: “Телеграмма!” — а теперь... черт знает что такое! Я protestую.

Жандарм подмигнул мне и рассмеялся.

— Уже несколько дней, как мы оставили прием с “телеграммой”. Никто не верит. А на “обыск” с непривычки многие попадают. Хе-хе!

Трудно перехитрить жандарма, господа!

Что-то придумает теперь мой друг — бедняга-рассыльный?

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

— Это, наконец, черт знает что такое!! Этому нет границ!!! И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы.

— Что такое? — поинтересовался я. — Опять что-нибудь по министерству народного просвещения?

— Да нет...

— Значит, министерство финансов?

— Да нет же, нет!

— Понимаю. Конечно, министерство внутренних дел?

— Позвольте... Междугородный телефон, это к чему относится?

— Ведомство почт и телеграфов.

— Ну вот... Чтоб им ни дна ни покрышки!! Представьте себе: опять из Москвы ни звука. Потому что у них там что-то такое случилось — газета должна выходить без московского телефона. О, пррр!.. Вот, послушайте: если бы вы были настоящим журналистом, вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!!

— А что ж вы думаете... Не расследую? И расследую.

— Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют.

— Кто ворует?

— Тамошние мужики.

— Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист!

Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке.

Догнал какого-то одинокого мужичка.

— Здорово, дядя!

— Здорово, племянничек. Откудова будешь?

— С самого Питербурху, — отвечал я на прекраснейшем русском языке. — Ну, как у вас тут народ... Ничего живет?

— Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. Урожай, будем сказать, ничего. Первееющий урожай.

— Цены как на хлеб?

— Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три.

— Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?

— Урожай-то? Да полтора рубля пуд.

— Это вы насчет ржи говорите?

— Со ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава Богу, оцинкованная.

— Что оцинкованная?

— Да проволока-та. На ней ржи не бывает.

— Фу ты, Господи! А хлеб-то вы сеете?

— Никак нет. Не балуемся.

Я взгляделся вдаль. Несколькo мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам.

— Что это они?

— Косить идут.

Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами.

— Косить?! В январе-то?

— А им што ж. Как навесили, так, значит, и готово.

Поселяне между тем с песнями приблизились к нам... Пели, очевидно, старинную местную песню:

Эх ты, проволока, —
Д-металличка,
Эх, кормилица
Ты мужицкая!..
Срежу я тебя
Со столба долой,
В городу продам —
Парень удалой!..

Увидев меня, все сняли шапки.

— Бог в помощь! — приветливо пожелал я.

— Спасибо на добром слове.

— Работать идете?

— Это уж так, барин. Нешто православному человеку возможно без работы? Не лодыри какие, слава тебе, Господи.

— Косить идете?

— А как же. На Еремином участке еще вчерась проволока взошла.

— Как же вы это делаете?

— Эх, барин, нешто сельских работ не знаешь? Спервоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно, ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет — тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое. Сельскохозяйственное.

— Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими делами заниматься, — несмело посоветовал я.

— Эва! Нешто можно сравнить? Тут тебе благодать: ни потравы, ни засухи; семян — ни Боже мой.

— Замолол, — перебил строгий истовый старик. — Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Перво-наперво у них целую зиму на печи лежи, пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим заниматься стал.

— А то и еще худшее, — подхватил корявый мужичонка. — Этак иногда по три, по пяти ден проволоку не навешивают. Нешто возможно?

— Это верно: одно безобразие, — поддержал третий мужик. — Нам ведь тоже есть-пить нужно. Выйдешь иногда за околицу на линию, посмотришь — какой тут к черту урожай: одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить...

— А что же ваша администрация смотрит? — спросил я. — Сельские власти за чем смотрят?!

— Аны смотрят.

— Ого! Еще как... Разичот них укроешься. Теперь такое пошло утеснение, что хучь ложись да помирай. Строгости пошли большие.

— От кого?

— Да от начальства.

— Какие же?

— Да промысловое свидетельство требует, чтоб выбирали в управе. На предмет срезки, как говорится, телефонной проволоки.

— Да еще и такие слухи ходят, что будто начальство в аренду будет участки сдавать на срезку. Не слышали, барин? Как в Питербурхе на этот счет?

— Не знаю.

Седой старикашка нагнулся к моему уху и прохрипел:

— А что, не слышно там — супсидии нам не дадут? Больно уж круто приходится.

— А что? Недород?

— Недорез. Народ-то размножается, а линия все одна.

— В Думе там тоже сидят, — ядовито скривившись, заметил чернобородый, — а чего делают — и неизвестно. Хучь бы еще одну линию провели. Все ж таки послободняе было бы.

— Им что! Свое брюхо только набивают, а о крестьянском горбе нешто вспомнят?

— Ну, айда, ребята. Что там зря языки чесать. Еще за светло нужно убраться. А то и в бунты не сложим.

И поселяне бодро зашагали к столбам, на которых тонкой, едва заметной паутиной вырисовывались проволочные нити.

Хор грянул, отбивая такт:

Э-эх ты, проволока,

Д-металличка.

Э-эх, кормилица

Ты мужицкая!..

Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую черноземную сермяжную Русь.

СИНЕЕ С ЗОЛОТОМ

(1917)

ПЯТЬ ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ БЕРЕГОВА

I. БЕРЕГОВ — ВОСПИТАТЕЛЬ КИСИ

I

Студент-технолог Берегов — в будущем инженер, а пока полуголодное, но веселое существо — поступил в качестве воспитателя единственного сына семьи Талалаевых.

Первое знакомство воспитателя с воспитанником было таково.

— Кися, — сказала Талалаева, — вот твой будущий наставник, Георгий Иванович, — познакомься с ним, Кисенька... Дай ему ручку.

Кися — мальчуган лет шести-семи, худощавый, с низким лбом и колючими глазками — закачал одной ногой, наподобие маятника, и сказал скрипучим голосом:

— Не хочу! Он — рыжий.

— Что ты, деточка, — засмеялась мать. — Какой же он рыжий?.. Он — шатен. Ты его должен любить.

— Не хочу любить!

— Почему, Кисенька?

— Вот еще, всякого любить.

— Чрезвычайно бойкий мальчик, — усмехнулся Берегов. — Как тебя зовут, дружище?

— Не твое дело.

— Фи, Кися! Надо ответить Георгию Ивановичу: меня зовут Костя.

— Для кого Костя, — пропищал ребенок, морща безбровый лоб, — а для кого Константин Филиппович. Ага?..

— Он у нас ужасно бойкий, — потрепала мать по его острому плечу. — Это его отец научил так отвечать. Георгий Иванович, пожалуйста пить чай.

За чайным столом Берегов ближе пригляделся к своему воспитаннику: Кися сидел, болтая ногами и бормоча про себя какое-то непонятное заклинание. Голова его на тонкой, как стебелек, шее качалась из стороны в сторону.

— Что ты, Кисенька? — заботливо спросил отец.

— Отстань.

— Видали? — засмеялся отец, ликующе оглядывая всех сидевших за столом. — Какие мы самостоятельные, а?

— Очень милый мальчик, — кивнул головой Берегов, храня самое непроницаемое выражение на бритом лице. — Только я бы ему посоветовал не болтать ногами под столом. Ноги от этого расшатываются и могут выпасть из своих гнезд.

— Не твоими ногами болтаю, ты и молчи, — резонно возразил Кися, глядя на воспитателя упорным, немигающим взглядом.

— Кися, Кися! — полусмеясь-полусерьезно сказал отец.

— Кому Кися, а тебе дяденька, — тонким голосом, как пичуга, пискнул Кися и торжествующе оглядел всех...

Потом обратился к матери:

— Ты мне мало положила сахара в чай. Положи еще.

Мать положила еще два куска.

— Еще.

— Ну, на тебе еще два!

— Еще!..

— Довольно! И так уже восемь.

— Еще!!

В голосе Киси прозвучали истерические нотки, а рот подозрительно искривился. Было видно, что он не прочь переменить погоду и разразиться бурным плачем с обильным дождем слез и молниями пронзительного визга.

— Ну, на тебе еще! На! Вот тебе еще четыре куска. Довольно!

— Положи еще.

— На! Да ты попробуй... Может, довольно?

Кися попробовал и перекосясь на сторону, как сломанный стул.

— Фи-и! Сироп какой-то... Прямо противно.

— Ну, я тебе налью другого...

— Не хочу! Было бы не наваливать столько сахара.

— Чрезвычайно интересный мальчик! — восклицал изредка Берегов, но лицо его было спокойно.

За обедом Берегов первый раз услышал, как Кися плачет. Это производило чрезвычайно внушительное впечатление.

Мать наливала ему суп в тарелку, а Кися внимательно следил за каждым ее движением.

— На, Кисенька.

— Мало супу. Подлей.

— Ну, на. Довольно?

— Еще подлей.

— Через край будет литься!..

— Лей!

Мать тоскливо поглядела на сына, вылила в тарелку еще ложку и, когда суп потек по ее руке, выронила тарелку. Села на свое место и зашипела, как раскаленное железо, на которое плюнули.

Кися все время внимательно глядел на нее, как вивисектор на расчленяемого им в целях науки кролика, а когда она схватилась за руку, спросил бесцветным голосом:

— Что, обожглась? Горячо?

— Как он любит свою маму! — воскликнул Берегов.

Голос его был восторженный, но лицо спокойное, безоблачное.

— Кися, — сказал отец, — зачем ты выкладываешь из банки всю горчицу... Ведь не съешь. Зачем же ее зря портить?

— А я хочу, — сказал Кися, глядя на отца внимательными немигающими глазами.

— Но ведь нам же ничего не останется!

— А я хочу!

— Ну, дай же мне горчицу, дай сюда...

— А я... хочу!

Отец поморщился и со вздохом стал деликатно вынимать горчицу из цепких тоненьких лапок, похожих на слабые коготки воробья...

— А я хо... хо... ччч...

Голос Киси все усиливался и усиливался, заливаемый внутренними, еще не нашедшими выхода слезами; он звенел, как пронзительный колокольчик, острый, проникающий иголками в самую глубину мозга... И вдруг — плотина прорвалась, и ужасные, непереносимые человеческим ухом визг и плач хлынули из синего искривленного рта и затопили все... За столом поднялась паника, все вскочили, мать обрушилась на отца с упреками, отец схватился за голову, а сын камнем свалился со стула и упал на пол, завыв протяж-

но, громко и страшно, так, что, кажется, весь мир наполнился этими звуками, задушив все другие звуки. Казалось, весь дом слышит их, вся улица, весь город заметался в смятении от этих острых, как жало змеи, звуков.

— О, Боже, — сказала мать, — опять соседи прибегут и начнут кричать, что мы убиваем мальчика!

Это соображение придало новые силы Кисе: он уцепился для общей устойчивости за ножку стола, поднял кверху голову и завыл совсем уже по-волчьи.

— Ну, хорошо, хорошо уж! — хлопотала около него мать. — На тебе уж, на тебе горчицу! Делай, что хочешь, мажь ее, молчи только, мое золото, солнышко мое. И перец на, и соль — замолчи же. И в цирк тебя возьмем — только молчи!..

— Да-а, — протянул вдруг громогласный ребенок, прекращая на минуту свой вой. — Ты только так говоришь, чтоб я замолчал, а замолчу, и в цирк не возьмешь.

— Ей-Богу, возьму.

Очевидно, эти слова показались Кисе недостаточными, потому что он помолчал немного, подумал и, облизав языком пересохшие губы, снова завыл с сокрушающей силой.

— Ну, не веришь, на тебе три рубля, вот! Спрячь в карман, после купим вместе билеты. Ну, вот — я тебе сама засовываю в карман!

Хотя деньги мать всунула в карман, но можно было предположить, что они были всунуты ребенку в глотку — так мгновенно прекратился вой.

Кися, захлопнув рот, встал с пола, уселся за стол, и все его спокойно-торжествующее лицо говорило: "А что — будете теперь трогать?.."

— Прямо занимательный ребенок, — крикнул Берегов. — Я с ним позаймусь с большим удовольствием.

В тот день, когда Талалаевы собрались ехать к больной тетке в Харьков, Талалаева-мать несколько раз говорила Берегову:

— Послушайте! Я вам еще раз говорю — вся моя надежда на вас. Прислуга — дрянь, и ей нипочем обидеть ребенка. Вы же, я знаю, к нему хорошо относитесь, и я оставляю его только на вас.

— О, будьте покойны! — добродушно говорил Берегов. — На меня можете положиться. Я ребенку вреда не сделаю...

— Вот это только мне и нужно!

В момент отъезда Кисю крестила мать, крестил отец, крестила и другая тетка, ехавшая тоже к харьковской тетке. За компанию перекрестили Берегова, а когда целовали Кисю, то от полноты чувств поцеловали и Берегова:

— Вы нам теперь, как родной!

— О, будьте покойны.

Мать потребовала, чтобы Кися стоял в окне, дабы она могла бросить на него с извозчика последний взгляд.

Кисю утвердили на подоконнике, воспитатель стал подле него, и они оба стали размахивать руками самым приветливым образом.

— Я хочу, чтоб открыть окно, — сказал Кися.

— Нельзя, брат. Холодно, — благодушно возразил воспитатель.

— А я хочу!

— А я тебе говорю, что нельзя... Слышишь?

И первый раз в голосе Берегова прозвучало какое-то железо.

Кися удивленно оглянулся на него и сказал:

— А то я кричать начну....

Родители уже садились на извозчика, салютуя окну платком и ручным саквояжем.

— А то я кричать начну...

В ту же секунду Кися почувствовал, что железная рука сдавила ему затылок, сбросила его с подоконника и железный голос лязгнул над ним:

— Молчать, щенок! Убью, как собаку!!

От ужаса и удивления Кися даже забыл заплакать... Он стоял перед воспитателем с прыгающей нижней челюстью и широко открытыми остановившимися глазами.

— Вы... не смеете так, — прошептал он. — Я маме скажу.

И опять заговорил Берегов железным голосом, и лицо у него было железное, твердое:

— Вот что, дорогой мой... ты уже не такой младенец, чтобы не понимать. Вот тебе мой сказ: пока ты будешь делать все по-моему, я с тобой буду в дружеских отношениях, во мне ты найдешь приятеля... Без толку я тебя не обижу... Но! если! только! позволишь! себе! одну! из твоих! штук! — Я! спущу! с тебя! шкуру! и засуну! эту шкуру! тебе в рот! Чтобы ты не орал!

“Врешь, — подумал Кися, — запугиваешь. А подниму крик, да сбегутся соседи — тебе же хуже будет”.

Рот Киси скривился самым предостерегающим образом. Так первые редкие капли дождя на крыше предвещают тяжелый обильный ливень.

Действительно, непосредственно за этим Кися упал на ковер и, колотя по нему ногами, завизжал самым первоклассным по силе и пронзительности манером...

Серьезность положения придала ему новые силы и новую изощренность.

Берегов вскочил, поднял, как перышко, Кисю, заткнул отверстый рот носовым платком и, скрутив Кисе назад руки, прогремел над ним:

— Ты знаешь, что визг неприятен, и поэтому работаешь, главным образом, этим номером. Но у меня есть свой номер: я затыкаю тебе рот, связываю руки-ноги и кладу на диван. Теперь: в тот момент, как ты кивнешь головой, я пойму, что ты больше визжать не будешь, и сейчас же развяжу тебя. Но если это будет с твоей стороны подвох и ты снова заорешь — пеняй на себя. Снова скручу, заткну рот и продержу так — час. Понимаешь? Час по моим часам — это очень много.

С невыразимым ужасом глядел Кися на своего строгого воспитателя. Потом промычал что-то и кивнул головой.

— Сдаешься, значит? Развязываю.

Испуганный, истерзанный и измятый, Кися молча отошел в угол и сел на кончик стула.

— Вообще, Кися, — начал Берегов, и железо исчезло в его голосе, дав место чему-то среднему между сотовым медом и лебяжьим пухом. — Вообще, Кися, я думаю, что ты не такой уж плохой мальчик, и мы с тобой поладим. А теперь бери книжку, и мы займемся складами...

— Я не знаю, где книжка, — угрюмо сказал Кися.

— Нет, ты знаешь, где она.

— А я не знаю!

— Кися!!!

Снова загремело железо, и снова прорвалась плотина, и хлынул нечеловеческий визг Киси, старающегося повернуть отверстый рот в ту сторону, где предполагались сердобольные квартиранты.

Кричал он секунды три-четыре.

Снова Берегов заткнул ему рот, перевязал его, кроме того, платком и, закатав извивающееся тело в небольшой текинский ковер, поднял упакованного таким образом мальчика.

— Видишь ли, — обратился он к нему. — Я с тобой говорил, как с человеком, а ты относишься ко мне, как сви-

нья. Поэтому я сейчас отнесу тебя в ванную, положу там на полчаса и уйду. На свободе ты можешь размышлять, что тебе выгоднее — враждовать со мной или слушаться. Ну вот. Тут тепло и безвредно. Лежи.

IV

Когда, полчаса спустя, Берегов распаковывал молчащего Кисю, тот сделал над собой усилие и, подняв страдальческие глаза, спросил:

— Вы меня, вероятно, убьете?

— Нет, что ты. Заметь — пока ты ничего дурного не делаешь, и я ничего дурного не делаю... Но если ты еще раз закричишь, я снова заткну тебе рот и закатаю в ковер — и так всякий раз. Уж я, брат, такой человек!

Перед сном пили чай и ужинали.

— Кушай, — сказал Берегов самым доброжелательным тоном. — Вот котлеты, вот сардины.

— Я не могу есть котлет, — сказал Кися. — Они пахнут мылом.

— Неправда. А впрочем, ешь сардины.

— И сардины не могу есть, они какие-то плоские...

— Эх ты, — потрепал его по плечу Берегов. — Скажи просто, что есть не хочешь.

— Нет, хочу. Я бы съел яичницу и хлеб с вареньем.

— Не получишь! (Снова это железо в голосе. Кися стал вздрагивать, когда оно лязгало.) Если ты не хочешь есть, не стану тебя упрашивать. Проголодаешься — съешь. Я тут все оставлю до утра на столе. А теперь пойдем спать.

— Я боюсь спать один в комнате.

— Чепуха. Моя комната рядом: можно открыть дверь. А если начнешь капризничать — снова в ванную! Там, брат, страшнее.

— А если я маме потом скажу, что вы со мною делаете...

— Что ж, говори. Я найду себе тогда другое место.

Кися свесил голову на грудь и молча побрел в свою комнату.

V

Утром, когда Берегов вышел в столовую, он увидел Кисю, сидящего за столом и с видом молодого волчонка пожирающего холодные котлеты и сардины.

— Вкусно?

Кися промычал что-то набитым ртом.

— Чудак ты! Я ж тебе говорил. Просто ты вчера не был голоден. Ты, вообще, меня слушайся — я всегда говорю правду и все знаю. Поел? А теперь принеси книжку, будем учить склады.

Кися принес книжку, развернул ее, прислонился к плечу Берегова и погрузился в пучину науки.

.....
— Ну вот, молодцом. На сегодня довольно. А теперь отдохнем. И знаешь как? Я тебе нарисую картинку...

Глаза Киси сверкнули.

— Как... картинку...

— Очень, брат, просто. У меня есть краски и прочее. Нарисую, что хочешь, — дом, лошадь с экипажем, лес, а потом подарю тебе. Сделаем рамку и повесим в твоей комнате.

— Ну, скорей! А где краски?

— В моей комнате. Я принесу.

— Да зачем вы, я сам. Вы сидите. Сам сбегая. Это действительно здорово!

VI

Прошла неделя со времени отъезда Талалаевых в Харьков.

Ясным солнечным днем Берегов и Кися сидели в городском сквере и ели из бумажной коробочки пирожки с говядиной.

— Я вам, Георгий Иванович, за свою половину пирожков отдам, — сказал Кися. — У меня рубль есть дома.

— Ну, вот еще глупости. У меня больше есть. Я тебя угощаю. Лучше мы на этот рубль купим книжку, и я тебе прочитаю.

— Вот это здорово!

— Только надо успеть прочесть до приезда папы и мамы.

— А разве они мешают?

— Не то что мешают. Но мне придется уйти, когда мама узнает, что я тебя в ковер закатывал, морил голодом.

— А откуда она узнает? — с тайным ужасом спросил Кися.

— Ты же говорил тогда, что сам скажешь...

И тонкий, как серебро, голосок прозвенел в потеплевшем воздухе:

— С ума я сошел, что ли?!

II. БЕРЕГОВ И КАШИЦЫН

К инженеру Берегову зашел знакомый — Иван Иванович. Посидел немного, покурил, а потом спросил:

- Кашицын — приятель вам?
- Приятель.
- Погибает.
- Чепуха. От чего Кашицыну погибать?..
- От глупости.
- Вы были у него?
- Вчера. Целыми днями валяется в постели нечесаный, а в комнате кругом — выгребная яма.
- У Кашицына?
- У него.
- Не может быть. У вас, наверное, вчера был тиф, и вам почудилось.
- Глупости! Вчера был тиф, а сегодня куда он девался?
- Да, это, конечно... резонно. Надо будет сходить к нему.
- Сходите, сходите.

* * *

Стук в дверь.

- Кашицын, можно к вам?
- А зачем?
- Приветливо, нечего сказать.
- Ну, входите уж. Подавитесь моей благосклонностью.

Берегов вошел в большую комнату, меблированную двумя столами, креслами и диваном. В углу стояла кровать с грязными подушками, а на кровати лежал в брюках и ночной сорочке сам хозяин Кашицын...

На всем, включая и хозяина, был значительный налет пыли, грязи и запустения. Преддиванный стол, покрытый бывшей белой скатертью, украшался разбитым стаканом с высохшими остатками чаю, коробкой из-под сардинок, набитой окурками, отекающей свечой, приклеенной прямо к скатерти, и огрызком копченой колбасы, напоминающей отрубленный зад крысы. Этому сходству способствовал кусочек веревки на спинке огрызка, очень похожий издали на крысиный хвост. Всюду валялись объедки окаменелого хлеба, крошки и пепел, пепел — в ужасающем количестве пепел, — будто хозяин был одним из редких счастливцев, дешево отделившихся при гибели Геркуланума.

Воздух в комнате висел каким-то сплошным плотным покровом, насыщенным старым табачным дымом и всеми миазмами непрветриваемой комнаты.

Берегов огляделся, сбросил со стула старую запыленную газету, грязный воротничок и, усевшись против лежащего хозяина, долго и пристально глядел на его угрюмое, заросшее, шетинистое лицо.

Так они с минуту молча глядели друг на друга.

— Хорош. — укоризненно сказал Берегов.

— Да-с

— Глядеть тошно.

— А вы отвернитесь.

Берегов прошелся по комнате и, энергично повернувшись к Кашицыну, спросил в упор:

— Что с вами случилось?

Кашицын ответил бесцветным, полинявшим голосом:

— Настроение плохое.

— Только?

— А то что же.

— Сегодня обедали?

— А то как же?

— Вот таким крысиным огрызком?

— Что вы! Мне каждый день приносят из ресторана.

— Гм... ну, ладно. Вы меня чаем угостите?

— Чаем... это бы можно, да дело в том, что сахару нет.

То есть не у меня, а в нашей проклятой мелочной лавочке. Я уже посылал, говорят, только завтра будет.

— Ну, Бог с ним! Вы знаете, какое число?

— 18-е, что ли?

— 24-е, пустынный вы анафемский — 24 декабря!!!
Завтра Рождество, понимаете?

— Да неужели, — пробормотал хозяин, но смысл слов не вязался с тоном, ленивым и безразличным.

— Ну, довольно мямлить! Первым долгом, как зовут вашу рабыню?

— Горничную? Устя.

— Устя-я-я! — диким голосом заорал Берегов, приоткрыв дверь. — Пойди сюда, Устя; здравствуй, Устя. Какая ты красавица, Устя... Пошлет же Господь... Устя, сходи и немедленно же приведи парикмахера.

— Постойте, — привскочил Кашицын. — Зачем парикмахера?!

— Ну можно ли быть таким недогадливым...

— Послушайте, Берегов, — зашептал Кашицын, склонив к своему рту ухо Берегова. — Лучше не надо парикмахера.

— Почему?

— Да так. Он тут еще что-нибудь разобьет, беспорядок наделает.

— Тут? Вот тут? В этой комнате?! Кашицын... Не надо вилить. В чем дело?

— Дело в том, что ведь ему рублей пять платить надо, а у меня...

— Пять? Рубль его обеспечит на все праздники.

— Да дело в том, что...

— Ну?

— У меня и рубля нет!!!

Он упал на подушку и стыдливо зарылся в нее головой.

— Устя-я-я! У тебя поразительный цвет лица и вообще фигура... сходи за парикмахером.

— Да черт с ним, — слабо запротестовал Кашицын, выглядывая из-за угла подушки.

Берегов пожал плечами и, молчаливо подойдя к окну, открыл обе форточки.

— Ой, холодно! — завопил хозяин.

— Что вы говорите! Вот не подозревал. А помните, я в мае открывал эту же форточку и тогда не было холодно. Вы помните май, Кашицын? Помните, я у вас был в гостях... Это было 7 месяцев тому назад... Помните, вы тогда пришли домой возбужденный и стали выбрасывать изо всех карманов деньги... Тысячу рублей, еще тысячу, пачку в пять тысяч, еще такую же пачку. Что-то, помните мне, всего было около 15 тысячч?!

— Да, около этого, — прогудел в подушку хозяин...

— Помните, тогда же вы послали Устю за каким-то особенным портным и заказали ему всякой чепухи тысячи на полторы... вы позвонили в экипажное заведение и наняли себе месячный экипаж, вы...

— Да, я это все помню, — перебил хозяин с легким нетерпением. — Теперь, если бы у меня была одна десятая, сотая этих денег, я бы уже не был таким дураком.

— Это меня радует, — сказал Берегов, глядя на него загадочными глазами. — Вы сделали мудры... А вот и парикмахер! Устя! Умыться барину! Чистую сорочку, Устя! Такая красивая женщина, как вы, не может не быть доброй. О, не смейтесь так увлекательно, а закройте лучше форточку. Так... Теперь эту скатерть со всем, что на ней, — к черту! Пока барина бреют, принесите свежую, накройте стол, перемените наволочки, приберите постель и затопите печь... Когда барина постригут и побреют, подметите пол, сотрите со всего пыль и наладьте нам

самоварчик. Устя, да что вы, в самом деле, делаете, что у вас такой чудесный цвет лица? Ничего? Поразительно. Ну, действуйте!

Когда Устя, сметая со стола, взялась за знаменитый огрызок колбасы, напоминавший заднюю часть крысы, Кашицын поглядел на происходящее испуганными глазами и уже раскрыл рот с целью протеста, но парикмахер пригрозил:

— Не шевелитесь, а то обрежу.

* * *

Через полчаса чистенький, умытый и переодетый Кашицын сидел за самоваром против Берегова, жадно прихлебывая горячий чай и в одну из пауз, окинув взглядом комнату, засмеялся и сказал:

— А действительно, точно праздник. Чего вы молчите?

— А уж не знаю, — усмехнулся Берегов, — каяться мне перед вами или нет? Духу не хватает.

— В чем каяться?

— Скажите: у вас сейчас денег совсем нет?

— Есть. Четыре копейки.

— А какая сумма вас устроила бы?..

— Да мне бы рубликов двести. Прожил бы я скромненько праздники, а после Крещения — приискал бы и место. Господи! Ведь я три языка знаю, коммерческую корреспонденцию могу вести, уж не такое же я чудовище, в самом деле...

— Двести рублей, — задумчиво повторил Берегов.

— У вас я не возьму, — сказал, нахмурившись, Кашицын. — Я знаю, вы живете в обрез...

— В обрез, — усмехнулся Берегов. — А вы знаете, я вас обокрал.

— Что?!

— Скажите, вы хорошо помните последнее наше свидание в этой комнате?

— В мае? Помню.

— Вы пришли тогда от нотариуса с этим дурацким наследством, и деньги, как я уже говорил, торчали у вас нелепо, не по-деловому, изо всех карманов... Помните?

Кашицын усмехнулся.

— Теперь, если у вас память хорошая, вы должны вспомнить и последующее: сняв пальто, вы стали выгружать деньги: часть бросили на комод, тысяч десять сунули в комод, пачку положили в боковой карман, а кроме

того, у вас было всюду понатыкано: и в жилетных карманах, и в брючных. И вы даже не заметили, как из жилетного кармана упала на пол двадцатипятирублевая бумажка. Хе-хе. Я ее поднял, конечно. Теперь — помните, когда я уходил, я вам передавал что-нибудь?

— Да... да, кажется, помню. Запечатанный конверт. И просили запереть в шкапулку до вашего востребования.

— Верно. Так слушайте: когда вы пошли к телефону насчет месячного экипажа и оставили меня одного, я открыл ящик комода, вынул из ящика одну пятисотрублевку, приложил к ней поднятые на полу и, запечатав в конверт, передал вам.

Измученный хозяин привстал с места.

— За... чем же вы это сделали?

— Из симпатии к вам. Я ведь видел, что при вашем отношении к деньгам их вам ненадолго хватит. И был уверен, что пересчитывать не будете. Теперь-то вы, кажется, исправились?

— Да ведь конверт этот до сих пор в шкапулке валяется, — ахнул хозяин.

— Ну вот и пользуйтесь краденым, — усмехнулся Берегов.

— Георгий Иваныч, милый... Да ведь это что ж такое!! Ведь я спасен! Я возрожден. Где этот конверт?.. Вот! Смотрите — вот он!! Одна бумажка и другая... Пятисот двадцать пять рублей! Ну, я вас нынче так не отпущу. Не-ет... Мы встретим праздничек... Устя-я! Устя! Пойди к хозяйке и заплати ей за месяц...

— За два, красавица, — крикнул Берегов.

— Что? Ну, за два, так за два... Деньжищ-то все равно уйма... Потом, Устя! Сходи к Сидорову, купи там ты вот чего... гм!.. Окорок ветчины, телятинки купи, икорки паюсной... впрочем, можно и свежей. Ну, сардин, колбасы, конечно... фруктов. Да постой! Вот тебе записочка с адресом. По этой записке дадут тебе вина красного и белого... да и что уж там толковать... возьми парочку шипучего...

Хозяин совсем оживился; он чуть не прыгал на месте, потирал руки, причмокивал, смеялся, и глаза его блистали, как алмазы...

Подперши голову руками, молча сидел Берегов и глядел, глядел на хозяина, не сводя глаз.

* * *

Весь стол был уставлен бутылками, стаканами и тарелками с закуской...

Хозяин смеялся, подмигивал и трепал приятеля по плечу.

— Вот это праздник, я понимаю! Комната чистенькая, свежая, всего вдоволь...

И вдруг вскочил хозяин, как ужаленный.

— Что с вами? — испугался Берегов.

— Вспомнил... Скажите, магазины еще не заперты?

— Нет, нынче до одиннадцати.

— Ну, слава Богу. Чуть не забыл. Ведь у меня нет ни капли: ни одеколону, ни духов...

— Да, это, конечно, большой удар.

— Смейтесь, смейтесь. А я все-таки пойду сейчас, позвоню по телефону, чтобы прислали...

Он резво высочил из комнаты.

Оставшись один, Берегов разгладил усы, подошел к комоду, на котором лежала принесенная Устей сдача, вынул из кучи скомканных бумажек пятьдесят рублей, открыл крышку шкапулки и всунул деньги в пачку каких-то старых пожелтевших писем.

Когда хозяин вернулся, Берегов сидел у стола, задумчиво прихлебывая из бокала вино...

— Кашицын, — сказал он, улыбаясь печально и ласково, — а не поступите ли вы и с этими деньгами так, как с теми пятнадцатью тысячами?

— Что вы, что вы, — кричал Кашицын, заливаясь смехом, — нет уж, знаете, я, спасибо, поумнел с тех пор. Да! Какая удача! В том магазине, где одеколон, оказались и английские галстуки... Я велел себе прислать штучки три... Все-таки, как-никак, такой праздник!!! Как вы думаете?

.....
— Месяца через полтора я к вам зайду, — уклончиво ответил Берегов.

III. ЛОШАДИНОЕ СРЕДСТВО

— Вот сигара. Вот спички. Вот вино. Курите, пейте и слушайте.

Инженер Берегов сказал:

— Ваш торжественный вид и тон меня пугают. Зачем вам вздумалось поднять меня с постели в час ночи и притащить к себе? Что случилось? Похоже, будто вы собираетесь делать предсмертное завещание.

— Берегов! Знаете, зачем я вас позвал ночью к себе? Потому что вы человек без предрассудков.

— Это верно.
— И что вы серьезно можете отнестись к тому, что вам серьезно скажут.
— И это верно.
— И вы не будете хныкать и плакать, а примете всякое известие, как мужчина.
— И это верно.
— Ну, так вот, милый, спокойный, рассудительный Берегов: я решил умереть.
— Гм!
— Вы, кажется, сказали: гм! Это что — возражение?
— Нет, так просто. Это громкое выражение тихого размышления.
— А каким образом вы размышляете?
— Думаю я сейчас так: вот человек, который, очевидно, твердо решил покончить счеты с жизнью. Отговаривать его было бы смешно, глупо и бесполезно...
— О, Берегов! Как вы все понимаете и как с вами легко, — воскликнул хозяин, пожимая руку невозмутимого гостя. — Вы сразу учуяли всю железную решимость мою, всю невозвратность.
— Еще бы. Это сразу видно. Теперь выкладывайте, что вам нужно от меня?
— Помнится, вы говорили мне, что у вас есть яд, купленный вами у спившегося фармацевта. И будто яд этот убивает быстро и без боли.
— Есть. Верно.
— И вы... могли бы дать мне его?
— Да. Отчего же?
— Вы истинный друг, Берегов!
— Ну?..
— Можете завтра утром... прислать?
— Могу. Теперь все?
— Все. Но вы все-таки удивительный человек... Поразительный! Другой бы пытался уговаривать, просил бы, хныкал...
Берегов пронзительно взглянул на хозяина:
— А может быть, вы хотели бы в глубине души, чтобы я... вас... отговорил?..
— Боже сохрани вас! Что решено, то решено. Поглядите в мои глаза... Видите? Можно отговорить такого человека?
— Нет. Не стоит и пытаться.
— Спасибо, Берегов.
Берегов закурил сигару, откинувшись на спинку дивана. Взглянул перед собой. Промямлил:

— А чудесная картина у вас эта... Куинджи?
— Да. Я ее очень любил.
— Надо будет захватить ее с собою, когда пойду домой.
— Как... захватить?
— Да так, возьму. Ведь у вас наследников нет?
— Нет, — усмехнулся хозяин. — Выморочное наследство.
— Ну вот я и возьму. Можно?
— Берите. На что она мне, если завтра утром я уже буду куском мертвой говядины.
— Конечно. Я и письменный прибор возьму. Хотя у меня комнатка не ахти какая, а все-таки прибор пусть себе красуется. Это яшма?
— Яшма.
— Возьму. Хорошие сигары... А позвольте их... я возьму всю коробку, а вам до утра оставлю штук пять... Хватит?
Хозяин бледно улыбнулся.
— С избытком.
— Спасибо. Кстати уж и портсигар возьму. Благо монограммы наши сходятся: вы — Билевич, я — Берегов.
— Позвольте... Портсигар этот для меня память...
— Ну так что же? В гроб же с собой не положите?..
— Так-то оно так. Это ведь золотой портсигар. Четыреста рублей стоит.
— Гарно, как говорят хохлы.
Помолчали.
— Яд как думаете принять, — с любопытством спросил Берегов. — Лежа в постели или так, сидя за столом?
— Бог знает, какие вы вопросы задаете, — недовольно заметил Билевич. — Будто вам не все равно.
— Действительно, — заметил Берегов. — К чему я это спросил? Так просто, язык повернулся. А вы знаете, как его принимать?
— Кого?
— Яд.
— Нет. А разве есть особый способ?
— Да. Наименше мучений. Разбавить на две трети водой и выпить залпом. Сейчас же свалитесь, как подкошенный.
— Спасибо.
— Не стоит.
— Может быть, поговорим о чем-нибудь другом?
— Неужели вам так неприятно? А по-моему, если уж решили, так все равно.

Берегов посидел, покурил, потом встал и неторопливо запустил руку в боковой карман хозяина.

— Что вы это?!

— А? Деньги. Хочу поглядеть, много ли у вас денег.

— Какой вы странный!.. Для чего вам это?

— Взять их хочу.

— Так не сейчас же, Господи!!!

— Вы нервничаете. Это плохо. Почему не сейчас? Ведь вам до завтра ничего не понадобится. Сколько здесь? 800? Смачно, как говорят хохлы. Кольцо дайте тоже. Все равно завтра сторож анатомического театра свистнет. Лучше уж мне!

— Послушайте, Берегов... Меня немного удивляет ваша... ваше... хладнокровие... И простота, с которой вы...

— Ну вот! Давеча сам же восхищался, что я человек без предрассудков, а теперь ему 800 рублей жалко...

— Мне не жалко, а только... неприятно.

— Ну, хорошо. Не буду, не буду. О чем же с вами говорить? Вот на будущей неделе премьеры в опере — вам это уже неинтересно?

— Почему неинтересно?

— Да ведь завтра утром скапуститесь, как говорят хохлы, — чего ж вам...

— Вы циник, Берегов.

— Не был бы циником, не получили бы от меня яду...

А то ведь я такой человек: “Дай!” — “На”. Вот я какой человек.

— Да довольно вам об этом яде!..

— Спокойно! Не надо нервничать. Поговорим о другом... Хорошая у вас квартирка. Сколько платите?

— Полтора ста.

— По третям?

— Нет, по полугодиям.

— Давно платили?

— В прошлом месяце. Я вперед плачу.

— Билевич! Идея. Ведь я, несчастный, сырый бобыль, могу устроиться, как князь. Передайте мне контракт. Я поселюсь в этой квартирке.

— Пожалуйста, — кисло сказал хозяин.

— Вот спасибо! Чудесно заживу! Кабинет я так и оставлю, гостиную сдам кому-нибудь, а из той пустой комнатки устрою чудо какой уголок!! Вот те оттоманки поставлю углом, тут у меня будет тумба, всюду разбросаю подушки, а под ноги перетащу вашего белого медведя.

— Вы... и с обстановкой хотите взять мою квартиру?

— Ну а как же? Ведь не всунуть же ее вам в гроб!.. Ведь это что за жизнь будет! Ведь у вас библиотека — сердце радуется! До тысячи книг будет?

— Около полуторы тысячи.

— Чудесно! Буду валяться на оттоманке, читать Дюма или там Чехова, что ли, потягивать винцо... Да, кстати! Погреб-то у вас в порядке?

— Шампанского мало. А так красного, мадеры старой, венгерского — штук восемьсот наберется.

— Билевич, милый! Я вас расцеловать готов за все, что вы для меня делаете. Получаю квартиру, дешевенький погреб, библиотеку — за что? За бутылочку беловатой жидкости!..

— Хорошо... Только теперь вы оставьте меня, — угромо, глядя куда-то вбок, пробормотал хозяин.

— Конечно, конечно. Только последняя просьба: сядьте вот сюда за письменный столик и пишите: “За проданную инженеру Берегову мою квартирную обстановку и переданный контракт семь тысяч получено наличными”. Поняли? Это чтобы придинок не было...

— Мне противна ваша деловитость... в такие минуты.

— Чудак вы! Вам-то хорошо: выпили флакончик — и готово, а у меня-то вся жизнь впереди. Надо же устраиваться! Это персидский ковер?

— Персидский.

— Приятно. Только вы знаете что? Я ведь точно не знаю действия своей этой микстуры... Вдруг с вами перед смертью рвота случится...

— Ну?

— Ковер мне можете испортить. Послушайте, Билевич, голубчик, что я вас попрошу... ну не делайте такого лица! Вам ведь все равно...

— Что вам еще от меня надо!

— Травитесь не дома... хорошо? Ей-Богу же, вам безразлично, а мне меньше хлопот. Подумайте, как будет мило: на одном конце города поднимают мертвого человека Билевича, продавшего свою квартиру и всякие земные блага инженеру Берегову; на другом конце города инженер Берегов входит в чистенькую устроенную квартирку и начинает в ней жить, как король... Инженер лежит на теплой оттоманочке, читает Дюма, курит сигару, мертвого человека поднимают, везут в покойницкую...

— К дьяволу покойницкие, — вскричал, скрежеща зубами и утирая мокрый лоб, Билевич. — Я умру дома!

— Да ведь в покойницкую все равно стащат... Раз самоубийца — резать должны. Что, дескать, и как? Що во-

но такие, как говорят хохлы. Да разве вам не все равно? Я буду в вашей квартирке пить ваше вино, спать на вашей мягкой постели, любоваться вашими картинами, а вы, голый, с номером на ноге, будете лежать в сырой мертвецкой около зеленого от времени мальчишки с отрезанной головой и ободранного безымянного пьяницы, издохшего от белой горячки. Ведь вам уже будет все равно! У вас красивое тело, широкая грудь и мускулистые белые руки — но вам, мертвому, синему, будет уже это все равно!.. К вам на квартиру по инерции забежит одна из ваших дам, и, может быть, я уговорю ее остаться со мной — но ведь вам уже будет все равно!

— Вы не смеете этого делать!!

— Но ведь это капризы! Ведь вам уже будет все равно!!

— Не все равно мне это, чтоб вас черти побрали!! — истерически закричал хозяин. — Вы не смеете меня грабить! Вы не смеете считать деньги в моем бумажнике и... и...

— Однако раз вы решили отравиться...

— Не смейте мне этого говорить! Я решил умереть, я же могу решить и остаться живым! Никому я не обязан давать отчета!! А-а! Вы уже распределили мою квартиру по-своему, переставили мебель, пересчитали мои деньги — так вот же вам! Не надо мне вашего яда! Я буду жить! А вы — уходите отсюда! Сию минуту, слышите?!!

* * *

Была черная глухая ночь... Фонари в этой части города почти не горели, и Берегову приходилось то и дело отыскивать увязшие в лужах липкой глины калоши.

Палал резкий, холодный дождик, будто небо отплевалось, съев что-то невкусное.

Несмотря на это, Берегов шагал по грязи довольно бодро, и только раз приостановившись, чтобы извлечь из расщелины деревянного тротуара калошу, засмеялся и сказал вслух:

— Экой дьявол! Первый раз вижу такого больного, который спускает с лестницы врача, спасшего его от смерти.

Помявшись немного, разгладив белой пухлой рукой рыжие усы и побарабанив пальцами по ручке кресла, Симакович наконец решил:

— Скажи: считаешь ли ты меня своим другом?

Хозяин кабинета, в котором происходил разговор, — инженер Берегов пожал незаметно плечами и отвечал безо всякого колебания:

— Конечно, считаю.

— Ну вот, — волнуясь, продолжал гость. — Как друг, я должен тебя предупредить: о твоих отношениях к Марье Антоновне Лимоновой говорит весь город.

— Ну-с?

— Того и гляди дойдет до жены.

— Едва ли, — хладнокровно улыбнулся инженер Берегов. — Моя жена нигде не бывает.

— О, милый друг! Ты забываешь об анонимных письмах. Не было еще случая, чтобы услужливые друзья не прибегли к этому простому и удобному способу. Анонимное письмо, анонимное сообщение по телефону — держу пари, что это случится не сегодня завтра. Слишком уж вы оба мозолите всем глаза.

Берегов закусил зубами костяной ножик для разрезывания книг и сказал задумчиво: — Ну, хорошо. Я приму свои меры.

В тот же день вечером Берегов, сидя за письменным столом, писал на сером листке оберточной бумаги прямыми печатными буквами следующее послание:

“Дорогая госпожа Берегова! Я вовсе не поклонник разврата и поэтому как друг должен предупредить вас, что ваш муж изменяет вам. Конечно, вы можете не поверить анонимному письму, но мои слова легко проверить: в день получения этого письма вечером ваш муж уйдет якобы к своему другу Симаковичу, на самом же деле пойдет на Харьковскую, седьмой номер, где живет “она”. Можете его проследить и накрыть. Ваш добροжелатель”.

Написав письмо, Берегов аккуратно запечатал его, написал печатными буквами адрес и, выйдя на улицу, опустил в ближайший ящик.

Был скучный дождливый вечер.

Закутавшись в халат и покрыв ноги пледом, Берегов лежал в кабинете на диване и мирно читал что-то очень сухое по своей специальности — об однопролетных балках.

Скрипнула дверь, и спокойное, холодное лицо жены заглянуло в кабинет.

— Как? Ты дома?

— Ну конечно, — ласково отвечал Берегов. — Входи.

— Ты разве никуда не собираешься?

— Никуда. А что?

Жена присела на краешек дивана, на котором лежал Берегов, и, помолчав, сказала неуверенно:

— Мне показалось, что ты сегодня собираешься к Симаковичу?

— Ничего подобного. И в мыслях не имел.

— Значит, ты из дому не выйдешь?

— Не собирался. Но если тебе куда-нибудь надо — могу сопровождать.

Жена впилась острым взглядом в задумчивое лицо Берегова и сказала значительно:

— Мне нужно на Харьковскую улицу!

И, помедлив, закончила тоном ниже:

— К портнихе.

— Добре. Если недолго, я подожду там, а потом вернемся вместе домой.

Жена вдруг заплакала.

— Послушай! Я скажу тебе правду: мне прислали анонимное письмо. Я сама не своя... Что мне делать? Я с ума схожу!

Берегов засвистал.

— Вот оно что! Ну, мы, знаешь ли, разные люди. Две недели тому назад я получил тоже анонимное письмо насчет тебя и, однако, что же? Я молчал.

Жена, как мячик, подпрыгнула на месте.

— Где оно? Покажи мне его! Это ложь!

— Ну конечно, ложь, — усмехнулся Берегов. — Я так к нему и отнесся. Получил его в конторе и бросил в ящик письменного стола безо всякого внимания. Если бы ты не сказала о своем письме, я бы о моем и не вспомнил.

— Ах, негодяи, негодяи! Что же они обо мне написали?

— Какой то “доброжелатель” сообщает, что ты находишься в близких отношениях с Симаковичем.

— Это ложь, ложь! Трижды ложь!

— Милая, чего ж ты волнуешься? Конечно, ложь! Кто же верит анонимным письмам?

Жена встала и с опущенной головой, пристыженная вышла из кабинета.

В этот вечер у инженера Берегова было больше работы, чем в предыдущий. По уходе жены он присел к столу

и принялся прилежно выводить печатные буквы на листке почтовой бумаги:

“Господин инженер! Ваша супруга не прочь вам наставить рога и партнером себе избрала вашего же приятеля Симаковича. Вот тебе и приятели. Проследите их, потому что известные украшения носить никому не приятно. Ваш дружески настроенный доброжелатель”.

Сунув это письмо в бумажник, Берегов принялся за другое:

“Милостивая государыня! Ваш муж вас перехитрил и остался дома. Не верьте ему! Сегодня он взял два билета в оперу и будет *обязательно*, непременно — с ней! Со своей пассией! Заметьте: под каким-нибудь предлогом удерет из дому, а там, конечно, и опера. Для вас это будет плохая опера. Возьмите тайком себе тоже билет и накройте их. Доброжелатель”.

На другой день за обедом Берегов неожиданно обратился к жене:

— А я тебе приготовил сюрприз...

— Какой? — спросила печально жена.

— Взял на сегодня билеты в оперу. Я знаю, что “Пиковая дама” — твоя любимая опера.

Жена вскочила растерянная.

— Сколько ты взял билетов?

— Конечно, два. Для тебя и для меня. А что?

— А я... я тоже взяла билет на сегодня.

— Зачем?

Жена заплакала, вынула из-за корсажа измятое письмо и протянула его Берегову.

— Ага... Вот оно что... И тебе не стыдно? Смотри! Вот то письмо, которое прислали мне относительно тебя. Разве я этому поверил? Придал значение? Стыдись!

Жена спрятала раскрасневшееся лицо на груди мужа и прошептала смущенно:

— Ты на меня не сердись? Нет? Ведь не виновата же я, что люблю тебя...

— Ну, Бог с тобой. Ты пока постарайся исправиться, а я пойду побреюсь. Надо к восьми.

Напевая что-то, Берегов сбегал с лестницы и, бодрый, энергичный, вышел на улицу.

В ближайшей парикмахерской побрился и завил усы. Потом вошел в телефонную будку, плотно притворил дверь и позвонил домой.

— Алло! — послышался голос жены. — Кто говорит?

— Послушайте, — прохрипел Берегов простуженным басом. — Ну что, купили билет?

— Кто это говорит?

— Ваш доброжелатель. Ваш муж сегодня обязательно будет с ней. Так уж вы не зевайте, хи-хи.

— Вы грязный подлец! — донеслось издали. — Оставьте нас с мужем в покое. Ваши письма я буду рвать, не читая.

“Так-то лучше”, — пробормотал про себя Берегов, тихонько вешая трубку.

Два дня прошли благополучно.

А на третий за утренним чаем жене Берегова подали письмо.

Она распечатала его, пожала плечами, рассмеялась и, протягивая Берегову, сказала:

— Еще один экземпляр. Ну уж, я не такая дура. Даже читать не буду.

— И слава Богу, — усмехнулся Берегов, быстро пробега глазами письмо. В нем кто-то незнакомым почерком “ставил в известность госпожу Берегову”, что муж ее сегодня вечером должен быть с Марьей Антоновной Лимоновой в “Аркадии”...

— Да-с, да-с, да-с, — рассеянно улыбнулся Берегов. — Много нынче всякой чепушенции пишут.

Порвал письмо на клочки и придвинул к себе свежий стакан чаю.

— Ты нынче что вечером делаешь? — спросила жена.

— В “Аркадии” буду ужинать. Сегодня начальника до роги чествуем.

— И прекрасно, — сказала жена, приглаживая его растрепавшиеся волосы. — А то ты совсем у меня заработался.

V. БЕРЕГОВ УСТРАИВАЕТСЯ ПО-СВОЕМУ

Был уже час ночи, когда инженер Берегов, войдя черным ходом в свою собственную квартиру, тихонько положил саквояж и чемодан в угол коридора, снял пальто, шляпу и затем неслышными шагами прокрался в спальню.

Спальня была освещена лишь слабым голубым светом маленькой ночной лампочки. Однако при этом свете можно было разобрать все: разбросанное по стульям и дивану мужское и женское платье, ботинки — весь тот милый беспорядок, который производится поспешностью и любовью.

На столе лежал котелок.

Инженер Берегов улыбнулся уголком рта, бесшумно поставил у самой кровати стул, опустился на него и, закутив папиросу, погрузился в ожидание.

Женская кудрявая головка, так тепло и доверчиво прильнувшая к мужскому плечу, вдруг зашевелилась, поднялась из волны кружевных подушек, и заспанные, еще туго понимающие глазки бессмысленно взглянули на спокойную фигуру, сидевшую на стуле у кровати.

Раздался подавленный крик — и женская головка снова упала на плечо безмятежно спавшего человека.

— Коля!.. Проснись же... Он вернулся... Сидит на стуле.

— А? Что такое? Где такое?..

Спавший мужчина тоже поднял голову, тоже бессмысленно оглянулся по сторонам и вдруг, пробудившись, как от электрического удара, бессильно откинулся на подушки.

Инженер Берегов еще раз затянулся папиросой, выпустил витиеватый клуб дыма и обернулся к кровати.

— Проснулись? — спокойно приветствовал он лежащих. — А я тут уже папиросу выкурил...

— Послушайте... — сдвинув брови, сказал лежавший мужчина. — Если вы джентльмен, то вы сами понимаете...

— А, это вы, Николай Иванович? — воскликнул Берегов. Я, было, вас и не узнал сначала. Тень от подушки падала. Здравствуйте.

Кивнул головой очень приветливо.

— Послушайте, Берегов!! Вы меня можете убить, но издевательств над собой я не потерплю!..

— Вот тебе раз! — поднял брови инженер Берегов. — Да разве я издеваюсь? Сажу себе спокойно на стуле, курю папироску...

— Выйдите в другую комнату и дайте мне одеться.

— Милый мой! Зачем такие церемонии? Одевайтесь при мне.

— О, чч-ерт! Не можем же мы... если вы тут торчите!

— А почему? Вы, Николай Иванович, мужчина... Ведь в бане или на реке, если бы мы оба купались, вы ведь одевались бы при мне, даже не поведя ухом. Жена моя Соня... Чего ей меня стесняться? Ведь мы уже 6 лет как муж и жена. Она не должна меня стесняться.

— Чего вы от нас хотите? — закусывая губу, спросил Николай Иванович.

Он, очевидно, смертельно страдал от всей этой глупой истории, но не видел из нее выхода, пока серенький пид-

жачный костюм — символ его мужского достоинства и чести — не облекал его тела.

— Чего вы от нас хотите?

— Я? Ничего не хочу. Чего мне от вас хотеть?

— Так не будете же вы сидеть у кровати целый час и курить свою дурацкую папиросу?!..

Жена, лежавшая до того, как мертвая, зашевелилась, подняла голову и, сверкая глазами, сказала:

— Ты следил, значит, за мною, как подлый шпион!! Красиво, нечего сказать. Ты лгун, самый последний лгун — слышишь ли? Солгал, что уезжаешь в Москву, устроил комедию с чемоданами и вернулся, чтобы уличить меня! Очень красиво! Достоинно подражания!.. Лжец и шпион!

— Ну, уж это извини, матушка, — полусмеясь, полусердито вскричал Берегов. — Мог я опоздать на пятичасовой поезд или нет? Мог! Мог я встретить на вокзале Замятина и Волкодавченко? Мог! Мог я поехать с ними в ресторан и отделаться от них только полчаса тому назад? Мог. Ага! Вот тебе и шпион. А после этого куда же мне было ехать. Конечно, домой?

— Ну, вот что, Берегов, — приподнявшись на одном локте, сказал Николай Иванович. — Во всяком случае, я всегда к вашим услугам.

— А зачем мне ваши услуги?

— Ну так убейте меня, черт вас подери! Но тянуть жилы из себя я не позволю!..

— Ну вот, — печально улыбнулся инженер Берегов. — Теперь вы на меня начинаете кричать. То она, то вы... Чем я перед вами провинился? Ну, опоздал на поезд. Так ведь это со всяким может случиться... Ну, явился после этого домой, а куда ж мне было идти — на утилизационный завод, что ли? Войдите в мое положение, что же мне было делать?

— На вас никто не кричит... Но дайте нам встать — тогда я буду говорить с вами.

— А разве вам так неудобно?

— Я не желаю быть в глупом положении.

— Ну хорошо... Теперь скажите вы мне: что бы я, вашему, должен был сделать, войдя в спальню и застав вас, ну... вдвоем. Что?

— Позвольте, я вовсе не обязан давать вам советы...

— Нет, Николай Иванович, так же нельзя! Вам не нравится моя манера держать себя при таком казусе — так укажите же, что я должен был сделать?

— Уж лучше бы вы сразу убили меня, — угрюмо пробормотал Николай Иванович, натягивая одеяло до самого подбородка.

— Или меня! — сверкнула глазами жена инженера Берегова. — Ведь вот я же неверная жена — что ж ты меня не убиваешь?

— А хотите, я буду с вами драться честно у барьера, — предложил Николай Иванович, поправляя сдвинувшуюся подушку.

— Тоже вы какой... А вдруг ухлопаете меня?

— Но ведь у нас шансы равны. И вы тоже можете, как вы выражаетесь, “ухлопать меня”.

— Так-то оно так... Но если я буду с вами стреляться, у меня только 50 процентов на сто, что я останусь в живых. А если не буду стреляться — у меня все сто процентов на жизнь.

— Так убейте меня сейчас!!! — завопил Николай Иванович. — Уверяю вас, закон будет на вашей стороне! Вас оправдают.

— Ей-Богу, вы смешной народ, — с неудовольствием пробормотал Берегов, вынимая из портсигара новую папиросу, — хотите?.. Не курите? Да, я забыл. Ну, так вот: смешите вы меня только — будто маленькие. Не такой же я дурак, в самом деле. Разберемся...

— Слушай, — сердито вскричала жена. — Если ты сейчас не уйдешь, я при тебе встану.

— Вставай.

— Вот не знала, что ты такой негодяй!

— Ну вот. Опять ругается. Итак, я говорю: разберемся. Начнем с вас, Николай Иванович... Вы уже в третий раз, как знаменитая сорока Якова, предлагаете одно и то же: убейте меня! За что я вас буду убивать? Вы думаете, я не вхожу в ваше положение? Вхожу. Что я для вас такое? Не больше как обыкновенный знакомый — здравствуй, прощай, — вот и все. Я не спасал вам жизнь, не пожертвовал для вас своим состоянием — что я вам? Нуль. Значит, вы не обязаны были заботиться обо мне. А тут встречается на вашем пути хорошенькая женщина (не красней, Соня, не скромничай); она неглупа, жизнерадостна, молода, красивое личико, очень недурно сложена — дурак вы, что ли, чтобы пройти мимо того, что на некоторое время может украсить вашу жизнь? Нет, вы не дурак! Никогда я этого не скажу! Не мог же бы я от вас требовать, чтобы вы, встретив мою жену и влюбившись в нее, сказали: “Э, не надо за ней ухаживать, нехорошо. Ведь у нее муж есть — за что же его обижать?” Первым дураком вы были бы,

если бы так рассуждали... Значит, все случилось нормально. За что же мне вас убивать, Николай Иванович, ну, судите сами?!

Берегов зажег потухшую папиросу и, разгладив усы, продолжал:

— Теперь перейдем к моей жене... Мы женаты уже 6 лет... Ведь не могу же я думать, что я самый лучший человек на свете... Я не такой самонадеянный дурак. Значит, есть на свете другие люди — лучше меня. Скажем, вы, например. Конечно, вы красивее меня, с вами просто веселее. Теперь выходит так, что, если бы я требовал от жены любви к себе, равнодушия к вам, я совершал бы над ее душой самое отвратительное насилие. Разве это благородно? А сейчас не могу же я убивать жену только за то, что у нее хороший вкус, что она предпочла вас мне?! Не могу же я поднять скандал, топтать ногами: я, мол, лучше Николая Ивановича, не смей его целовать, целуй меня!! Ведь на свете не существует такой пробирной палаты, которая поставила бы на нас с вами бесспорную пробу. Все дело, значит, во взгляде жены. Ей виднее. Я, может быть, в душе огорчен ее выбором, но от этого до убийства молодого, полного сил и хорошего человека — далеко. Значит, и ее убивать нельзя.

— Что же делать теперь? — прошептала жена, слушавшая с широко открытыми глазами спокойные рассуждения мужа.

— Ты это у меня спрашиваешь?

— Да!

— А я у вас обоих хотел об этом спросить...

Все трое помолчали.

— Господа, — прижимая руку к сердцу, снова заговорил Берегов, — будем же справедливы: ведь не я заварил всю эту кашу, а вы. По-моему, вы и должны найти выход.

Он откинулся на спинку стула и принялся хладнокровно разглядывать давно знакомый потолок.

— А чего бы ты хотел? — робко спросила жена.

— Я? — усмехнулся печально и кротко Берегов. — Что же я могу хотеть? Дело теперь приняло такой оборот, что разрешение его зависит не от одного человека, а от всех троих или, вернее, дело уже имеет свою внутреннюю логику и развитие, независимое от нас. Впрочем, если ты хочешь, я, как инженер, могу все привести в систему и сделать некоторые выводы. Что случилось? Берегов, опоздав на поезд, вернулся ночью домой и застал у жены в спальне молодого человека, Николая Ивановича.

Берегов настолько уважает свою жену, что ни одной минуты не допустит мысли, чтобы его жена приблизилась к себе человека, которого не любит. Теперь: оттого что муж застал их вдвоем, жена не перестанет любить Николая Ивановича? Верно, не перестанет. Теперь: не захотят же оба — и жена и Николай Иванович, — чтобы муж, Берегов, нелюбимый, уже посторонний жене, продолжал жить с ней, уходя из дому на то время, как Николай Иванович будет приходить к любимой и любящей женщине? Вот и все. Теперь сделайте вывод...

— Я сделаю! — мужественно сказала жена. — Николай Иванович, вы меня не прогоните? Я сейчас же еду к вам!

— Не прогоню, — со вздохом сказал Николай Иванович.

— Вот, — кивнул головой Берегов, — вопрос разрешен. А теперь, так как с этой минуты Соня уже делается мне чужим человеком, я не имею права присутствовать при ее туалете и потому ухожу в кабинет. Прощайте!

Он пожал руку совершенно растерявшегося Николая Ивановича, поцеловал ручку жены и твердыми шагами вышел из спальни.

— Мы... уходим, — раздался через 20 минут неуверенный голос жены за дверью.

— Всего хорошего, — доброжелательно откликнулся Берегов. — Завтра я пришлю все ваши вещи, Софья Никитична.

Он прислушался к удалявшимся шагам, потом подошел к окну, прижался к нему лбом и, с трудом разглядев сквозь заплаканное стекло стоявший в стороне от подъезда автомобиль, поставил на подоконник лампу.

Темный автомобиль тоже на мгновение осветился изнутри, потом все погасло, потом из автомобиля выпрыгнула темная закутанная фигура, потом через минуту прозвенел звонок в передней, а еще через минуту красивая черноволосая женщина, еще не успев сбросить меховой шапочки и калош, лежала в объятиях Берегова.

— Готово? Все готово? — лихорадочно спрашивала она, и плача и смеясь в одно и то же время. — Я так за вас боялась.

— А чего ж за меня бояться? Вся сложная и трудная операция произведена безболезненно... Теперь вся квартира в твоём распоряжении.

— Заминок никаких не было?

— Нет. Все было рассчитано до последнего винтика...

— Ах ты, мой инженер прекрасный!
— Ну что ж, — засмеялся Берегов, — инженер так инженер... Теперь, значит, начнем новую постройку.

ОТЕЦ МАРЬИ МИХАЙЛОВНЫ

...А когда разговор перешел на другие темы, Гриняев сказал:

— Доброта и добро — не одно и то же.

— Почему? — возразил Капелюхин. — Доброта относится к добру так же, как телячья котлета к целому теленку. Другими словами: доброта — это маленький отрок добра.

— Ничего подобного, — в свою очередь возразила и Марья Михайловна. — Добро прекрасно, возвышенно, абсолютно и бесспорно, а доброта может быть вздорной, несправедливой, мелкой и односторонней.

— Не согласен! — замотал головой Капелюхин. — Добрый человек всегда и творит добро!..

— Хорошо, — перебил Гриняев. — В таком случае я приведу пример, из которого вы едва ли выпутаетесь... Скажем, путешествуете вы по какой-нибудь там пустыне Сахара со своими двумя детьми и со слугой... И вдруг оба ваших мальчика заболевают какой-нибудь туземной лихорадкой... У вашего слуги есть вполне достаточный для спасения жизни детей запас хины, но слуга вдруг уперся и ни за что не хочет отдать этого лекарства. Выхода у вас, конечно, только два: или убить слугу и этим спасти двоих детей, или махнуть на слугу рукой — и тогда дети ваши в мучениях умрут. Что бы вы сделали?..

— Я бы убила этого подлеца слугу и взяла бы его лекарство, — мужественно сказала Марья Михайловна.

— А вы, Капелюхин? — спросил Гринев. — Ведь пример-то сооружен для вас.

— Что бы сделал я? Ну, я бы пообещал слуге все свое состояние, пошел бы сам к нему слугой, стоял бы перед ним на коленях...

— Пример предполагает полную непреклонность слуги...

— Ну, тогда бы я... Да уж не знаю, что... Тогда бы я все предоставил воле Божьей. Значит, уж деткам моим так суждено, чтобы умереть...

— Но ведь если бы вы убили слугу и отняли у него лекарство — дети ваши выздоровели бы!.. При чем же тут "суждено"?

— Ну, я бы убежал в пустыню подальше и повесился бы там на первом дереве...

— А детей бросили бы больными, беспомощными, умирающими?

— Чего вы, собственно, от меня хотите? — нахмурившись огрызнулся Капелюхин...

— Я просто хочу доказать вам, что доброта и добро — вещи совершенно разные. Все то, что вы предполагали сделать в моем примере с вашими детьми, — это типичная доброта!

— Что же в таком случае добро?

— А вот... Человек, понимающий, что такое добро, рассуждал бы так: на одной чашке весов лежат две жизни, на другой — одна. Значит, колебаний никаких. И при этом одна жизнь — жизнь скверная, злая, эгоистическая, следовательно, для Божьего мира отрицательная. Она не нужна. Ценой ее нужно спасти две жизни, которые лучше, моложе и, следовательно, имеют большее право на существование...

— И вы бы... — с легким трепетом недоговорил Капелюхин.

— И я бы... Конечно! Преспокойно подкрался бы сзади к слуге, ткнул бы ему нож между лопаток, взял хину, вылечил детей, и на другой день бодрые, освеженные сном мы бы двинулись дальше.

— Ну, знаете ли...

— Почему вы возмущаетесь? Потому что вы обыкновенный добрый человек... А я человек не добрый, но координирующий все свои поступки с требованиями добра.

— И ничего бы у вас не дрогнуло, в то время как вы тыкали бы вашему слуге ножом в спину?!

— Ну, как сказать... Было бы неприятно, чувствовалась бы некоторая неловкость; но это — единственно от непривычки.

— Хорошее добро!.. Тьфу!

— Нечего вам плевать, добрый вы человек! Все дело в том, что я умею рассуждать, а вы весь во власти сердца и нервов...

* * *

Марья Михайловна все это время сидела, свернувшись калачиком на диване, и молчала.

А когда все замолчали, вдруг заговорила:

— Теперь Рождество. И вспоминается мне золотое детство и вспоминается мне то самое веселое и милое в

моем детстве Рождество, когда у папы отнялись ноги и язык.

— У кого? — удивленно спросили все.

— У папы.

— У вашего?!!

— Не у римского же. Конечно, у моего.

— Ну, это гадость?

— Что?

— Говорить так об отце. Если бы даже он был тиран, зверь, и то нельзя так говорить о родном отце!..

— Он не был ни тираном, ни зверем.

— В таком случае, вы были скверной девчонкой?

— А вот я вам расскажу о своем отце, тогда и судите.

* * *

В будние дни отец все время был на службе и домой являлся только вечером, усталый, думающий лишь о постели.

Но перед праздниками, дня за два до Рождества, занятия у них прекращались и отец являлся домой часов в двенадцать дня — до 28 декабря.

Надевал халат и принимался бродить по всем комнатам.

— Мариша! — вдруг раздавался его тонкий не по росту и сложению голос. — Почему это тут в углу валяется бумажка?!

— Не знаю, барин...

— Ах, так-с. Вы не знаете? Интересно, кто же должен знать? На чьей это обязанности лежит: градского головы, брандмейстера или мещанского старосты? Значит, я должен убрать эту бумажку, да? Я у вас служу, да? Вы платите мне жалованье?

— Поехал, — слышался из другой комнаты голос старшей сестры.

До чуткого слуха отца долетало это слово.

— Ах, по-вашему, я "поехал", — бросался он в ту комнату, где сестра переписывала ноты. — Так-с. Это вы говорите отцу вашему или водовозу Никите? Тебя кто кормит, кто поит, кто обувает? Принц монакский, градской голова или брандмейстер? Ты что думаешь, что если учишься музыке, так выше всех? Отца можешь с грязью смешивать?

Из дверей выглядывала мать.

— Ну что ты пристал к девушке? Ей нужно к концерту готовиться, а ты жилы из нее выматываешь.

— Так-с. Мерси. Удостоился от супруги приветствия. Хм! Концерт... Что это еще за такие концерты-манцерты — кому это нужно? Выйдет такая вот орясина и начнет глотку драть — и чего, и что, спрашивается? Дома лучше нужно сидеть, чем хвосты трепать...

Он плотно усаживался на стул, показывая всем своим видом, что осенний дождик зарядил надолго, и продолжал:

— Воображаю, что это там за концерты такие хромоногие. Придут полтора дурака, скучно, холодно... И чего, и что, спрашивается?.. Сидела бы ты дома и не рыпалась!

— Папа, — рыдала сестра. — Что тебе от меня надо?

— Это еще что — слезы? Нечего сказать — устроили праздничек! В кои веки собрался отдохнуть — на тебе! Могу уж поблагодарить...

Через комнату пробегал, стараясь проскользнуть боком, братишка Костя.

— Ты куда? Куда? Почему в комнате в шапке? Это конюшня тебе? Так ты бы шел к лошадям, а тут люди... Куда ты идешь?

— К товарищу, — робко лепетал Костя, стараясь прошмыгнуть в дверь.

— Нет, стой!.. Что это еще за товарищи? Откуда? Знаю я этих товарищей: испортят костюм, запачкают всего, учебники порвут... А тебе учебники кто покупает — товарищи? Или, может быть, здешний градской голова или монакский король? И чего, и что мальчишка по улицам шатается? Сиди дома и не рыпайся...

Плачут уже двое: старшая сестра и Костя.

— Так-с. Благодарности достойно! Отцу бесплатный концерт устроили. Отдохнул на праздничках!

Шел потом на кухню, запахиваясь в оранжевый халат и поджав нижнюю небритую губу.

— Окорок запекаете? А ну, покажи. Это вы так запекли? Хорошее дело... Ну, что же, будем на праздниках сырой окорок есть. Ничего... желудочки-то луженые — вытерпят.

— Где же он сырой? — нетерпеливо говорила мать. — С одной стороны совсем пригорел.

— Пригорел? Так-с. Впрочем, нам наплевать... конечно... ведь платил-то за окорок не я, а монакский посланник.

Теперь плакали уже четверо: к первым двум присоединились мать и кухарка

* * *

На Рождество зажигалась елка.

— Вот вам елка, — говорит отец, поджимая губы... — Помните, что она мне не даром досталась, и поэтому вы обязаны веселиться... Котька, не смей подходить к елке, серебряную цепь порвешь! А бусы! Кто бусы рассыпал?! Что-о? Сами рассыпались? То есть как это сами? Живые они, что ли? Или их рассыпал брандмейстер? Кто без меня подходил к елке, признавайтесь?! Кто отломал хвостик этой серебряной рыбке? Вы думаете, эта рыбка ни копейки не стоит? Монахский посланник мне ее подарил? Так-то вам, паршивцам, устраивать елки? И я тоже — дурак: “деточек порадовать, елочку устроить”?! Осину нужно этим каторжникам, а не елку!.. Хм!.. Устроил! И чего, и что, спрашивается — бегал, хлопотал, деньги тратил... Сидел бы дома и не рыпался... Маруся — плакать? На елке плакать? Елка, значит, для того устраивается, чтобы на ней плакать? Хорошо-с... Так и запишем. И Котька ревет? Ладно же: вы мне устроили праздничек — я вам... В цирк вы нынче не пойдете!

— Да ведь билеты уже взяты! — говорила мать, хмуря нервное, хронически расстроенное лицо.

— Билеты можно продать. А то тоже... хм (отец усаживался довольно плотно на один из стульев). Выдумали разные цирки-мырки — кому это нужно? Какие-то дураки на лошадях скачут, другие смотрят. И чего и что, спрашивается? Сидите-ка дома и не рыпайтесь!

* * *

Мне было девять лет, когда однажды — это было перед Рождеством — отец кричал-кричал на Маришу, да вдруг ка-ак хлопнется на диван! Подскочили к нему, перенесли на кровать, а у него ноги отнялись и язык... Пришел доктор, успокоил мать, что все пройдет, а мать вышла к нам, говорит:

— Ну, дети, отца не беспокойте, он нездоров, а я вам елку сама нынчу устрою — увидите, как будет весело.

И действительно: никогда так весело и мило не было.

Правда, отец пытался звать нас поочередно к себе и знаками показывать, что ему и то не нравится, и это не нравится. Но знаками ничего не выходило. Пробовал он и записочки нам писать вроде: “Котьку на горы не пускать. Что это за горы такие еще... Пусть зря не рыпается”. Но в записках уже не было того тягостного впечатления, то-

го яда, какой получался в интонации слов. Написанные слова побледнели, потеряли краски, и мы относились к ним совершенно равнодушно... А в ядовитое мнение отца, что “порванный о гвоздь башлык я, вероятно, получила от градского головы”, я просто завернула карамельки и пряник для дворничьего мальчишки.

Да! Чудесное было это Рождество.

* * *

— Все-таки жестоко и грустно все это, — вздохнул добряк Капелюхин. — Мог же бы кто-нибудь из вас пойти и посидеть около кровати отца. Вы-то... сидели или нет?

— Нет, — простодушно ответила Марья Михайловна. — Он бы извел меня. Да вы знаете, что он выдумал? Что-бы мы, дети, поочередно чистили ему ваксой башмаки... Во-первых, у нас была прислуга для этого, а во-вторых, он все равно лежал раздетый, и башмаки ему были не нужны.

— И вы чистили?

— Чистила. И однажды, помню, сидела одна на кухне, чистила-чистила тяжелый неуклюжий отцовский башмак да вдруг взяла его и поцеловала!

Она грустно улыбнулась, опустила голову и с забытой на губах улыбкой задумалась — вероятно, об отце.

И это было так не в тоне рассказа, так неожиданно, что все растерянно замолчали.

Надолго.

ПЫЛЕСОС

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником? — смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас, или заключит в объятия... — кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?

— Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется.

Самый типичный дурак — это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.

А вдумайтесь — так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил, а пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью — втрое дешевле... Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу — на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели, — курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому — долой дураков!

Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки, как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень... момент — и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью потерявший форму комок.

И еще: видели ли вы, как работает так называемый “пылесос”?

Прекрасное, волшебное зрелище.

Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь: только прикоснулся к ним — и уже сверкает белизной грязное, загаженное место... Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:

— А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну...

— Каким образом?

— Да сказал, что видели вас в “Аквариуме” с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я — не дурак ведь — помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

— Кто же вас просил говорить об этом?

— Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава богу, хе-хе... Не выдал вас.

Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.

Я глядел на его работу и думал:

“Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился, и дышать сделалось бы легче”.

Эта мысль — придумать пылесос для дураков — гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался...

* * *

— Что я с ними буду делать, ты подумай! — плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. — На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город за двести верст.

Я потер рукой голову.

— Вот что... Садись за стол и пиши объявление в газеты...

Он сел.

— Ну?

— Пиши: “В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва — песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках — дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд”.

— Господи Иисусе, — ахнул мой друг. — Кто же может откликнуться на это предложение?... Разве только круглый дурак.

— Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную

компактную массу. Твоя земля — это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи.... То-то хорошо дышать будет.

— Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко...

— Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!

— Ну, так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.

— Ни за что! Пиши так: “Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности...” Есть?

— Есть. Да только уж и не знаю — выйдет ли что-нибудь из этого?

* * *

Вышло.

В “Контору по продаже земель поселка Каруд” посыпались письменные запросы.

Спрашивали:

“Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, побыстрее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!”

Один господин писал:

“Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение “лихорадочная местность”? Не в смысле ли это “лихорадочной деятельности в этой местности”?”

Дама писала:

“Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина”.

* * *

Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана.

Пылесос работал вовсю.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖЕНЩИНА

Звали эту женщину Зоя, имя легкое, не имеющее веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми жилками; губки розовые, ножки маленькие, голосок, как серебряная ниточка.

Вот какое представление вызывает у меня имя Зоя. А может быть, все это потому, что носительница имени Зоя была действительно такова по внешности.

Мы с ней жили вместе, и не могу сказать, чтобы жили плохо...

Но я никак не мог отделаться от мысли, что она не настоящий человек, втайне смотрел на нее, как на забавную игрушку, и однажды, когда она, наморщив лоб, спросила меня в упор:

— Скажи, ты уважаешь меня? — Я упал с оттоманки на диван и стал корчиться от невыносимого смеха, отчасти утрированного, отчасти — настоящего.

— Чудак ты, человечина, — отвечал я ей, успокаивая. — На что тебе мое уважение? Ты бы ревела от муки и тоски, если бы я тебя уважал. Ну, за что тебя уважать, скажи на милость?

— За что?

Она немного растерялась.

— Как за что? Ну, за то, что я... гм! Порядочный человек. За то, что я к тебе хорошо отношусь... Ну, за то, что я... тебе нравлюсь.

— Замечательный ты человечина! Разве за это уважают? За это любят.

— Так ты меня любишь?

— Ну конечно.

— Значит, я лучше всех?

— Помилуй, как так ты лучше всех? Не дай Бог, если бы ты была лучше всех... Тогда все мужчины повлюблились бы в тебя, и я уж никак не мог бы протолпиться к твоему сердцу... Нет, конечно, есть на свете женщины лучше тебя.

Она опечалилась... Опустила голову и сказала, растерянно разглаживая пальчиком шов диванной подушки:

— Вот тебе и раз... я этого от тебя не ожидала...

А я рассматривал ее близко-близко, как естествоиспытатель — редкого зверька, и мне было смешно-смешно.

— Ну, посуди сама, голубь мой золотой: не может же быть, чтобы ты была лучше всех... Есть женщины лучше тебя? Есть. Красивее? Есть. Обаятельнее? Есть.

Она криво усмехнулась:

— Ну, в таком случае я счастливее тебя: ты, по-моему, самый умный, самый красивый, самый обаятельный...

— Ты так думаешь? А по-моему, я вот что: я человек тридцати пяти лет, шатен, лицо приятное, особых примет нет, ум не государственный, а так, для домашнего обихода, а что касается обаяния, то почему же, черт возьми, меня окружают десятки женщин, которым даже в голову не придет обратить на меня благосклонное внимание?

— Господи ты мой. Господи, какой вздор несет этот человек! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у тебя глаза горят, как две звездочки, улыбка твоя туманит голову, а голос твой проникает в самое сердце и прямо переворачивает его. Знаешь, на кого ты похож? На серебряного тигра, вот на кого.

— Не видал таких. Они что ж, эти серебряные тигры, также носят визитку, темный галстук и по будним дням ходят на службу?

— Ты — глупый.

— Не скажу. Недалекий — пожалуй, но глупый — это уже крайность.

— Слушай, — прошелестела она мне на ухо, прижимаясь ко мне. — Я сказала тебе, какой ты...

— Ну?

— Теперь же скажи мне, какая я?

— Ты? Зовут тебя Зоя, ты ниже среднего женского роста, волосы у тебя очень хорошие, грудь немного полнее, чем бы следовало, а ноги немного короче, чем это требуется правилами женского сложения. Но и то и другое — следствие твоего роста. Таковы уж все маленькие женщины. Глаза красивые, но поставлены друг к другу ближе, чем следует. Ручка малюсенькая, но ногти хотелось бы, чтобы были поуже.

Она встала и отшатнулась от меня, бледная, с широко раскрытыми, остановившимися глазами.

— Постой! И ты осмеливаешься говорить, что любишь меня?! Меня, с большой грудью, с короткими ногами, с широкими ногтями — ты говоришь, что любишь меня?!!

Она упала на диван, и слезы, как вешние воды с гор, хлынули из глаз ее.

А я сидел, задумчиво опершись подбородком о свою спокойную холодную руку, и внимательно рассматривал плачущую женщину.

И думал:

“Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?” А она рыдала, исходила слезами, изредка ударяя головой о собственные сложенные на спинке дивана руки:

— А я-то, глупая, думала все время, что мы созданы друг для друга!! Еще давеча когда к чаю подали печенье и ты выбирал только соленое, то я подумала: Господи, как много между нами общего, хым... хым...

— Между нами — общее?! Что за ересь говоришь ты? С какой стороны мы похожи друг на друга? Я — большой, толстый, сильный, ты — маленькая, хрупкая, закутанная в кружевные тряпки и ленты. Я дымлю папиросами, как фабричная труба. Ты задыхаешься от этого дыма, как моль от нафталина. Попробуй надеть на меня то, что носите вы: туфли на высоченных каблуках, паутинные панталоны, кофточку из кисеи, корсет. Я сделаю несколько шагов и последовательно упаду, простужусь насмерть и задохнусь от корсета, одним словом — погибну. Ну, что же общего между нами? А попробуй надеть мужской костюм на хорошо сложенную женщину — и спереди и сзади это будет так нехудожественно, так неэстетично... Правда, худые женщины могут надевать мужской костюм, но это только тогда, когда у них нет ни груди, ни бедер, то есть когда они похожи на мужчину.

Она подняла на меня страдающие, заплаканные глаза...

— Это все пустяки, все внешние различия, а я говорю о духовном сродстве.

— Увы, где оно?.. Мужчина почти всегда духовно и умственно превосходит женщину...

Ее глаза засверкали.

— Да?! Ты так думаешь? А что, если я тебе скажу, что у нас в Киеве были муж и жена Тиняковы, и — знаешь ли ты это? — Она окончила университет, была адвокатом, а он имел рыбную торговлю!! Вот тебе!

— Дитя ты мое неразумное, — засмеялся я, ласково, как ребенка, усаживая ее на колени. — Да ведь ты сама сейчас подчеркнула разницу между нами. Заметь, что я, мужчина, всегда говорю о правиле, а ты — бедная логикой, обыкновенная женщина — сейчас же подносишь мне исключение. Бедная головушка! Все люди имеют на руках десять пальцев — и я говорю об этом... А ты видела в

паноптикуме мальчишку с двенадцатью пальцами — и думаешь, что в этом мальчишке заключено опровержение всех моих теорий о десяти пальцах.

— Ну конечно, — удивилась она. — Как же можно говорить о том, что правило — десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.

Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла последние слова, — вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия, — вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.

Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбывная жалость, которая сильнее любви, — затопила меня всего.

“Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогнать от себя... А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться — какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее Господи!).

А она, постукивая каблучками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествующе сказала:

— Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой — и так легко тебя переспорить...

Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревеневшее сердце.

Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.

— Ой, оставь, — вдруг тихонько застонала она. — Больно.

— Что такое?!

— Вот видишь, какой ты большой и глупый... Я хотела тебе сделать сюрприз, а ты... Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое... Ты доволен?

* * *

Я долго не мог опомниться.

Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:

— Слушай, и ты не бойшься?

— Чего?..

— Да вот этого... ребенка... Ведь роды вообще опасная штука.

— Бояться твоего ребенка? — мягко, непривычно мягко усмехнулась она. — Что ты, опомнись... Ведь это же твой ребенок.

— Послушай... Можно еще устроить все это...

— Нет!

Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутливее:

— А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница...

— Почему?

— Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины, — они бежали бы от женщин, как от чумы...

— Нет, — серьезно возразил я. — Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было — это факт.

— О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь, это будет превесело: нас было двое — станет трое.

Потом она долго, испытующе поглядела на меня:

— Скажи, ты меня не прогонишь?

Я смутился:

— С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чем-нибудь подобном?

— Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.

— Когда?

— Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне — прогнью-ка я ее.

Я промолчал, а про себя подумал другое: “Черт знает кто их сочинил, таких...” Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга...”

— Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.

Разгладила мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:

— Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики...

— Нет, уж извини: мне серебристый тигр больше по душе!..

— Ну, не надо плакать, — покровительственно хлопнула она меня по плечу. — Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.

Я глядел на нее и думал:

“Ну, кому она нужна, такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной”.

— Ну послушай... Ну посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.

* * *

И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое — я и сын.

Она умерла от родов.

* * *

Мне очень жалко ее.

КРАСИЛЬНИКОВ И МЫ ТРОЕ

Все мы меряем только на свой аршин, и каждый из нас стоит только на своей точке зрения.

И как стоит! Уцепившись за эту точку зрения, как коршун, цепкими, крючковатыми когтями. Даже тычками и побоями не сгонишь его с принадлежащей ему точки зрения. Тепло ему на ней и уютно.

“Моя точка зрения” — больше ему ничего не нужно, ничьей другой точки. И кто возвысится до многоточия — тот мудрец.

Но мало мудрецов, и поэтому жизнь эгоистична, скупа и жестка, как солдатская подошва:

— С моей точки зрения, я прав; с моей точки зрения, вы дурак; с моей точки зрения, это весело; с моей точки зрения, так вам и надо!

У нас у троих были свои точки зрения, у Красильникова — своя. Никто из нас даже на минуту не подумал стать на его точку зрения — потому все и произошло.

* * *

В жаркий ленивый полдень мы трое изнывали в безделье, расположившись, как кто хотел, в моей редакторской комнате: поэт Кувшинов лежал на широкой оттоманке; художник Крысаков в углу, сидя на маленькой скамейке, зарисовывал чей-то профиль; я, откинувшись в кресле, боком к письменному столу и положив ноги на подоконник, лениво просматривал кипу рукописей.

— Этот проклятый Красильников никогда не отвыкнет от безграмотности, — пробормотал я. — У него в рассказе есть такая фраза: “Сидя с Леночкой на кушетке, он целовал ее ножки”. Чьи ножки, черт его возьми?

— А вот он и сам идет, — заметил Кувшинов, оборачивая лицо к открытой двери.

У нас уже так установилось, что с Красильниковым — человеком недалекоим — никто серьезно не разговаривал: или сообщали ему тут же измышленные сенсационные новости, или просто замечали:

— Чудесный рассказ у вас был в “Ниве”.

— Да я там не пишу, что вы!

— Как не пишете? А рассказ “Веревка”, подписанный “Н. Крутиков”, разве не ваш?

— Нет, что вы! Он же Крутиков, а я Красильников.

— А ведь верно! А мы нынче получили от редактора парижской “Temps” письмо... Спрашивает, кто такой Красильников и не может ли он у них сотрудничать? Заинтересовался.

— Ну? А я же по-французски не пишу.

— Ну, и пеняйте на себя. Значит, все дело расстроилось.

Но в этот томительный жаркий полдень даже такие разговоры с Красильниковым не шли на ум.

Только поэт Кувшинов по привычке лениво заметил:

— А, Красильников... Так-с, так-с... Слыхали! Нечего сказать, хорош!

— А что такое? Что вы слыхали? — забеспокоился Красильников.

Так как поэт вообще ничего не слышал, а придумывать ему было лень, то он ограничился тем, что перебрал мяч дальше.

— Да уж знаем! Нечего притворяться удивленным... Вот вам Крысаков может рассказать все подробно... Не ожидал я этого от вас, не ожидал...

— В чем дело, Крысаков? — повернулся к нему встревоженный Красильников. — Что случилось?

Но и Крысакову было лень вытягивать самому этот неуклюжий воз.

— Что случилось? — патетически воскликнул он. — Эх, Красильников, Красильников! И вы это спрашиваете у меня? Да можете ли вы посмотреть мне прямо в глаза? Нет, Красильников! Или вы издеваетесь над нами, или... или... нет, я просто не нахожу слов!..

— Да в чем же, наконец, дело? — завопил Красильников, побледневший, как бумага, на которой он писал свои топорные рассказы. — Я, наконец, требую, чтобы вы сказали... Если я в чем-нибудь виноват, я извинюсь, конечно, но...

— Послушайте, — тихо сказал Крысаков, и в голосе его дрогнула слеза. — Все это так тяжело, так невыносимо, что... Да что там говорить об этом! Вот тут, видите? Вот тут бьется сердце, которое вас, может быть, любило — и что же!.. Да нет, не могу я... Вот тут давит... Пусть вам редактор сам скажет...

По обыкновению, эти негодяи всю фактическую часть постарались свалить на меня. Они запутывали, а я всегда должен был распутывать.

Но на этот раз никакая мысль не рождалась в разваренной зноем голове...

— “Редактор, редактор”... — вскричал я. — А редактор не человек, что ли? Если вам обоим так тяжело говорить об этой ужасной истории, то почему мне легко?..

— О какой истории? — спросил дрожавший Красильников, бессильно опускаясь на стул. — Какая история?

— И вы это спрашиваете — меня? *Меня?* — захныкал я. — И вы можете мне прямо посмотреть в глаза? О, Красильников! Ну, глядите же в эти честные глаза... Ага! Вы не можете смотреть! Ваш взгляд бежит... Довольно! Теперь я уверился...

— В чем, в чем? — чуть не рыдал Красильников.

— В чем? Я не хотел поднимать разговора об этой тяжелой для вас и для меня истории, но начал разговор бестактный Кувшинов. Пусть же он и объяснит все.

— Кувшинов! Ради Бога, в чем дело?..

Кувшинов спустил ноги с дивана, сложил руки на груди и, опустив голову, торжественно и мрачно начал:

— Господин Красильников! Вы сами понимаете, что... не время да и не место говорить обо всем этом. Здесь редакторский кабинет, а не... а не какая-нибудь другая комната!.. Это — храм! А в храме о таких поступках, как ваш, не говорят! Это осквернение святыни! Вы спрашиваете: “В чем дело?” — ха-ха! Вы это спрашиваете у меня? Но

почему вы не спрашиваете у художника Крысакова, который сам из первых уст узнал об этом страшном эпизоде!

— Крысаков! Я вас умоляю — в чем дело? Я ведь спать не буду, если не узнаю!

— И не спите! — истерически закричал Крысаков, стуча кулаком по столу. — И не спите! Вам теперь нельзя спать. Я бы удивился, если бы вы спокойно спали... Боже мой, Боже мой... Будь это еще мужчина, а то ведь женщина... Слабая, прекрасная женщина...

— Что женщина? Какая женщина? Что с ней случилось?

— Вам это лучше знать, — криво улыбнулся Крысаков. — Вам и... и редактору. Он ведь тоже немного в этом замешан.

И опять этот дурацкий запутанный клубок без начала и конца вернулся ко мне...

— Да, я замешан! — воскликнул я. — Но как? В самом благородном смысле. Я даже дал слово ничего об этом не говорить... И я сдержу это слово!.. Впрочем, вот что, Красильников. Ответьте мне только на один вопрос: вы ведь бывали в Киеве?

— Да... я там жил четыре года... А что?

— Ага! — сказал поэт. — Уже он сознается! Он уже это признал!

— И там у вас были знакомые? — нахмурившись, спросил я.

— Д... да, были.

— Ну вот! Больше нам ничего и не надо... Ах, Красильников, Красильников.

— О каких знакомых вы говорите? — взволнованно спросил Красильников. — О Маевских?

— Да-с! — загремел Крысаков. — Именно, о Маевских! Теперь вы все понимаете?

— Ей-Богу, не понимаю...

— О-о, Красильников... Вы хитрая штучка, и вас не всякий раскусит... но я вас понимаю! Довольно!

— Послушайте!! — простирая руки, бросился ко мне Красильников. — Вы обязаны сказать мне; так же нельзя...

— Как?! Вы спрашиваете меня? *Меня?* Но ведь я же связан словом, вы знаете...

— Я не знаю, ей-Богу!!

— Хорошо: я вам скажу только два слова: золотой медальон! Белокурые волосы!

— К... к-какой медальон?!

— Довольно, — сказал поэт, которому уже захотелось спать. — Больше вы от нас не услышите ни слова.

Остальное — дело вашей совести. Если редактор устроит товарищеский суд сотрудников, то... впрочем, что об этом говорить, когда так болит сердце!..

Он лег на оттоманку и отвернулся к стене.

Красильников бросился к Крысакову, но тот сурово отвел его рукой, вооруженной карандашом... Красильников обратил на меня растерянный взор, но я только молча пожал плечами...

Он постоял еще с минуту и вышел, спотыкаясь.

— Здорово мы его разогрели, — заметил Крысаков.

— Что это за медальон, о котором вы ему говорили?

— Так просто, на язык подвернулось.

— Жаль, что ничего лучшего не придумалось. Вообрази себе, Кувшинов...

Но Кувшинов уже ничего не мог вообразить себе: он спал.

* * *

Прошло две недели.

Снова мы трое собрались в моем редакторском кабинете. Только на этот раз на оттоманке лежал я, а поэт Кувшинов за моим письменным столом переписывал стихи...

— Скучно как, — заметил Крысаков.

— Хотя бы Красильников пришел, — буркнул под нос поэт. — Все-таки какую-нибудь штуkenцию выкинули бы...

А я промолвил:

— Давно уж он не показывался.

* * *

В сентябре вся редакция устраивала какую-то юбилейную вечеринку.

Было около 11 часов... Веселье и смех уже достигли апогея, когда в комнату как-то бочком, робко протиснулось Красильников.

Он остановился посредине комнаты и принялся оглядывать всех нас близорукими глазами.

— Красильников, дуся! — вскричал Крысаков. — Что это вы запропали? Да Боже мой, что с вами? Вы так похудели, что на вас смотреть страшно.

— Больны вы были? — спросил Кувшинов. — Случилось что-нибудь? Влюбились?

— Нет, что вы, — неуверенно улыбнулся Красильников. — Только я все это время не находил себе места. Скажите, господа, хоть сейчас — в чем дело?

— Какое дело? Что такое?

— В чем я провинился? Что за история? Какой медальон? — умоляюще поглядел на нас Красильников.

— Медальон? — спросил полный недоумения Крысаков. — Кой черт вы толкуете о медальоне?

Очевидно, все мы трое так добросовестно забыли о вялом июльском разговоре, что Красильникову пришлось долго напоминать нам:

— Ну как же! Я ведь с тех пор сам не свой... Ездил даже в Киев, виделся с Маевскими, но они божатся, что ничего не знают... Я заснуть не могу! Может быть, теперь это наконец можно выяснить...

Я бросил взгляд на Кувшинова: он, отвернувшись, прочищал мундштук; поглядел на Крысакова... Он с любопытством разглядывал картину на стене. Я был предоставлен самому себе.

— Видите ли, Красильников... Оказалось, что вы в это ужасное дело были замешаны случайно... Простое совпадение: того человека звали Крашенинников. Понимаете? Теперь все выяснилось, и вы можете быть спокойны. Поверьте, что нами... гм!.. руководило только товарищеское чувство, и все мы... Я сейчас! Мне тут нужно к одному человеку...

Я повернулся и ушел, вернее убежал — домой.

* * *

Проклятая штука — точка зрения.

С нашей точки зрения, все это тогда, в жаркий полдень, казалось таким веселым, забавным, непринужденным...

У Красильникова же оказалась своя точка зрения.

ИНКВИЗИЦИЯ

Я гляжу на них сверху вниз...

И не потому, чтобы я их презирал, а просто я выше их, хотя и сижу в кресле: Лиля высотой не более аршина, Котька — вершка на два выше.

Каждый из них опирается обеими руками о мое колено, и оба не мигая глядят в мои бегающие глаза.

— Я у Шуры книжку видел, — сообщает Котька и умолкает, ожидая, чтобы я спросил: "Какую?"

— Какую?

— Называется: “Мальчик у Христа на елке”.

— Мда-а, — неопределенно мычу я.

Молчание.

Лиля решает поддержать брата:

— А я стихи новые знаю.

И замирает вся, напрягается, трепетно ожидая одного только словечка: “Какие?”

— Какие?

Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишонки.

Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше, прорывается сразу:

У нашей елки
Иголки — колки,
В дверную щелку
Мы видим елку...
Звезда, хлопушки.
Орехи, пушки.

— Все. Вчера в журнале читала.

— Так-с, — снова мямлю я. — Стишки хоть куда. А это знаешь: “Зима. Крестьянин торжествуя...”?

Но такой оборот разговора обоим невыгоден.

— Мы это знаем. Слушай, дядя... А бывают елки выше потолка?

— Бывают.

— А как же тогда?

— Делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки — они убирают просунутый конец игрушками, золочеными орехами и велятся напропалую.

Котья отворачивает плутоватую мордочку в сторону и задает многозначительный вопрос:

— А кто живет этажом ниже нас — у них есть дети?

— Не знаю. Кажется, там старик какой-то.

— Жаль. А знаешь что, — неопределенно говорит Котья, — я на Рождество буду слушаться.

— И я! И я! — ревниво кричит Лиля.

— Важное кушанье! — пожимаю я плечами. — Вы всегда должны слушаться. А нет — я сдеру с вас шкуру, набью ее ватой, и уж эти-то детки будут сидеть тихо.

Котья приподнимает одну ногу, осматривает ботинок, который у него в полном порядке, и, казалось бы бесцельно, сообщает:

— У наших соседей, говорят, нынче елка будет.

— Не соседей, а соседей.

— Ну, пусть соседей. Но елка-то все-таки будет.

Положение создается тягостное.

— Елки... — мычу я. — Елки... Гм!.. Тоже, знаете, и от елок иногда радости мало. Вон, у одних моих знакомых тоже как-то устроили елку, а свечка одна горела, горела, потом покосилась да кисейную гардину и подожгла... Как порох вспыхнул дом! Восемь человек сгорело.

— Елку нужно посредине ставить. Рази к окну ставят, — замечает многоопытная Лиля.

— Посредине... — горько усмехаюсь я. — Оно и посредине бывает тоже не сладко. В одном тоже вот... знакомом доме... у Петровых... Петровы были у меня такие... знакомые... Так у них — поставили елку посредине, а она стояла, стояла да как бухнет на пол, так одну девочку наполам! Голова к роюлю отлетела, ноги к дверям.

К моему удивлению, этот ужасный случай не производит никакого впечатления. Будто не живой ребенок погиб, а муху на стене прихлопнули.

— Подставку нужно делать больше и тяжелее — тогда и не упадет елка, — деловито сипит Котья.

— На подставке одной далеко не уедешь, — возражаю я. — Главная опасность — это хлопушки. Знал я такую одну семью... как бишь их? Да! Тоже Петровы. Так вот один из мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где следует — бац! Глаз пополам, и ухо на ниточке!

Мы все трое замолкаем и думаем — каждый о своем.

— А вот я тоже знала семью, — вдруг начинает задумчиво и тихо, опустив голову, Лиля. — Ихняя фамилия была Курицыхины. И тоже, когда было Рождество, так ихний папа говорит: “Не будет вам завтра елки!” Они завтра тоже легли спать днем, и ихний папа тоже лег спать днем... Нет, перед вечером, когда бы была зажгита елка, если б он сделал. Так они тогда легли. Ну, легли все и спят, потому елки нет, делать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все покрали, что было, чего и не было — все взяли. Ну, проснулись, понятно, и плакали все.

— Это, наверное, был такой случай? — спрашиваю я, делая встревоженное лицо.

— Д... да, — не совсем убежденно отвечает Лиля.

— Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся воры?

— Заберутся, — таинственно шепчут оба.

— А если вы не ляжете спать в это время?

— Нет, мы ляжем!!!

Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучительная гримаса трепетного ожидания, а глаза выражают то страх, то надежду, то уныние и разочарование.

Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю преглупый вопрос:

— А вы какую бы хотели елку: зеленого цвета или розового?

— Зеленую...

— Ну, раз зеленую — тогда можно. А розовую уж никак бы нельзя.

* * *

Как щедры дети: поцелуи, которыми меня осыпают, совсем не заслужены.

В ОЖИДАНИИ УЖИНА

Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя — крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском — за беседой с пришедшими к родителям гостями.

Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого унылого самума, мертвящего все живое.

Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пахнувшей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня...

— Ну-с, молодой человек, — с небрежной развязностью спрашивал он. — Как мы живем?

Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно... Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос — значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен.

И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал:

— Ничего себе, благодарю вас. Живу себе помаленьку.

— Так-с, так-с. Это хорошо. А ты не шалишь?

Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно:

— Нет, не шалю.

— Так-с, так-с. Ну, молодец.

Постояв надо мной минуту в тупом раздумье (что бы еще спросить?), он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина:

— А он у вас совсем мужчина!

— Да, растет так, что прямо и незаметно. Ведь ему уже девятый год.

— Что вы говорите?! — восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет.

— Вот уж никак не предполагал!

— Да, да, представьте.

Первое время моему самолюбию очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня, но скоро я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства: родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина и что им мой возраст да и я сам так же интересны, как прошлогодний снег.

И все же после первого гостя передо мной — скромно забившимся в темный уголок за роялем — выросла другая гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках (эти особенности гостей прежде всего запомнились мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и объятиям):

— А, вы тут, молодой человек. Ну что — мечтаешь все?

— Нет, — робко шептал я. — Так... сижу.

— Так... сидишь?! Ха-ха! Это очень мило! Он "так сидит". Ну, сиди. Маму любишь?

— Люблю...

— Правильно.

Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же, вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут, раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:

— Ну, как наши дела?

— Ничего себе, спасибо.

— Учишься?

— Учусь.

Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям — оно совершенно преображалось: восторг был написан на этом лице...

— Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю: учишься? А он, представьте: учусь, говорит. Сколько ему?

— Девятый.

Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток.

— Неужели девятый? А я думал — семь.

— Время-то как идет!

— И не говорите! Только в позапрошлом году был седьмой год, а теперь уже девятый.

Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье крысы под полом: в соседней комнате, накрывая на стол, лязгнули ножом о тарелку.

— Дети очень быстро растут.

— Да, он потому такой и куденький. Это от роста.

— Вырастешь — большой будешь, — делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь ближе к дверям, ведущим в столовую.

Выходит горничная, шепчет что-то матери; все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствие достигает апогея:

— Вы его в гимназию думаете или в реальное?

— Не знаю еще... Реальное, я думаю, лучше.

— О, безусловно! Реальное — это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет...

— Пожалуйста, госнода, закусить, — раздается голос отца из столовой.

И вот — ужас! — совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благодетельным гостем. Он подсакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит:

— Ну зачем это, право! Такое беспокойство вам, ей-Богу.

На всех лицах как будто отражается невидимое солнце; все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них, на крыльях ветра помчаться в столовую; у всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куска отправленной в рот семги...

Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, только в моем нежном восприимчивом детстве, когда все так важно,

так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания, теперь сделалось обычным, ординарным.

Чистая, нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный чувствительный след.

* * *

Вот странно: почему, бишь, это я вспомнил сейчас все рассказанное выше...

Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького тихого мальчишка с худым бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с ключими бородами и широкими твердыми руками — всех этих больших скучающих людей, которые, туло уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина:

— Ну, как мы живем?

Почему я все это вспомнил?

Ах, да!

Дело вот в чем: сейчас я стою — большой взрослый человек — перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома, и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах:

— Ну, как мы живем?

Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо...

— Маму свою любишь?..

ЦВЕТЫ ПОД ГРАДОМ

Эта картина своей идилличностью могла умилить кого угодно: сумерки; на диване в углу уютно примостилась Клавдия Михайловна; около нее сидел Выпуклов и читал ей вполголоса какую-то книжку; у полупотухшего каминна — я; у моих ног играл маленький сын Клавдии Михайловны — Жоржик. Было тихо, только в камине изредка потрескивало не совсем догоревшее полено.

— Дядя, что это? — спрашивал Жоржик, протягивая мне книжку.

— Это? Слон.

— А зачем он такой?

— Маму не слушался, — отвечал я, стараясь из всего извлечь для ребенка нравоучение. — Не слушался маму, ел одно сладкое — вот и растолстел!

— А вот это желтенькое — слушалось маму?

— Жирафа? Обязательно.

Умиленный ребенок наклонился и поцеловал добродетельную жирафу в ее желтую с пятнами шею.

— Как вас любит Жоржик, — заметила Клавдия Михайловна, поворачивая ко мне лицо с большими загадочно мерцавшими глазами.

— Я думаю! — самодовольно улыбнулся я. — Ко мне дети так и льнут.

— Вам его бы свести в кинематограф.

— Когда-нибудь сведу.

— А вы сейчас бы его повели.

— Сейчас? Хорошо. Мы пойдем все вместе?

— О, нет. Что касается меня, так я устала дьявольски.

— Я тоже, — сказал Выпуклов, отрываясь от книги.

— Впрочем, я не знаю, — нерешительно промычал я, — есть ли тут детские кинематографы?..

— Глупости! Будто мальчику не все равно. Ему лишь бы лошадки бегали, собачки... кошечки разные... Жоржик! Хочешь поглядеть, как слоники бегают?

— Позвольте, но ведь слонов там может и не быть!

— Ну, это не важно. Другое что-нибудь будет бегать. Скажите няне, чтобы она его одела.

* * *

Жоржик семенил рядом со мной, уцепившись за мою руку с такой завидной прочностью, что я умилился: этот ребенок чувствовал ко мне полное доверие и считал меня самой надежной опорой в окружавшем нас эгоистическом мире.

— Постой! — сказал я, приостанавливаясь. — Вот тут тебе и кинематограф, оказывается, есть. На вашей же улице. Ну, что тут такое? “Жизнь на пляже” — веселая комедия в 2-х частях. “Где-то теперь твое личико смуглое?” — роскошная драма. Жоржик! Хочешь видеть роскошную драму?

— Хочу, — согласился покладистый Жоржик. — А драма какая будет?

— Я ж тебе говорю — роскошная.

— А я люблю, когда петух бывает.

— Какой петух?

— А я не знаю. Картины все какие-то нехорошие, серые. А как картина окончится — петух всегда появляется. Красный. Я, как с мамой был, — только этого петуха и ждал. В углу он всегда.

— Гм... да... — пробормотал я. — Это его ставят в угол за то, что он шалит. Ну, пойдем, брат, за билетами.

— Пойдем, брат, — пропищал Жоржик, уцепившись за мою ногу... (руку свою я с трудом высвободил для производства билетной операции).

Было тесно и душно. Я протиснулся куда-то, наступая на невидимые ноги, уселся и облегченно вздохнул.

— Ну, Жоржик, — смотри, брат.

— Буду смотреть, брат, — согласился Жоржик. — Что это тут будет?

— “Жизнь на пляже”, комедия. Начало уже — видишь?

— Дядя!

— Ну?

— А зачем эта женщина ходит с голыми руками и с ногами?

— Да это, видишь ли, — очень просто. Да-а... Штука, братец ты мой, простая: она маму не слушалась, рвала башмачки и платье — мама ее и раздела.

— А куда это она входит? Что это за домичек такой?

— Это кабинка. Да ты смотри!

— Да я смотрю. А это какой это дядя идет?

— Так себе, обыкновенный. Гуляет.

— А зачем он смотрит в щелочку?

— Он? Да ведь тут море близко, вот он и смотрит... боится, чтобы она не утонула.

Сзади меня кто-то сказал соседу довольно явственно:

— Слышали вы когда-нибудь более идиотские объяснения?

— Жоржик, — сказал я не менее явственно. — Жоржик! Можешь себе представить, что бывают на свете тупоголовые лошади, совершенно не понимающие психологии и умственного уровня ребенка?

— А петух скоро будет? — осведомился Жоржик, совершенно игнорируя непонятную для него фразу.

— Петух! А Бог его знает... Видишь, вон, еще дядя идет.

— Ой, смотри: он этого, который в щелочку смотрит, палкой бьет. Зачем это он?

— За то, что тот по песку валяется. Видишь, никогда не нужно по песку валяться.

Хронологически мое соображение было не совсем правильно: следствие у меня было впереди причины — подсматривавший господин сначала получил удар палкой, а потом уже повалился на песок. Но простодушный ребенок свято мне верил.

— Ага! Он, значит, раньше валялся по песку, а тот это увидел и говорит: “Ты зачем это?” И палкой его побил. А куда это они бегут?

Я решил идти по раз намеченному пути:

— Чай пить. А то опоздают — мама бранить будет.

— А вот смотри — первый-то опять идет обратно.

— Ну да же! Его оставили без чаю за то, что он по песку валялся. Так, брат, поступать не полагается. Этак всякий будет по песку валяться — так что ж оно получится...

— А вот смотри — она уже из этого домика выходит уже в платье... А ты говорил — мама ей не дает.

— Да, конечно! Она, видишь ли... Гм! Нехорошая женщина. Она украла это платье.

В этот момент молодой повеса, скрывавшийся за кабинкой, выскочил из-за угла, бросился к вышедшей даме и, обняв ее, впился ей в губы страстным поцелуем.

— Что это он? — забеспокоился Жоржик.

— Она его дочка, понимаешь? Он ее любит. Это ее папа. Ну, значит, любит и, как полагается, целует.

— А вон смотри: опять тот бежит. Опять ее папу палкой бьет. За что?

— Он это не бьет, видишь ли. А так просто. Тот по песку давеча валялся, ну, костюм, конечно, в песке — вот тот и выколачивает. Это его слуга. Понял, брат?

— Понял, брат, — кротко согласился Жоржик.

— Как можно поручать ребенка такому кретину, — искренно удивился кто-то сзади.

— Жоржик! — громко заметил я. — Когда ты вырастешь, так не будь дураком и старайся понять следующее: то, что подходящее для взрослого, не всегда подходящее для маленького.

Сзади из темноты неизвестный голос возразил:

— Знаете, Петр Иванович, я не понимаю: если детям такие картины не подходят, так почему взрослые остолпы водят их сюда?

Кровь во мне закипела.

— Жоржик! — сказал я. — Обрати внимание на то, что самая худшая порода ослов, это та, которая...

— Смотри-ка, — перебил Жоржик. — Папа побежал, а его слуга остался с ней, с его дочкой. Смотри, она плачет, становится перед ним на колени. К чему это?

— Ну, как же... Неужели ты не понимаешь? Она бежала голыми ногами по песку, могла простудиться... Вот слуга на нее и кричит.

Мне решительно не везло с объяснениями: в тот момент, когда “слуга” кричал на коленопреклоненную “дочку”, она вскочила и бросилась в его объятия.

— Что это он ей делает? — спросил сбитый с толку предыдущими объяснениями Жоржик.

— Кусает ее. Видишь, укусил ей щеку... теперь ухо... губу... в глаз теперь вцепился.

— Чего же она не плачет?

— Ну, что она, маленькая, что ли! Терпит. Вот и ты теперь старайся — если ушибеешься или что другое — не плачь. Видишь, она даже улыбается.

— Смотри-ка, они уже дома... А вот слуга под енную кровать лезет — зачем?

— Ну, это уже они спать ложатся, уже, значит, конечно. Пойдем, брат.

— А давай, брат, до петуха посидим.

— Поздно уже будет, какие там петухи. Пойдем!

Я вскочил и, стараясь заслонить от Жоржика совсем разнуздавшийся экран, повлек доверчивого малютку к выходу.

Вдгонку нам несколько голосов сказали удовлетворенно:

— Давно бы так!

Поднимаясь по лестнице, мы увидели парадную дверь квартиры Жоржика открытой. На пороге стояла горничная, припавши к швейцару и впившись губами в его бритую щеку.

— Кусаются, — сказал Жоржик. — Вот еще дурные.

Горничная подавленно взвизгнула и умчалась, а мы прошли в столовую, из столовой в кабинет, из кабинета в будуар, и тут я на пороге, тихонько откинув портьеру, задержал Жоржика.

— Тссс! Не мешай, Жоржик, не надо. Мама занята. Пойдем лучше сюда, в столовую.

— А что мы будем тут делать? Скучно. Я хочу к маме.

— Не стоит, Жоржик. Люди — звери, Жоржик... Знаешь, что, брат? Мы сейчас вдвоем, а теперь я один — видел: им ничего не стоит укусить совершенно постороннего человека.

— Не люблю я, брат, когда кусаются, — согласилось со мной это покладистое дитя.

И мы долго сидели в темной столовой, прижавшись друг к другу...

О РУССКИХ КАПИТАЛИСТАХ

Дуракам на поучение, людям среднего сорта на потеху, умникам на одну минуту тихой задумчивости — расскажу я нижеследующую правдивую историю...

Кошкормоев получил по наследству двадцать тысяч... Эти двадцать тысяч сделались любимой темой его разговора:

— Хорошо иметь двадцать тысяч. Сидишь ты себе, где хочешь, палец о палец не ударяешь, и что же! Имеешь в год тысячу рублей процентов.

И неизменно заканчивал:

— Жаль только, что у меня не сорок тысяч.

— Почему?

— Потому что тогда я имел бы две тысячи в год.

— Тогда, — советовал ему кто-нибудь из друзей, — тебе бы нужно было пожалеть, что ты имеешь не шестьдесят тысяч.

— Почему?

— Три тысячи имел бы в год.

— А ведь верно!

— На твоём месте, — говорил все тот же сообразительный приятель, — я бы не ограничился какими-то жалкими пятью процентами, а затеял бы какое-нибудь дело. Процент сорок можно было бы получать.

— Да что ж, — поглаживая усы, говорил Кошкормоев.

— Если бы подвернулось верное дело, я вошел бы в него.

* * *

Кроме Кошкормоева жил на свете еще один человек — Ерыгин.

Не следует дурно отзываться о людях. Поэтому о Ерыгине можно сказать только то, что он был деловым человеком по преимуществу.

Однажды он приехал к Кошкормоеву и сказал:

— Нынче такое время, что инициатива должна приходиться на помощь и на службу к капиталу. Согласны вы с этим?

— Совершенно, — кивнул головой капиталист Кошкормоев, играя пальцами.

— Вот мы уже почти и договорились, — весело усмехнулся Ерыгин. — Дело вот какое: если вы вложите в него тысяч пять или восемь капиталу...

— Лучше пять, — перебил Кошкормоев с самым деловым видом.

— Ну, пять. Ладно. Так если вы вложите в это дело пять тысяч, вы получите на них процентов 80 в год.

— Значит, четыре тысячи получу?

— Ясно.

— Вы меня заинтриговали.

— А еще бы. Ну, слушайте, что я вам скажу. Читали ли вы когда-нибудь, что в Америке существуют этакие, знаете, сельскохозяйственные мортiry, из которых во время засухи стреляют в небо.

— Как же! В календарях об этом часто говорится.

— Ну, вот видите. Даже в календарях. Принцип этой стрельбы из пушек по небесам тоже вам ясен: благодаря сотрясению воздуха в верхних слоях атмосферы происходят изменения...

— Атмосферические.

— Чего-с?

— Я говорю, изменения... атмосферические. Происходят.

— Совершенно правильно. На небе постепенно собираются тучи, и в конце концов возникает дождь.

— Да, это все верно. Возникает.

— Хорошо-с. Известно ли вам, что в настоящее время происходит громадная мировая война?

— Бесспорно.

— Ну вот. Теперь я хватаю быка прямо за рога: хотите вы где-нибудь под Минском совокупно со мною открыть большую фабрику зонтиков?

Оба — и гость и хозяин — откинулись на спинки кресел и, разинув рты, поглядели друг на друга. Первый поглядел победоносно, второй — изумленно.

— Зо... зонтиков?

— Да!!

— Фа... фабрику?

— Ну да!

— Понимаю, — кивнул головой хозяин. — Предвидите громадные дожди в том районе. Зонтики — нарасхват!

— То есть как быстро один умный человек понимает другого умного человека! — умилился Ерыгин. — Вы тоже умеете хватать быка за рога. Вы сразу поняли, что при

такой пальбе стране грозит потоп и единственное противоядие против него — это зонтики, целый лес зонтиков!!

Потрясенный, с влажными от слез глазами, Кошкочомоев обнимал Ерыгина.

— Дорогой мой! Само небо прислало вас ко мне.

— Добавьте: дождливое небо! И так — по рукам?

— Он еще спрашивает! Подождите, сейчас устрою вам пять тысяч, а потом поговорим о подробностях.

* * *

Первое письмо “с места”, адресованное Кошкочомоеву, гласило следующее:

“Район Минска. Помещение нанято, машины закуплены. Хлопочу, как сумасшедший. Завтра еду закупать материал для работы. Остаюсь с уважением ваш компаньон Ерыгин”.

На другой день потрясенный Кошкочомоев получил второе и последнее письмо:

“Разбит. Уничтожен. Все против нас. Оказывается, все окрестные леса в военных целях вырублены и сожжены. Ввиду этого материала для зонтиковых ручек достать нельзя. Можно бы, конечно, в крайнем случае, выпустить зонтики без ручек (нужда в зонтиках тут страшная), но сию минуту я с ужасом узнал, что и материи для покрышек тоже нельзя достать ни за какие деньги — все материи закуплены для нужд армии. Конечно, можно бы выпустить зонтики и без покрышек, но таковые зонтики протекали бы и ношение их не достигло бы той цели, которую мы преследовали... Нет! Не могу писать больше. Руку сводит, к горлу подкатывает ком. Прощайте! Ваш несчастный, бывший компаньон Ерыгин”.

* * *

— Хорошо иметь пятнадцать тысяч, — говорил Кошкочомоев кому-нибудь из приятелей. — Не сеешь, не жнешь, а 750 рублей в год получаешь.

— Мог бы втрое получать, — возражал приятель. — Нужно только вложить деньги в какое-нибудь дело.

— Да если бы верное дело, то — отчего же... Только я пошел бы уж, конечно, в самое верное дело.

Верное дело нашлось.

* * *

Кроме Кошкочомоева и Ерыгина жил на свете еще человек по имени Чебурдаев.

Нехорошо плохо говорить о людях. Поэтому о Чебурдаеве только и можно сказать то, что он был многосторонний человек.

Это свойство его природы наиболее ярко выразилось в предприятии с булавками, затеянном им совместно с Кошкочомоевым.

— Под лежачий камень вода не течет, — заявил он, явившись однажды к Кошкочомоеву. — Вы, русские капиталисты, и злите меня, и смешите. Бельгиец или англичанин давно бы уже сделали из своих денег миллион... А вы — что? В чулке, небось, их держите?

— Я пойду только в самое верное дело, — осторожно вставил Кошкочомоев.

— Спасибо, что сказали, — иронически усмехнулся Чебурдаев. — Значит, по-вашему, мое дело — неверное дело?

— Вы еще не изволили сказать — что именно.

— Сейчас изволю. Как вы думаете, что сейчас больше всего нужно?

— Зон... тики?.. — робко поглядел на него Кошкочомоев.

— Что-о-о? Какие зонтики? Для чего? Смеетесь вы надо мной, батенька? Булавки сейчас нужнее всего, вот что, а не зонтики, вот что!

— Бу...булавки?

— Не бубулавки, а просто — булавки. Вы поглядите — куда теперь только не идут булавки? Только что в суп-рассольник их не кладут! Для флажков на географических картах что нужнее всего? Булавки! Для благотворительных жетонов и цветков что наименее необходимо? Булавки! В армию, где с пуговицами некогда возиться, что посылается в громадном количестве? Булавки! В лазаретах при перевязках? Булавки! Согласны вы с этим?

— Со...согласен.

— Вот видите. Такое ужасающее поглощение булавок истощило, конечно, уже все запасы, а никто об этом и не думает... Верно?

— Пожалуй...

— Так если вы согласны, я вам скажу больше: знаете ли вы, что я нашел способ увеличивать полезные свойства каждой булавки вдвое?

— Что вы говорите?

— Вот вам и что! Подумайте: каждую булавку можно эксплуатировать, как две булавки. Это мой секрет, который я, конечно, пока не могу открыть, но...

— Так вы согласны взять меня в компанию? — быстро спросил Кошкомоев, боясь, что Чебурдаев передумает.

— Возьму. Пять тысяч — и мы загремим на всю Россию. Завтра же я еду на Урал — в центр металлургической промышленности.

* * *

Первое письмо из “района Урала” заключало в себе несколько бодрых строк о покупке машин, переговорах с рабочими и коммивояжерами, а второе письмо гласило вот что:

“Человек предполагает, а Бог располагает. Коммивояжеры отказываются брать булавки моей системы. Неужели немецкие товары до сих пор еще душат русскую промышленность? Теперь я могу сообщить вам сущность моего изобретения, увеличивающего полезные свойства булавок вдвое. Я рассуждал так: самое полезное в булавке — ее острие. Головка булавки непосредственной пользы не приносит. Итак, что нужно было сделать, чтобы повысить полезные свойства булавки без затраты материала? И я придумал... У меня каждый конец, каждая сторона булавки имеет по острию... Но когда я изготовил первые десять миллионов, выяснилось, что двусторонние булавки при вкалывании во что-нибудь втыкаются одной стороной в палец. Тогда я экстренно выпустил несколько тысяч наперстков, являющихся, как вам известно, лучшим предохранителем против острых предметов, соприкасающихся с пальцем, но тут-то коммивояжеры и заявили, что моего товара брать не будут. Я льстил, угрожал, делал им всяческие льготы — не берут. Да... Много еще косности и темноты в тебе, матушка Россия! Надеюсь, что вы на меня не в претензии, ибо нет дела, не сопряженного с риском. Во всяком случае, сама сущность моего изобретения гарантирует меня от упрека в односторонности... Ваш огорченный Чебурдаев”.

* * *

— Хорошо иметь десять тысяч, — сказал мне недавно Кошкомоев. — Ты себе и ухом не поведешь, а у тебя в год, гляди, и есть пятьсот рублей.

Я долго ходил по комнате, слушая его речи. Когда он рассказал мне о двух неудавшихся предприятиях с зонтиками и булавками, я усмехнулся и, похлопав его по плечу, сказал:

— Я вижу, что ты, Кошкомоев, деловой человек, но, к сожалению, дела тебе все время подвертывались неподходящие... У меня есть для тебя дело... Дело самое верное, и, главное — никаких разочарований!

— Честное слово?

— Уверю тебя. Вот в чем оно заключается: дай мне три тысячи.

— Для чего?

— Не для чего, а для кого... Для меня.

— А какая мне от этого польза будет? Сколько процентов?

— Не хочу тебя обольщать. Нисколько процентов тебе не будет. Просто давай мне три тысячи — и конец.

— Значит, дела никакого нет?

— Чудак ты! Да ведь это и есть дело: ты даешь мне три тысячи.

— А что я наживу на этом?!

— Ну... Наживешь ты две тысячи.

— Каким образом?

— Потому что я беру всего три тысячи. А мог бы взять пять. Как другие.

— Не хочу, — твердо сказал Кошкомоев. — Ты смеешься надо мной.

— Смотри, — пригрозил я. — Потом будешь плакаться. “Лучше бы уж, — скажешь ты, — я ему отдал зря эти три тысячи, чем потерял на глупейшем деле пять”. Да уж поздно будет.

— Ну, теперь-то уж я поумнел, братец. Теперь меня не поймаете.

Я многозначительно пожал плечами и ушел.

* * *

В тот же день к Кошкомоеву пришел мой приятель Фуфыкин с предложением крайне заманчивого дела, идея которого принадлежала мне.

— Попадались ли вам в газетах фразы военных корреспондентов: “около нас разорвался чемодан”, “чемоданы рвались безостановочно”, “это был редкий экземпляр неразорвавшегося чемодана”?

— Читал, — сказал Кошкомоев.

— Что же это доказывает?

— А что же это, действительно, доказывает? — прищурился Кошкормоев.

— Доказывает, что теперь дорожные офицерские вещи стали выделывать крайне небрежно, и офицер не может нигде купить хорошего, прочного чемодана, не рискуя, что он разорвется в первом бою. Если бы мы открыли с вами на паях фабрику прочных, не рвущихся чемоданов...

* * *

— Хотел бы я знать, — жаловался мне Кошкормоев, — какой это негодяй выдумал, что рвущиеся чемоданы — это те, в которые кладутся разные вещи? Открыли фабрику, нечего сказать. Зря на этом деле пять тысяч потерял. Лучше бы я тебе тогда три тысячи дал.

— Не беспокойся, — серьезно сказал я. — Я их уже получил.

— Что ты говоришь?!

— Конечно. Идея о чемоданах — моя. Жаль только, что посреднику пришлось отдать две тысячи.

— Зачем же ты это сделал?

— Зачем? Потому что вы, дураки, странный народ! На простое, честное предложение вы не откликаетесь, а если вам поднести то же самое предложение под невероятным гарниром лжи, нахальной выдумки и заманчивого золотого дождя — вы готовы отдать себя со всеми потрохами!..

Кошкормоев задумался.

Потом — знаете, что он спросил?

— Что ты хочешь этим сказать?

* * *

Читатели! У Кошкормоева, Ивана Андреевича, есть еще пять тысяч...

Понимаете?

Адрес его всегда можно узнать в адресном столе.

Понимаете?

ХВОСТ ЖЕНЩИНЫ

Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд; этакий металлический цилиндрок с ручкой. Если случайно найти на улице

такой цилиндрок, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: “Куда оно? Какая вещь пустая...”

Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три, и то — не полных: или руки не будет хватать, или ноги.

Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблучками по тротуарным плитам, очень напоминает мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: “Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская”. Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.

Страшная штука — женщина, и обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой.

* * *

Когда впервые моя уютная холостая квартирочка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья — эти четыре комнаты, при условии, если в них совет гнездо Елена Александровна.

— О чем вы задумались? — тихо спросила она.

— Кажется, что я тебя люблю, — радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. — А... ты?..

Как-то так случилось, что она меня поцеловала — это было вполне подходящим, уместным ответом.

— О чем же ты все-таки задумался? — спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.

— Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня; чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.

— Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?

— Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуточку, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь — с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.

— Послушай... но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.

— Ребенок... Ах да, ребенок!.. кажется, Марусей зовут?

— Марусей.

— Хорошее имя. Такое... звучное! "Маруся". Как это Пушкин сказал? "И нет красавицы, Марии равной"... Очень славные стишки.

— Так вот... Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.

— Конечно, конечно. Но может быть, отец ее не отдаст?

— Нет, отдаст.

— Как же это так? — кротко упрекнул я. — Разве можно собственную дочь отдавать? Даже звери, и те...

— Нет, он отдаст. Я знаю.

— Нехорошо, плохо. А может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет с нашей стороны?

— Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.

— Ты думаешь — лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.

— Ну, ты не будешь курить в этой комнате, где она, — вот и все.

— Ага. Значит, в другой курить?

— Ну да. Или в третьей.

— Или в третьей. Верно. Ну, что ж... (я глубоко вздохнул). Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое гнездышко.

Две нежные руки ласковым кольцом обвилились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо уселись пять женщин.

* * *

Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны, и испуганно зашептал:

— Послушай, Лена... Там кто-то сидит.

— Где сидит?

— А вот там, в столовой.

— Так это Маруся, вероятно, приехала.

— Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешаает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.

— Глупый, — засмеялась Елена Александровна. — Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.

— Ня... ня? Какая ня... ня? Зачем ня... ня?

— Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?

— Ах, да... действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.

— Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга — такой ужас...

— Няня, значит?

— Няня.

— Сидит и что-то размешивает ложечкой.

— Кашку изготовила.

— Кашку?

— Ну да, чего ты так взбудоражился?

— Взбудоражился?

— Какой у тебя странный вид!

— Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал...

Хи-хи.

Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню.

Выбежал оттуда испуганный.

— Лена!!!

— Что ты? Что случилось?

— Там... В спальне... Тоже какая-то худая, черная... стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка... Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.

— Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Ульяша. Она и там у меня служила.

— Ульяша. Там. Служила. Зачем?

— Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну, посуди сам.

— Хорошо. Посудю. Нет, и... что я хотел сказать?... Ульяша?

— Да.

— Хорошее имя. Пышное такое. Ульяния. Хи-хи. Служить, значит, будет? Так. Послушай: а что же нянька?

— Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для меня.

— Ага! Ну-ну.

Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.

— Пойду на кухню. Единственная свободная комната.

* * *

— Лена!!!

— Господи... Что там еще? Пожар?

— Тоже сидит!

— Кто сидит? Где сидит?

— Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит.

Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.

— Кто? Что за вздор?!

— Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-Богу.

— На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, сидит там.

— Николаевна? Ага... Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.

— Нет, ты решительное дитя!

— Решительное? Нет, нерешительное. Послушай: в ресторанчик бы...

— Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку нажарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить придет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?

— Катя? Хорошее имя — Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи.

* * *

Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприятный, загнанный, вызывавший слезы.

Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором... Убежать куда-нибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете — Лена, в столовой — няня, в спальне — Маруся, в гостиной — Ульяша, в кухне — Николаевна. Гнездышко... хотел я свить, гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя, вон, тоже придет. Корабль сразу оброс ракушками, и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..

— Ну что, брат Никифор! — робко пробормotal я непонятным языком.

— Что прикажете? — вздохнул Никифор.

— Ну вот, брат, и устроились.

— Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное, скоро расчет дадите.

— Никифор, Никифор... Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь к другому холостому барину. Заживете оба на славу. А я...

Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.

Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.

* * *

Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину, бойко стучащую каблучками по тротуару, вы думаете: “Какая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко”.

А когда я смотрю на такую женщину, я вижу не только женщину — бледный, призрачный теньется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна... Матушка, матушка, пожалей своего бедного сына!..

* * *

Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.

Возьмите ее, взмахните и подбросьте: на клочки размечется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!

О голове я уже и не говорю.

ДАМА В СЕРОМ

Когда пароход отходил из Александрии, мы уже чувствовали себя тесно сплоченной однородного состава компанией.

Свела нас вместе и сдружила общая страсть к тому, что на нашем языке называлось “розыгрыш”. “Разы-

грать” кого-нибудь, поставить в дурацкое положение каждый считал своей преимущественной специальностью, и поэтому за трехдневное пребывание в Каире из нас четверых составила солидная, хорошо сыгравшаяся труппа.

Четверо: молодая, живая, как ртуть, певица, художник с очень серьезным лицом и вечно смеющимися жульническими глазами, молодой, но многообещающий коммерсант — и я.

Первое наше знакомство началось с того, что все трое подошли ко мне на веранде “Телиополиса” с самыми серьезными лицами и озабоченно спросили, в первый ли я раз попадаю в эти края?

— В первый. А что?

— Видите ли, тут очень часто бывают такие сильные тропические ливни, что вода заливает дома до самых крыш; поэтому все ложатся спать, надев на себя предварительно спасательный пояс. Советуем и вам.

Я с чувством пожал всем троем руки.

— Спасибо! — пролепетал я растроганно. — Я никогда не забуду вашего милого отношения, но дело-то в том, что я для того специально сюда и приехал...

— Для чего?! — спросили все в один голос.

Из груди моей вырвался стон.

— Чтобы умереть! Я уже слышал о здешних ливнях и решил, что это место будет моей могилой... Поверьте, господа, что жизнь так тускла, сера и бессодержательна, что я... и вам советую... тоже... бросить свои пояса и... то-во...

— Та-ак, — разочарованно протянула певица. — Свой человек, оказывается. Ну, в таком разе, будем знакомы.

— То-то и оно, — рассмеялся я, по-новому пожимая всем руки.

С тех пор мы стали неразлучны...

Когда пароход вышел из александрийской гавани, мы, еще скучающие на новом месте, вдруг заметили молодого господина — рыжеватую веснушчатую личность с тщательно закрученными усиками и остолбенелыми глазами навывкате. Он, выпятив грудь, важно вышагивал по палубе тощими длинными ногами, облаченными в изумительной белизны фланелевые брюки, через каждые десять шагов останавливался, нагибался к этим брюкам и каждый раз осматривал их, прищурив один глаз, с затаенным восторгом и удивлением. Видимо, белизна и свежесть этих брюк доставляли ему много невинной радости.

Мы сразу обратили внимание на этого элегантного молодого господина, и певица после третьего тура бело-

ногого незнакомца заявила нам самым категорическим тоном:

— Есть работа.

— Заметано! — отвечали мы, кивнув головами.

Художник, ни секунды не медля, взял меня под руку и повлек вслед за восторженно настроенным юношей.

— Какие чудесные брюки! — громко сказал я.

— Да, изумительные. Глаз нельзя отвести, — подхватил художник.

Долговязый юноша вздрогнул, как лошадь, получившая поощрительный удар хлыста, и его белые брюки еще быстрее замелькали на фоне бирюзового моря.

— По-моему, нужно иметь большой вкус, чтобы отыскать такие прекрасные брюки.

— У человека хорошего общества, батенька, вкус — всегда природное свойство. Этого одними деньгами не достигнешь.

— По-моему, это граф.

— Голубая кровь, сразу видно!

Изнемогая от этих восторженных похвал, белоногий юноша прислонился к перилам и бросил на нас самый приветливый взгляд.

— Вам, господа, кажется, понравились мои брюки, — начал он, — хотя в обществе и не принято заговаривать с незнакомыми, но вы чрезвычайно симпатичные, и потом — тут пароход — значит, некоторая вольность допускается. Позвольте представиться: Лев Михайлович Цепкин, помощник провизора из Херсона. Да, брюки хорошие. Я таких брюк в Каире купил пятеро. Почти все деньги на них, проклятых, истратил.

Но в этом слове “проклятых” вместо ненависти прозвучала такая нежность, которая может вырваться только у матери, говорящей о своем чрезмерно шаловливом ребенке.

— Да, — сказал художник, восторженно глядя на юношевы ноги, — с такими брюками можно больших дел надевать.

Очевидно, художник коснулся самой чувствительной струны.

— Вы думаете? — радостно взвизгнул элегантный Цепкин. — Представьте себе, что я надеюсь тоже. Вы знаете, тут одна дама, полная такая, так она так на меня посмотрела, что я чуть не упал. Вы не знаете — она богатая?

— А вы бы женились на ней?

Цепкин скривился самым аристократическим образом.

— Ммм... Н-не знаю. Я, видите ли, кроме богатства ишу в женщине и красоту — как духовную, так и физическую.

— И вы совершенно правы! — подхватили мы оба. — На мелочи размениваться не стоит. Эта полная дама — чепуха. У нее, мы точно узнали, и капиталов-то всего тысяч триста.

Цепкин погрузился в задумчивость.

— Вы думаете, это мало?

— Для вас? Конечно, гроши. Нет, вы эту полную даму бросьте. Собственно, я уже знаю, кто на вас обратил внимание...

— Ой, слушайте, кто?! — как сухой стог от огня вспыхнул юноша. — Где она?

— Кто, вы спрашиваете? Дама в сером, вот кто.

— Что вы говорите? Та, которая в английском сером костюме? Которая тоже села в Александрии? Красивая такая блондинка? Та, за которой несли два чемодана желтой кожи и серый шагреновый саквояжик?

— Ну да, эта самая. На нее весь пароход обратил внимание. А она, ни на кого не смотря, взглянула только на вас, вздохнула и прошла в каюту. А потом мы слышали, как она спросила у горничной: “Вы не знаете, кто это тот интересный господин в таких прекрасных брюках?”

Глаза Цепкина загорелись. Он погладил ладонью свои брюки с видом хозяина, который гладит собаку, сослужившую ему службу, — и вскричал:

— Но ведь она же замечательно красивая!!

— Еще бы.

— Слушайте, вы заметили, у нее в ушах какие камни, а? Слушайте, как вы думаете — они настоящие?

— Фи, господин Цепкин! Вы ведь человек светский, а задаете такие вопросы. Разве дама, так одетая и с такими чемоданами, наденет фальшивые бриллианты?

— Положим, верно. Слушайте! А вдруг она иностранка?

— Ну так что же?

— А как я с ней буду тогда разговаривать, если я ни на одном языке, кроме немножко по-латыни, не разговариваю.

— Попробуйте по-латыни, — посоветовал я, — корни общие, может быть, и разберется.

— Что такое корни? — опечалился Цепкин. — С одними корнями далеко не уедешь. И об чем я буду с ней говорить по-латыни? Об лекарствах?

— Успокойтесь, мой молодой друг, — хлопнул его по плечу художник. — Я все узнал! Она русская, была замужем за венгерским миллионером, теперь вдова.

— Слушайте! Это же замечательно! Вы знаете, я пойду к ней и познакомлюсь...

— Конечно. Чего там зевать.

— Только я пойду переодену брюки. Эти уже немного, кажется, заплылились, а?

— Обязательно. Ну, успеха вам!

* * *

Молодая, очень красивая дама сидела в одиночестве на палубе в шезлонге, и ее печально-задумчивые глаза бесцельно бродили по далекому ярко-синему горизонту.

Наша “труппа” столпилась у перил в трех шагах от нее, а Цепкин, уже переодевшийся, как коршун, делал круги вокруг одинокого шезлонга, приближаясь с каждым кругом к молодой красавице.

Наконец он приблизился к ней вплотную и заговорил. Мы насторожились.

— Мадам, — шаркнул он ослепительно белой ногой.

— Хотите, я вам принесу лимон?

Когда дама, вздрогнув, обернулась к нему, на лице ее было написано самое откровенное изумление.

— Лимон? Боже мой, зачем?

— Да знаете... Если у кого морская болезнь, так поможет.

Дама в сером улыбнулась.

— Но ведь сейчас качки нет. Море совершенно спокойно.

— Да, положим, верно. Далеко изволите ехать?

— В Киев.

— Хороший город.

Наступила долгая пауза.

— Вы знаете, мадам, как я смотрю на женщин? Для меня важно не только тело, но и душа. Можете представить?

— Это очень благородный взгляд.

— Верно? Ну, вот видите. А в нашем обществе на женщину смотрят, как на красивый кусок мяса.

— А вы человек общества? — рассеянно спросила дама в сером, очевидно думая о чем-то другом.

— Да, знаете. Я иногда возвращаюсь. Вы любите читать книги?

— Изредка.

— Я много читаю. Мне нравятся больше рассказы или романы из великосветского быта. Чистенькая жизнь, не то что пролетариат. Верно?

— Мм... не знаю.

— Вы читали роман Апраксина “Алзаковы”? Нет? Я читаю сейчас. Знаете, тут на пароходе общество смешанное, а там в своей каюте, когда читаешь, так будто сам ведешь светскую жизнь. Сколько стоят такие серьги, мадам?

— Не помню. Тысяч шесть, кажется.

— Здорово! Двадцать коров можно купить на эти деньги. Двадцать коров висят на таких маленьких ушках, хе-хе!

.....
— Ну, что? — подошел к нам Цепкин, поглядывая на нас довольно снисходительно. — Не познакомился? Видите, как просто.

— А вы на нее произвели впечатление, это видно. Вообще, много значит, светский человек! Вы теперь только не зевайте — действуйте энергичнее, и через две недели она будет madame Цепкина.

Юношу точно щекотали — так он смеялся.

— А что вы думаете! Я с ней вечером буду гулять по палубе.

— Скажите, — обратился к нему коммерсант. — Вы ведь хорошо знаете светскую жизнь.

— Немножко, — скромно усмехнулся Цепкин.

— Скажите: можно рыбу есть ножом?

На лице Цепкина отразился неподдельный ужас.

— Боже вас сохрани! Ни под каким видом!! Вилкой! Только вилкой.

— А к смокингу белый галстук можно надеть?

— Можно. Только если едете на большой вечер. На маленький вечер надо надеть что-нибудь интимненькое. С крапинками. Только не регат. Боже вас сохрани от регата.

— Спасибо, — пожал коммерсант юношеву руку. — Вы разрешите изредка обращаться к вам за такими справками?

— Сколько угодно! Я очень рад.

— Славный парень! Недаром вдова, когда вы с ней разговаривали, глаз с вас не сводила.

— Серьезно?

— Уверяю. Действуйте, действуйте, мой молодой друг! Нажимайте педали. За вас ваша молодость и красота!

* * *

Эта странная игра продолжалась все время, пока пароход шел к Пирею. Постепенно все пассажиры обратили внимание на вольты юноши в белых брюках и на наше во всем этом участие.

Нам даже стали помогать. Даму в сером намеренно оставляли в одиночестве, чтобы дать возможность предприимчивому Цепкину начать новую атаку.

Часть пассажиров принялась усиленно и громко восхищаться Цепкиным, а другая часть, зацапав предприимчивого юношу где-нибудь в уголке, начинала указывать ему на тот или иной симптом пробуждения к нему любви со стороны серой дамы.

— Вы заметили, Цепкин, как она на вас поглядела, когда вы ей за обедом передавали горчицу?.. Она намеренно хотела коснуться своими пальцами ваших пальцев...

— Ну?.. Серьезно? Хи-хи!

— Конечно. А вечером нарочно сидела дальше, чтобы вы к ней подошли...

Работа кипела вовсю.

Многие добровольцы по неопытности пересаливали, но юноша в белых брюках был так самодовольно глуп, что ничего не замечал.

Удивительнее всего, что дама в сером тоже ничего не замечала, хотя мы и недоумевали — почему? Была она очень не глупа, и все ее разговоры с другими, более солидными пассажирами, постоянно доказывали это.

Была она как будто “не от мира сего”, как говорила певица, часто совсем не понимала, что ей нашептывал белоногий юноша, и от этого пикантная комбинация, задуманная нами, казалась еще уморительнее.

* * *

Кончилась вся затея с “розыгрышем” ровно за два часа до Пирея, когда все пассажиры сидели за обеденным столом.

Цепкин, которого по общему молчаливому уговору усаживали рядом с дамой в сером, покончив с рыбой (только вилка! Боже сохрани нож!), потер руки и обратился к своей соседке с самым светским видом:

— Ну-с, вот вам и Пирейчик! Знаете что, мадам? Давайте мы устроим маленький кутеж, а? От Пирея до Афин десять минут езды — поедem в Афины. И художник с нами, и певица, и вообще вся наша тесная компания, а?

Вот мой план: в Афинах пойдем в кинематограф, я вам буду объяснять на армянском языке картины — вы увидите, как смешно! А потом — в какой-нибудь шантанчик! Покушаем чего-нибудь вкусенького, велит заморозить бутылочку, посмотрим на певичек и после этогого тарарама, взвинтив, как следует, свои нервочки, — домой, баиньки! Я буду вашим кавалером, мадам, хотите?

— Что? — спросила дама в сером, будто очнувшись от дремоты.

Цепкин аккуратно повторил весь свой соблазнительный план: кинематограф с армянскими объяснениями, шантанчик, бутылочка замороженного, а потом — баиньки. Я ваш кавалер — компренэ?

Все насторожились, ожидая ее ответа, потому что на эту авантюру Цепкин возлагал очень крупные, солидные надежды.

— Нет, — вдруг сказала дама с какой-то мягкой решительностью. — Ни в шантан, ни в кинематограф я с вами не поеду.

— Почему, почему же? — завопил Цепкин. — Нас ведь никто там не знает — чего стесняться? Конечно, в России я бы этого не предложил, но тут? Среди грекосов!.. Ну, мадам! Скажите же вашими розовыми губками: да!

— Я не могу поехать...

— Но почему же? Вот и поговорите вы с ней!

— Потому что я везу на этом пароходе труп моего бедного мужа, скончавшегося на прошлой неделе... Понимаете?

Гром среди ясного неба. Мина, попавшая в борт парохода. Бомба, разорвавшаяся среди нас, — все это слабо выразило бы то впечатление, которое произвели простые, полные достоинства и глубокой внутренней тоски слова дамы.

Молчание воцарилось надолго.

Никто не смотрел друг на друга, а когда кончился этот проклятый обед, все вздохнули с таким облегчением, будто им отпустили веревочные петли, сжимавшие шеи.

ЧЕЛОВЕК ОБ ОДНОЙ ИСТОРИИ

Скрипачев..

Так его звали.

А больше ничем, решительно ничем он не отличался от миллионов других Скрипачевых, Григорьевых, Пинки-

ных и Васильевых, населяющих вашу необъятную матушку-Россию.

Трудно сказать что-либо о таком человеке.

Прежде всего, как найти его, как выхватить из миллионов других Скрипачевых и Пинкиных, если все эти Григорьевы, Пинкины и Васильевы так печально похожи друг на друга, так единообразны: небольшая борода, стриженные волосы, нос не большой, не маленький, глаза обыкновенные, какого-то грязноватого цвета, рот как рот, фигура как фигура, рост, что называется, средний — черт знает что такое!

Среди Григорьевых, Васильевых и Пинкиных не бывает ни горбатых, ни дерзких преступников, ни пианистов — для этого есть фамилии Полуляховых, Падеревских, Гофманов...

В одном ресторане среди других официантов прислуживали посетителям двое: Петр и Павел. Если бы их поставить рядом, сразу можно было отличить Петра от Павла — лица были разные, но стоило только Павлу отойти от Петра и убежать за чем-нибудь в буфет, то сразу же делалось неизвестным, кто остался: Петр или Павел? И кто суетится у буфета: Павел или Петр?

Даже завсегдагаи, посещавшие ресторан годами и прекрасно помнившие имена всех носатых, криворотых, или маленьких, или больших слуг, к Петру и Павлу обращались так:

— Эй, Павел!.. Или нет — Петр. Да нет, это Павел..

Павел, голубчик, принеси еще бутылочку пива.

— Сей минутой-с, — отвечал Петр.

К Павлу обращались:

— Ты ведь, кажется, Петр?

— Никак нет: Павел.

— Ну? Смотри-ка, братец, какая штука! А ведь я думал, что ты Петр. Ну, принеси мне фруктовой.

От этой ли причины или от какой другой, но только Павел однажды повесился. Этим он раз навсегда существенно отличился от Петра, продолжавшего метаться по ресторану с салфеткой под мышкой.

И все же, когда я смотрел на оставшегося в живых Петра, я думал:

— Выходит, что Павел-то совсем не был похож на Петра... А может быть и так, что Петр побеждает еще несколько дней по ресторану, а потом спускается в погреб и повесится, заочно сравнившись со своим коллегой, после чего даже хозяин ресторана не разберет: кто, собст-

венно, из них Петр, кто Павел и чем они отличались друг от друга.

Судьба двух ресторанных слуг не имеет, конечно, никакого отношения к моему рассказу, но мне только хотелось указать на следующее: если в маленькой рестораничке нашли два человека, так грубо, по-лакейски, похожих друг на друга, то сколько же таких пылинок вертится в огромном солнечном столбе, называемом земной жизнью?

* * *

Так вот — Скрипачев.

Когда я познакомился с ним и с его женой, довольно миловидной дамой, моя первая мысль была такая: “Собственно, если она ему верна, то по какой причине? Чем он отличается от других Васильевых и Пинкиных, с такими же мутными глазами, с подстриженными бородками, таких же служащих в контроле сборов, или в государственном контроле, или в контрольной палате — Бог его знает, а я и до сих пор не знаю, в каком из этих скучных учреждений служит Скрипачев... Ведь едва ли есть какая-нибудь разница для госпожи Скрипачевой: замирать ли от страсти в объятиях мужа или в объятиях контрольного чиновника Пиликина. Неужели такая уж существенная разница в том, что одного зовут Николай Иваныч, а другого — Иван Николаич?”

Не хочу я говорить плохо о госпоже Скрипачевой, но, кажется, она по этому поводу держалась моего образа мыслей...

Познакомившись со Скрипачевым, я, по логике вещей, должен был бы сейчас же и потерять его, потому что такой человек, уйдя из поля зрения, немедленно же, как капли воды с рекой, сливается с миллионом других Васильевых и Григорьевых...

Но нет, Скрипачевы памятьливы, и если уж он с вами познакомился, так уж он, встретив вас, узнает и подойдет, и поздоровается, поговорит, и осведомится:

— Ну, что слышно новенького?

Так было и со Скрипачевым.

На другой день после знакомства он подошел ко мне в городском саду, поздоровался и сказал:

— Вот удивительно: вчера только познакомились, а сегодня вот встретились. Ну, что новенького?

— На Филиппинских островах было недавно землетрясение, — сообщил я.

— Что вы говорите! Вот ужас. Вообще, знаете, эти катастрофы... Вы боитесь разбойников?

— Ну как же их не бояться, — благодушно согласился я. — Ведь ежели он разбойник, он зарезать может.

Лицо Скрипачева осветилось.

— Не всегда, — значительно возразил он.

Я промолчал.

— Не всегда-с. Нет, далеко не всегда.

— Ну, конечно, иногда и не зарежет.

Лицо Скрипачева засверкало.

— Не всегда-с! Вы знаете, например, случай, который был со мной несколько лет тому назад. О! Вот это история! Понимаете, живем мы, как это вам, может быть, известно, на Московской улице, в третьем этаже... И вот как-то ночью (это была осень — как сейчас помню) вернулся я с вечерних занятий домой, переоделся в халат, сажусь за ужин. Жена оставила. Сама-то она, знаете, легла. Потому устанет за день, прислуга-то у нас одна, ну, конечно, по хозяйству нахлопчется, вот и спать хочется. Ну-с... сажусь я за ужин, вдруг слышу в чуланчике, что в передней будто что-то ворочается. “Что бы это такое было?” — думаю. Жена спит, ребенка у нас еще тогда не было, да, вообще, если бы и был ребенок, то чего бы ему, согласитесь сами, ночью в чуланчике ворочаться. Спал бы он около матери или няньки, потому что раз ребенок, так без няньки уж никак не обойдешься. Не правда ли?

— Что? — очнулся я от сладкой дремоты.

— Я говорю, не мог ведь быть ребенок в чулане или кошка там, потому что у нас и кошек-то нет. Прислушался я — нет, тихо. Ужинаю дальше. Как сейчас помню — котлетку жена оставила, холодную, стакан молока, ну и, конечно, хех-хе, рюмочку водочки. Ем я — опять что-то шевелится. А бес так меня и толкает — пойдешь посмотри, пойдешь посмотри... Встал я, иду в чуланчик... А в руках у меня еще вилка, и на вилке, представьте, кусок котлеты... Открываю я дверь в чуланчик — чуланчик у нас в конце коридора, мы там разную рухлядь складывали, старые корзины и прочее там, — открываю дверь — в чулане темно. Вдруг слышу, кто-то сопит... “Кто там?” А оттуда-то ка-ак прыснет, да в коридор. Смотрю, мужчина росту среднего и одет не так чтобы. И как он туда забрался — ума не приложу. Я как крикну: “Держи его! Вор!” А он на меня: “Молчи, а то только тебе и жить!” Можете представить, какой мерзавец! Он же ко мне залез, он же на меня и кричит. Но, однако, смотрю, в руках у него ни ножа, ни револьвера — только одну корзиночку держит, куда мы

колбасу от крыс прятали. И вдруг он меня ка-ак хватит этой корзинкой по голове. Я тут и свету не взвидел: сам кричу караул, а сам его в бок вилкой, на которой еще котлету не объел... Как взвояет он да в столовую, да к окну, да раму плечом как саданет — вскочил на подоконник да по водосточной трубе вниз... Как он себе шею не сломал — прямо даже удивительно. Заявлял я утром в участок, да что толку? Разве наша полиция что-нибудь знает...

— Занятная история, — пробормотал я.

— А еще бы. Я его, понимаете, вилкой, да в бок, да в бок. Даже кровь была на вилке, ей-Богу. Потом до утра не спали: рама-то, представьте себе, выбита, ночью не исправишь, так такого холодища напустили, что зуб на зуб не попадал.

Выпустив из себя эту историю, он, как игрушечная резиновая свинка, выдохся, еще раз слабо что-то пискнул и вяло свалился на бок.

По крайней мере, когда я, чтобы ободрить его, заметил: “А у вас, очевидно, в жизни было много любопытных приключений” — он поглядел на меня угасшим взором и промямлил: “Нет, какие же у меня приключения... Живу, как говорится, хлеб жую”.

— Ну, все-таки! Ведь вот вам уже за тридцать, — поощрил я, с тайной брезгливостью разглядывая его плоскую благообразную бородку и скучные, как выжженная солнцем степь, глаза. — Наверное, за тридцать-то лет много хлебнули, а? Были и на коне и под конем...

— Да нет. Так как-то жил. Учился я тут же, в этом городе. Курса не кончил, отец умер, средств не было... Поступил сначала писцом к нотариусу, потом была маленькая протекция, попал в контроль... Получил, можете представить, полтора ста рублей, тут уже надо было жениться, познакомился с Ньютой, стал ухаживать, был ей не противен, вышла за меня замуж, ну так и пошло. К Новому году, думаю, 25 рублей прибавят... Нет, какие уж там приключения... Вот когда разбойник забрался — это действительно приключение. “Молчи, говорит, или только тебе и жить!..”

Вспыхнул Скрипачев в последний раз этой фразой, затрепал и — погас, погрузился в ничтожество.

* * *

Бывая в одном доме, я, к своему удивлению, встретил Скрипачева. Осведомился:

— Зачем у вас этот-то?

— Да так... познакомились как-то летом на даче — вот он и считает нужным раза два в год появиться. Человечина ничего себе, но бесцветен до гнусности.

— А рассказывал он вам историю, как он разбойника поймал?

— Ну как же! В печенках у нас сидит эта история. Каждый раз обязательно на этого вора перескочит.

— Я так думаю, что у него на всю жизнь одна только эта история и есть... Вот он и питается ею, и пережевывает, каждый раз смачивая новой слюной...

Скрипачев в это время сидел около одной старухи и, поглаживая бородку, осведомлялся:

— Ну, как вы поживаете?

— Так бы оно ничего, да глазами слаба стала. По вечерам ни читать, ни вязать. А ночи теперь длинные да темные.

— И не говорите, — оживился Скрипачев, — эти темные ночи — такой ужас. Я думаю, все преступления совершаются в темную ночь. Вы, мадам, боитесь разбойников?

— Ох, батюшка, кто ж их не боится?

— Да, но никогда не нужно терять присутствия духа. Вот, например, была со мной однажды такая история...

— Поехал, — шепнул мне хозяин дома. — Ну его к черту — пойдем к столу.

Мне сделалось душно.

— Послушайте, — предложил я хозяину. — Давайте спрячемся во дворе, а когда этот Сивачев выйдет...

— Скрипачев, — поправил хозяин.

— А когда этот Скрипачев, Пиликин, Григорьев или Васильев выйдет, набросим ему на голову пальто, повалим да поколотим хорошенько...

— Что за фантазия, — поразился хозяин. — Зачем?

— Я не могу выносить “человека об одной истории”! Пусть будет “человек о двух историях”!

* * *

Должен покаяться: рассказав всю жизнь и приключения Ивана Николаевича Скрипачева, я как будто умышленно выдвинул на первый план только его бесцветность, его единообразие с тысячами других Скрипачевых...

Это не совсем справедливо: есть же у Скрипачева и что-нибудь свое, что отличало бы его от других Иван Николаевичей, есть же примета, по которой его можно было бы отличить от других Скрипачевых.

Такая примета есть. Она — единственная... Это его адрес.

Потому что: Иванов — миллионы, Николаевичей — тысячи, Скрипачевых — сотни. А таких Иванов Николаевичей Скрипачевых, которые жили бы на Московской улице, дом № 14, квартира 5, — только один.

Это и есть мой Скрипачев.

ДЕЛИКАТНЫЕ ЛЮДИ

К уряднику Лапову пришел по делу бывший студент Огрызко.

Урядник пил чай и читал “Ведомости”, но, увидев студента, оторвался от того и другого.

“Вишь ты, студент пришел”, — подумал он.

О студентах у него было какое-то двойственное представление: с одной стороны, студент учится каким-то загадочным, странным наукам, почему Лапов питал ко всем студентам тайное уважение. С другой стороны, студенты бунтовали, почему Лапов питал к ним отвращение и тайный ужас.

Пришедший студент, однако, не имел в себе ничего страшного: его широкое бородатое лицо улыбалось, и серые глаза с ласковой плутоватостью поглядывали вокруг.

— Здравствуйте, — сказал Лапов. — Чем могу служить?

— Я, видите ли, бывший студент Огрызко.

— Так-с.

— И меня, извольте видеть, из этих палестин в прошлом месяце выслали.

— Так-с.

— А я вот вернулся.

— Правильно.

— Понимаете, я, собственно говоря, не имел права вернуться, но так как у меня есть некоторые дела насчет отцовского домишка, то я и вернулся.

— Великолепно.

— Вы находите? — неуверенно спросил Огрызко.

— Что ж тут плохого! Сведу я вас сейчас в кордегардию, а завтра с десятским в город, к исправнику.

— За что же, помилуйте?

— Ну, как же... Посудите сами: вы не имели права возвращаться?

— Не имел.

— А вернулись.

— Вернулся.

— Вот, значит, я вас снова арестовываю, посылаю к исправнику, а там — как он хочет. Ясно?

— Ясно. Только ведь мне тут нужно некоторые дела закончить, а потом я сам без посторонней помощи уехал бы.

— Да ведь это незаконно?

— Незаконно.

— Ну, вот видите.

Француза, австралийца или американца такая простая, ясная, как палец, логика урядника Лапова поколебала бы, но Огрызко не был ни французом, ни австралийцем.

Он задумчиво поглядел на урядника и спросил неопределенно:

— Куропаток любите?

— Я все люблю, — ответил урядник Лапов так же неопределенно и, кроме того, сухо.

— Тут мой братишка, знаете, несколько штук подстрелил, так я бы вам парочку, а? Жирные куропатки.

— Не нужны мне ваши куропатки, — со вздохом сказал Лапов. — Арестую я вас сейчас и, значит, тово... в кордегардию... А завтра...

— Поросят любите? — отрывисто спросил Огрызко.

На это урядник Лапов ответил с большим достоинством:

— Не дорос еще поросенок до того, чтобы я его любил.

— Молочный поросенок. Братишка подстрелил. Такой, знаете, дуся, что поцеловать хочется.

Урядник отрицательно покачал головой. Сказал раздумчиво, адресуясь куда-то в угол:

— Арестую это, значит, я вас завтра и тово... к исправнику.

— Как вы смотрите на телячью ногу и бочонок соленых огурцов? — с любопытством спросил Огрызко. — Братишка, знаете, подстрелил, так я...

— Ну что вы такое говорите! Завтра, собственно, я занят, а послезавтра придется отправить вас к исправнику, чтобы, как говорится, закон исполнить в соответствии с начертаниями.

Студент вздохнул, засунул руку в карман, пошелестел там какими-то невидимыми бумажками и, затянувшись предложенной хозяином папиросой, сказал:

— Некоторые вот тоже певчую птицу обожают. Канареек. Знаете, желтенькая такая.

— Тоже нашли птицу. Смотреть не на что.
— Не скажите. Если пара... Хрустят, знаете.
— Ну, тоже нашли хрустенье! Так я, значит, так, как сказал: три дня поживете, а потом садимся мы с вами на подводу...
— Какие три дня! Я и в неделю не справлюсь...
— Не моя воля, сами понимаете.
— Я понимаю. Хорошо тут у вас на лоне природы. Зелени масса. Зелень любите?
— То есть? — прищурился Лапов.
— Я говорю: красивая вещь — зелень. Особливо ежели хрустит.
— Что вы все — хрустит да хрустит. Не люблю я зелени вашей. Что в ней! Одно легкомыслие.
— Да ведь я тихо, смиренно устрою свои делишки с домишком, да и тово... Не подведу!
— При чем тут подведение. Слава Богу, не маленькие мы с вами.
— Когда зелень, то дышится хорошо. Ей-Богу.
— Кому как, господин Огрызко. Четыре дня я, конечно, могу и не знать, что вы приехали, но на пятый...
— Как можно не любить природы! — лирически прошептал Огрызко. — Люди, которые не любят зелени, все-таки должны любить ясное синее небо, любить ту синеву, которая...
— Хрустит? — иронически усмехнулся урядник Лапов.
— Бывает, что и хрустит. Подумайте! Когда глаз тонет в этой беспредельной синеве.
— Уж вы скажете тоже — беспредельная! В этакой-то чепухе да беспредельность... Эх, господин Огрызко!
— Что такое?
— Как говорится: в шесть дней сотворите все дела свои, в седьмой же — повезу я вас к исправнику, да и...
Студент с нетерпением перебил:
— Удивительный вы человек, право. Я вижу, вы без исправника дышать не можете! Кому он нужен? Вам — нет! Мне? Тем более. Слушайте, господин Лапов: не в исправнике истина, а в природе. В слиянии с нею! Поняли? Скажем, синева ясного неба оставляет вас равнодушным. Но Боже ты мой! Чье сердце не дрогнет при виде красного пылающего заката, того заката, который разлился громадной полосой, охватив чуть не полнеба...
— Полнеба? — скептически усмехнулся урядник. — Где же это полнеба? Которые? Я, конечно, не говорю... к

исправнику можно и не ездить: у него дела — зачем же мы будем отнимать у него время, не правда ли?

— Золотые слова!

— Ну вот. Однако больше недели жить вам здесь никак нельзя. Вы только то сообразите...

Лапов был, очевидно, прижимистым человеком, но и Огрызко сдавал свои позиции с большим упорством и борьбой.

— Ни-ни. Меньше, чем в две недели, не управлюсь.

Лапов обиженно усмехнулся.

— Две недели! А вы давеча о каких-то канарейках говорили...

— Не понимаю я вас, — возбужденно вскричал бывший студент. — Ни птиц вы не любите, ни зелени, ни неба, ни заката. Что же, что в этом мире привлекает ваше сухое прозаическое сердце?

— Что? Вы дождик любите?

— И не подумаю его любить.

— Ну, вот и я тоже. Промокнешь до костей — что толку! Зато после дождя, когда выглянет эт-то радуга, да заиграет эт-то она...

— Редкая вещь радуга, — сухо сказал Огрызко. — Да и не к сезону она. Нет, радуга — это штука невозможная.

— Не признаете? А красивая вещь. Тут тебе и желтое, и красное, и синее, и зеленое — все чего хочешь. Под такой радугой и живется особенно. Хоть две, хоть три недели живи — одно тебе удовольствие.

Студент решительно встал и сказал еще решительнее:

— Нумизматикой интересуетесь?

— Не понимаю вас.

— Старинные деньги любите?

— А... что?

— Да есть у меня тут старинная бумажка. 25 рублей. Еще 1911 года. Вы подумайте, а! Редкость. На любителя вещь. Одна только и есть. Больше ни за какие деньги нельзя достать.

— Серьезно!

— Честное слово!

— Ну, что уж с вами делать. Дома как нашли — все в полном здравье?

— Мать немного прихварывает, — сказал Огрызко, берясь за фуражку.

— Годы такие. Кланяйтесь ей.

— Поклонюсь.

— Братишка здоров?

— Что ему сделается?

- Положим. Долго думаете у нас прожить?
- Да как с делами управлюсь.
- Ох, эти дела.
- И не говорите.

Огрызко, весело посвистывая, вышел от урядника, а урядник с видом записного нумизмата сложил вчетверо двадцатипятирублевку и сунул ее в громадный засаленный кошелек.

“КРАСНОЛАПЫЕ”

Мне неловко говорить азбучные истины, но это нужно. Родственником просто человек не может быть. Он должен быть чьим-нибудь родственником.

Если по улице идет человек и вам указывают на него: — Вот идет родственник, — то, вполне понятно, вы спросите:

— Чей родственник?

Вероятно, нет на земле человека, который был бы сам по себе. Обязательно он чей-нибудь родственник.

Это не профессия, не занятие, но все мы в большей или меньшей степени заражены этим.

И, однако, в институте родственников есть много оттенков и градаций.

Заметьте: чем человек ничтожнее, тем его чаще называют родственником.

Если бы вы в свое время впервые увидели А. С. Пушкина и осведомились у своего знакомого: “Кто это такой?” — вряд ли бы знакомый ответил:

— Это родственник Гончаровых.

Он просто и кратко отрубил бы:

— Пушкин.

А если бы вы в том же месте встретили неизвестного молодого человека, застенчивого, краснорукого, с понуренной, покрытой рыжеватым пухом головой, то на ваш вопрос: “Кто это такой?” — получили бы неопределенный ответ:

— Родственник Каламеевых.

И больше ничего. Никакого другого определения нет.

Заметьте, если бы вы спросили, увидев впервые Каламеева: “Кто это такой?” — то никогда бы не получили ответа:

— Родственник этого, покрытого пухом, краснорукого господина.

Нет. Каламеев уже сам по себе.

А почему?

Да очень просто: Каламеев значительнее, интереснее этого краснорукого — и вот уже, видите, видите? Он воспарил над ним и раздавил его значительностью своей личности.

Будьте уверены, что краснорукий молодой человек Америки никогда не откроет, именно потому, что он — не сам по себе, а родственник Каламеевых. Он ни летательной машины не изобретет, ни разговором ярким, остроумным не блеснет, ни, вообще, даже скандала громкого, ошеломляющего не закатит.

Куда ему? Разве он человек с собственной фамилией и личностью? Нет. Он просто родственник Каламеевых.

Где уж ему, застенчивому, молчаливому и скудному, летательную машину выдумать... Он может тихонько сидеть в гостинной, пить, громко прихлебывая, чай и курить десятками дешевые, зловонные, удушливые папиросы.

— Кто это, — спросят хозяйку дома, — этот молодой господин, который сидит молча у стола?

— А, это родственник. Дальний родственник мужа.

Вот тебе и летательная машина.

Мой читатель! Если вы — никчемное, скудоумное ничтожество (извините, мало ли какие читатели бывают), вам никогда не скажут этого в глаза. О своем ничтожестве вы можете узнать только вскользь, нечаянно — именно тогда, когда вас представляют кому-нибудь:

— Позвольте представить, родственник Помидоровых.

Конец. Мрак. Если в вас еще не заглохло все человеческое, вы должны размахнуться, ударить вашего обидчика, назвавшего вас родственником, и закричать на весь мир:

— Я не родственник! Лжете! Я сам по себе! Я Николай Утюгов, зарубите себе это на носу!!

Только таким, не совсем нравственным способом и можно исправить свое тяжелое положение.

А промолчали вы — конец. Навсегда останетесь родственником.

Итак, теперь, когда мы установили, что “родственник” — это не семейное взаимоотношение одного лица к группе других, а просто очень невыгодное общественное положение, что это класс обособленный, ограниченный

во всех смыслах, мы можем рассмотреть родственника как такового: откуда он взялся, чем он дышит, каковы его интересы и стремления.

* * *

Откуда берутся родственники?

Их появление совершенно случайно.

Вы женитесь.

Во время церемонии бракосочетания ваша нареченная вытаскивает из толпы гостей молчаливого красноручного господина с длинной жилистой шеей, охваченной бу-мажным воротничком, и представляет его вам:

— А это вот, голубчик, наш родственник Верблюдякин. Теперь он уже делается и твоим родственником.

— А это вот его жена — Верблюдякина. Поцелуйтесь, господа. Ведь вы уже свои.

Просто?

Только потому, что вас обвели со знакомой девушкой вокруг налож, Верблюдякин смело входит в вашу жизнь, делается своим, может приходить к вам, когда ему заблагорассудится, а вы должны подсовывать его всем своим гостям — иногда умным, интересным людям — и с места в карьер обременять их Верблюдякиным.

— Мой родственник.

И скудоумны же они, эти самые Верблюдякины: не расскажет он что-нибудь забавно, не спляшет, не споет веселых куплетов под аккомпанемент пианино.

Да это бы уж Бог с ним, но он и на других действует удручающе, замораживающе.

Пусть среди ваших гостей будет сам Достоевский или Тургенев — родственник не загорится от этого, не засветится ярким светом...

Тускло поглядит на Достоевского и спросит, покури-вая скверную папиросу:

— Скажите, это вы написали “Братья Карамазовы”?

— Я.

— Здорово написано. Мы с женой читали. И как это вы все фамилии действующих лиц помните? Нигде не ошибетесь. Я нарочно следил.

— Да и я тогда следил, — пожмет плечами Достоевский. — А вы что — тоже пишете?

— Нет, что вы! Я родственник хозяйки дома.

Подойдет очень солидно и деловито к Лермонтову:

— Слушайте, как это вы так: и поручик, и стихи сочиняете. Неужели начальство сквозь пальцы на это смот-

рит? А у вас хорошенькие стихи есть. Ей-Богу. И как это все складно, в рифму выходит.

И вот уже потух, завял Лермонтов, и вот покрылся холодным пеплом угрюмый Тургенев, а родственнику и горя мало.

Придет домой и, снимая бумажный воротничок перед отходом ко сну, рассказывает жене:

— А я с Лермонтовым познакомился. Тургенев там тоже был: Я думал, что-нибудь особенное, а они ничего... Лермонтов даже чай пил с лимоном. Там еще Сервантес был, испанец, что ли, или какой-то вообще... не здешний только. Я и с ним пробовал поговорить, да он какой-то чудной. “А ба ба, да ге ле ле”, а что такое “гегеле”, и сам не знает, скажи завтра Марфуше, чтобы она к скюртуку пуговицу пришила — поняла?

* * *

— Зачем родственники ходят в гости? Кроме чаю, им стараются ничего не дать. Но разве чаю у них дома нет?

Нет, тут не чай.

И, вероятно, когда родственник сидит с женой за обедом, он говорит самым озабоченным тоном:

— Давно мы у Перегудовых не были. Нехорошо. Обидятся они, что мы их забыли. Все-таки родственники. Надо будет сегодня пойти.

Родственник! Сокровище мое! Сиди дома и не рыпайся. Ей-Богу! Перегудовы на тебя не обидятся, если ты и три года не покажешь к ним носа. На дьявола ты им сдался, Перегудовым этим несчастным? У них своих забот, визитов и знакомых и без тебя много. И каких знакомых! У них бывает член Государственной думы Ревякин, писатель Полоцкий и известный адвокат Мильштейн — все интереснейшие, занимательные люди, ну, кого ты там обрадуешь своими красными лапами, жилистой шеей и бу-мажным воротничком?

— Да неудобно, — задумчиво отвечает родственнику его жена. — Надо пойти. А то мы их совсем забыли. Олечка Перегудова встретила меня на днях в трамвае и так прямо в упор и спрашивает: чего это, говорит, вас так давно не видно?

— Да-да. Сегодня же и пойдем. А то они такие обидчивые.

Это они называют: “навестить”.

— Здравствуйте, здравствуйте. Мы вас уже давно со-бিরались навестить, да Колечка был все время занят. На-

силу собрались навестить. Теперь мы вас ждем к себе. Вы приходите как-нибудь навестить нас.

Это родственники говорят еще в передней, раскуты-вая свои никчемные родственнические тела, аккуратно снимая глубокие калоши и целуя по-родственному хозяина Петра Мардарьяча, Ольгу Никаноровну, Петеньку, Олечку и Мусю.

Проходят в гостиную.

— Ну что, все у вас здоровеньки? — спрашивает родственник, протирая запотевшие очки.

— Слава Богу, все. У вас как?

— А ничего. Кибурдины у вас бывают?

— Давно не были.

— Что ж это они? А я все собираюсь их навестить. Ведь мы им родственники. Как же. Брат Анны Григорьевны женат на двоюродной сестре Кибурдиной...

.....

Потянулся разговор. Впечатление от него такое, будто кто-то проткнул вам щипчиками для сахара живот, зацепил внутри кончик кишки и стал медленно, постепенно вытягивать на свет Божий... По мере того как вытягивается и удлиняется кишка, худеет, мрачнеет и хиреет владелец проткнутого живота.

— Чайку не прикажете ли?

— А который час? Восемь? Ну, часика полтора мы еще можем. Что, Ваня пишет?

— Давно не получали письма.

Все это, конечно, мелко, незаметно — все эти разговоры родственников, тягучие чаепития, — все это пустяки и вместе с тем какой это ужас, какая мутная, темная болотная тина обволакивает многих, иногда даже хороших, умных, развитых людей.

Родственники пришли навестить...

Да разве так их нужно принимать?

— Здравствуйте. Что вам нужно?

— Навестить пришли вас. По-родственному.

— Лишнее все это. Ступайте, ступайте, господа. У нас все благополучно, Кибурдины не бывают, от Витечки получили письмо, а теперь ступайте. Нечего тут прохлаждаться! Делом нужно заниматься, а не пустословить.

Кратко. Мило. Разумно.

И дальше передней эти краснолапые, длинноногие гуси не пойдут. Погочут что-то неодобрительное на своем тупом гусяном языке, повернутся и уйдут, переваливаясь.

Пусть потом у себя в гусятнике говорят:

— Свиньи эти Перегудовы. Мы пришли их по-родственному навестить, а они нас по-хамски приняли. Свиньи!

И пусть свиньи. Ясно ведь сказано: гусь свинье не товарищ.

* * *

Иногда наступает страшное время.

Наступают Рождественские или пасхальные праздники, когда тучи, легионы краснолапых родственников вылезут из всех щелей, вылезут даже те, которые целый год носу не показывали, а теперь считают нужным “навестить” вас, читатель, потому что иначе, по их мнению, вы обидитесь, что они вас забыли.

Гоните их в шею, читатель, бейте, унижайте, плюйте на них и разрушайте их, оскорбляйте и морите их голодом, пусть они одумаются, краснолапые, и перестанут быть родственниками.

И вам будет хорошо, и они от этого только выиграют...

БРИТВА В КИСЕЛЕ

Глава I

Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем.

В этот день линейка приняла только двух, незнакомых между собой, пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского.

Полдороги оба, по русско-английской привычке, молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу.

Но с полдороги случилось маленькое происшествие: мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума... Ни с того ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии: привстал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась набок и, охваченная от такой тряски морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу.

В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу: он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в не оправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость.

— Выпали? — осведомился он.

Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колене брюки. Бронзова вскочила на ноги и, энергично дернув Ошмянского за плечо, нетерпеливо сказала:

— Ну?!

— Что такое? — спросил Ошмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза.

Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивы...

— Чего вы сидите?

— А что?

— Да делайте же что-нибудь!

— А что бы вы считали в данном случае уместным?

— О, Боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотила этого негодяя.

— За что?

— Боже ты мой! Вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку.

Облокотившись на придорожный камень, Ошмянский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью:

— Но ведь от того, что я поколочу этого безнадежно-го дурака, ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется?

— Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?

— О, нет, что вы!..

— Так чего же вы разлеглись на дороге?

— А я сейчас встану.

— От чего это, собственно, зависит?

— Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу.

— Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель!

Ошмянский заложил руки за голову, запрокинул и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил:

— Клюквенный?

— Это неважно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя, — вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку... Ну — гоп!

Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил:

— А теперь что?

— О Боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю?! Ну, если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, — хоть выругайте!

— Сейчас, — вежливо согласился Ошмянский.

Подошел к вознице и, свирепо нахмурив брови, сказал:

— Мерзавец. Понимаешь?

— Понимаю.

— Вот возьму, выдавлю тебе так вот, двумя пальцами, глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты.

И, оставив оторопевшего возницу, Ошмянский отошел к Бронзовой.

— Уже.

— Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполнили. Кисель!

— А вы — бритва.

— Ну — едем? Или вы еще тут, на дороге, с полчаса полежите?

Поехали.

Глава II

В Святогорском монастыре гуляли. Потом пили чай. Потом сидели, освещенные луной, на веранде, с которой открывался вид верст на двадцать. Говорили...

Какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер, — это мало исследовано... Может быть, общность служения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что, когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята только минут через пять.

Глава III

На другой день Ошмянский пришел к Бронзовой в гостиницу "Бристоль", № 46, где она остановилась. Пили чай. Разговаривали долго и с толком о театре, литературе.

А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда благодаря

тому дураку о камень, Ошмянский заявил, что он освидетельствует это лично.

Приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал.

Действенность этого неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины.

Когда Ошмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала:

— Милый, милый, глупый, глупый!

И засмеялась.

— И однако он, кажется, порядочная размазня... Женщина из него может веревки вить.

Закончила несколько неожиданно:

— А оно, пожалуй, и лучше.

Глава IV

Прошло две недели.

Гостиница "Бристоль".

На доске с перечислением постояльцев против № 46 мелом написаны две фамилии:

"Ошмянский.

Бронзова".

Глава V

В августе оба уезжали в Петроград.

В купе под убаюкивающее покачивание вагона произошёл разговор.

— Володя, — спросила Бронзова. — Ты меня любишь?

— Очень. А что?

— Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное... Будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует... Только разгонишься и уже — стоп! Стена.

— Например, какая фамилия?

— Например, моя — Бронзова.

— Что же с этим поделаться?..

— Есть выход: Бронзова-Ошмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина...

— Я тебя не понимаю.

— Володя... Я хочу, чтобы ты на мне женился.

— Что за фантазия?.. Разве нам и так плохо?

Его ленивые, сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее.

— Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это...

— А ты не боишься, что это убьет нашу любовь?

— Настоящую любовь ничто не убьет.

— А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет?

— Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну, Кисель, милый Кися, говори: женишься на мне?

— Видишь ли, я лично против этого, я считаю это ненужным, но если ты так хочешь — женюсь.

— Вот сейчас ты не Кисель! Сейчас ты энергичный, умный мальчик.

Она поцеловала его, а вечером, причесывая на ночь волосы, счастливая, подумала: "Уж если я чего захочу — так то и будет. Милый, мой милый Кися..."

Глава VI

Бронзова впервые приехала к Ошмянскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг:

— Всего три комнаты, а как мило, уютно...

Она под села к нему ближе, подкрепила силы поцелуем и, глядя его волосы, спросила:

— Володя... А когда же наша свадьба?

— Милая! Да когда угодно. Вот только получу из ка-литкинской управы документы — и сейчас же.

— А без них нельзя?

— Глупенькая, кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое...

— А зачем они лежат там?

— Документы-то? Паспорт для перемены отослал, а метрическое у тетки.

— Значит, ты это сделаешь?

— Она еще спрашивает! Чье это ушко?

— Нашего домохозяина.

— Ах ты, мышонок!.....

Глава VII

Снова сидела Бронзова у Ошмянского... Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять.

Потому что был уже декабрь.

— Володя...

— Да?

— Ну, что же с документами?

— С какими? Ах, да! Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу.

— Спасибо, милый!.. Володя...

— Да?

— Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили?

— Вместе? Это было бы хорошо.

— Хочешь ко мне переехать?

— Нет, что ты... Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать...

— Володя... Ну, я к тебе перееду... Хочешь?

— Дурочка! Да ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли; оба мы будем друг другу мешать... Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями.

Она притихла. Отвернулась и молчала — только плечи ее тихо вздрагивали.

— Катя! Ты плачешь? Глупая... Из-за чего, право?.. Это такой пустяк!

— М... не т-ак хо-те-лось...

— Ну хорошо, ну, будет по-твоему... Переезжай.

— Милый! Ты такой хороший, добрый...

И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка...

Глава VIII

Сидели в ресторане: Бронзова, Ошмянский и его приятель, Тутыкин.

— Володя! Ну что, получил уже документы?

— Понимаешь, написал я все честь-честью — и до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли?.. У нас теперь что? 14 февраля? Ну, думаю, к концу месяца вышлют.

— Напиши им еще.

— Конечно, напишу.

Она посмотрела на него ласковым, любящим взором и сказала:

— А знаешь, что тебе очень пошло бы? Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектна. Закажи. Хорошо?

— Да когда же я ее буду носить?

— Когда угодно! Ты ведь писатель — и имеешь право. В гости, в театр, в ресторан...

— Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект?..

— Нет, нет! Володя... Я хочу!

— Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу.

В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь:

— Совсем погибла эта размазня Ошмянский! Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила.

— Красивая?

— Красивая. И острая, как бритва.

Глава IX

Когда Бронзова и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно:

— Катя... Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду...

— Куда же? Ведь клуб уже закрыт.

— А... видишь... Мне пописать хочется. Настроение нашло.

— Ну-у-у?

— Ах, да! Я тебе не говорил! Понимаешь, я снял две маленькие комнатки и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо.

— Володя! — всплеснула руками Бронзова. — Да ведь это выходит, что я выгнала тебя из твоей квартиры?

— Ну, что ты... Какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь, писатели, преоригинальный народ! Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть.

Глава X

— Володя! Заказал куртку?

— Да, был я у портного... Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон... и вообще.

— Ну, едем вместе! Сейчас мы это все и устроим! Эх ты, кисель мой ненаглядный... Документы уже получил?

— Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они где-нибудь. На почте, что ли?!

— Дома сегодня будешь?

— То есть где? У тебя? Да. Заеду чайку напиться. А потом к себе покачу: повесть нужно закончить... У себя же и заночую...

Глава XI

— Смотри, Володя, как кстати: мы собираемся к Тюткиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее. И я пойду переодеться.

Бронзова ушла, а Ошмянский взял куртку, положил ее на диван и потом, взяв перочинный нож, распорол под мышкой прореху вершка в два.

Сделал печальное лицо, пошел к Бронзовой.

— Чтоб его черти съели, этого портного! Сделал такой узкий рукав, что он под мышкой лопнул.

— Ну, давай я зашью.

— Стоит ли? Опять лопнет. Тем более что воротнички без отворотов у меня дома, а на этот воротничок — надеть трудно...

Глава XII

Ошмянский только что приготовил бумагу для сказа и вывел заглавие, как в комнату постучались.

— Кто там?

Дверь скрипнула — вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем.

— Прости, что я врываюсь к тебе. Ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному... Но — не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз...

— Катя! Что случилось?

— Что? — Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. — Что? — Улыбнулась печально сквозь слезы и пошутила: — Ты победил меня, Галилеянин...

— Катя! Чем?!.. Что ты говоришь?

— Ну, полно... Все равно я уйду уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов... Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я — бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право — руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни... Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное — но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому уйду!

— Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, побрани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела?

— Молчи!! Знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились — прошло одиннадцать месяцев, — где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе — ты согласился... Где это? Пустяк: мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке — носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со всем соглашался, все с готовностью обещал. Но что вышло... Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках! Прочь! Не подходи ко мне!!! Ну?

Он протянул к ней руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и — ушла. Навсегда.

Одну минуту он стоял ошеломленный. Потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой.

Долго сидел так. Потом пробормотал что-то. Неясное, нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов. И даже рифмованных...

“В один чудесный день,
Когда ложилась тень,
Ко мне пробрался кирасир...”

А потом это бормотание перешло в мелодичный свист, и Ошмянский с головой погрузился в работу...

Тоненькая, как былинка, кудрявая, хрупкая, с тонкими, длинными, очень красивыми ногами и немного неуклюжими от роста руками, четырнадцатилетняя Маруся зашла в комнату кухарки Катерины и, сверкая огромными глазами, радостно сказала:

— Выгляди мне юбку, пожалуйста. Я сегодня иду в цирк, на дневное.

— Выглядить можно, — согласилась Катерина, тыча в рот своему четырехлетнему сыну Ганьке край блюда с горячим чаем.

И так как радость переполняла доброе Марусино сердце, то Маруся решила и на Катерину бросить луч другой своего счастья.

— А ты, Катерина, была когда-нибудь в цирке?

— Нет, барышня. Не была. Где нам ходить...

Маруся от ужаса и огорчения даже всплеснула розовыми тонкими руками.

— Да что ты говоришь?! Как же это так? Ну, это прямо-таки невозможно! Уже такая большая, имеешь даже сына, а в цирке еще не была!

Катерина казалась полным контрастом порывистой, пребывавшей в вечном молитвенном экстазе Маруси.

Она опустила сына с колен и апатично возразила:

— А чего я там не видала, в цирке этом?

— Да как же так можно говорить! Господи! Ведь там, понимаешь, люди под потолком летают... Лошадь, например, бежит, а на нее человек ногами вскочит — понимаешь, прямо на спину ногами, — перекувырнется и перепрыгнет на другую лошадь! Вещи прямо непостижимые! А клоуны! Они такие смешные, что ужас.

И так как сердце ее все еще было переполнено радостью и любовью ко всем людям, она решительно воскликнула:

— Знаешь что? Я попрошу маму, чтобы она и тебя взяла в цирк. Мы только вдвоем, а у нас целая ложа. Хочешь, Катеринушка? Ну, соглашайся, ну, дуся!..

— Да чего там хорошего? — нерешительно возразила Катерина. — Ну, прыгают люди и пусть себе прыгают. Бог с ними.

— Но ведь ты же этого никогда не видела, Катеринушка? Ты подумай, какой ужас: оно есть, а ты его не видишь!.. Я сейчас пойду попрошу маму.

Мама ломалась недолго.

— У тебя, наверное, не все дома. Ну кто же это по циркам с кухарками ходит? Хотя, положим, раз дневное, так не суть важно. Едва ли кто из наших знакомых будет там.

— Дай носик!

Маруся подпрыгнула, как собачонка, лизнула мать в нос, помчалась к Катерине, бросилась в ее объятия и даже от избытка чувств обрушила тысячу ласк на голову серьезного, мрачно сопящего Ганьки.

— Едем, едем! Воображаю, как ты будешь ахать, когда увидишь все тамошние чудеса! Ух! Я задохнусь от радости.

На извозчике ехали втроем, и Маруся, сидя у матери на коленях, то и дело восторженно заглядывала в глаза Катерине.

— Дуся, Катерина! Я так за тебя рада, я так счастлива! Мамочка, подумай: она никогда не была в цирке. Можно ли жить после этого?!

И когда все трое уселись в широкую барьерную ложу, у Маруси совершенно пропала непосредственность восприятия. Она уже не могла наслаждаться цирком, как раньше. Она собиралась переживать все впечатления отраженными от Катерины. Если бы было можно, она поместилась бы внутрь Катерины, чтобы самой пережить ее первые волшебные впечатления и восторги.

И она дрожала от нетерпения и стонала, страдая от того, что представление не начинается.

И вот вышла толпа служителей в красных берейторских костюмах, выстроилась в два ряда. Заиграла музыка, и тяжелая, сыгтая лошадь с плоским седлом на спине выбежала на арену. Вслед за ней выпорхнула наездница в короткой юбочке, рассыпалась целым дождем воздушных поцелуев и, как нарядная бабочка, вспорхнула на седло.

— Смотри, смотри, — шептала, дрожа от восторга, Маруся, — она стоя едет. Она через ленты перепрыгивает!! Ты посмотри: она перепрыгивает через обруч, а лошадь в это время — через барьер. Это очень трудно. Понимаешь?

Маруся ерзала на месте, вертелась и все время заглядывала в лицо спокойной монументальной Катерины.

— Нравится, нравится? — спрашивала она, вся дрожа.

— Едет хорошо, — апатично согласилась Катерина. — Только куда ж она это едет?

— Как куда? Вот тут все и будет ездить по кругу. Это ведь очень трудно.

— Раз трудно, чего ж она, дурная, едет?

— Ах, какая ты, ей-Богу, странная! Раз было бы легко, никому и не интересно. Неужели тебе не нравится? Ну, вот сейчас уже другой номер — музыкальные клоуны. Это уж тебе понравится! Смотри, на чем он играет: обыкновенные сковородки, а он по ним палочками бьет, и выходит мотив. А это! Смотри-ка, смотри! Метла, обыкновенная метла, на ней бычачий пузырь, струна, и он играет. Видишь, совсем как скрипка.

— Да на скрипке-то оно, пожалуй, лучше бы вышло, — с сомнением сказала Катерина.

— Так то же скрипка, пойми ты. На скрипке не шутка сыграть! А на этом трудно. Ну, ты подумай: кто же на метле будет играть?

— То-то же я и говорю, что не стоит, — лениво сказала Катерина, обращая глаза к потолку. — Это что ж там такое за веревки понакручены?

— А это будут летающие люди. С одной трапеции на другую будут перелетать. Замечательно интересно!

Это была неблагодарная задача: Катерина тлела и дымила, как сырое полено, а Маруся дула на это полено во всю силу своих слабых легких, стараясь раздуть священный огонь удивления и восторга.

— Ну, вот ты посмотри, вот эти акробаты... Один вспрыгнул другому на плечи, перекувырнулся в воздухе и попал на плечи третьему. Ведь это же трудно. Ну, вот ты подумай: ведь твой муж Николай этого бы не сделал. Верно ведь?

— Упал бы, — согласилась Катерина. — Да и чего ему делать? Слава Богу, в зеленой служит, свой хороший хлеб имеет. Кувырнись он так, — его хозяин в три шеи за эти кувырки. Нет, он у меня мужик умный.

Бедная Маруся, как хрупкая птичка, раздавленная солидным, спокойным, толстым поленом, свернула головку набок и умолкла, погасла до самого конца представления...

Под потолком летали люди, на земле танцевали слоны. Катерина была спокойна, монументальна по-прежнему, и только изредка из уст ее вырывались тяжелые, грузные слова:

— И чего еще люди выдумают!

Мать Маруси тоже заинтересовалась борьбой этих двух начал: восторженного, вдохновенного Марусино и железобетонного, грузного, сонного Катеринино.

Она, со своей стороны, сделала попытку зажечь Катерину.

— Ну, ты посмотри: слоны танцуют. Могла ты себе представить, чтобы слоны танцевали? А?

— Да, не слонячье это дело, — со вздохом соглашалась Катерина. — Нешто возможно? А что, барыня, ежели я к обеду пирожки сделаю с ливером? Ничего?

“Ну, брат, тебя не проберешь ничем”, — подумала мать и, погладив угасшую дочь по худенькому плечу, сочувственно предложила:

— Может, устала? Домой хочешь?

— Что ж... пойдем домой, — вяло вздохнула Маруся. — Тут осталось одно только отделение. Не стоит его смотреть.

* * *

После обеда зажгли елку.

Огромное пышное дерево, сверху донизу унизанное сверкающими картонажами и игрушками, сияло сотней разноцветных электрических лампочек, спрятанных между густых разлапистых веток.

Гости, войдя в гостиную, ахнули от восторга.

— Чудно! Чудно! Маруся, тебе нравится?

— Да... нравится, — неохотно промямлила увядшая, угрюмая Маруся.

— Что-то она это безо всякого восторга сказала, — засмеялась мать. — Впрочем, она у меня уже девочка большая, и елкой ее не очень-то поразишь.

— А привести сюда малютку, так ведь малютка остолбенеет! — подхватил толстый господин с огненным носом.

— Нету маленьких, — усмехнулась хозяйка дома. — Бог не посылает. А ты знаешь что, Маруся?.. Приведи сюда Ганьку! Это сынишка нашей кухарки, — объяснила она огненносому. — Пусть он полкубуетя.

Угасшая Маруся вдруг снова вспыхнула и помчалась на кухню.

* * *

Крохотный человек Ганька в розовой рубашке и серых штанах до пят стоял, окруженный толпой взрослых, и, сосредоточенно сопя, глядел на елку.

И все цветные огни и картонажи отражались в его выпуклых серых глазах, а сам он маленький, на неуверен-

ных ногах напоминал серую мышку среди огромных львов и тигров.

Но он стоял мужественно, безо всякого страха и смущения, поддерживаемый сзади у затылка за рубашку большой, сильной, пахучей рукой Марусиной мамы.

— Ну что, Ганя, нравится тебе елка? — допрашивала его Марусина мама, склоняясь к нему своим великолепным станом. — Хорошая елка? Нравится?

И все гости, тешась его оцепенелым видом, тоже наклонялись к нему и, перебивая друг друга, спрашивали:

— Ну что, Ганя, хорошая елка?

— Ну чего ж ты молчишь, Ганечка? — нетерпеливо трясла его за загривок, как кошка котенка, Марусина мама. — Хорошая елка? Нравится?..

Ганя поднял на нее выпуклые осмысленные глазенки и, пощурившись немного, сказал уверенно и веско, самым солидным баском:

— Не, не нравится.

Все ахнули, сдвинулись ближе.

— Ганечка! Ну что ты такое говоришь, подумай!.. Такая елка и вдруг тебе не нравится. Ну почему она тебе не нравится? Ну скажи?

Ганя опустил голову, поспеел немного и сказал полудумчиво, полусмущенно:

— Паршивая елка!

— Ах, дрянь мальчишка! — с краской негодования на щеках воскликнула хозяйка и дернула своей белой душистой рукой Ганьку за загривок. — Подумаешь, эта елка ему не нравится! Много он елок видел на своем веку! “Не нравится!”

— Просто дурак, — печально сказал господин с огненным носом. — Пусть проваливает к себе на кухню.

— Маруся, уведи его, — скомандовала мать, оттолкнув Ганьку, солидного, спокойного, серьезного.

Маруся схватила Ганьку за загривок, где начинался ворот розовой рубашки, и повлекла, как кошка своего котенка, к выходу.

— До свиданья, — сказал на прощание Ганька спокойным, уверенным баском.

* * *

Кухня...

За столом сидит муж Катерины Николай и, кряхтя, прихлебывает чай.

Катерина сидит напротив него, и на лице у нее написано столько изумления, столько трепета, что, посмотри на нее в эту минуту Маруся, — она осталась бы довольна.

Катерина даже не говорит, она только ахает.

— Ах ты ж, Господи! Ведь поди ж ты, а?

— Вот тебе и поди ж, — подмигивает Николай, любясь на ее остолбенелое удивление.

— Ах ты ж, чудеса, да и только!

— Вот тебе и чудеса.

— Это ж что ж такое будет, а?

— Вот тебе то и такое.

— Да как же это вышло?! Расскажи еще, помельче, расскажи, как и что.

— Вот тебе, как и что. Приходит, значит, вчера к моему хозяину наша Агафья, руки этак в боки, да и стала резать. “Наплевать, — говорит, — мне на вашу службу! А если, — говорит, — Панька у меня из сундука кремовые платки таскает, так это уж, — говорит, — извините... Такого, — говорит, — закону нет!” Плюнула и ушла!

— Ушла?!

— Ушла. Так вот — плюнула и ушла.

— Это что ж такое будет?! — даже застонала от удивления и трепетного ужаса Катерина.

— Вот тебе и что.

А в углу, за сундуком, сидит Ганька. На коленях у него раскрыта коробка от гильз, а в ней такие богатства, перед которыми и у пушкинского слепого рыцаря забила бы слюна: колпачок от аптечной бутылки, колесико шпоры, дохлый, совсем иссохший майский жук и довольно-таки заржавленное стальное перо.

Ганьки не узнать... Куда и солидность его девалась. Глаза широко раскрыты, блистают восторгом, а из отверстого рта тоненькой ниточкой тянется прозрачная слюна.

В это время на кухню зачем-то заходит сама барыня. Между прочим, она отдает распоряжение насчет ужина, но Ганька прекрасно понимает, что дело не в том... Просто она пришла похвастать чудесной оберткой от карамели, прилипшей к каблуку ее открытой щегольской туфли...

РОДИТЕЛИ ПЕРВОГО СОРТА

Лениво просматривая старый номер газеты, в которую было завернуто Собрание сочинений Пшибышевского, я прочел вслух заметку из хроники происшествий:

“В выгребной яме дома № 7 по Московскому переулку найден труп младенца с отрезанной головой. Дознание выяснило, что преступление совершено матерью младенца крестьянкой Мценского уезда Авдотьей Межевых, желавшей избавиться от лишней обузы...”

Земский врач Кныш, сидевший у меня, прослушал заметку и сказал:

— Держу пари, что еврейка никогда не сделала бы такой штуки!

— Почему?

— Неужели вы не знаете, что нет на свете народа де-толлюбивее евреев...

— Да, но я думаю — любовь в них пробуждается к детям, а не к тем бедным бесформенным комочкам мяса, еле-еле успевшим появиться на свет Божий.

— Ну, нет. Еврей любит своего ребенка до самозабвения в любой момент: при рождении, во все время роста его, любит его даже тогда, когда это уже верзила с окладистой бородой и с полдюжиной собственных детей, не менее горячо любимых. Да вот, хотите, я расскажу вам о трех этапах любви еврея к своему ребенку — этапах, которыми я сам был свидетелем.

— Дело. А я вас за это угощу добрым стаканом вина.

— И это дело. Слушайте.

1. Рождение ребенка

До сих пор я без тихой умильной улыбки не могу вспомнить об этом случае.

Был я врачом в маленьком, глухом, невероятно грязном городишке. Представьте себе глубокую осень, темные улицы, грязь по колена, отсутствие средств передвижения — ей-Богу, Дантов ад красивее, наряднее и элегантнее. Он, по крайней мере, вымощен.

Однажды, когда пробило уже 11 часов, что по-тамошнему считается глубокой ночью, ко мне постучались.

Я поморщился, но открыл дверь и впустил посетителя — худого бледного еврея, одетого в непромокаемый плащ и глубокие калоши.

— Что вам нужно?

— Ой, господин доктор, — ответил он с примесью мрачного юмора, почти всегда характеризующего бедных евреев. — Что мне нужно... Вы спросите — чего мне

не нужно... Мне все нужно. Но пока, если на минуточку отбросить все остальное, — так мне нужно доктора.

— Заболел кто-нибудь?

— Нет. Но жена сегодня, кажется, не прочь родить.

— Так вы бы обратились к повивальной бабке...

— Господин доктор! Вы знаете, где она живет?

— Нет, не знаю.

— Так как же вы хотите, чтобы я знал? Она же ваш коллега, а не мой коллега... Так как же вы хотите, чтобы я ее знал? Какая теперь может быть бабка, когда собаку жалко на улицу поставить. Вы полюбуйте на эту погоду! Я рад, что еще до вас добрался...

— Хоть извозчик-то есть у вас?

— Господин доктор! Какой может быть извозчик? У нас на весь город четыре извозчика; так один пьян, у другого лошадь больная, третий уехал в уезд, а четвертого вообще нет на свете.

— Ну, да... однако, согласитесь сами, идти пешком в такую погоду...

— Господин доктор! Вы хотите, я буду плакать, хотите, я стану на колени, хотите...

— Ну, ладно, ладно. А обратно вы меня проводите?

— Господин доктор! Я вас на руках понесу, если хотите! Я буду ложиться, если вам нужно перейти через лужу...

— Ну, ну, довольно. Жаль только, что у меня нет глубоких калош...

— Ой, какой же может быть об этом разговор?! Калоши? Нате вам мои калоши! Дождь? Нате вам мое непромокаемое пальто.

— А вы-то сами...

— Ну, на мне есть еще верблюжья куртка. Так, а если бы ее не было? Я бы пошел в рубашке, я голый пошел бы, но доктора бы я до своей жены привел и у меня бы родился ребенок!!!..

Через пять минут я, сопровождаемый будущим отцом, закутанный в его клеенчатое пальто и обутый в его колоссальные калоши, уже шагал по вязкой невидимой грязи, по-над стенками невидимых домишек среди непроглядной темноты... Холодный дождь потоками обливал нас, а под ногами шипела, хрипела и чавкала вязкая черная грязь.

— Ой, как тут нехорошо, господин доктор... Дайте мне свою руку... Вот так! Это не лужа даже, а форменное несчастье...

— Слушайте! Да возьмите вы свой плащ... Ведь у меня под ним все равно пальто...

— Что значит — пальто? А пальто не может от дождя попортиться? Железное оно или что?

Я приостановился.

— Что? Калошу потеряли? Дайте я ее вам выниму. Тоже город!

Он был трогателен до слез в своем самоотречении...

И вдруг среди непроглядной тьмы послышался чей-то кашель, шлепанье ног и голос:

— Мойсей, это ты?

— Ой, Яша! Хорошо, что ты вышел навстречу... Ну, что Берточка?

— Ты прямо лопнешь со смеху: она уже родила! И ребенок здоровенький, и она здоровая, прямо замечательно...

Мой спутник издал радостный крик и сейчас же захлопотал около меня:

— Теперь уже ничего не нужно, господин доктор! Уже слава Богу! Ну, я возьму плащ этот и эти тоже калоши... Бывайте здоровы. И я уже побегу, как сумасшедший! Хе-хе! Так она родила?!..

Я остался один среди тьмы и дождя. Шаги счастливого отца и неизвестного Яши быстро затихли, и только один торопливый вопрос донесся до меня:

— Мальчик? Девочка? Чего ж ты молчишь?!!

Я стоял среди мрака, обливаемый дождем, без калош, не зная, в какую сторону мне идти, и печально меланхолически улыбался:

— Святой эгоизм! О, если бы мой отец так же радовался моему рождению...

II. Ребенок растет

В прошлом году я встретился с одним знакомым оперным певцом, евреем, но тщательно скрывающим свое происхождение.

Он взял себе манеру говорить с московским растягиванием слов и вообще весь свой жизненный путь совершал в стиле богатого барина — аристократа, ради милого барского каприза попавшего на сцену...

— Что вы делали это лето, Борис Михайлович? — спросил я.

— Этого... м-да... Что я делал летом?.. Да так, почтеннейший, мало хорошего... Три недели провел в Ницце, поигрывал в Монте-Карло — скучища! Даже выигрыш не веселит. Потом мы с князем Голицыным объехали на ав-

томобиле Южную Италию. Вернулся в Россию, пожил немного на даче у своей царскосельской приятельницы графини Медем, а потом уехал в свое подмосковное имение Горбатово... Тощица!

— Так, так... это хорошо, — улыбнулся я. — Ну, а как поживает ваш сынок Миша?

И моменально ленивый тон с барским растягиванием слов как рукой сняло:

— Ой, Миша! Это же прямо-таки замечательное существо, мой Миша! Ой! Это же не ребенок, а прямо феномен! Можете поражаться — но он уже на скрипочке играет! Скрипочку такую я ему купил!!

И сквозь холеное барское лицо международного растакуэра на меня глянуло другое — бледного еврея в непромокаемом пальто, который хотел отнести меня на руках к своему будущему ребенку...

III. Ребенок вырос

На улице сгрудилась большая толпа.

Я не мог протиснуться к центру, приковавшему всеобщее внимание, но когда кто-то громко сказал: “Доктора! Нет ли здесь доктора?” — толпа почтительно расступилась передо мной.

— Что здесь такое?

— Да вот старый еврей — упал и лежит.

— Мертв?

— Нет, кажись живой.

Я опустил около лежащего, ощупал его, исследовал, насколько это было удобно, и уверенно сказал:

— Обморок. От голода.

Еврея снесли в ближайшую аптеку.

Я привел его в чувство, дал ему коньяку, молока, пару бисквитов и приступил к допросу:

— Сколько дней ничего не ели?

— Три дня.

— Отчего не работали?

— Кому я нужен, старый? Никто не берет. Тоже я работник — один смех.

— Семья есть?

— Сын.

— В Америке? — язвительно спросил я.

— Нет, здесь. В этом городе. Он зубной врач.

— Так. И допускает отца падать на улице в обморок от голода. Вы с ним в ссоре?

— Нет.
— Значит, он — негодяй?
— Ой, что вы говорите... Это замечательный человек!
— Он тоже нищенствует?
— Не дай Бог. Он снял себе очень миленькую квартиру...
— Вы у него просили помощи?
— Нет.
— Вы думаете, что отказал бы?
— Сохрани Боже! Он отдал бы мне последнее.
Я расвирепел.
— Так в чем же дело, черт подери, наконец?!
Он слабо улыбнулся сухими губами:
— Как же я мог бы брать у него какие-нибудь средства, если он сейчас составляет себе приличный кабинет?! Вы думаете, это легко? А что это за зубной врач без приличного кабинета? Пусть мое дитя тоже имеет себе кабинет...

И снова сквозь старое желтое лицо, изрезанное тысячами морщин, на меня глянуло другое лицо — бледное, молодое, — лицо счастливого отца, который брался осенней ночью, в одной рубашке, на руках понести меня к ребенку, которого мы оба еще не знали, — лишнему ненужному прищельцу в этот мир слез, скорби и печали...

ЭКЗЕКУТОР БУРАЧКОВ

Еще если бы я рассказывал все нижеследующее со слов других, то можно было бы усомниться в правдивости рассказа; но так как все нижеследующее происходило на моих глазах, то какое же может быть сомнение?

Я ведь знаю не хуже других, что лгать — стыдно.

* * *

На спиритическом сеансе нас было немного, но народ все испытанный: генерал Сычевой, владелец похоронного бюро Синявкин, два брата Заусайловы, хозяйка квартиры, где происходил сеанс, старая дева Чмокина, медиум и я.

Собирались мы в этом составе уже не первый раз, и начало сеанса не предвещало ничего особенно выдающегося: когда медиум заснул, начались стуки, подбрасыва-

ние коробки со спичками и обычное довольно немзыкальное треньканье на гитаре.

— Это все скучно! — зевая, сказал Синявкин. — Сегодня для ради сочельника можно было бы ожидать чего-нибудь и получше. Не правда ли, госпожа медиум?

Так как это был перерыв, и женщина-медиум уже пробудилась от своего медиумического сна, она застенчиво поежилась и сказала извиняющимся тоном:

— Можно положить на пол простыню! Дух ее подымет.

— Ну, тоже важная штука! Это и на прошлом сеансе было, и на позапрошлом... Нет, вы нам чего-нибудь побойчей покажите!

— Что ж я могу? — пожалала плечами Фанни Яковлевна (так звали медиума). — Вы же сами знаете, что это не от меня зависит!

— Так-то оно так, — разочарованно протянул Синявкин. — Ну-с, приступим.

Притушили свет, и Фанни Яковлевна, глубоко и судорожно вздохнув, почти моментально заснула.

Минуты три мы сидели в глубоком молчании.

Наконец генерал Сычевой спросил сонным сиплым голосом:

— Дух, ты здесь?

Дух стуком ответил:

— Здесь.

— Кто ты такой?

Дух потребовал азбуку. Девица Чмокина монотонно начала:

— А, б, в, г...

Несколько стуков — и мы узнали не только фамилию духа, но и его профессию:

— Экзекутор Бурачков.

— Новый дух, — прошептала Чмокина. — Такого еще не было.

— Зачем ты здесь, дух? — осведомился Синявкин.

— Что за вопрос? Вызвали. Сами же вы вызывали.

— Да мы вызывали не тебя. К нам, обыкновенно, является дух Иды, танцовщицы...

Дух обиженно промолчал.

— Дух, ты здесь?

Дух слабо стукнул.

— Он еще слабенький, — ласково сказал старший брат Заусайлов. — Вы его пока не мучайте. Видите, как медиум дергается.

И продолжал еще более ласково, нежно:

— Ты слабенький еще, Бурачков. Ну, ничего, ничего. Ты усиливайся, голубчик, набирайся силы. Потом ты нам что-нибудь сделаешь... Сделаешь, Бурачков, а?

— Сделаю, — стукнул дух.

— Ну, вот и умница... Нам спешить некуда, мы подождем. Ты усиливаешься, а?

— Усиливаюсь, — более громко и уверенно отвечал дух.

— Вот и замечательно. Вот и приятно. Ты нам покажешься?

— Постараюсь.

— Вот и хорошо, милый. Старайся, трудись. Бог труды любит. Бурачковым тебя зовут?

— Бурчаковым.

— Ну-ну. Это хорошо. Мы тебя уже любим, Бурачков.

Непосвященному в дебри спиритизма может показаться странным такое беспардонное подмазывание к духу, такое заискивание, такая грубая, ни на чем не основанная лесть. Но дело в том, что после случая с сенатором К., которого дух ударил по голове гитарой, мы все стали чрезвычайно осторожны в своих беседах с духами и старались все время мазать их елеем. Нам это ничего не стоило, а духа смягчало.

— Ты бы, может, показался нам, Бурачков? — проворковала Чмокина. — Конечно, если тебе не трудно...

При слабом свете было видно, как что-то туманное, белое завозилось в углу около рояля, заколебалось и стало сгущаться.

— Дух, что ты делаешь? — спросил генерал.

Дух явственно простучал:

— Я уплотняюсь.

— Ну, ну. Уплотняйся, голубчик. Это хорошо. Это ты здорово придумал. Уплотнишься, как следует, — и тебе приятно, и нам на тебя посмотреть любопытно.

Дух капризно простучал:

— Молчите.

— Молчим, молчим, — залебезила Чмокина. — Тссс. Тссс, господа. Дух просит молчать.

По мере того как тише становились мы — дух делался все громче и громче; он шелестел нотами на пюпитре, судорожно хватался за крышку рояля, будто вытаскивая свое тело из какого-то узкого, невидимого мешка, и кончил тихим, заглушенным, но довольно схожим с человеческим кашлем.

Белое туманное пятно все густело, темнело и наконец стало настолько непрозрачным, что сквозь него перестали быть видимы предметы на заднем плане.

Это уже не было туманное, расплывчатое пятно.

Это было — тело.

Молчание среди нашего кружка сделалось тяжелым, жутким. Такую материализацию мы видели в первый раз.

...Стул, поставленный около рояля, заскрипел под тяжелым материальным телом... и кашель послышался еще явственнее.

— Ну, что дух, уплотнился? — медовым голосом проурчал Синявкин.

И в ответ на это около рояля раздался уже не стук, а тонкий, какой-то заржавленный и сонный голосок:

— Какой же я дух?.. Хорошего духа нашли.

Все вздрогнули и сдвинулись ближе.

— Тебя зовут экзекутор Бурачков? — дрожащим голосом спросил Сычевой.

— Ну, без хамства, — с неудовольствием отвечал Бурачков, — что это еще за "ты"! Не люблю.

— Вот тебе и материализация, — прошептал трясущимися губами старший брат Заусайлов. — Что-то мне нехорошо делается.

— Вы, господин Бурачков, себя хорошо чувствуете? — спросила деликатная Чмокина, стремясь загладить происшедшее.

— Неважно, — с протяжным вздохом простонал Бурачков. — Очень даже неважно. Холодно мне.

— Генерал! Можно дать ему ваше пальто?

— Ну вот еще, — боязливо и недовольно пролепетал генерал. — А как же я... Ведь пальто с бобровым воротником.

— Но ведь он отдаст. Ведь при дематериализации не возьмет же он его с собой.

— А не зажечь ли свет? — предложил младший Заусайлов, трясаясь всем телом...

— Господин Бурачков... Можно зажечь свет?

— Ну, а то что ж... Впотьмах сидеть, что ли?

Щелкнул выключатель.

Фанни Яковлевна сильно втянула ноздрями воздух, вздрогнула и проснулась.

Взоры всех обратились в дальний угол к роялю...

Около него сгорбившись сидел человек с нездоровым землистым цветом лица, одетый в синий поношенный фрак и клетчатые нанковые панталоны со штрипками. Шею охватывал высокий воротник с черным галстуком.

Человек этот был не страшен.

Все встали со своих мест и, боязливо сбившись в кучу, стали подвигаться к нему.

— Ваша фамилия Бурачков? — робко спросил Заусайлов.

Бурачков поднял на нашу компанию свои измученные большие глаза и прохрипел в промежутке между кашлем:

— Ну да же! А то кто? Он самый. Экуектор.

— Вы знаете, откуда вы явились?

— Не знаю. А что? Как-то я очутился тут, а почему — прямо-таки вот не знаю и не знаю. Холодно тут и беспокойно.

Сгрудившись, все смотрели на эту понурую фигуру и молчали.

— О чем же с ним разговаривать? — недовольно спросил Синявкин. — Что может быть за разговор, если он ничего не помнит.

— Все-таки это замечательно, то, что мы сделали, — весь трепеща от радостного возбуждения, сказал Заусайлов.

— Конечно, замечательно, — поддержал младший. — Этакая материализация! Другие кружки его у нас с руками бы оторвали.

Я осмелился и, бочком приблизившись к Бурачкову, спросил:

— Где вы были раньше — помните?

— Не помню, — лениво промямлил Бурачков. — Что-то у меня нынче голова тяжелая.

— Замечательный случай, — радостно сказала Чмокина. — Совсем живой человек. Послушайте... а где вы живете?

— Тут, — устало сказал Бурачков.

— То есть как это — тут?! Это моя квартира.

— Ваша?

— Ну да. А где вы живете?

— Не знаю. Я думаю, здесь живу. Раз я здесь, значит, здесь и живу. Спать мне хочется.

Все мы снова расселись по стульям и стали молча любоваться на вызванное к жизни произведение рук наших.

— Господа, — спросил Заусайлов-старший. — А он может дематериализоваться?

— Я думаю, — неуверенно сказала Чмокина. — Что ж ему тут делать?..

— Толку с него мало, — скептически заметил Синявкин. — Вызвать вызвали, а он ничего не рассказывает о том, что там. Тоже — дух называется!..

— Не помнит, — примирительно сказал я. — Мне его, в сущности, жалко. Смотрите — сидит и ежится и дрожит от холода. Отправить бы его обратно.

— А не оставить ли его так, как есть, — в интересах науки?

— Ну, какие там интересы науки? Человек ничего не помнит, двух слов сказать не может. Черт с ним! Дематериализуем его — и конец.

У всех было странное, совершенно непонятное тягостное ощущение и тайное желание избавиться от этого чересчур уплотненного призрака.

— Притушите свет, — скомандовал Сычевой. — Пусть медиум заснет.

— И верно, — подхватил Заусайлов. — Я думаю, что это даже грешно, то, что мы делаем... Действительно: вызвали человека, а зачем, и сами не знаем.

— Ну и успокойтесь: отправим обратно! — раздраженно сказал Сычевой. — Тушите свет. Медиум, зашите!

Все погрузилось в напряженное молчание. Только слышалось напряженное дыхание медиума.

— Дух, ты здесь? — несмело спросила Чмокина.

Ответом было молчание.

— Ты здесь, дух?!

Молчание.

— Ну, слава Богу, исчез. Давайте свет, да и пора расходиться по домам. Я сам не свой.

Щелкнул выключатель.

— Да, — недовольно сказал Сычевой, — исчез... Черта с два исчез! Торчит на том же месте.

Синявкин встал первый, потянулся и сказал:

— Ну, кто как хочет, а я спать пойду. Устал, да и поздно.

— Позвольте! — ахнула девица Чмокина, — а как же он? Ведь он сидит?!

— Да, действительно, — закусил Сычевой свой полуседой ус, — сидит. Хм!.. Ну, знаете что, Аглая Викентьевна?.. Пусть посидит до утра, а там видно будет!

— То есть как это так? — плаксиво сказала Чмокина. — Я так не хочу! Я — девушка, не забывайте вы этого! И мне, кроме того, страшно одной.

— Да ведь не одна же вы! — утешил Заусайлов-старший. — Он ведь тут тоже будет.

— Спасибо вам за такую компанию! Сами с ним оставайтесь.

— Действительно, это неудобно! — задумчиво сказал Синявкин. — Надо, чтобы он ушел. Послушайте, вы... как вас?.. Бурачков! Ступайте домой.

Бурачков поднял на него свои страдальческие, большие глаза и жалобно простонал:

— Куда же я пойду? Я не знаю, где мой дом. Это, вероятно, и есть мой дом. Мне холодно.

— Нам наплевать на то, что вам холодно. А шататься по чужим домам тоже не фасон! — вспылил Сычевой. — И что вам вообще угодно?

Бурачков испуганно взглянул на сердитого генерала и понурился.

— Я не знаю, куда мне идти! Мне некуда идти.

— Вот тебе! Нажили на свою голову! — раздраженно сказал Синявкин. — А все Заусайлов. “Голубчик, ты уплотняешься? Ну, уплотняйся, уплотняйся!..” Вот он тут и уплотнился. Попробуйте скovyрните его теперь!

— Вы зачем здесь? — сердито сказал младший Заусайлов, обращаясь к призраку. — Вам что нужно? Это — ваша квартира? Это — чужая квартира! Вы хотите, чтобы мы полицию позвали? Она вам покажет, как уплотняться!

Бурачков молчал и только испуганно, исподлобья на всех поглядывал.

— Медиумы! — вдруг освирепел генерал. — Чего ж вы смотрите!! Это ваше дело избавить нас от него. Вы вызвали, вы и разделявайтесь, как знаете.

— Я же пробовала, — беспомощно пролепетала Фанни Яковлевна. — Ничего не выходит. Очевидно, он слишком уплотнился... Вы же сами просили...

В глубине комнаты тихо, как обиженный ребенок, плакала девица Чмокина. Ей казалось, что Бурачков никуда не уйдет отсюда и поэтому вся ее налаженная жизнь должна пойти прахом.

Генерал не мог видеть женских слез.

Он почти вплотную приблизился к Бурачкову и бешено гаркнул ему в лицо:

— Пошел вон!!

Бурачков только скорбно улыбнулся и прошептал

— Ну, куда я пойду, ей-Богу?..

Положение создалось невыносимое, все стояли, переминаясь с ноги на ногу, и не знали: уйти ли, бросив хозяйку Чмокину на произвол судьбы, или остаться вместе с ней до утра.

— А не позвать ли полицию? — спросил Синявкин.

— Неприятности могут быть. Ведь паспорта у него нет. Пойдут догадки, всякие подозрения...

— Да уж без паспорта — это не порядок. Еще если ты призрак, так сквозь пальцы могут посмотреть, а уж если уплотнился — тогда ни на что не посмотрят. Пожалуйте на цугундер!..

Я протиснулся поближе к Бурачкову и начал очень дипломатично:

— Скажите, господин Бурачков, а у вас тут, в городе, нет никого знакомых? Постарайтесь вспомнить.

— Позвольте... — призадумался совершенно измученный Бурачков. — Ну конечно же есть! Столоначальник третьего стола Адриан Игнатьич Кокусов... Не изволите знать?

— Кокусов, — дипломатично сказал я, подмигивая своим компаньонам. — Кажется, знаю. Это какой Кокусов? Адриан Игнатьич?

— Ну да, — оживился он. — Это мой большой приятель. Он на Вознесенском в доме номер семь жил.

— Так поздравляю вас, — фальшиво засмеялся я. — Он там и сейчас живет. Я это доподлинно знаю.

— Серьезно?

Он был доверчив, как ребенок.

— Ну, конечно. Ведь он женат?

— А как же. В 1832-м женился на Елене Петровне Гвоздиковой.

— Ну, так и есть! Я его знаю, — вскричал я. — Он мне часто говорил: “Соскучился, говорит, я по Бурачкову. Хоть бы одним глазком его повидать”. Он вам будет очень рад.

— Как же, как же, — оживился Бурачков. — Приятели ведь мы. Я у него еще Ванечку крестил.

— Ну, Ванечка уже большой вырос. Совсем мужчина. Все про вас спрашивает. Вы бы навестили их.

— И то пойду, — сказал он, добродушно кивнув мне головой и поднимаясь с места. — И то пойду. Вот-то радость будет... Как же! Адриан Игнатьич... Ведь мы с ним еще с детства!..

Он проковылял в переднюю, надел чью-то барашковую шапку, набросил на плечи поданное мною старое пальто, висевшее в передней без употребления, — и, прихрамывая, покашливая, стал спускаться с лестницы.

Мы стояли у окна и с торжеством глядели на этого допотопного наивного доверчивого чудака, которого удалось так легко сплавить...

* * *

На другой день девица Чмокина позвонила мне по телефону:

— Послушайте! Вы знаете? Ведь он нынче утром ко мне приходил. Слава Богу, меня не было дома и квартира была заперта. Я сказала швейцару, если еще придет — не пускать.

— Конечно, — одобрительно сказал я. — Гоните безо всяких рассуждений.

— Я и сама так думаю. Вы уж помалкивайте о том, что случилось. Мы все сговорились молчать. А то Бог его знает, что может выйти.

* * *

Заметка в газетной хронике происшествий:

“Вчера в Лесном на опушке рощи был замечен висящий на дереве человек. Одет он был в типичный наряд чиновника сороковых годов. Вероятно, один из неудачников-актеров театра миниатюр, которые расплодились теперь, как грибы, а актеров содержат впроголодь. Бедняга, как предполагают, после спектакля побежал и повесился, не успев даже переодеться... Документов при нем не оказалось. Труп отправлен в Обуховскую больницу...”

СОСЕДКИ

Луч солнца с раннего утра носился по всему городу: скользил по зеркальным окнам широких магазинов, по лакированным верхам сверкающих автомобилей, запутывался между цветов на модной дамской шляпке — и наконец все это надоело ему, солнечному лучу... Усталый, пополз он в тихую дремлющую улицу, наткнулся на маленькое подслеповатое окно одноэтажного домика, просочился сквозь коленкоровую белую занавеску и, зацепив одним краем огненный цветок фикуса, мирно задремал на плече маленькой бедной старушки.

Посидев в приятной дремоте минут десять, старушка вдруг дернула плечами и проворчала:

— Однако и припекает сквозь стекло. Совсем по-летнему... Поди и кофе закипел.

Бодро проковыляв на кухню, сняла с печки кофейник и, вернувшись, принялась стучать тихо, потом все громче и громче в дверь, полускрытую ситцевой гардиной...

— Макрида Семеновна! А, Макрида Семеновна... встали?

Из-за дверей послышался тонкий, как мышинный писк, голос соседки:

— Ох, и не говорите! Насилу встала. Все кости ноют... к погоде, что ли?

— Не иначе — к погоде. Пожалуйте ко мне — кофейком угощу.

Из дверей показалось сморщенное лицо, курносый носик понюхал воздух, а востренькие глазки так и зашмыгали — будто не один, а тысяча взглядов, как горох, сразу рассыпались по всей комнате.

Она вошла неслышно, будто серая мышь проскочила в дверь, и, поправляя выбившуюся из-под наколки прядь жиденьких серых волос, промурлыкала сладко, как сахар:

— Ну, и к чему вам, право, беспокоиться, Анна Перфильевна. Ей-Богу... Мне даже совсем неловко...

— Какое же тут беспокойство... Никакого беспокойства и нет!

При этом обе расцеловались довольно нежно.

Жилица Макрида Семеновна сейчас же опустилась на стул, потрясла головой и простонала тоненьким, как ниточка, голосом:

— Всю ночь поясница чуть не на куски разламывалась.

Это дало повод хозяйке загореться самым энергичным сочувствием:

— И с чего бы это? Продуло где, что ли?

В ответ на это Макрида Семеновна только горько усмехнулась:

— Хи! Продуло... Где же еще может продуть? Из окна дует... Вот и продуло; в этой паршивой комнате отовсюду дует.

Это были жестокие слова.

Анна Перфильевна отшатнулась от Макриды Семеновны и поглядела на нее совершенно непередаваемым взором:

— Извините, пожалуйста! Почему же это моя комната паршивая?! Сдаю я ее вам почти даром...

Макрида Семеновна одним движением сморщенной руки стерла с губ еще не успевшую исчезнуть улыбку — и голос ее сразу приобрел силу надвинувшегося урагана:

— Это двадцать-то два рубля — даром? Ну, знаете, спасибо за такое “даром”. Это ежели все так будет “даром”, так скоро и по миру с рукой пойдешь.

— Пожа-алуйста! Если дорого — зачем же вы умоляли сдать вам. “Анна Перфильевна, душечка, — сдайте! Анна Перфильевна, такая-сякая, намазанная, — сдайте!”

У Анны Перфильевны, конечно, был свой яд в голове, но по сравнению с Макридой Семеновной это был лимонад, розовая водица.

Макрида Семеновна открыла рот и сама захлебнулась:

— Ах, так?! Милая моя... Может быть, я здесь вообще лишняя?!.. Может, вы и на кофе пригласили меня так уж, скрепя сердце? Пожалуйста, пожалуйста! Не видала я вашего кофе! Свой имею!

Тут Анна Перфильевна вовремя вспомнила, что она хозяйка и что законы гостеприимства святы даже у диких народов...

— Что вы, что вы, милая!.. Мне кофе не жалко. Пейте, сколько влезет. Я вон даже наливочку поставила.

Сладкое, волшебное слово!.. Ядовитые слова будто ветром сдуло с губ... И вот уже на губах тихо колышется сладкая, медовая улыбка.

— Серьезно, наливочка?.. Неужели своего изделия?

— Своего.

— И что это за золотые руки у вас, — захлебнулась Макрида Семеновна. — Все сама да сама!.. Истинный клад, а не женщина. Смородиновая?

— Смородиновая. Пейте. Ну, что новенького?

Как снег искрится под лучами луны, так вся заискрилась, заблестала, заиграла Макрида Семеновна...

И столько было дикой энергии в ее взоре, что автор с этого момента должен поневоле оставить спокойный, тихий повествовательный тон и перейти на тон резкий, сжатый, отрывистый, одним словом, на тон драматического диалога...

Макрида Семеновна. — Ах, матушка моя! Новостей — мильон! Да что там мильон? Сто тысяч новостей — вот сколько!

Анна Перфильевна (вся дрожа от лихорадочно-го ожидания). — Ну? Ну? Да ну же!

Макрида Семеновна. — К инженеру-то нашему, что напротив живет...

Анна Перфильевна. — Ну?!!!

Макрида Семеновна (торжественно). — Опять жена приехала!

Анна Перфильевна (пораженная до глубины души, всплескивает руками). — Что вы говорите?

Макрида Семеновна (торжествуя). — Вот то вам и говорю. Приехала с вещами — я все, все, все, как есть, в окно видела: желтенький чемоданчик, потом коробка такая деревянная, сак да два сверточка. Что уж там, в этих сверточках, не знаю. Он, значит, взял ее за руку, увел поскорее в комнату, и уж они там промеж себя: гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр... — почитай до самого утра.

Анна Перфильевна. — Вот помяните вы мое слово: он ее заманил к себе, а потом возьмет и зарежет.

Макрида Семеновна (полная изумления и ужаса). — Да зачем же ему резать?

Анна Перфильевна. — Зачем? А затем. (Придумывает, что бы сказать.) Затем, что потом он опять эту рыжую выпьет. Рюмочку наливки — можно?

Макрида Семеновна (восторженно). — И выпьет! Как Бог свят, выпьет. Вот тебе возьмет выпьет и зарежет! Рюмочку? Не много ли будет?

Анна Перфильевна. — Ну что вы! Кушайте.

Выкушали по рюмочке обе.

Макрида Семеновна (осматривая). — Это что у вас, новые гардины?

Анна Перфильевна. — Да. Недавно купила. Нравятся?

Макрида Семеновна (восторженно). — То есть так бы весь век и глядела на эти гардины. Так бы и глядела. Глазу бы от них не отвела... До чего замечательны эти вещи! А супруг ваш все на службе?

Анна Перфильевна. — На службе.

Макрида Семеновна. — Очень даже они замечательный человек, супруг ваш, редкий мужчина. Скромный, непьющий. Истинно, что вам Господь Бог счастье послал за вашу добрую душу, за сердце ваше золотое.

Анна Перфильевна. — Еще чашечку! Да что у вас рюмочка-то пустая? Так не полагается... А вот печеньице.

Макрида Семеновна. — И к чему вы, право, трагитесь, Анна Перфильевна... Только одно беспокойство. Мне — я буду говорить прямо, я человек прямой — разговор ваш приятнее всякого печенья... Ну хорошо. Рюмочку, пожалуй. Только чтобы последняя. (Пьют. Пауза. Макрида Семеновна осматривается, останавливает восторженный взгляд на фотографической карточке, висящей на стене. Фотография изображает упитанного мужчину с рачьими, остолбенелыми глазами и полуоткрытым от восторга перед самим собой ртом.) Сынок-

то ваш, Петенька... большой-большой... Совсем мужчина! И красавец прямо невозможный.

Анна Перфильевна. — Да... Вырос. Уже ему срок первый.

Макрида Семеновна. — Да, да, да, да! Такой человек женится — не меньше ста тысяч взять должен! Истинно говорю вам...

Анна Перфильевна. — Да, он у меня молодец.

Макрида Семеновна (с энтузиазмом). — Молодец? Это мало, что молодец. Орел! Овца прямо, а не человек. (Пауза.) Какая вы нынче интересная, Анна Перфильевна... И вам эта кофточка удивительно к лицу. Прямо королева. (Анна Перфильевна кокетливо и сконфуженно смеется, отмахиваясь рукой. Пауза.) Анна Перфильевна!

Анна Перфильевна. — Да-с?

Макрида Семеновна (медовым голосом). — А что я хотела у вас попросить...

Анна Перфильевна (насторожившись, тоном довольно-таки деревянным). — А что именно?

Макрида Семеновна. — Не можете ли вы дать мне на недельку швейной машины. А то моя племянница Оленька совсем обтрепалась. Хе-хе...

Анна Перфильевна. — Что вы! Что вы, Макрида Семеновна... Как же я могу дать, если машина у нас каждый день в ходу; семья-то, слава Богу! То то, то се! С утра до ночи она у меня занята. Нет, что вы!..

Макрида Семеновна (в голосе подозрительная сухость и отсутствие прежних гибких интонаций). — Ну, на недельку могли бы.

Анна Перфильевна. — На три дня не могу, миленькая Макрида Семеновна. Верьте совести.

Макрида Семеновна (в голосе погромыживание отдаленного, но приближающегося грома). — Ах, так? Понимаю-с, понимаю-с. (Пауза.)

Анна Перфильевна. — Что вы понимаете?

Макрида Семеновна. — Нет уж... что там! Наскозь вижу вас. (Гром ближе; коричневое небо прорезывается кое-где ослепительными молниями.) Это вы мне за то не хотите дать, что я вашему Петьке давеча, когда вы прислали, утюгов не дала. И не дам! (Гроза переходит в ливень.) И не дам! Потому, я знаю вашего Петьку... Возьмет этот дылда утюги, да вместо того, чтобы вам снести — пропьет их!!!

Анна Перфильевна. — Да как ты смеешь так говорить о моем сыне!

Макрида Семеновна (вспыхивая, как овин, подожженный ударом молнии). — А что за цаца такая, твой сын? Тоже он не очень важная птица... Хи-хи... Еще если бы в отца был, а то... так: в проезжего молодца. Да, да! Нечего, матушка, махать руками — не мельница, чай! Именно, что в проезжего молодца! Мы кое-что тоже знаем. Мне про одного землемера тоже кое-что рассказывали!

Анна Перфильевна (дрожа, как лист, от внутреннего напора чувств). — Ах, вот как? Да пусть у тебя язык отсохнет, если это правда!

Макрида Семеновна. — Ну, после этого... после этого, матушка моя... я знаю, что мне делать... Ноги моей тут в этом доме не останется. Нынче же переезжаю! Нет, довольно-с! Да меня тут в этом вертепе удушат! (Встает, ураганом несется в свою комнату.)

Анна Перфильевна. — Ах, дрянь этакая! Землемером попрекает! Я тебе покажу землемера. Ты у меня сама землю мерить будешь на паперти у собора. (Обращается к коту, мирно спящему на диване.) Вот вам и дружи с этими людьми! Вот и обращай с ними по-великосветски! Вы подумайте! (Подходит к дверям.) Послушайте, вы, Макрида Семеновна! Вы мне там за полмесяца должны — так уж, пожалуйста, потрудитесь уплатить.

Макрида Семеновна (выходит: губы у нее прыгают, как доски ветхого мостика под колесами телеги, в руках все ее имущество: узел и клетка с канарейкой). — Сделайте такое одолжение. Нам вашего не нужно! Слава Богу — жили до вас, проживем и без вас. Вот, пожалуйста, — позвольте сдачу с 25-ти рублей.

Анна Перфильевна. — Сколько угодно! Сейчас Лукерью pošлю разменять. (Уходит, Макрида Семеновна подходит к столу, наливает рюмку наливки и, грозя сама себе пальцем, выпивает; заслышав шаги Анны Перфильевны, отпрыгивает от стола и равнодушно садится на стул в стороне. Анна Перфильевна, войдя, бурно прохаживается по комнате. Зловещее молчание. Потом подходит к окну, смотрит в него, постепенно оживляясь.) Боже мой, Боже! Ни стыда у людей, ни совести. (Макрида Семеновна обиженно молчит.) Только позавчера жена приехала, а он опять с этой рыжей под ручку идет.

Макрида Семеновна (подсакивая, как ужаленная). — Что вы говорите? Где, где?

Анна Перфильевна. — Да вот, видите, остановились, разговаривают.

Макрида Семеновна (подбегая к окну, жадно смотрит). — И впрямь разговаривают. Жена, дура, дома

сидит, а они под самыми окнами разговаривают! В подъезд вошли! (Оборачиваются друг к другу, в ужас смотрят одна на другую.) Милочка, Анна Перфильевна, что же это такое будет?

Анна Перфильевна (возбужденно хватает Макриду Семеновну за руку). — Нет, вы подумайте только: к жене, к живой жене под ручку с рыжей идет! Что же это за времена такие, Макрида Семеновна? Куда мы идем?

Макрида Семеновна (оживленно). — Не иначе как сейчас скандал будет (ставит на пол клетку и узел. Примирительным тоном). Милочка, вы, надеюсь, разрешите мне подождать, чем это все окончится. А то я спать не буду и есть не буду, ежели всего, всего не узнаю.

Анна Перфильевна (радушно). — Да, сделайте одолжение. Садитесь! Послушайте, Макрида Семеновна... а может, она, жена-то, опять уехала?

Макрида Семеновна (горя ужасом и восторгом). — Ни-ни! Никаким образом она этого не смогла сделать. Я целый день у окна смотрю... Ах, душечка! (Сладострастно.) Ведь это же что будет!

Анна Перфильевна (подходя к столу). — Ваш кофе совсем простыл.

Макрида Семеновна. — Ничего, Анна Перфильевна... я такой люблю. Похолоднее... А то в горле что-то першит от горячего.

Анна Перфильевна. — А вы рюмочку смородиновой выпейте, вот оно першит и не будет.

Макрида Семеновна. — Да уж не знаю, не знаю, не много ли будет?

Анна Перфильевна. — Ну, глупости! (Наливает. Подходит к окну.) Нет, все тихо пока. Наверное, еще ругаются... Как вы думаете, если выстрел — сюда будет слышно?

Макрида Семеновна. — Ох, будет! Ох, матушка моя, — будет (благоговейно пьет наливку). И чего, кажется, надо людям? Зря с жиру бесятся.

Анна Перфильевна. — Еще чашечку! Сделайте милость!

Макрида Семеновна. — Нет уж — увольте! Не могу больше. По горло сыта...

Анна Перфильевна. — Ну, я отставлю тогда... (убирает посуду). Знаете что, душечка? Я поставлю столик так, чтобы окно было видно, а чтоб скучно не было — пока в шестьдесят шесть сыграем...

Макрида Семеновна (загораясь). — И очень просто. И очень даже просто! По две копейки очко хотите?

Анна Перфильевна. — Сделайте одолжение (передвигают столик, садятся).

От только что налетевшей бури нет и следа. Небо чисто, в зеркальных лужах отражаются уличные деревья... Солнышко.

Макрида Семеновна (тасуя карты). — А сынок ваш тоже на службе?

Анна Перфильевна. — Нет, он на похороны к товарищу пошел.

Макрида Семеновна. — Редкий молодой человек! Сколько ему?

Анна Перфильевна. — Сорок первый.

Макрида Семеновна (сдавая). — Скажите, пожалуйста! Вот бы никогда не сказала! Вам ходить.

Анна Перфильевна (почесывая уголок карты бровь). — Ну... пойдём мы... с десятки, что ли?

Макрида Семеновна. — А мы ее тузиком. И вот вам — объявляю двадцать.

Анна Перфильевна (улыбается, скрывая боль). Ишь ты, как прет человеку! Ходите.

Макрида Семеновна. — А что вы скажете насчет этой девятки? (Старается заглянуть партнерше в карты. Партнерша спокойно, будто не замечая, прижимает карты к груди.)

— А вот что я скажу. Вот-с! А теперь!..

В этот момент на сцене появляется новое лицо — кухарка Лукерья. Платье ее подтыкано со всех сторон так нескромно, что любой представитель сильного пола пришел бы в немалое смущение.

— Барыня! А я деньги разменяла!

Анна Перфильевна (успевшая уже позабыть о только что пронесшейся буре). — Какие там еще деньги?

— Да те, что давеча давали разменять — забыли, что ли?

Анна Перфильевна (нетерпеливо, вся погруженная в сладкие перспективы выигрыша). — Вот дура-то... Только зря мешает... (Встает, оборачивается к Лукерье. Макрида Семеновна прищуривает один глаз и с самым лукавым лицом смотрит верхнюю карту в колоде.)

Анна Перфильевна (оборачиваясь к ней). — Вот ваши двадцать пять рублей. Разменяла...

Макрида Семеновна. — Спасибо, миленькая. Спасибо, радостная. (Берет деньги, идет в свою комнату, на пути натягивается на свой брошенный узел. Забирает его, забирает клетку с канарейкой, пыхтя относит в свою комнату.)

В это время Анна Перфильевна быстро берет верхнюю карту, бросает на нее косой взгляд, сует в свои карты, вместо нее кладет другую.

Макрида Семеновна возвращается.

Макрида Семеновна (озабоченно). — Ну? Чей ход?

Анна Перфильевна. — Мой (сбрасывает карту).

Макрида Семеновна. — Ну, это мы возьмем (дрожит от тайной радости). Теперь моя первая карта. Так-с. (Берет верхнюю карту — вдруг с гневным удивлением.) Позвольте! А где же козырный туз?

Анна Перфильевна (невинно). — Какой козырный туз?

Макрида Семеновна. — А-ва такой! Который тут сверху лежал!

Анна Перфильевна (тон у нее очень солидный). — Да он у меня, он уже давно у меня!

Макрида Семеновна. — Как давно! Да он только сейчас тут сверху лежал, я сама видела!

Анна Перфильевна. — Как, вы видели? Да это кто же в карточную колоду заглядывает?

Макрида Семеновна (вскакивая). — Ну, матушка, — это две больших разницы! Я только заглядываю, а ты из колоды чужие карты таскаешь! А за это, матушка, и к мировому можно!

И снова небо нахмурилось, и снова ползут зловещие тучи, снова погромыхивает гром...

Лазури и спокойствия как не бывало.

Анна Перфильевна. — Меня? К мировому?!.. А это видела? (Показывает ей тощий, сложенный из непослушных старческих пальцев кукиш.)

Макрида Семеновна. — А-а-а! Мне, титулярной советнице — кукиши сучить? Да ноги моей не будет в этом вертепе... Да что же это такое? Еще ограбят тут!

Анна Перфильевна. — Пожалуйста! Никто вас не держит!

Макрида Семеновна (уперев руки в бока грозно). — Да попробовали бы вы меня удержать! Я бы вам такую тютю поднесла (дрожа от негодования). Не-ет! Скорей бежать из этого зловонного дома...

Быстро убегает в свою комнату; через минуту на сцене снова появляется то же имущество — узел и канарейка.

Макрида Семеновна. — Вот, пожалуйста, ваши деньги получите и — адью-с!.. Вот вам шесть рублей, вот еще три... рубль... два полтинника...

Анна Перфильевна (случайно взглянув в окно). — Ах! Все трое вышли! И инженер, и жена, и рыжая! Ей-Богу! Он их под руки ведет. Обоих! Обе-их!!

Макрида Семеновна (ослепленная, уронив узел). — Под руки обеих? Ну, это не иначе — в участок! (С криком бурной радости.) Передрались!..

Анна Перфильевна. — Не знаю, как вы, а я побегу на них смотреть... Ужасно интересно, какие у них лица.

Макрида Семеновна (с неожиданным приливом самой трогательной заботливости). — Да куда же это вы без платка? Ни за что не пушу! Вот вам платочек... Дайте я поправлю... Ну вот! И я вслед за вами... (восторженно). И ох, как же это все интересно! ..

И комната опустела.

Только канарейка в клетке встревоженно возилась да жирный кот тихо посапывал.

Луч солнца, заползший сюда отдохнуть, тоже как-то весь покраснел, помутнел, потерял всю свою позолоту, съежился...

Может быть, он устал от всех этих старухиных передряг...

Цепляясь за стену, ручку дверей и позолоту картины, тихонько уполз.

Пошел спать.

В данный том вошли сборники рассказов и фельетонов писателя, выпущенные им в 1914—1917 гг.

СОРНЫЕ ТРАВЫ (1914)

Сборник вышел в Петербурге в 1914 г. и с тех пор не переиздавался. Очевидно, сам автор считал, что большинство составляющих его рассказов и фельетонов слишком привязаны к определенному отрезку российской истории и потому вряд ли сохраняют интерес для новых поколений читателей, хотя и признавал (в предисловии), что такие рассказы, как “Грозное местоприимение”, “Виктор Поликарпович”, “Новые правила”, войдут в хрестоматию нашей политической и общественной жизни. Многие рассказы и фельетоны сборника обрели сегодня новую актуальность, ибо те явления, которые Аверченко выискивал и бичевал 85 лет назад, еще имеют место и в наше время.

Сборник воспроизводится по первому и единственному изданию.

Сборник был выпущен под псевдонимом Фома Опискин (таково имя героя повести Ф. М. Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели”, моралиста-резонера. Этим псевдонимом Аверченко подписывал некоторые свои публикации в “Сатириконе”). Однако в сборник помимо этих публикаций вошли рассказы, миниатюры и фельетоны, подписанные NN, Фальстаф и другими псевдонимами писателя.

Былое (Русские в 1962 году). Рассказ написан в жанре антиутопии. Герой вспоминает былое — губернаторов-самодуров, губернаторов-антисемитов, период так называемой чрезвычайной охраны, разгул цензуры — как нечто давно забытое и навсегда ушедшее из российской жизни. Однако к кон-

цу XX века многое возвращается из небытия. И потому рассказ актуален и сегодня.

С. 8. Камышанский П. К. — прокурор петербургской судебной палаты. В 1910 г. — вятский губернатор.

И Толстой был тенденциозен, и Достоевский в своем “Дневнике писателя” ... — “Дневник писателя” (1873, 1876—1881) — своеобразное, обширное по охвату проблем современности и глубокое по своему содержанию произведение Ф. М. Достоевского, в котором он в публицистическо-художественной форме выразил свои взгляды на актуальнейшие вопросы российской действительности.

“Новое время” — газета, издаваемая в 1868—1917 гг.; отражала интересы дворянско-чиновничьих кругов; с 1905 г. приобрела в значительной мере черносотенное направление; владельцем с 1876 г. был Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912).

Муратов Н. П. — тамбовский губернатор в 1912 г.

С. 9. Какую книжку? Мопассана? “Бель-Ами”? — “Бель-Ами” (“Bel-Ami”) — “Милый друг” (фр.) — один из самых известных романов Ги де Мопассана (1850—1893).

“...Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил” ... — цитата из монолога Пимена (А. С. Пушкин. “Борис Годунов”, сцена “Ночь. Келья в Чудовом монастыре”).

Толмачева одесского тоже хорошо помню — Толмачев И. Н. — одесский генерал-губернатор (1907—1911), известный своим административным самодурством и антисемитизмом.

Эрлих? Жид? — Эрлих Пауль (1854—1915) — крупный немецкий врач, бактериолог и биохимик, основатель химиотерапии, лауреат Нобелевской премии (1908). В 1909 г. создал противосифилитический препарат сальварсан (он был 606-м по счету из испытанных препаратов, отсюда его второе название — “606”).

Думбадзе И. А. (1851—1916) — генерал-черносотенец; с 1916 г. градоначальник г. Ялты, терроризировал население, вмешивался в судебные дела, в 1910 г. был уволен, но вскоре опять назначен градоначальником.

Редактор “Собакиной жизни”. С. 11. Буланже Жорж Эрнест (1837—1891) — французский генерал; в конце 1880-х гг. хотел совершить военный переворот в пользу монархии, был разоблачен, бежал в Бельгию, где покончил жизнь самоубийством.

Под сводом законов. С. 13. ...партийный человек — кадет... — Кадет — член Конституционно-демократической партии (сокращенно к.-д., кадеты), созданной в России в середине октября 1905 г. на съезде земцев-конституционалистов и членов “Союза освобождения”. Партия кадетов занимала гла-

венствующее положение в 1-й и 2-й Государственных думах, находясь там в оппозиции к царскому самодержавию. Партия выражала главным образом интересы либеральной буржуазии, стремившейся к дележу власти с царизмом.

Сон в зимнюю ночь. С. 21. Октябрист — член партии “Союз 17 октября”, партии крупной буржуазии и помещиков; сформировалась осенью 1906 г.; главную свою задачу партия видела в поддержке царской политики.

Грозное местоимение. С. 26. ...стрельбу в рабочих на Ленских приисках... — Событие, произошедшее 4 апреля 1912 г. на Ленских золотых приисках, расположенных на притоках Лены — реках Олекме и Витиме. Рабочие, возмущенные руководством англо-русского акционерного общества, направились к прокурору, чтобы вручить жалобу на действия хозяев и властей. Мирное шествие рабочих было встречено оружейными залпами. Было убито 270 рабочих и 250 ранено. Расстрел послужил толчком к усилению революционного подъема в России.

Кустарный и машинный промысел. С. 34. ...меньшиковским пудным жидоедством... — Из статьи в статью постоянный автор “Нового времени” Михаил Осипович Меньшиков (о нем см. коммент. в т. I) повторял, что во всех бедах России виноваты евреи.

С. 35. ...думает, что публикации от такого же слова, как и ее занятие. — Имеется в виду публичная женщина, т. е. проститутка. Здесь Аверченко еще раз намекает на то, что не зря журналистику считают второй древнейшей профессией (первой, по исторической традиции, считается проституция).

С. 36. Буренину до них есть забота или господину Астольпину? — В. П. Буренин — плодовитый публицист “Нового времени”, своими взглядами близкий М. О. Меньшикову. Астольпин — Александр Аркадьевич Столыпин, сотрудник редакции “Нового времени”, публицист, брат Петра Аркадьевича Столыпина.

Отцы и дети. С. 41. Нас... на десять дней распустили... — Государственная дума, ограниченное в правах представительное учреждение в России, созданное царским правительством в ходе буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг., периодически разгонялась (распускалась). Первая Государственная дума (27 апреля — 8 июля 1906 г.) была разогнана 8 июля 1906 г. Вторая Дума (20 февраля — 2 июня 1907 г.) была распущена 3 июня 1907 г. Третья Дума (1 ноября 1907 — 9 июня 1912 г.) распускалась на несколько дней. Во время Четвертой Думы (15 ноября — 25 февраля 1917 г.) был произведен арест и суд над членами большевистской фракции в Думе.

...Годнев получил отметку... — Годнев И. В. (1856 — ?) — член 3-й и 4-й Государственных дум, октябрист; с марта по

июль 1917 г. — контролер в составе Временного правительства.

С. 42. ...обыски делали... У депутата Петровского. — Петровский Григорий Иванович (1878—1959) — активный участник революционного движения в России; в 1912 г. избран членом 4-й Государственной думы от рабочей курии Екатеринбургской губернии. В ноябре 1914 г. вместе с другими депутатами-большевиками был арестован, осужден и сослан в Туруханский край. После революции занимал ответственные государственные посты.

Душевная драма Феди Зубрякина. С. 53. Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — крупный помещик, основатель “Союза русского народа”, депутат Госдумы, участник убийства Г. Распутина.

Записки трупа. С. 69. Гегечкори Е. П. (1881—1954) — меньшевик, адвокат по профессии, политический деятель. После революции — эмигрант.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — крупный фабрикант, председатель 3-й Государственной думы; военный и морской министр в первом составе Временного правительства в 1917 г., после революции — эмигрант.

Дешевая жизнь. С. 74. Матинэ (фр. matinée — утро, утреннее платье) — утренняя женская домашняя одежда в виде широкой и длинной блузы из легкой ткани.

С. 75. “Речь” (“Наш век”) — газета, центральный орган партии кадетов, выходила в Петербурге (1906—1917).

Глупые и умные. С. 76. Лермонтов умер 27-и лет... — В действительности Лермонтов умер в возрасте 26 лет, не дожив нескольких месяцев до двадцатисемилетия.

С. 79. ...акцизное ведомство... — акциз (фр.) — вид косвенного налога на продукты массового потребления, уплачиваемый государству продавцами товаров и перекладываемый на население путем повышения цен. Акцизное ведомство в дореволюционной России следило за исправной уплатой акциза государственной казне.

Конец журналиста. С. 80. Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874—1943) — прозаик и журналист; до революции много публиковался в газетах и журналах, где вел отделы светской хроники; его называли классиком бульварного жанра. Автор более 40 романов (свыше тридцати из них написаны в эмиграции).

С. 81. Клевер Юлий Юлиевич (1850—1924) — русский живописец-пейзажист, академик с 1878 г.; лучшие картины в Третьяковской галерее, Русском музее и др. Художник, повторяя одни и те же сцены и виды (например, “багровые закаты”), порой впадал в шаблонность.

Хлопотливая нация. С. 94. *Лекцию о радию прочесть — нужно похлопотать, а на “Веселую вдову” пойти — не нужно... Почему просто “О радию” — нельзя, а “Радию в чужой постели” — можно?* — “Веселая вдова” (1905) — одна из лучших оперетт венгерского композитора Ференца Легара (1870—1948). “Радию в чужой постели” — в “Сатириконе” за 1911 г. в разделе “Волчьи ягоды” Аверченко писал: “Наша соотечественница, знаменитая г-жа Кюри, открывшая радию, живет во Франции. Встретившись с семейным человеком, она полюбила его.

Этого было достаточно, чтобы галантные французы подняли бурю по поводу безнравственности происшедшего, украли из бюро г-жи Кюри интимную переписку и опубликовали ее.

Существует такой фарс — “Радию в чужой постели”.

Очевидно, этот второй радию ближе французскому сердцу, чем радию, открытый г-жой Кюри”.

Тяжелое занятие. С. 94. *...евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают?! (Подлинные слова, сказанные Марковым вторым с трибуны 3-й Думы)* — Марков Николай Евгеньевич (1866 — после 1931) — крупный помещик, член 3-й и 4-й Государственных дум, руководитель “Союза русского народа”.

Болезнь. С. 102. *Посвящ. А. Н. Шварцу.* — Шварц Александр Николаевич (1848—1915) — министр народного просвещения в 1908—1910 гг. В 1905 г. по указанию Николая II под давлением революции был введен устав об автономии университетов. Однако со спадом революционного движения этот устав был сведен на нет, и в 1910 г. Шварц внес проект нового университетского устава, уже без всякой автономии.

Страшное издание. С. 113. *“Русское знамя”* (1905—1917) — черносотенная газета, орган “Союза русского народа”, выходила в Петербурге.

Клевета. С. 116. *“Россия”* — газета полицейско-черносотенного направления, издавалась в Петербурге в 1905—1914 гг., с 1906 г. — официальный орган Министерства внутренних дел.

Страшное преступление в кабаке дяди Стаматти. Рассказ впоследствии был включен в сборник “Шалуны и ротозей”.

Изумительный случай. С. 129. *Двуутробки* — сумчатые крысы, семейство сумчатых млекопитающих; по внешнему виду напоминают крыс.

Гордиев узел. С. 132. *Гордиев узел* — узел, которым согласно древней легенде было привязано ярмо к дышлу колесницы Гордия в храме Зевса в городе Гордиуме (Галатия). Оракул предсказал, что тот, кто распутает этот узел, будет владеть Ма-

лой Азией. Александр Македонский решил задачу просто — разрубил узел мечом.

На “Французской выставке за сто лет”. В 1911—1912 гг. в России с большим успехом проходила выставка французской живописи.

С. 136. *...выставка в стиле “О, закрой свои голубые ноги”*... — обыгрывая знаменитую строчку В. Брюсова (“О, закрой свои бледные ноги”), Аверченко иронизирует по поводу современных ему направлений живописи — импрессионизма, кубизма и др. Так, некоторые художники этих направлений (Эдгар Дега “Голубые танцовщицы”; Пабло Пикассо “Акробаты”, “Девочка на шаре” и другие произведения “голубого” периода) отдавали предпочтение голубой цветовой гамме.

С. 137. *Кассо* Лев Аристидович (1865—1914) — министр народного просвещения России с 1911 г., крайний реакционер. По его проекту предписывалось запретить преподавание ряда дисциплин, усилить внешний надзор за учащимися. В знак протеста против реакционных мероприятий Кассо из Московского университета ушло 130 преподавателей, в том числе К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, Н. Д. Зелинский, В. И. Вернадский.

Юлия Пастрана — “бородатая женщина”, ее лицо и шея были покрыты волосами; найдена якобы в горах Мексики в обезьяньем стаде. В 1850-е гг. ее показывали во многих городах Европы.

Удивительная газета. В фельетоне пародируется безграмотность и путаница в некоторых материалах газеты “Новое время”.

С. 144. *...город Михелин глухо волнуется...* — В действительности Лео Михелин являлся крупным финским политическим деятелем.

С. 145. На этой странице вообще идет сплошная каша из абсурдной путаницы названий городов, исторических лиц, географических местностей и т. д.

Так, Таммерфорс — это город в Финляндии, Пер Эвинд Свинхувуд (1861—1944) — крупный финский политический деятель, неоднократно избиравшийся председателем парламента; Брокгауз и Ефрон — название энциклопедии, Куоккала — дачная местность.

Веласкец (Веласкес) — великий испанский художник, а не гинеколог; Вильгельм Телль — герой средневековой швейцарской легенды и т. д., и т. п.

Ценитель искусства. С. 149. *Бакст* Лев Самойлович (1866—1924) — крупный художник, член художественного объединения “Мир искусства”; много работал для театра.

ЗАПИСКИ
ТЕАТРАЛЬНОЙ КРЫСЫ
(1915)

Книга вышла в Петрограде в 1915 г. и включала лишь незначительную часть рассказов и фельетонов, связанных своими сюжетами и темами с искусством театра, жизнью и работой актера и т. д. Аверченко всегда проявлял интерес к театру, эстраде: он регулярно давал рецензии на наиболее значимые спектакли на страницах своего журнала. Разумеется, это были не рецензии академического театроведа, а написанные с известной долей иронии впечатления театрала. Некоторые рассказы на театральные темы включены в ранние сборники Аверченко, некоторые — автор включал в сборники, вышедшие позже. Отдельные рассказы из данного сборника Аверченко помещал в другие сборники. В данном издании сборник публикуется полностью по первой публикации.

Самое большое предприятие. С. 153. *Шекспиро-бэкоповский вопрос прошел два фазиса.* — Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ и естествоиспытатель, один из самых образованных людей своего времени, оказавший огромное влияние на развитие философии и науки вообще. На определенном этапе изучения творчества Шекспира именно Бэкону стали приписывать авторство большинства его пьес на том основании, что малообразованный актер, каковым считали Шекспира, вряд ли мог подняться до столь высокого уровня обобщений, до создания столь глубоких произведений искусства, столь мощных характеров.

С. 154. *Стратфорд* — родина Шекспира.

Актеры. С. 157. *Memento mori* (лат.) — Помни о смерти.

В летних садах. С. 163. *...я в Вилла-Родэ видел...* — Вилла Родэ — ночной ресторан в дореволюционном Петербурге, с цыганским хором и отдельными кабинетами; хозяином был румын А. Родэ, после революции он стал работать завхозом в Доме ученых.

С. 170. *Нижинский* Вацлав Фомич (1889/90—1950) — выдающийся русский танцовщик. С 1907 г. — в балетной труппе Мариинского театра, с 1911 г. — ведущий танцовщик в заграничной антрепризе С. П. Дягилева; с 1913 г. выступал также в качестве балетмейстера. В 1917 г. тяжело заболел и навсегда оставил сцену.

С. 171. *Поддубный* Иван Максимович (1871—1949) — русский профессиональный борец, в 1905—1908 гг. был победителем крупнейших международных чемпионатов. За 40 лет выступлений не проиграл ни одного чемпионата и был признан чемпионом чемпионов.

“1812 год”. С. 175. *Парафраз* (перифраз, парафраз) — одна из форм поэтической речи, употребление слова или группы слов в переносном значении.

С. 177. *Петрониевский “Сатирикон”*... — Петроний Гай Арбитр (ум. в 66 н. э.) — римский писатель; ему приписывается авторство романа “Сатирикон” (до нас дошли лишь 15-я и 16-я главы), яркого сатирического произведения о быте и нравах римских рабовладельцев.

Музыка в Петергофе. С. 178. *“Луная соната”* — соната до диез минор (1801), произведение Людвига ван Бетховена.

С. 179. *“Тангейзер”* — одна из знаменитых опер Рихарда Вагнера (1813—1883), впервые поставлена в 1845 г.

С. 179—180. *...печальное скерцо Бетховена...*

...мне больше нравится вторая часть его “Венгерских пьес Брамса”... — Скерцо (итал. scherzo, букв. — шутка) — музыкальная пьеса в быстром темпе. Разумеется, печальным скерцо быть не может. Разумеется, никаких “песен Брамса” нет. У немецкого композитора Иоганнеса Брамса (1833—1897) есть сочинение “Венгерские танцы”.

С. 180. *Сибелиус* Ян (1865—1957) — выдающийся финский композитор.

ИЗ СБОРНИКА “ВОЛЧЬИ ЯМЫ”
(1915)

Сборник вышел в Петрограде в 1915 г. и больше не переиздавался.

Рассказы печатаются по этому изданию.

Из сборника в настоящее Собрание сочинений не включаются рассказы “На большой дороге”, “Ужасы войны”, “Отцы и дети”, “Кандидат в венгерские короли”, “Карьера певицы Дусиной”, “Булавка против носорога”, “Счастье солдата Михеева”, “Язва”, поскольку, написанные в начале первой мировой войны, они носили слишком конъюнктурный характер и, возможно, являются самыми слабыми в творчестве Аверченко.

Старческое. С. 186. — *Водка-то, такое слово было...*

...напиток такой был. Жидкость, понимаешь? Алкоголь-ная. — В период, когда был написан этот рассказ, в России существовал сухой закон. Он был введен в связи с началом первой мировой войны и сохранялся вплоть до первых послереволюционных месяцев. Сухим законом навеяны и темы некоторых других рассказов этого сборника.

Спиртная посуда. С. 194. *"В немногом многое"*, как говорил еще Герострат. — Разумеется, ничего подобного эфе-сец Герострат (известный тем, что в 356 г. до н. э. сжег храм Артемиды Эфесской) не говорил.

О МАЛЕНЬКИХ — ДЛЯ БОЛЬШИХ (1916)

Сборник вышел в Петрограде без указания года издания. По косвенным данным, это был 1916 г. В него Аверченко включил большинство напечатанных ранее рассказов о детях. В данном томе не помещен рассказ "Славный ребенок" (он напечатан в т. I в составе сборника "Рассказы юмористические"). Сборник печатается по изданию 1916 г.

По оценке многочисленных критиков, сборник относится к числу лучших книг писателя.

ШАЛУНЫ И РОТОЗЕИ (1915)

Сборник вышел в Петрограде без указания года издания. Предполагаемая дата — 1915 или 1916 г.

В настоящем томе печатается по первому и единственному изданию.

Большинство рассказов, вошедших в этот сборник, ранее было опубликовано в журналах "Галчонок" и "Сатирикон".

Рассказ "Японская борьба" позже, в 1925 г., был включен автором в сборник "Рассказы циника" с незначительными изменениями под названием "Джиу-Джитсу". Чтобы избежать повтора, рассказ "Джиу-Джитсу" в составе сборника "Рассказы циника" (т. 6 настоящего издания) не печатается.

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ (1916)

Сборник первым и единственным изданием вышел в Петрограде в 1916 г.

Воспроизводится по этому изданию.

Некоторые рассказы из этого сборника Аверченко включал в более поздние свои книги (например, "Уточкин"): в нашем издании они соответственно будут исключены из этих сборников.

Уточкин. Рассказ посвящен памяти одного из первых русских летчиков — Сергея Исаевича Уточкина (1876—1915/16). В 1910—1911 гг. Уточкин совершал показательные публичные полеты во многих городах России и за рубежом. Он дружил со многими писателями (в их числе А. И. Куприн и А. Т. Аверченко), которые впоследствии посвятили ему свои произведения.

СИНЕЕ С ЗОЛОТОМ (1917)

Сборник вышел впервые в Петрограде в издательстве "Новый Сатирикон" в 1917 г. Печатается по этому изданию.

Как уже упоминалось ранее, этот сборник находился в библиотеке императрицы Александры Федоровны.

СОДЕРЖАНИЕ

<p>Фома Опискин. Сорные травы (1914)..... 3</p> <p> Предисловие <i>Аркадия Аверченко</i> —</p> <p> Часть I. Чертополох и крапива 7</p> <p> Былое (Русские в 1962 году) —</p> <p> Редактор "Собакиной жизни" 10</p> <p> Под сводом законов 13</p> <p> Корибу 16</p> <p> Проверочные испытания (схема) 18</p> <p> Сон в зимнюю ночь 21</p> <p> Мудрый судья 24</p> <p> Грозное местоимение 26</p> <p> Виктор Поликарпович 29</p> <p> Простой счет 32</p> <p> Кустарный и машинный промысел 34</p> <p> Тихий океан 37</p> <p> Отцы и дети 39</p> <p> Человек-зверь (Материалы для нижегородской истории) 43</p> <p> Новое о Чехове 46</p> <p> Жвачка 49</p> <p> Последний экипаж 51</p> <p> Душевная драма Феди Зубрякина 53</p> <p> Занзивеев 56</p> <p> Кавказская история 58</p> <p> Новые правила 61</p> <p> Первый весенний выход <i>Меньшикова</i> 64</p> <p> Записки трупа 67</p> <p> Дешевая жизнь 71</p> <p> Глупые и умные 75</p> <p> Конец журналиста. Сказочка 80</p>	<p> Кремень 82</p> <p> Случай с ревизором 84</p> <p> Хлопотливая нация 91</p> <p> Тяжелое занятие 94</p> <p> Каторга 97</p> <p> Национализм 99</p> <p> Болезнь 102</p> <p> "Колокол" 105</p> <p> Случай с <i>Симеоном Плюмажевым</i> 107</p> <p> Шиворот-навыворот 110</p> <p> Страшное издание (Святочный рассказ) 113</p> <p> Клевета 116</p> <p> На разных языках 118</p> <p> Граждане 120</p> <p> Часть II. Бурьян 124</p> <p> Страшное преступление в кабаке дяди <i>Стамати</i> —</p> <p> Изумительный случай (Из жизни художников) 129</p> <p> Гордиев узел 132</p> <p> На "Французской выставке за 100 лет" 135</p> <p> Золотые часы 137</p> <p> Часть III. Цветики в траве 141</p> <p> Начальство (Провинциальные типы) —</p> <p> Поздравитель (Гримасы быта русского) 142</p> <p> Удивительная газета 144</p> <p> Теоретики 146</p> <p> Цепи (Диалог) 147</p> <p> Стиль — человек 148</p> <p> Совесть —</p> <p> Ценитель искусства 149</p> <p> Энтузиаст 151</p> <p> Московское гостеприимство —</p> <p> Законный брак (Стихотворение в прозе) 152</p> <p> Записки театральной крысы (1915) 153</p> <p> Самое большое предприятие —</p> <p> Актеры 157</p> <p> Данные для успеха 159</p> <p> В летних садах 163</p> <p> Народный дом 167</p> <p> Чемпионат борьбы (Очерк) 171</p> <p> "1812 год". Пьеса <i>Аркадия Аверченко</i> 174</p> <p> Музыка в Петергофе. Концерты придворного оркестра под управлением <i>Г. И. Варлиха</i> 178</p>
--	--

Из сборника "Волчьи ямы" (1915)	181
Специалист по военному делу (Из жизни малой прессы) ...	—
Старческое	184
Корни в земле	189
Спиртная посуда	193
Тайна зеленого сундука (Рождественский рассказ)	196
О маленьких — для больших (1916)	202
От автора	—
О детях (Материалы для психологии)	203
День делового человека	205
Грабитель	212
Вечером	221
Детвора	224
Блины Доди	228
Ресторан "Венецианский карнавал"	233
Галочка	243
Страшный Мальчик	247
Рассказ для "Лягушонка"	254
Дети	259
Красивая женщина	266
Человек за ширмой	270
Маня мечтает	276
Шалуны и ротозеи (1915)	281
Предводитель Лохмачев	—
Индийская хитрость	289
Преступление Голубого Шакала	293
Японская борьба	297
Деловой мальчик	302
Сережкин рубль	308
Синее одеяло	315
Позолоченные пилюли (1916)	323
Запутанная и темная история	—
Без елочка	326
Люди, близкие к населению	330
Токарный станок	334
Уточкин	338
Спасательные круги	345
Русские символы	347
Полевые работы	350

Синее с золотом (1917)	354
Пять эпизодов из жизни Берегова	—
I. Берегов — воспитатель Киси	—
II. Берегов и Кашицын	362
III. Лошадиное средство	367
IV. Семейный очаг Берегова	373
V. Берегов устраивается по-своему	376
Отец Марьи Михайловны	382
Пылесос	387
Обыкновенная женщина	391
Красильников и мы трое	396
Инквизиция	401
В ожидании ужина	404
Цветы под градом	407
О русских капиталистах	412
Хвост женщины	418
Дама в сером	423
Человек об одной истории	430
Деликатные люди	436
"Краснолапые"	440
Бритва в киселе	445
Черная кость	454
Родители первого сорта	459
Экзекутор Бурачков	464
Соседки	472
КОММЕНТАРИИ	482